

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№ **3**
1941



О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Содержание

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ КОММУНЫ

Эжен Потье — Парижская коммуна (<i>поэма</i>)	3
АртюР Рэмбо — Париж заселяется вновь (<i>стихи</i>)	8
АртюР Рэмбо — Руки Жанны-Марии (<i>стихи</i>)	9
Ж. Б. Клеман — Кровавая неделя (<i>стихи</i>)	11
Томас Манн — Лотта в Веймаре (<i>роман</i>)	13
*** — Из книги Андрэ Марти «Восстание на Черном море» (<i>стихи</i>)	67
Ирвин Шоу — Новеллы	68

ПУБЛИЦИСТИКА

Ф. Шпигель — Путь к Компьенскому лесу	87
Андрэ Симон — Я обвиняю	91

ТЕОРИЯ И КРИТИКА

В. Нейштадт — Маркс и Энгельс о проблемах перевода	140
--	-----

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Голоса писателей	160
----------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Крамской — Интернациональная тематика в «Молодой гвардии»	164
М. Надеждина — На краю света	166
Книжная полка	169

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА	176
-------------------------------	-----

ОТКЛИКИ, ПИСЬМА, ВСТРЕЧИ	180
------------------------------------	-----

ХРОНИКА	187
-------------------	-----

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ	208
---------------------------------------	-----

(1871—1941)



Э Ж Е Н П О Т Ь Е

Парижская коммуна

(Поэма)

Те пламенные дни планету потрясали,
Тот славный март, когда вчерашний день Версая
На завтрашний Париж послал тупую рать,
Пытаясь мужество и доблесть покарать.
Распутный Вавилон, скопивший столько злата,
Дряхлевший двадцать лет с империей проклятой,
Где в будуарной мгле дышал казармы смрад,
Где принял Меттерних бездарный свой парад;
Париж, как смирный зверь, запряганный в заgone,
Где плебисцит скреплял любое беззаконье,—
На волю вырвался и, чуя у бедра
Вновь великанский меч, решает, что пора!
Вновь зорю протрубил год девяносто третий.
Воззвал к республике, к любимице столетий,
Париж — и выbleвал на свалку, разъярясь,
Весь бонапартов блеск, всю вековую мразь.
И в тот же день и час Парижа подвиг пылкий
Чрезмерным назван был Бордосской учредилкой.
Едва заняв места, пыталось дурачье
Разжаловать Париж, поднять лицо свое,
Смять революцию... Голосовала, бля,
Сих ископаемых страшилищ ассамблея,
Глухие мумии, слепые костяки
Нежданно вылезли на кладбище с тоски.
Так, не очухавшись с сорок восьмого года,
Скупцы из деревень, церковники прихода,
Убийцы тайные (теперь мы знаем вас!)
Легко отдали бы весь Рейн и весь Эльзас
И контрибуции миллиардов тридцать, чтобы
Оставить Тюильри для нужд одной особы.
Тьер, мелкий выродок из мелкой той семьи,
Уже подготавливал предательства свои.
— Должны мы залугать, — сказал он, — город грозный!
Пусть видит буржуа, что я старик серьезный.
На брюхе буржуа к спасенью приползет.
И я спасу его. Мне явно тут везет.
Мы ампутируем легко голосованье,
И, красных обыграв, заигрывая с рванью,
Закинем удочку в кровавые моря!

Он осадил Монмартр, едва взошла заря.
И, провокацию поняв и негодуя,
Париж провозгласил Коммуну молодую.
Победа! Ярый клич людского торжества
Пронесся. Яркая синела синева.
Империю в туман, как призрак, расплывалась.
Жизнь, глубоко дыша, грядущим любовалась.
Святое равенство опять зажгло умы.
Обезоружив дух, вооружались мы.
Коммуна родилась бесхитростной и здоровой.
— Одип за всех, и все за одного — вот право,
Вот образ общества грядущего. Сотрут
Из права «собственность». Ее заменит «ТРУД».

Ты провозглашена. И хаос черной ночи
Рассеется навек.
В тебе душа и мозг, тобою жив рабочий,
С тобой он — человек.
Пускай не для него еще мыслитель пишет.
Он не читает книг.
Слова: «кто был ничем, тот будет...» он услышит
И разберется в них.
Мы в битвах и труде принять участие рады,
Встает за ратью рать.
Проходят блузники предместий, федераты,
Чтоб стойко умирать.
Вы первыми пришли, седые инвалиды.
Вам отступать не след.
Бойцы июньских дней, три месяца обиды
Для вас — как двадцать лет.
Коммуна юная! Ты, вопреки клеветам,
Блестаешь чище звезд,
И франкмасон к тебе является с приветом,
Склоняет ветхий крест.
Был идол, роковой для Франции когда-то,—
Бандит — Наполеон,
Был этот амулет у каждого солдата —
В навоз отброшен он.
Прожив два месяца, не свергла ты бастилий.
Но сила правды в том,
Что мы декретами века оповестили:
Исполнят их потом!
Ты банки не взяла.— Пусть же уроком служит
Твоя ошибка впредь:
Чтоб сдался враг — сумей врага обезоружить,
Чем слаб он — рассмотреть.

Неделя майская, кровавая! Жесток
Был облик города, и красен был поток,—
То наша кровь текла, то наши гибли жизни
Весь род людской рыдал на этой братской тризне.
Но наши старики и женщины во рвах
Опять подымутся, своих убийц назвав.
Июньская резня — безделица пустая:
Погром сменил свое обличье, подрастая.
Не одиночек бьют, не пленников,— а враг
Из лужек по толпе палат без липких фраз.
Все скверы — кладбища, все парки — место боев,
Где, шпорами звеня, прошел версальский воин,
Где выла бравая орда офицера,

Расправу краткую над нашими твоя.
Абсента с коньяком хватив для вдохновения,
Златопогонники соревновались в рвеньи,—
Не целясь, без суда и без команды «пли!»
Мололи нас в муку и веяли в пыли.
Вот подвиг буржуа, чья «слава» боевая
Войдет в историю, все славы затмевая!
Жаль: живописца нет, изобразить верней
То небо красное, то зарево огней,
Ту пляску дикую взбешенных людоедов,
Те тридцать тысяч жертв, что улеглись, отдавая
Глоток свинца,— и тех конвойных, что штыком
Толкают схваченных, бредущих босиком...
Вот маменькин сынок швыряет в них проклятье;
Вот барышня, визжа, боясь испачкать платье,
В них тычет зонтиком... А дальше — Пантеон,
Где с Тьером обнялись Жюль Фавр и Мак-Магон;—
Министры грязных дел, святоши, у которых
На несколько ракет еще остался порох.
И сади, наконец, свободолюбец тот,
Что руки подлые отмыл от нечистот,—
Но он виновней всех, Коммуна, пред тобою!

Грядущее прочтет: здесь было место боя
Версая с городом.

— Что масло в пламя лить?—

Сказал Сюлли Прюдом,— как бога не хвалить!
Порядок водворен... Эй, сударь! Без загадок,—
Оставим господа в покое. Ваш порядок
Нам беспорядком стал. И мы его сметем,
А господа на суд гражданский приведем.

Господь — сообщник преподобный
Всех черных палачей земли:
Префект, для жуликов удобный,
Его вы в сделку вовлекли.
Хвала благому провиденью,
Моральный царствует закон.
Мир быстро близится к паденью —
Порядок прежний водворен.

Хвала, господь! Тебя спасают.
В мозгах не выветрился чад.
Собаки бешено кусают,
Кусаемые не кричат.
Все рты — в осадном положении.
И, после выкидыша, сон
Объял страну. Конец движенью.
Порядок прежний водворен.

Хвала, господь! Руэр со сворой,
Кровавый генеральский сброд
И карлик, их главарь матерый,
Устроили переворот.
Чтоб дело закрепить двойко,
Вновь дяденька — Наполеон
Воздвигнут над своей клоакой.
Порядок прежний водворен.

Хвала, господь! Вот проститутки,
Шивьоны растрепав свои,

Задами вертят, сыплют шутки
Насчет достоинства семьи.
Вот Кора Пирль куда-то прячет
Отцовский краденый мильон
И над отцом усопшим плачет.
Порядок прежний водворен.

Хвала, господь! К нам спруты тянут,
Как прежде, щупальцы в ночи.
Их лицей наши дети станут,
Как ни лаской их, ни учи...
Младенец вырастет бескровен.
Сосет уже сегодня он
Не молоко,— золу жаровен.
Порядок прежний водворен.

Хвала, господь! Для банка — прибыль,
А для рабочих — пуля в лоб.
Им подает жаркое гибель.
Периной служит узкий гроб.
И кровью их неотомщенной
И смертным потом их вспоев,
Червяк плодится золоченый.
Порядок прежний водворен.

Хвала, господь! Тобой нас душат.
Ты — винт давилки вековой.
Пора очистить мир, обрушить
Кумир неистребимый твой.
Сгинь, государство! Мы добудем
Иной и праведный закон.
Хвала не господу, а людям.
Порядок будет водворен!

Порядок водворен! Ты думала, старуха,
Карга-процентщица, что прочен твой мешок,
Что рынка своего пропоротое брюхо
Зашьет республика в свой семилетний срок?

А вы, мазурики, кем держится порядок.
Вы, инквизиторы во всей былой красе,—
Вы, правда, верите, что из парижских градок
Коммуны корешки повыдернуты все?

Ты, старый мир, мертвец! Тебя два Рима грызли.
Ты, преисподняя холопов и святош!
Сто тысяч человек погублено. При мысли
Об этих тысячах,— ты все-таки уснешь?

Ведь стены Сатори, твоей тюрьмы хвалелой,
Крепки, а мертвые, конечно, звук пустой.
Ты сбил историю своей игрой крапленой,
Ты мертвых замарал газетной клеветой.

Ведь в Каледонии проходят дни и годы,
Ведь каторга долга, надсмотрщицы — черствы.
Пусть люди корчатся, лишённые свободы,
Воды и родины. Они почти мертвы.

Ведь ты нас пригвоздил, расстрелянных заочно.
К изгнанию вечному во все края земли.

И к безработице безвыходной и прочной,—
В страшилищ превратил и смотришь издали.

Ведь расстрелял Жюль Фавр Гарсена и Мильера.
Они не двинутся. Они ничто и тлен.
Давно минувшая, неслыханная эра.—
Флуранс и Делеклюз, Домбровский и Варлен.

Ведь наступает час тупого отвораченья.
И вот решаешь ты, что дети спать хотят,
Приманиваешь их подобием прощенья,
Из титров делаешь угодливых котят.

Набат смутит покой ночей неумолимых.
Корми своих солдат, шпионов заводи,
Плачь, исповедуйся, нуждайся в подхалимах,
Нуждайся в госпoде, стоящем позади.

Ты больше не уснешь! Продажно и растленно,
И безнаказанно ты не свернешь назад.
Короче говоря: отныне во вселенной
Два стана: едоки и те, кого едят.

Ты больше не уснешь! Никто не отодвинет
Дня кары. Он спешит, он мчится все быстрее.
Просвись! Кричи: «Огонь!»— Огонь в жилище хлынет,—
Чтобы залить его, не хватит и морей!

Нет, это не поджог, не керосином пахнет —
Течет народный гнев багровою рекой.
Свод рухнувший тебя по темени шархнет.
Смотри, как возмущен, как страстен род людской!

Покайся или смерть! Вот выбор, данный нами.
Сразили мы тебя, чтоб осчастливить край.
Так встань под красное Коммуны нашей знамя.—
И мы тебя простим. Ты слышишь? Выбирай!

Нью-Йорк, 18 марта 1876 г.

Перевод с французского П. Антокольского

Париж заселяется В Н О В Ъ



Зеваки, вот Париж! С вокзалов к центру согнан,
Дохнул на камни зной,— опять они горят,
Бульвары людные и варварские стогна.
Вот сердце Запада, ваш христианский град!

Провозглашен отлив пожара! Все забыто.
Вот набережные, бульвары — в голубом
Дрожании воздуха, вот бивуаки быта.
Как их трясло вчера от наших красных бомб!

Укройте мертвые дворцы в цветочных купах!
Бывалая заря промочит вам зрачки.
Как отупели вы, копаясь в наших трупах,—
Вы, стадо рыжее, солдаты и шпики!

Приплюхайтесь к вину, к весенней течке сучьей!
Игорные дома сверкают. Ешь, кради!
Весь полуночный мрак, соитьями трясуший,
Сошел на улицы. У пьяниц впереди

Есть напряженный час, когда как истукапы,
В текучем мареве рассветного огня,
Они уж ничего не выблюют в стаканы
И только смотрят в даль, молчание храня.

Во здравье злачных мест, в честь Королевы вашей!
Внимайте грохоту отрывок; и давясь,
И обжигая рты, сигайте в ночь, алаши,
Ишуты и прихвостни! Парижу не до вас.

О, грязные сердца! О, рты невероятной
Величины! Сильней вдыхайте вонь и чад!
И вылейте на стол, что выпито, обратно,—
О, победители, чьи животы бурчат!

Раскроет ноздри вам немое отвращенье.
Веревки толстых шей издергает чума.
И снова розовым затылкам нет прощенья.
И снова я велю вам всем сойти с ума!

За то, что вы тряслись,— за то, что, цепенея,
Припали к животу той женщины! За ту

Конвульсию, что вы делить хотели с нею.
И, задушив ее, шарахались в поту!

Прочь, сифилитики, прохвосты и паяцы!
Парижу ли страдать от ваших древних грыж
И вашей хилости и ваших рук бояться?
Он начисто от вас отрезан,— мой Париж!

Когда, любимая, так гневно ты плясала?
Когда, под чьим ножом так ослабела ты?
Когда в твоих глазах так явственно вставало
Сиянье будущей великой доброты?

О, полумертвая, о, город мой печальный!
Твоя тугая грудь напряжена в борьбе.
Из тысячи ворот бросает взор прощальный
Твоя история и плачет о тебе.

Но после всех обид и бед благословенных,—
О, выпей хоть глоток, чтоб не гореть в бреду!
Пусть бледные стихи текут в бескровных венах!
Позволь, я пальцами по коже шведу.

Не худо все-таки! Каким бы ни был вялым.
Дыханья твоего мой стих не прекратит.
Не омрачит сова, ширяя над обвалом,
Звезд, льющих золото в глаза кариатид.

Пускай тебя покрыл, калеча и позоря,
Насильник! И пускай на зелени живой
Ты пахнешь тлением, как злейший лепрозорий.
Поэт благословит бессмертный воздух твой!

Ты вновь повенчана с певучим ураганом.
Прибоем юных сил ты воскресаешь, труп!
О, город избранный! Как будет дорога нам
Пронзительная боль твоих заглушенных труб!

Поэт подыметя, сжав руки, принимая
Гнев каторги и крик погибших в эту рань.
Он женщин высечет хлыстом земного мая.
Он скачущей строфой ошпарит мразь и дрянь.

Все на своих местах. Все общество в восторге.
Бордели старые готовы к торжеству.
И от кровавых стен, со дна охрипших оргий
Свет газовых рожков струится в синеву.

Перевод с французского П. Аптокольского

Руки Жанны-Марии

Жанна-Мария, ваши руки,
Они черны, они — гранит,
Они бледны, бледны от муки.
— Это не руки Хуанит.

Они ль со ржавых лужиц неги
Снимали пенки суеты?
Или на озере элегий
Купались в лунах чистоты?

Впивали древние загары?
Покоились у очага?
Крутили рыжие сигары
Иль продавали жемчуга?

Затмили все цветы агоний
Они у жгучих ног мадонн?
И расцветали их ладони,
Чернея кровью белладонн?

Под заревой голубизною
Ловили золотых цикад,
Слеша к нектариям весною?
Цедили драгоценный яд?

О, среди всех однообразий
Какой их одурманил сон?
Виденье небывалых Азий?
Сам Ханджавар или Сион?

— Нет, эти руки не смугтели
У ног причудливых богов,
И не качали колыбели,
И не искали жемчугов.

Они врагам сгибали спины,
Всегда величие храня,
Неотвратимее машины,
Сильнее юного коня!

Дыша, как жаркое железо,
Упорно сдерживая стон,

¹ Греческое «Кирие, элейсон» (Господи, помилуй), с французским ударением «элейсон».

В них запеваet Марсельеза
И никогда не Элейсон! ¹

Печать судьбы простонародной
На них смуглеет, как и встарь,
По эти руки благородны:
К ним гордый приникал Бунтарь.

Они бледней, волшебней, ближе
В сиянии больших небес,
Среди восставшего Парижа,
На грозной бронзе митральез!

Теперь, о, Руки, о, святыни,
Живя в восторженных сердцах,
Неутоленных и доныне,
Вы тщетно бьетесь в кандалах!

И содрогаешься от муки,
Когда насильник вновь и вновь,
Сводя загары с вас, о, руки,
По капле исторгает кровь.

1871 г.

Перевод с французского
Валентина Парнаха



Свобода, обращаясь к Конституции:—
Только не делайте его слишком кучым!
Рисунок французского художника Домье



Человек, который смеется

Карикатура на Тьера, сделанная
художником Жизель



Кровавая неделя

Расстрелянным, в 1871 году

В пути не встретишь никого ты.
Шпики, жандармы, вновь шпики.
Отчаявшиеся сироты,
Измученные старики.
Париж — вертеп людского горя,
Где и счастливых душист страх,
Где тонет все в солдатском хоре,
И льется кровь на всех углах.

Да,— но

Непрочен мир и шаток!
Пройдут их красные деньки!
Любую цепь рогаток
Сметут еще раз бедняки!

Оплаченные шелкоперы,
Корсары всех мастей и форм,
От власти ждущие опоры,
Вынюживающие корм,
Все выскочки с мощною знатной,
Всех шлюх задрипанных коты
Взошли как гнилостные пятна
На голом трупе нищеты.
Да,— но и т. д.

Опять нас иезуиты кружат,
И Мак-Магон вошел в зенит.
Об олово церковных кружек
Шальное золото звенит.
А завтра певчие во храме
Христов оперных забьют.
И расцветет Париж хорами.
А нами каторгу набьют!
Да,— но и т. д.

И у любой из потаскушек,
Любой из честных дев и жен —
Эмблемами штыков и пушек
Турнюр занятно освежен.
Везде трехцветное наляпав,
На карты блюд, на тульи шляп,
Они в детей стреляют слабых,
И в глотку нам пихают кляп!
Да,— но и т. д.

А завтра полицейских орды
Затопчут нашу кровь во прах,
Пока заслуги их столь гордо
Дымятся в пыльных кобурах.
Без хлеба, без ножа в кармане.
И без работы на заре,
Рисуем мы привлечь вниманье
Одних филеров и кюре.
Да,— но и т. д.

Заклепан наглухо ошейник.
Народ! Когда восстанешь ты?
Когда воинственный мошенник
На землю рухнет с высоты?
Когда же братия монашья
Нас позабудет гнать в стада?
Когда же ты удашься, наша
Коммуна права и труда?

1872 г.

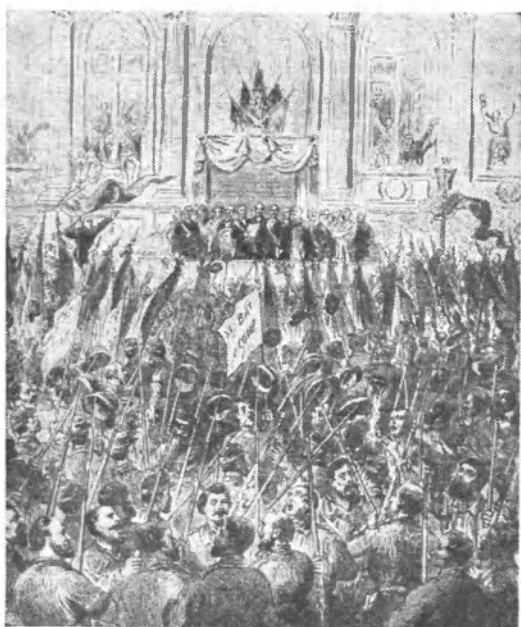
Перевод с французского

П. Антокольского



Баррикада у Пале-Рояля

Гравюра Жюль Давида



Коммуна в Париже. Зарисовка около ратуши

Из журнала «Иллюстри́тед Лондон_ньюс», апрель 1871 года

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

AU PEUPLE.

Citoyens,

Le Peuple de Paris a secoué le joug qu'on essayait de lui imposer.

Calme, impassible dans sa force, il a attendu sans crainte comme sans provocation les fous étonnés qui voulaient toucher à la République.

Cette fois, nos frères de l'armée n'ont pas voulu porter la main sur l'arche sainte de nos libertés. Merci à tous, et que Paris et la France jettent ensemble les bases d'une République acclamée avec toutes ses conséquences, le seul Gouvernement qui fermera pour toujours l'ère des invasions et des guerres civiles.

L'état de siège est levé.

Le Peuple de Paris est convoqué dans ses sections pour faire ses Elections communales.

La sûreté de tous les citoyens est assurée par le concours de la Garde nationale.

Hôtel-de-Ville, Paris, le 19 mars 1871.

Le Comité central de la Garde nationale,

ASSI, BILLIOTAY, FENKAT, FADICK, Edmond MOREAU, C. DUPONT, VARLIN, BOURSIEZ, MORTIER, GOUHIER, LAVALETTE, Fr. JOURDE, ROUSSEAU, Ch. LULLIER, BLANCHET, J. OBOLLARD, BARPOUD, H. GERESME, FABRE, POUGETET.

3 IMPRIMERIE NATIONALE. — M. 171 4871.

Первая афиша Центрального комитета национальной гвардии, 19 марта 1871 года

Лотта в Веймаре

Перевод с немецкого НАТАЛИИ МАН

Сквозь клич и гром рожков
 Наш голос смелый
 Опять взнестись готов
 В твои пределы!
 В твоём миру живя,
 Душа — беспечна,
 Будь жизнь долга твоя,
 Держава — вечна.

(«Западно-восточный Диван»)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Магер, кельнер веймарской Гостиницы Слона, человек весьма начитанный, однажды в погожий сентябрьский день 1816 года пережил волнующее и нечаянно радостное событие. Хотя, казалось бы, ничего из ряда вон выходящего не случилось, все же на мгновение ему почудилось, что он грезит.

В этот день, часов около восьми утра, с регулярной почтой из Готы, остановившейся у заслуженно известного дома на базарной площади, прибыли три женщины, в которых на первый взгляд — да, пожалуй, и на второй — не было ничего особенного. Их отношения друг к другу определялись без труда. Это были мать, дочь и служанка. Магер, уже приготовившийся к приветственным поклонам, стоял у сводчатого входа и смотрел, как привратник высаживал двух первых из кареты, в то время как служанка, по имени Клерхен, прощалась с почтальоном, за долгий путь, видимо, пришедшимся ей по вкусу. Тот искоса поглядывал на нее, улыбался — вероятно, при воспоминании о своеобразном наречии, на котором болтала путешественница, — и следил с насмешливым вниманием, как она, кокетливо изгибаясь и не без жеманства подбирая юбки, слезала с высоких козел. Затем он потянул шнур, на котором за спиной болтался его рожок, и на потеху мальчишкам да нескольким ранним прохожим весьма выразительно затрубил в него.

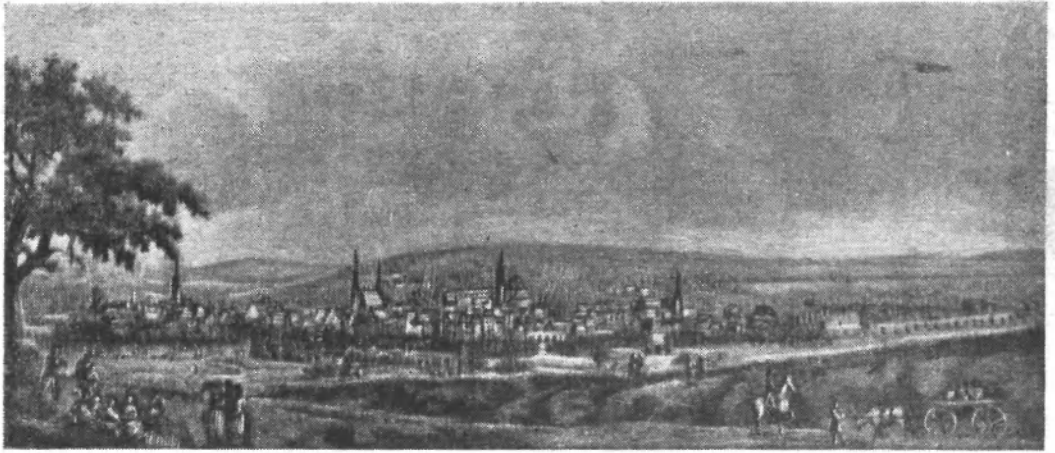
Дамы все еще стояли спиной к входу, наблюдая, как отвязывают их скромный багаж; но вот Магер, выждав момент,

Статья, посвященная Томасу Манну и его роману «Лотта в Веймаре», будет помещена вместе с окончанием романа.

когда те, уверившись в сохранности своих пожитков, повернулись к дому, поспешил к ним навстречу, быстро ступая длинными ногами в узких обтягивающих панталонах, и в своем черном наглухо застегнутом фраке и высоким стоячем воротнике, повязанном линиялым галстуком, с обязательной улыбкой на сырного цвета лице, обрамленном рыжими бакенбардами, склонился перед ними с видом заправского дипломата.

— Здравствуйте, друг мой, — произнесла старшая из женщин, почтенная дама, уже в годах, под шестьдесят, не менее, довольно полная, в белом платье с черной шалью, накинутой на плечи, в нитяных митенках и высоком чепце, из-под которого выбивались пепельно-серые вьющиеся волосы, некогда бывшие золотистыми. — Нам нужно помещение для троих, комната для меня и моей девочки (девочка тоже была уже не первой молодости, лет около тридцати, с каштановыми буклями и в платье с рюшем вокруг шеи; изящный носик матери повторился у нее, более остро и резко очерченный) и комнатка неподалеку для нашей горничной. Можем ли мы на это рассчитывать?

Голубые, чуть выцветшие глаза старой женщины смотрели мимо кельнера на фасад гостиницы. Ее маленький рот на лице, уже немного по-старчески ожиревшем, двигался как-то особенно приятно. В юности она, вероятно, была прелестнее, нежели ее дочь сейчас. То, что в ней бросалось в глаза, было легкое дрожание головы, причем больше походившее на подтверждение ее слов или торопливый призыв согласиться с ними; почему оно и казалось следствием не столько слабости, сколько живости или хотя бы того и другого в равной мере.



Общий вид Веймара в начале XIX столетия

— Рад служить,— отвечал кельнер, ведя мать и дочь к дому, в то время как горничная со шляпной картонкой в руках следовала за ними на известном расстоянии.— Правда, у нас, как всегда, множество постояльцев, и мы вскоре, вероятно, будем вынуждены отказывать даже весьма почтенным особам, но все же, смею заверить, мы, не щадя своих сил, пойдем навстречу желаниям уважаемых путешественниц.

— Ну, вот и отлично,— заметила приезжая, обменявшись с дочерью живым и многозначительным взглядом по поводу столь красноречивой тирады, к тому же произнесенной с сильным тюринго-саксонским акцентом.

— Милости просим, пожалуйста,— говорил Магер, с поклонами пропуская их в дверь.— Приемная направо. Фрау Эльменрейх, хозяйка заведения, будет в восторге,— прошу пожаловать.

Фрау Эльменрейх, дама со стрелой в прическе и пышным бюстом, по случаю близости входной двери обтянутым душегрейкой, восседала среди перьев, песочниц, счетов за чем-то вроде прилавка, отделявшего сводчатую приемную от сеней. Тут же рядом писмоводитель, оставив высокую конторку, беседовал по-английски с господином в плаще, повидимому владельцем нагроможденных у входа чемоданов. Хозяйка, флегматически взглянув скорее поверх приезжих, чем на них, ответила величавым наклоном головы на приветствие старшей дамы и чуть намеченный книксен младшей. Затем внимательно выслушала переданные ей кельнером пожелания новоприбывших, достала вычерченный план дома и начала водить по нему кончиком карандаша.

— Двадцать седьмой,— постановила она, обращаясь к облаченному в зеленый фартук служителю, который стоял с вещами новых постояльцев.— Отдельную комнатку горничной я, к сожалению, предоставить не могу. Мамзели придется разделить помещение с камеристкой графини Ларин из Эрфурта. У нас сейчас много гостей с собственной прислугой.

Клеркен состроила гримаску за спиной своей госпожи, но та немедленно согласилась.— Как-нибудь стерпятся,— решила она и, попросив указать ей комнату, куда должен был быть тотчас же перенесен их ручной багаж, направилась к выходу.

— Еще минутку, сударыня,— воскликнул кельнер.— Осмелюсь попросить вас об одной формальности. Дело в том, что мы имеем обыкновение всеми правдами и неправдами вымалывать себе две-три строчки. Этот докучный обычай заведен не нами, а Святой Германдадой¹. Его не преступишь. Законы и обычаи передаются из рода в род, я бы сказал, как хроническая болезнь. Смеем ли мы надеяться на милость и снисхождение?

Дама рассмеялась, снова взглянув на дочь, и удивленно-весело покачала головой.

— Ну, конечно, я совсем упустила из виду. Охотно, все, что полагается. Да ведь он малый не промах, как я замечаю (она пользовалась обращением в третьем лице, принятом во времена ее юности), начитанный и просвещенный.— И, воротившись к столу, она взялась тонкими пальцами своей полуприкрытой руки за висевший на шнурке мелок, который ей вручила

¹ Святая Германдада — общество, возникшее в XV веке в Испании для борьбы с разбойниками и ворами.

хозяйка, и, все еще смеясь, склонилась над доской с именами постояльцев.

Она писала медленно, постепенно переставая смеяться, и только легкие, как вздохи, шаловливые отголоски смеха еще свидетельствовали о ее потухавшей веселости. Частое дрожание головы стало при этом — может быть, вследствие неудобного положения — еще более заметным.

На нее смотрели. С одной стороны дочь, подняв красивые ровные брови (она их унаследовала от матери) и насмешливо поджав губки, заглядывала ей через плечо; с другой на нее уставился Магер, отчасти чтобы наблюдать, правильно ли она заполняет отмеченные красным рубрики, отчасти же из провинциального любопытства, не чуждого злорадному удовольствию, что вот для кого-то пришло время, — расставшись со всегда благодарной ролью неизвестного, — назвать и разоблачить себя. По каким-то причинам писемводитель и английский путешественник прекратили разговор и тоже наблюдали за склоненной женщиной, почти с детской тщательностью выводящей буквы.

Магер прочитал, прищурившись: «Вдова надворного советника Шарлотта Кестнер, рожденная Буфф, из Ганновера, последнее местопребывание — Гослар; родилась 11 января 1753 года в Вецларе. С дочерью и прислугой».

— Этого достаточно? — осведомилась надворная советница; и так как ей не отвечали, заключила сама: — Должно быть так! — Она сделала энергичное движение, чтобы положить мелок на стол, позабыв, что он прикреплен к металлической подставке, и опрокинула ее.

— Какая неловкость! — воскликнула она, краснея, и снова быстро глянула на дочь, которая насмешливо скривила рот и потупилась. — Ну, это дело поправимое, сейчас все будет в порядке. А теперь нам пора посмотреть комнату! — И она торопливо направилась к двери.

Дочь, горничная, кельер и плешивый привратник, нагруженный чемоданами и дорожными мешками, последовали за нею через сени к лестнице. Магер так и не перестал щуриться, он всю дорогу продолжал это занятие, в перерывах быстро мигая покрасневшими глазами, и пустым взглядом уставялся в пространство, открывая при этом рот с видом, если не глуповатым, то мечтательно-задумчивым. На площадке второго этажа он заставил всю компанию остановиться.

— Прошу прощения! — воскликнул он, умоляя великодушно простить, если мой

вопрос — это не просто неуместное любопытство.. Неужели мы имеем честь видеть в наших стенах госпожу надворную советницу Кестнер, мадам Шарлотту Кестнер, рожденную Буфф из Вецлара?..

— Да, это я, — с улыбкой подтвердила старая дама.

— Я имею в виду... прошу прощения... неужто же речь идет о Шарлотте — короче — Лотте Кестнер, рожденной Буфф из Немецкого дома, Немецкого орденского дома¹ в Вецларе, бывшей...

— Именно о ней, любезный. Но я совсем не бывшая, я продолжаю быть настоящей и очень бы хотела поскорей попасть в отведенную мне...

— Незамедлительно, — вскричал Магер и, наклонив голову, уже принял было позу бегущего человека, но вдруг остановился, словно приросши к месту, и всплеснул руками.

— Господи боже ты мой! — проговорил он с глубоким чувством. — Боже ты мой! Госпожа советница! Да простит меня госпожа советница за то, что мне не сразу удалось установить это тождество и обнять взором все открывающиеся перспективы... Ведь это, можно сказать... гром среди ясного неба. Значит, нашему дому выпала честь и неценное отличие... принимать... настоящую... подлинную... прообраз, если дозволено так выразиться... Короче говоря... мне суждено... сейчас... перед вертеровой Лоттой...

— Вы не ошиблись, друг мой, — спокойным достоинством отвечала советница, попутно бросив строгий взгляд на хихикающую горничную. — И если это обстоятельство послужит для вас лишним поводом поскорей проводить нас, усталых женщин, в нашу комнату, то я буду этому искренне рада.

— В мгновение ока! — крикнул Магер и припустился по лестнице. — Комната номер двадцать семь. Бог ты мой, ведь она на втором этаже. У нас, сударыня, удобные лестницы, как вы можете убедиться, но если бы мы знали... Несмотря на уплотненность, без сомнения, нашлась бы... Во всяком случае комната чедурна, окна выходят на базарную площадь, надо думать, она придется по вкусу... В ней проживал недавно господин майор Эглоффштейн с супругой, приезжавшие с визитом к тетушке, обер-камергерше той же фамилии. В октябре тринадцатого года там останавливался генерал-адъютант его императорского высочества великого князя

¹ Немецкий орденский дом — здание Вецларской судебной палаты.

Константина. Это, можно сказать, историческое воспоминание... Ах, боже ты мой, что я там болтаю об исторических воспоминаниях, которые для чувствительного сердца не могут идти ни в какое сравнение... Еще только несколько шагов, сударыня! От площадки несколько шагов вот по этому коридору. Все стены, как изволите видеть, свежо выбелены. После постоа донских казаков в тринадцатом году нам пришлось ремонтировать все заново: лестницы, комнаты, коридоры, гостиные, что, на мой взгляд, было уже излишне. Насильственные сдвиги мировой истории принудили нас к этой мере; отсюда можно было бы извлечь поучение, что насильно иногда способствует обновлению жизни. Я не хочу всю заслугу побелки дома приписать одним казакам. У нас стояли также прусские войска и венгерские гусары, не говоря уже о французах... Вот мы и у цели! Прощу пожаловать!

Он с поклоном распахнул дверь и пропустил их в комнату. Глаза женщины беглым испытующим взором окинули накрахмаленные занавеси на обоих окнах, трюмо, не без тусклых пятен, в простенке между ними, две белые кровати с общим маленьким балдахинном и прочее убранство. Гравированный ландшафт с античным храмом украшал собою одну из стен. Хорошо навощенный пол так и блестел чистотою.

— Очень мило,— решила советница.

— Мы почтем себя счастливыми, если уважаемым дамам придется здесь по вкусу. Когда что-нибудь понадобится, вот счетка. Что я позабочусь о горячий веде, само собой разумеется. Мы будем счастливейшими из смертных, если угэдим госпоже советнице...

— Ну, конечно же, голубчик. Мы простые люди и не избалованы. Спасибо, любезный,— обратилась она к привратнику, который снимал с плеча и перекладывал на козлы багаж приезжих.— Спасибо и вам, мой друг,— и она отпустила Магера кивком головы.— Мы всем ублажены и довольны, и теперь хотели бы только немного...

Но Магер стоял неподвижно, молитвенно скрестив руки и вперившись своими красноватыми глазами в черты старой дамы.

— Великий боже! — произнес он.— Госпожа советница, какое достойное увековечения событие! Госпожа советница, должно быть, и понять не может чувства человека, на которого нежданно-негаданно свалился подобный казус со всеми его волнующими перспективами... Госпожа

советница уже настолько привыкла к своему, так сказать, священному для нас тождеству, что принимает его легко и буднично и не может понять, что происходит с чувствительной, с юных лет приверженной литературе душою при знакомстве — если можно так выразиться, прошу прощения — при встрече с особой, озаренной лучами поэзии и как бы взнесенной огненными руками к небесам вечной славы...

— Вот что, мой друг,— с улыбкой остановила его советница, хотя дрожание ее головы при словах кельнера усилилось, как бы служа им подтверждением. (Горничная, стоя позади нее, с веселым любопытством разглядывала его почти до слез растроганное лицо, а дочь с показным равнодушием занималась в глубине комнаты раскладкой вещей.) — Друг мой, я простая женщина, без претензий, человек, такой же, как все; у вас же столь необычная, высокопарная манера выражаться...

— Мое имя Магер,— пояснительно вставил кельнер. Он выговаривал «Маахер» на своем мягком средне-немецком наречии; в этом звуке было что-то молящее и трогательное.

— Я, если это звучит не слишком самонадеянно, являюсь фактотумом этого дома, правой рукой, как говорится, фрау Эльменрейх, хозяйки гостиницы. Она вдовствует уже много лет. Господин Эльменрейх, к несчастью, еще в 1806 году, при трагических обстоятельствах, о которых здесь неуместно распространяться, пал жертвою мировых событий. В моей должности, госпожа советница, да еще во времена, которые суждено было пережить нашему городу, соприкасаешься со множеством людей; мимо нас проходит немало примечательных лиц, примечательных по своему рождению или заслугам, так что невольно перестаешь уже так пылко относиться к соприкосновению с высокопоставленными, причастными к мировой истории особами и носителями влиятельных, возбуждающих воображение имен. Это так, госпожа советница! Но профессиональная избалованность и очерствелость — где они? Во всю мою жизнь, признаюсь откровенно, мне не выпадало встреч, так взволновавшей мне душу и сердце, как сегодняшняя, действительно достойная увековечения. Ибо, как это обычно бывает, я знал, что почтеннейшая женщина, прототип того вечно милого образа, продолжает жить на земле, и именно в городе Ганновере,— теперь я окончательно убежден, что знает это. Но мое

знание не имело реальной основы и мне никогда не приходила в голову возможность оказаться лицом к лицу с этим священным для нас созданием. Я даже и мечтать не смел! Когда я нынешним утром — всего несколько часов назад — проснулся, я был убежден, что мне предстоит день, как сотня других, заурядный день, заполненный обычными хлопотами в каторге и у стола. Моя жена — ибо я женат, госпожа советница, — мадам Магер, которая несет свои служебные обязанности на кухне, моя жена может засвидетельствовать, что я ни сном ни духом не предвидел этого необыкновенного события. Я был уверен, что вечером отойду ко сну тем же человеком, каким встал утром. И вот! Чего не чаешь, то скорее сбывается. Сколь верно это подмечено народной мудростью! Да простит мне госпожа советница мое волнение и мою, вероятно, неуместную, болтливость. Когда сердце полно, слов не удержишь, как говорит народ на своем хотя и не очень литературном, но метком языке. Если б госпожа советница знали, какую любовь и уважение я, так сказать с пеленок, питаю к нашему князю поэтов, великому Гете, и как я, будучи веймарцем, горжусь, что мы вправе называть его своим... Если б сударыня знали, чем для этого сердца были всю жизнь именно «Страдания молодого Вертера»... Но я молчу, госпожа советница, я отлично знаю, что не мне рассуждать об этом... Хотя, с другой стороны, такое чувствительное произведение ведь принадлежит всему человечеству и одинаково вслушет души великих и малых сих, в то время как такие вещи, как «Ифигения» и «Побочная дочь», являются скорее достоянием высшего общества. Когда я думаю, как часто мы с мадам Магер, при тусклой свечке, умиленные душой, склонялись над этими божественными страницами, и вдруг отдаю себе отчет, что вот, в сей миг, передо мной всемирно известная и бессмертная героиня этого романа, во плоти... такой же человек, как я... Ради бога, госпожа советница, — вскричал он и хлопнул себя по лбу. — Я болтаю и болтаю, и вдруг меня как обухом ударило, что я даже не спросил, пила ли госпожа советница сегодня кофе?

— Благодарю вас, друг мой, — отвечала старая дама, со спокойным взглядом и слегка подергивающимися углами рта внимавшая излияниям доброго малого. — Мы сделали это в положенное время. Вообще же, мой милый господин Магер, вы слишком далеко заходите в своих сравнениях и

впадаете в крайность, попросту смешивая меня, или хотя бы то юное существо, которым я некогда была, с героиней нашумевшей книжки. Вы не первый, кому мне приходится на это указывать; я это проведу вот уже сорок четыре года. Правда, та романтическая фигура обрела столь повсеместную жизнь, столь законченное и прославленное существование, что каждый может притти и сказать: она то из вас двоих и есть настоящая, — хотя я безусловно буду возражать, — но и та девушка очень отличается от меня тогдашней, о нынешней я уже и не говорю. Всякий видит, например, что у меня глаза голубые, в то время как вертерова Лотта, как известно, черноглазая.

— Поэтическая вольность! — вскричал Магер. — Кто же этого не понимает — поэтическая вольность! Но она, госпожа советница, ни на йоту не умаляет существующего тождества! Пускай поэт воспользовался ею ради маскарада, чтобы слегка замести следы...

— Нет, — произнесла советница, задумчиво покачав головой, — черные глаза идут не оттуда.

— А если и так! — перебил ее Магер. — Пусть даже это тождество нарушается маленькими отклонениями...

— Существуют гораздо большие, — настойчиво подчеркнула советница.

— ...то ведь совершенно нетронутым остается другое тождество — тождество с самой собою, я хочу сказать, с той не менее легендарной особой, чей портрет великий человек еще совсем недавно с такой теплотой нарисовал в своих мемуарах; и если госпожа советница не до мельчайшей черточки вертерова Лотта, то она до последнего волоска Лотта Гё...

— Вот что, почтеннейший! — оборвала его советница. — Прошло немало времени, куда вы были так любезны указать нам нашу комнату, а теперь вы, видимо, позабыли, что не даете нам воспользоваться ею.

— Госпожа советница! — воскликнул кельнер Гостиницы Слона, молитвенно сложив руки. — Извините меня! Извините человека, который... Мое поведение непростительно, я это знаю, и все же осмеливаюсь просить вас о милости. Своим немедленным исчезновением я... меня ведь так и подмывает, — встал он, — не говоря уже о том, что мне диктуют правила благоприличия, меня так и тянет отсюда — туда; ибо когда я подумаю, что фрау Эльменрейх до сих пор еще не имеет понятия, — она наверно не удосужилась взглянуть на доску, а если и взглянула,

то ее здравый практический ум... А мадам Магер, госпожа советница! Как мне хочется броситься туда, на кухню, чтобы свеженькой сообщить ей столь важную городскую и литературную новость... По-сему, госпожа советница, как раз чтобы дополнить это волнующее сообщение, я осмелюсь задать еще один вопрос... Сорок четыре года! И сударыня за эти сорок четыре года ни разу не виделась с господином тайным советником?

— Ни разу, мой друг,— отвечала она.— Я знаю молодого практиканта прав, доктора Гете из Вейлара. Веймарского министра, великого поэта Германии, я и в глаза не видела.

— Это потрясает душу!— задохнулася Магер.— Потрясает! Итак, значит, госпожа советница прибыла в Веймар, чтобы...

— Я приехала в Веймар,— перебила его старая дама несколько свысока,— чтобы после долгой разлуки повидаться с моей сестрой, супругой камерального советника Риделя, и представить ей мою дочь Шарлотту, приехавшую ко мне из Эльзаса и сопровождающую меня в этом путешествии. Вместе с горничной нас трое,— мы не можем обременять ночлегом мою сестру, у нее у самой большая семья. Поэтому мы и остановились в гостинице, но уже к обеде мы будем у наших милых родных. Удовлетворены вы, наконец?

— Весьма, госпожа советница, весьма! Хотя мы тем самым лишимся чести видеть дам за табльдотом... Господин и госпожа Ридель, Эспланада 6, о, я знаю! Значит, госпожа камеральная советница урожденная... Ах, да ведь мне это было известно! И отношения и родство были известны, только реально я себе не представлял... Боже милостивый, да ведь, значит, госпожа камеральная советница находилась в толпе детей, окружавших госпожу надворную советницу в сених охотничьего домика, когда Вертер впервые переступил его порог, значит и она протягивала ручонку за хлебом, который госпожа надворная советница...

— Любезный мой,— снова прервала его Шарлотта,— в охотничьем домике не было никакой надворной советницы. Но, скажите-ка нам лучше, прежде чем показать нашей уже заждавшейся Клерхен ее каморку, далеко ли отсюда до Эспланады?

— Ничуть, госпожа советница. Сущие пустяки! У нас в Веймаре нет больших расстояний; наше величие — в другом, в духовном. Я сам почти за честь проводить дам до жилища госпожи камеральной

советницы, если им не угодно будет предпочесть извозчика или портшез, в которых наша столица не знает недостатка... Но еще одно, госпожа советница, еще одно только слово! Если сударыня и прибыли главным образом, чтобы навестить госпожу камеральную советницу, то, надо думать, и на Фрауенплане тоже будут иметь честь...

— Время покажет, мой друг, время покажет! А теперь пора уже отвести мамзель вниз, так как она мне скоро понадобится.

— Да, а по дороге скажите мне,— зашебетала Клерхен.— где живет человек, который написал «Ринальдо», этот дивный роман, я читала его раз пять, и скажите также, может ли мне повезти встретиться с ним на улице?

— Охотно, мамзель, весьма охотно,— рассеянно отвечал Магер, быстро направляясь к двери. Но на ходу остановился, упершись одной ногой в пол и приподняв другую для равновесия.

— Еще одно слово, госпожа советница,— взмолился он.— Последнее словечко, ответ на которое не затруднит вас! Госпожа советница поймет — человеку вдруг суждено было оказаться, так сказать, у первоисточника — грех пренебречь таким обстоятельством, не воспользоваться... Госпожа советница, не правда ли, тот последний разговор перед отъездом Вертера, та щемящая сердце сцена втроем, когда речь зашла о покойной матери и о вечной разлуке, и Вертер, держа руку Лотты, восклицает: мы свидимся, найдем друг друга, среди множества образов вновь друг друга узнаем! — Это правдивое воспоминание? Господи! Тайный советник его не измыслил? Ведь так все и было?!

— И да, и нет, мой друг, и да, и нет,— добродушно отвечала теснимая, и голова ее задрожала сильнее.— Ну, идите уж, идите!

И взволнованный Магер спешно ретировался с Клерхен, субреточкой.

Шарлотта глубоко вздохнула, снимая шляпу. Дочь, которая в продолжение всего разговора занималась развешиванием платьев в шкафу и методическим раскладыванием вещей, вынутых из несессера, по полочкам умывальника, насмешливо взглянула на нее.

— Вот,— заметила она,— твоя звезда снова возшла. Эффект был недурен.

— Ах, дитя мое,— возразила мать,— то, что ты называешь моей звездой и что было бы вернее назвать моим крестом, пусть даже орденским, если хочешь,—

обнаруживается без моего содействия, я здесь непричем и не в моей власти скрыть его.

— Немного дольше, милая мама, если не на все время нашей несколько экстравагантной поездки, он все же мог бы остаться сокрытым, остановись мы не в гостинице, а у тети Амалии.

— Ты отлично знаешь, Лотхен, что это невозможно. Твой дядюшка, твоя тетка и твои кузины не имеют лишнего помещения, хотя они и живут в аристократическом квартале или, вернее, именно поэтому. Нельзя было явиться к ним втроем и до такой степени стеснить их, пусть даже на несколько дней. Твой дядя Ридель имеет определенный доход в качестве чиновника, но его постигли тяжелые удары; в шестом году он все потерял, теперь он человек небогатый; и мы ни в коем случае не можем вводить его в расход. А что у меня явилась потребность после долгих лет снова заключить в объятия мою младшую сестру, нашу Мали, и порадоваться счастью, которым она наслаждается вместе со своим достойным мужем, — кто может поставить мне это в вину? Не забудь, что я, надо думать, смогу быть весьма полезной моим милым родственникам. Твой дядя надеется на пост директора великогерцогской камер-коллегии, — благодаря моим связям и прежним знакомствам я, может быть, здесь, на месте, посодействую осуществлению его желаний. И разве момент, когда ты, дитя мое, после десятилетней разлуки снова со мной, не наиболее подходящий для родственного визита? Неужто же необычная судьба, ставшая моим уделом, может помешать мне следовать естественным влечениям сердца?

— Нет, мама, разумеется, нет.

— Да и кто мог подумать, — продолжала советница, — что мы тотчас же налетим на такого энтузиаста, как этот Ганимед с бакенбардами? Гете в своих мемуарах жалуется на мучения, которые ему доставляло вечное любопытство людей: кто, собственно, настоящая Лотта и где она живет? От такого напора его не спасало даже инкогнито, — он называет это истинным наказанием и считает, что если и согрешил своей книжкой, то сторичей купил свой грех. Но из этого видно, что мужчины, — а тем более поэты, — думают только о себе; он и не подумал о том, что нам тоже приходилось бороться с любопытством, вдобавок ко всем тревогам, которые он нам причинил — твоему забывшему отцу и мне — своим безбожным смещением правды и поэзии.

— Черных и голубых глаз?

— Кто попал в беду, не избежит и пашемки, особенно от своей дочери. Надо же мне было одернуть этого неистового малого, принявшего меня, такой, как я есть, за вертерову Лотту.

— У него хватило дерзости в утешение за известные несоответствия назвать тебя гетевой Лоттой.

— По-моему, я и этого не пропустила мимо ушей и с явным неудовольствием прервала его. Я плохо знала б тебя, дитя мое, если б не почувствовала, что согласно твоим, более строгим, убеждениям, мне следовало с самого начала крепче держать его в узде. Но скажи мне, как? Отречься от себя самой? Убедить его, что я ничего знать не желаю о себе и о своем жребии? Но вправе ли я свободно располагать своим жребием, так или иначе ставшим достоянием целого мира? Ты, дитя мое, совсем другой человек, — позволишь мне добавить, что это ни на йоту не умаляет моей любви к тебе. Ты отнюдь не из тех натур, которые зовутся общительными, — это свойство не имеет ничего общего с готовностью жертвовать собой для других. Мне даже часто казалось, что жизнь, полная самопожертвования, — я не хочу здесь ни восхвалять, ни порицать — обычно предполагает известную черствость, которая мало содействует общительности. Ты, дитя мое, не можешь сомневаться в моем к тебе уважении, как и в моей любви. Вот уже десять лет как ты — ангел-хранитель твоего бедного, милого брата Карла, которому суждено было потерять молодую жену и лишиться ноги, — беда никогда одна не приходит. Что бы он делал без тебя, мой бедный, страдающий мальчик! Вся твоя жизнь — это труд и самоотверженная любовь, как же могла она не заронить в тебя известную строгость, не одобряющую праздной чувствительности — в себе и в других. Житейское ты предпочитаешь завлекательному — и как ты здесь права! Связь с великим миром страстей и высокого духа, выпавшая нам на долю...

— Нам? Я не поддерживаю подобных связей.

— Дитя мое, они останутся при нас и будут сопряжены с нашим именем до третьего и четвертого колена, хотим мы этого или не хотим. И когда добрые люди докучают нам, движимые воодушевлением или просто любопытством, — ибо как здесь провести границу? — вправе ли мы скаредничать и резко отталкивать назойливых? Вот здесь-то и сказывается разли-

чле наших натур. И моя жизнь была су-
рова, и мне от многого приходилось отка-
зываться. Я была, думается мне, хорошей
женой твоему милому незабвенному отцу.
Я родила ему одиннадцать детей и девяти-
рых вырастила честными людьми — ведь
двоих у меня отнял господь. И я жертво-
вала собой, терпя и страдая. Но общи-
тельность или благодушие, как ты бы пре-
зрительно назвала это, мне ни в чем не
мешали. Жестокая жизнь меня не ожесто-
чила, повернуться спиной к такому Маге-
ру и сказать ему: дурень, оставь меня в
покое,— на это, воля твоя, я не способна.

— Ты так говоришь со мною, милая
мама,— возразила Лотта младшая,— слов-
но я позволила себе упрекать или даже
поучать тебя. А я ведь и рта не раскры-
вала. Мне только досадно, когда люди так
неумеренно испытывают твою доброту и
терпение и утомляют тебя своими востор-
гами, неужели ты мне и это поставишь в
вину?— Вот это платье,— сказала она,
вынимая из чемодана матери платье — бе-
лое с бантами, розоватыми бантами — и
расправляя его,— следовало бы прогладить,
прежде чем ты его наденешь. Оно не-
сколько измялось.

Надворная советница покраснела, что
как-то трогательно шло к ней, превраща-
ло ее лицо в миловидно-девическое: сра-
зу можно было себе представить, какую
она была в двадцать лет; ласковые голу-
бые глаза под ровными бровями, изящно
выточенный носик, приятный маленький
рот — в этом розоватом отсвете обрели на
несколько секунд всю свою прежнюю пре-
лесть; славная дочка амтмана¹, мать его
сироток, фея вольпертсгаузеновских балов
внезапно ожила в краске, залившей лицо
старой дамы.

Мадам Кестнер сняла плащ и стояла
теперь в платье, таком же белом, как и
то, более нарядное, которое дочь держала
перед ней. В теплую погоду (а дни стояли
еще почти летние) она из своенравного
пристрастия носила только белые платья.
Но то, что держала на вытянутых руках
ее дочь, было к тому же украшено блед-
но-розовыми бантами.

Невольно обе они отвернулись; старшая,
видимо, от платья, молодая — от краски,
набежавшей на лицо матери и сделавшей
его таким милым и молодым, что она по-
чувствовала досаду.

— Да нет же,— отвечала советница на
предложение Шарлотты.— К чему лишние

хлопоты! Этот креп превосходно отвесит-
ся в шкафу. Да и кто знает, соберусь ли
я вообще надеть его.

— Почему бы и нет,— произнесла
дочь,— и зачем же ты тогда привезла его?
Но именно потому, что ты безусловно на-
денешь его при той или иной okazji,
позволь мне, милая мама, еще раз спро-
сить тебя, не решишься ли ты все же
заменить эти несколько светлые банты на
лифе и рукавах более темными, пу, ска-
жем, лиловыми. Это можно сделать в одну
минуту.

— Ах, оставь меня, Лотхен! — возрази-
ла советница не без нетерпения.— Ты,
дитя мое, не понимаешь шуток. Хотела бы
я знать, чем тебе не по душе эта малель-
кая остроумная шутка, легкий намек и
знак внимания. Позволь тебе заметить,
что я редко встречала людей, до такой
степени лишенных чувства юмора, как ты.

— Не следует у кого бы то ни было,—
отвечала дочь,— кого не знаешь или зна-
ешь мало, предполагать это чувство.

Шарлотта старшая хотела еще что-то
возразить, но ей помешало возвращение
Клерхен, которая принесла горячую воду
и стала бойко докладывать, что камерист-
ка графини Лариш весьма приятная особа
и что они видимо споятся. К тому же этот
комичный господин Магер заверил ее, что
ей удастся увидеть господина библиотека-
ря Вульпиуса, шурина господина фон Гете
и автора дивного «Ринальдо», на его пути
в библиотеку, и даже полюбоваться на его
сынишку, названного Ринальдо в честь
героя знаменитого романа, когда тот пойд-
ет в школу.

— Вот и отлично,— сказала советни-
ца,— но время уже позднее, и пора тебе,
Лотхен, в сопровождении Клерхен отпра-
виться на Эсланнаду к тете Амалии, что-
бы сообщить ей о нашем прибытии. Она
еще не подозревает о нем и ждет нас
только к обеду или к вечеру, так как
думает, что мы задержались в Готе у Ли-
бенау, тогда как нам удалось увильнуть
от этого визита. Иди, дитя мое, пусть
Клерхен хорошенько разузнает дорогу. По-
целуй от меня свою милую тетю и подру-
жись за это время с кузинами. Мне, ста-
рой женщине, необходимо полежать часок-
другой. Я последую за вами, как только
немного отдохну.

Она поцеловала дочь, как был в знак
примирения, легким кивком головы отве-
тила на прощальный книксен горничной и
осталась одна. На подзеркальнике стояла
чернильница и лежали перья. Она села,
взяла листок бумаги, обмакнула перо и, со

¹ Амтман (нем.) — судебный пристав
при Окружном суде.

слегка трясущейся головой, быстро написала заранее приготовленные слова.

«Высокочтимый друг! Приехав навещать свою сестру и намереваясь пробывать несколько дней в вашем городе, я хотела бы представить вам свою дочь, не говоря уже о том, что для меня будет большой радостью снова взглянуть на лицо, ставшее миру столь драгоценным за долгие годы, прожитые каждым из нас по мере отпущенных ему сил. Веймар, Гостиница Слона, 22 сентября 16 года, Шарлотта Кестнер, рожденная Буфф».

Она посыпала бумагу песком, подождала немного, искусно сложила листок концами внутрь и написала адрес. Затем она дернула сонетку.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Шарлотта долго не находила покоя, к которому, собственно, и не очень стремилась. Правда, сняв платье и покрывшись пледом, она растянулась на одной из кроватей под маленьким балдахинном и, положив на глаза носовой платочек, чтобы защитить их от режущего света, — на окнах не было темных занавесей — смежила веки. Но при этом она скорее предалась своим мыслям, заставлявшим сильнее биться ее сердце, чем дремоте, требуемой голосом благоразумия; тем более, что именно неразумие представлялось ей доказательством и признаком ее внутренней несокрушимости, неподатливости годам, и втайне правилось ей. Слова, некогда написанные *и.м.* на прощальной записке: «А я, милая Лотта, счастлив, читая в ваших глазах веру в то, что я никогда не переменяюсь», это — религия нашей молодости, от которой мы никогда не отступаем. И то, что она выдержала испытание временем, то, что мы остались такими же, как были, и старость для нас наступила лишь телесная, внешняя, ибо ничто не властно над нашей душой, над этим неразумным, через долгие десятилетия пронесенным «я», — показатель, достойный наших лучших дней; в нем радостно хранимая тайна нашего старческого достоинства. Да, так становясь старой женщиной, сама насмешливо именуешь себя таковою и пускаешься в дорогу с двадцатидевятилетней дочерью, к тому же девятой из детей, рожденных тобою супругу. Но вот ты лежишь здесь, и сердце у тебя бьется как у школьницы перед сумасбродной шалостью. Шарлотта представила себе людей, которые найдут это очаровательным.

Но Лотхен младшую лучше было себе не представлять свидетельницей этого сердеч-

ного движения. Несмотря на примирительный поцелуй, мать не переставала на нее сердиться за «отсутствие чувства юмора» и критику, наведенную на платье и банты, по существу же относившуюся к этой, столь достойно и естественно обоснованной поездке, которую та назвала «экстравагантной». Неприятно возить с собой человека, слишком пронизательного, чтобы верить, будто вся поездка затеяна ради него, и расценивающего себя как предлог. Ибо неприятно и оскорбительно, когда на тебя смотрят столь пронизательно, вернее, косо, и из всех разнородных мотивов поступка видят только деликатно замалчиваемые и только их признают подлинными; благоприличные же и явно высказанные, как бы они ни были уважительны, считают пустыми отговорками.

Шарлотта с гневом ощутила оскорбительность такой — да может быть и всякой — психологии и не нашла ничего лучшего, как приписать ее дочерней черствости.

Разве таким «прозорливицам», думала она, нечего страшиться? Это палка о двух концах. Если вытащить на свет божий мотивы их «прозорливости», вряд ли они сведутся к одному правдолюбию. Горделивая холодность Лотхен, — и в нее можно взглядеться пронизательным взором, и она даст повод к различным толкам, не слишком благоприятным. Переживания, выпавшие на долю матери, пока что не были суждены этой разумной дочке, да, судя по ее натуре, вряд ли и будут суждены ей. Переживание вроде знаменитого тройственного союза, который начался так весело, так мирно, но затем из-за сумасбродства одного звена выродился в мучительный искус добродетельного сердца, чтобы однажды — о, горделивое отчаяние! — стать достоянием целого света, возвыситься до сверхжизнейского, обрести высшую форму существования и, как некогда девичье сердце, взбудоражить и смутить человечество, более того, привнести мир в опасное, как утверждалось, восхищение.

Дети жестоки, думала Шарлотта, и нетерпимы к личной жизни матери: из эгоистического пиэтета, способного любовь превратить в безлюбие и не делающегося более похвальным оттого, что к нему примешивается простая женская зависть — зависть к сердечной эпопее матери, под видом недовольства широкой славой этой эпопеи. Нет, благомыслящая Лотхен никогда не пережила того страшно прекрасного и преступно сладостного чувства, как

ее мать в вечер, когда муж уехал по делам и пришел *тот*, хотя ему и запрещено было показываться раньше сочельника; когда она напрасно посылала за подругами и вынуждена была остаться с ним вдвоем, а он читал ей из Оссиана и прервал чтение о страданиях героя, изнемогши от собственной муки; когда, отчаявшийся, он упал к ее ногам и прикладывал ее ладони к своим глазам, к своему измученному лбу, а она, движимая состраданием, пожимала его руки, и их пылающие щеки соприкоснулись, и мир, казалось, исчез в буре неистовых поцелуев, которыми его рот внезапно опалил с слабо сопротивляющиеся губы...

Тут ей пришло в голову, что и она этого не пережила. Это была та *великая действительность*, и сейчас, под платочком, она смешала ее с *малой*, в которой он вел себя не столь бурно. Неистовый юноша на деле похитил у нее лишь один поцелуй или, вернее, хотя это выражение не подходило к их тогдашнему состоянию, от души поцеловал ее — не то вихрь, не то меланхолик — за собираньем клубники, на солнце-пече, поцеловал быстро и горячо, вдохновенно и с ласковой жадностью, и она это допустила. Но затем она повела себя здесь, на земле, не хуже, чем там, в высококом мире, — да, именно потому она и могла навеки остаться там такой до боли благородной фигурой, что умела вести себя здесь так, что не заслужила бы укора и самой строгой дочки. Ибо, при всей его сердечности, это был поцелуй, смущающий и безумный, недозволенный и ненадежный. явившийся из другого мира, поцелуй принца-бродяги, для которого она была и слишком плоха, и слишком хороша. И если у бедного принца из страны бродяг на глаза и навернулись слезы, то она ведь с безупречным негодованием сказала: «Фу, как ему не стыдно! Пусть он остережется повторения, иначе дружбе конец! И это не останется между нами, я сегодня же расскажу обо всем Кестнеру». И как он ни молил ее промолчать, она в тот же вечер повинилась своему любезному, ибо ему надлежало знать: не то, что *тот* на это решился, но что *она* допустила это. И Альберт болезненно пережил ее рассказ, а затем в разговоре они, ввиду своей разумно нерушимой предназначенности друг для друга, решили крепче держать в узде третьего и заставить его уяснить себе истинное положение вещей.

Под закрытыми веками она еще сегодня, после стольких лет, с поразительной ясно-

стью видела физиономию, которую он построил при более чем сухом приеме, оказанном ему помолвленной парочкой на следующий, вернее, на третий день после поцелуя. Он пришел вечером, в десять, когда они сидели вдвоем перед домом, — с букетом цветов, принятым до того небрежно, что он бросил его наземь, а затем понес несусветный вздор и даже заговорил тропами. Какое длинное у него было лицо под напудренными и скатанными ушей волосами, с большим, печальным носом, легкой тенью усиков над женственным ртом и мягким подбородком, — и молящие карие глаза, казавшиеся маленькими по сравнению с носом, под на редкость красивыми шелковисто-черными бровями.

Таким он заглянул к ней на третий день после поцелуя, и она, в соответствии с принятым решением, в сухих словах попросила его раз и навсегда запомнить: ему не на что рассчитывать здесь, кроме доброй дружбы. Разве же он не знал этого? Почему при ее словах у него ввалились щеки, и он так побледнел, что глаза и шелковистые брови своей темнотою резко выступили на побелевшем лице? Приезжая подавила растроганную улыбку под своим платочком при воспоминании об этой наивно разочарованной мине, которую она в тот же вечер описала Кестнеру, что немало поспособствовало решению послать милому чудаку в день двойного рождения, его и Кестнера, в прославленный в веках день двадцать восьмого августа, вместе с карманной книжечкой Гомера также и бант, бант от платья, — пусть и у него будет что-нибудь...

Шарлотта покраснела под платочком, и ее шестидесятилетнее сердце школьницы забилося быстрее. Лотхен младшая еще не знала, что мать зашла в своей шутке так далеко и на приготовленном платье, повтореппи «платья Лотты», оставила пустым место подаренного банта: его не было, его место пустовало, ибо им владел *тот* отреченный, которому она с согласия жениха послала в утешение этот бант; тот, который покрывал бесценную памятку тысячам экзотических поцелуев... Сиделке брата Карла осталось бы только презрительно поджать губы, узнай она эту подробность материнской затеи. В память ее отца совершался этот замысел, честного, преданного, который не только одобрил подарок, но сам предложил его и, несмотря на все, что пришлось ему вынести по вине взбалмошного принца, плакал вместе со своей Лотхен, когда

уехал тот, кто едва не похитил лучшее его сокровище.

«Он уехал», сказали они друг другу, прочитав каракули, писанные ночью и на рассвете: «Я оставляю вас счастливыми и пребуду в ваших сердцах... Прощайте, тысячу раз прощайте!» «Он уехал», поочередно говорили они, и все дети в доме бродили как потерянные, печально твердя: «Он уехал!» Слезы выступили на глазах Лотты при чтении записки, но она могла плакать спокойно, ей нечего было таить от милого; ибо и его глаза увлажнились, и весь день он только и мог говорить, что о друге: какой это замечательный человек, иногда не без странностей, кое в чем неприятный, но до чего же шреисполненный гения и удивительного своеобразия, заставляющего сострадать ему, о нем заботиться и от души перед ним преклоняться.

Таков был *милый*. И с какой благодарностью потянуло ее прижаться к *нему* крепче, чем когда-либо, за то, что *он так* говорил и находил вполне естественными ее слезы *о том, уехавшем*. И вот теперь, когда она лежала с закрытыми глазами, в ее беспокойном сердце со всей теплотой обновилась эта благодарность; ее тело двигалось, словно прижимаясь к надежной груди, и губы ее повторяли слова, сказанные в тот день. «Хорошо, что он уехал», — бормотала она, этот извне явившийся третий, ведь все равно она не могла дать ему то, чего он хотел от нее. Он радовался этим словам, ее Альберт, почувствовавший превосходство и блеск ушедшего так же сильно, как и она, так сильно, что он начал сомневаться в их совместном разумно ясном счастье и однажды, в письме, пожелал вернуть ей данное слово, чтобы она могла свободно выбрать между ним и принцем. И она выбрала — но было ли это выбором? — опять же *его*, положительного, суженого и предназначенного, своего Ганса Христиана, — не потому только, что любовь и верность были сильнее искушения, но и в силу неодолимого страха перед таинственной сущностью другого, — перед чем-то противообычным и житейски ненадежным в его натуре, чему она не могла и не смела подыскать название и нашла лишь позднее в его же собственном жалобно-покаянном признании: «Выродок без цели и покоя»... Как странно, что этот выродок мог быть таким славным и открытым, таким простодушным, что дети искали его и плакали: «Он уехал!»

Множество летних картин той поры

проходило перед ее воображением, вспыхивало в свежей, ярко солнечной живости и вновь потухало. Сцены втроем, когда Рестер, рано освободившись, мог побыть с ними: прогулки по горному хребту, когда они любовались извивавшейся по лужайкам рекою, холмистой долиной, чистенькими деревушками, дворцом и сторожевой башней, монастырскими стенами и руинами замка, и *тот*, радуясь совместному наслаждению всем чудным изобилием мира, говорил о высоких материях и тут же так неистово дурачился, что жених с невестой едва двигались от смеха. Часы чтения в доме и на лугу, когда он читал им своего излюбленного Гомера или Песнь о Фингале¹ и вдруг, объятый чем-то вроде вдохновенного гнева, швырнул книгу и ударил кулаком по столу и тотчас, заметив их недоумение, разразился веселым смехом... Сцены вдвоем, между ним и ею, когда он помогал ей по хозяйству, срезал бобы в огороде или собирал с нею яблоки в саду Немецкого орденского дома — славный малый и добрый товарищ. Одного взгляда или строгого слова было достаточно, чтобы одернуть его, когда он хотел предаться горестным излипаниям. Она видела и слышала все это, себя, его, жесты и выражения лиц, возгласы, наставления, рассказы, шутки, «Лотта!» и «голубка Лотхен!» и «Пора ему оставить эту чепуху! Пусть лезет наверх и сбрасывает яблоки в мою корзину». Но удивительно было то, что вся отчетливость и ясность этих картин, вся исчерпывающая полнота деталей шла, так сказать, не из первых рук; что память, вначале неспособная удерживать все эти подробности, лишь позднее, часть за частью, слово за словом возродила их. Они были отысканы, реконструированы, заботливо восстановлены со всеми их «вокруг да около», до блеска отполированы и как бы залиты огнем светильников, зажженных перед ними во имя того значения, которое они нежданно-негаданно получили в дальнейшем.

В учащемся бдении сердца, ими вызванным, этом естественном следствии путешествия в страну юности, они начали сливаться, перешли в замысловатую нелепицу сновидения и растворились в дремоте, после рано начатого дня и дорожной тряски на добрых два часа объявшей шестидесятилетнюю женщину.

Покуда Шарлотта спала, забыв о своих волнениях, о чужой гостиничной комнате, где она лежала, этой прозаической стан-

¹ Средневековый шотландский эпос.

ции на пути в страну юности, на придворной церкви святого Иакова пробило десять и половина одиннадцатого, а она все продолжала спать. Проснулась она, прежде чем ее разбудили, от подсознательного ощущения приближающейся извне помехи, невольно торопясь предупредить ее. Может быть, она отнеслась бы к ней менее настороженно, если б не предчувствие, что ее сон будет нарушен не нетерпеливой сестрой, но вестью из другой, более волнующей сферы.

Она села, взглянула на часы, немного испугалась позднего времени, ничего другого не имея в мыслях, кроме того, что ей надо спешно отправляться к родственникам. Но едва она начала приводить в порядок свой туалет, как в дверь постучались.

— Что там такое?—спросила она несколько досадливым и жалобным голосом.— Сюда нельзя!

— Это только я, госпожа советница,— отвечали за дверь.— Я, Магер. Прошу прощения, госпожа советница, за беспокойство, по дело в том, что одна дама, мисс Казл из девятнадцатого номера, английская дама, проживающая у нас...

— Ну, и что же дальше?

— Я не посмел бы нарушить покой госпожи советницы,— продолжал Магер,— но мисс Казл, узнав о пребывании госпожи советницы в нашем доме и городе, покорнейше просит уделить ей хотя бы несколько минут.

— Скажите этой даме,— отвечала Шарлотта у двери,— что я не одета и, как только оденусь, должна буду немедленно уйти. Передайте мои сожаления.

Но как бы вразрез со своими словами, она накинула на себя пудермантель, решив отразить нападение: в случае неудачи ей все же не хотелось быть застигнутой врасплох.

— Мне не надо будет передавать это мисс Казл,— отвечал Магер из коридора.— Она сама слышит, так как стоит рядом со мной. Дело в том, что мисс Казл крайне необходимо хотя бы на минутку зайти к госпоже советнице.

— Но я не знаю этой дамы!—с сердцем воскликнула Шарлотта.

— Именно поэтому, госпожа советница,— возразил кельнер,— мисс Казл и считает крайне важным для себя незамедлительно познакомиться, хотя бы в самой беглой форме, с госпожой советницей. She wants to have just a look at you, if you please¹,— произнес он, столь ис-

¹ Она хотела бы взглянуть на вас, с вашего разрешения (англ.).

кусно артикулируя ртом и как бы перевоплощаясь в просительницу, что для нее это послужило сигналом самой взяться за дело, изъяв его из рук посредника; ибо за дверью тотчас же послышалась взволнованная тарабарщина ее высокого детского голоса, поток слов отнюдь не прекращающийся, но под отчетливые «most interesting» и «highest importance»¹ неужелимо льющийся дальше; так что осажденная почла за благо сложить оружие. Шарлотта отнюдь не намеревалась облегчать им, предупредительно перейдя на английский язык, хищение ее времени и все же была достаточно немкой, чтобы объяснить свою капитуляцию полусушительным «Well, come in, please»², и тотчас же рассмеялась на магерово «thank you so very much»³, с которым он распахнул дверь и, в низком поклоне перевесившись через порог, впустил мисс Казл.

— Oh dear, oh dear⁴,— воскликнула маленькая женщина приятной и веселой наружности.— You've kept me waiting, вы заставили меня ждать, but that is as it should be⁵. Мне временами требовалось куда больше терпения, чтобы добиться цели. I am Rose Cuzzle. So glad to see you⁶.— Ей только что стало известно через горничную, объясняла она, что миссис Кестнер сегодня приехала в этот город и стоит в той же гостинице, через два номера от нее, и она без долгих размышлений отправилась нанести ей визит. Она отлично знает («I realise»), сколь важная роль принадлежит миссис Кестнер in German literature and philosophy⁷. Вы знаменитая женщина, a celebrity, and that is my hobby, you know, the reason I travel⁸. Не даст ли dear миссис Кестнер любезного разрешения на скорую руку набросать ее очаровательное лицо вот в этом альбоме для зарисовок?

Альбом она держала подмышкой — широкого формата, в холщевом переплете. Над ее лбом пылали красные локоны, красным казалась и ее лицо с веснушчатым вздернутым носом, толстыми, по приятно очерченными губами, открывавши-

¹ Весьма интересно; чрезвычайно важно (англ.).

² Войдите пожалуйста (англ.).

³ Покорно благодарим (англ.).

⁴ О, дорогая, дорогая (англ.).

⁵ Но это несущественно (англ.).

⁶ Я — Роза Казл. Счастлива видеть вас (англ.).

⁷ В немецкой литературе и философии (англ.).

⁸ Знаменитость, а это моя специальность и цель моих путешествий (англ.).

ми белоснежные здоровые зубы; глаза у нее были сине-зеленые, тоже весьма приятные и время от времени косившие. На ней было платье à la grèssque из легкой цветистой материи, избыток которой она держала переброшенным через руку; ее грудь, такая же веснушчатая, как и нос, казалось вот-вот весело выкатится из глубокого выреза платья. Прозрачная шаль прикрывала ее плечи. По виду Шарлотта дала ей лет двадцать пять.

— Дитя мое, — произнесла она, несколько уязвленная в своих бюргерских понятиях бойкой эксцентричностью этой особы и все же готовая проявить светскую терпимость, — милое дитя, я весьма польщена интересом, который внушает вам моя скромная особа. Позвольте также добавить, что ваша решительность мне очень понравилась. Но вы видите, как мало я подготовлена к приему гостей, а тем более к позированию для портрета. Я собираюсь уходить, мои милые родственники уже ждут меня. Я очень рада знакомству с вами, хотя бы и беглому, как вы сами предложили, и на чем мне, к сожалению, приходится настаивать. Мы видели друг друга — все остальное шло бы уже вразрез с уговором. Итак, позвольте одновременно с приветствием пожелать вам всего наилучшего.

Неизвестно, поняла ли мисс Казл ее слова; во всяком случае она не обратила на них ни малейшего внимания. Продолжая величать Шарлотту «dear» и быстро двигая забавными толстыми губами, она неуверенно пыталась втолковать ей на своем непринужденном и юмористически светском языке смысл и цель своего визита, познакомить ее со своим деятельным существованием страстного следопыт-коллекционера.

Собственно она была ирландка. Она путешествовала, делая зарисовки, причем цель и средства с трудом поддавались различию. Видимо ее талант был недостаточен велик, чтобы не искать поддержки в сенсационности объекта; живость же и практическая сметка слишком велики, чтобы удовлетвориться терпеливым совершенствованием своего искусства. А потому ее постоянно видели в погоне за звездами современной истории или в поисках прославленных местностей, которые заносились в ее альбом, по мере возможности скрепленные удостоверениями подписями. Шарлотта дивилась, слушая, где только ни побывала эта девушка. Аркольский мост, афинский Акрополь; дом, где родился Кант в Кенигсберге, она зарисовала

углем. Сидя в шаткой лодчонке, прокат которой ей обошелся в 50 фунтов, она запечатлела на Плимутском рейде императора Наполеона, когда он, после торжественного обеда, появился с табакеркой в руке на палубе «Беллерфонта». Рисунок вышел неважный, она сама в этом признавалась: невообразимая толча я лодок, наполненных кричащими «ура» мужчинами, женщинами, детьми, качка, а также краткость императорского пребывания на палубе весьма отрицательно отозвались на ее работе; и сам герой, в треуголке и расстегнутом сюртуке с развевающимися фалдами, выглядел как в кривом зеркале: приплюснутым сверху и комично раздавшимся в ширину. Несмотря на это, ей все же удалось через знакомого офицера исторического корабля заполучить его подпись или, вернее, торопливую каракулю, которая должна была сойти за таковую. Герцог Веллингтон удостоил ее той же чести. Превосходную добычу дал Венский конгресс. Необыкновенная быстрота, с которой работала мисс Казл, позволяла самому занятому человеку удовлетворить между делом ее притязания. Так поступили: князь Меттерних, господин Талейран, лорд Каслри, господин фон Гарденберг и многие другие представители европейских держав. Царь Александр признал и скрепил подписью свое курносое изображение, вероятно потому, что художнице удалось из жидких волос, торчащих вокруг его лысины, создать некое подобие лаврового венца. Портреты Рахели фон Варнгаген, профессора Шеллинга и князя Блюхера фон Вальштадт доказывали, что время не было ею потеряно даром и в Берлине. Она везде умела его использовать. Холщевый переплет ее альбома скрывал немало других трофеев, которые она с оживленными комментариями показывала опешившей Шарлотте. В Веймар ее привлекла слава этого города, of this nice little place¹, как средоточия прославленной немецкой культуры, — для нее он был полем охоты за знаменитостями. Она сожалела, что поздно выбралась сюда. Old² Виланд, а также Гердер, которого она называла great preacher³, и the man who wrote the «Brigands»⁴, умерли и таким образом ускользнули от нее. Правда, в ее записках значилось, что здесь все еще живут писатели, на которых стоит поохотиться, как, например, господина Фальк

¹ Этого прелестного уголка (англ.).

² Старый (англ.).

³ Великий проповедник (англ.).

⁴ Человек, который написал «разбойников» (англ.).

и Шютце. Вдову Шиллера она уже започнула в альбом, а также мадам Шопенгауэр и нескольких наиболее известных актрис придворного театра, к примеру Энгельс и Лорцинг. До госпожи фон Гейгендорф, собственно Ягеманн, ей еще не удалось добраться. Но она тем настойчивее стремилась к этой цели, что надеялась через посредство прекрасной фаворитки открыть себе доступ и ко двору. Кое-какие зацепки для проникновения к великой княгине, супруге наследного принца, у нее уже имелись. Что касается Гете, чье имя, как, впрочем, и большинство имен, она выговаривала столь ужасно, что Шарлотта долго не понимала, о ком, собственно, идет речь, то она и здесь уже напала на след, хотя дичь еще пряталась в кустах. Весть, что знаменитая «модель» героини прославленного романа с сегодняшнего утра находится в городе, в том же отеле, чуть ли не в соседнем номере, наэлектризовала ее не только из-за самого объекта, но и потому, что благодаря этому знакомству, — откровенно призналась она, — можно будет убить двух зайцев сразу: вертерова Лотта без сомнения откроет ей дорогу к автору «Фауста»; а последнему стоит замолвить слово, чтобы перед ней распахнулись двери госпожи Шарлотты фон Штейн. Об отношении этой лэди к образу Ифигении в ее записной книжке, в отделе German literature and philosophy¹ значилось кое-что для памяти, что она, ничтоже сумняшеся, и показала ее тезке из царства преобразов.

Случилось так, что Шарлотта, в своем белом пудермангеле, вместо предусмотренных нескольких минут, просидела с Розой Казл добрых три четверти часа. Увлеченная наивной прелестью и веселой энергией малютки, подавленная всем величием выслеженного и присвоенного ею, она не знала, позволить ли себе видеть налет пошлости в этом художественном спорте или же на все это посмотреть сквозь пальцы, так как ей все же льстило причисление ее к большому свету, дыханием которого повеяло от «охотничьих записок» мисс Казл, и приятие ее в сонм славных запечатленных на этих страницах; короче — жертва своей общительности, она сидела в одном из обитых кретоном кресел, с улыбкой прислушиваясь к болтовне странствующей художницы, которая рисовала ее, примостившись напротив.

Она делала это виртуозными, слышными

¹ Немецкая литература и философия (а н г л.).

штрихами, видимо, не всегда столь же удачными, сколь уверенными, так как она часто, впрочем без всякой нервозности, стирала их большой резинкой. Приятно было встречать взгляд ее слегка косящих глаз, непричастных ее рассказам. Веселую бодрость вселял вид ее округлых грудей, белоснежных зубов и оттопыренных губок, рассказывавших о далеких странах, о встречах с знаменитыми людьми. Ситуация была в одинаковой мере безобидна и интересна, — вот почему Шарлотта на малый срок позабыла, как сильно она запаздывает. Если бы Лотхен младшая и подождовала на этот визит, заботу о душевном состоянии матери она бы здесь не смогла выставить истинной причиной своего недовольства. Нескромности со стороны этой маленькой представительницы англо-саксонской расы опасаться не приходилось; она была ей несвойственна. Это успокаивало и соблазняло общаться с нею. Говорила она одна, Шарлотта с улыбкой слушала ее. Развеселившись, она от души посмеялась над одной из историй, которую Роза протараторила, не прерывая работы: однажды, в горах Аbruции, ей удалось включить в свою коллекцию разбойничьего атамана по имени Бокаросса, и этот прославленный своею храбростью и жестокостью бандит, растроганный ее вниманием и по-детски обрадованный своим воинственным изображением, приказал разбойникам отдать салют в честь мисс Розы из их воронкообразных коротких ружей и под надежным эскортом выроводил ее за пределы действий своей шайки. Шарлотту немало позабавила дикая и, как она решила, довольно тщеславная рыцарственность ее соседа по альбому. Все еще смеясь и слишком увлеченная, чтобы удивиться тому, что он вдруг оказался в комнате, она подняла глаза на Магера, многократный стук которого они за разговором и смехом не расслышали.

— Beg your pardon¹, — сказал он. — Очень сожалею, что нарушил собеседование, но господин доктор Риммер просит передать, что он был бы весьма счастлив засвидетельствовать свое почтение госпоже советнице.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Шарлотта торопливо привстала.

— Это вы, Магер? — растерянно спросила она. — Что случилось? Господин доктор Риммер? Какой такой доктор Риммер? Уж не

¹ Прошу прощения (а н г л.).

докладываете ли вы о новом госте? Что вам взбрело в голову? Это же невозможно! Который теперь час? Так поздно! Милое дитя,— обратилась она к мисс Розе,— нам необходимо закончить нашу дружескую беседу. На кого я похожа? Мне надо одеться и уйти. Ведь меня ждут! Всего хорошего! А вы, Магер, скажите этому господину, что я не могу его принять, что я уже ушла...

— Слушаюсь,— отвечал Магер, покуда мисс Казл спокойно продолжала заниматься своим делом.— Слушаюсь, госпожа советница. Но я не хотел бы выполнить приказание госпожи советницы, не убедившись, что ей известно тождество господина...

— Какое там еще тождество!— всерьез воскликнула Шарлотта.— Да оставите ли вы меня, наконец, в покое с вашими тождествами? У меня нет на них времени, скажите этому господину...

— Незамедлительно,— покорно согласился Магер.— Но я все же считаю своим долгом поставить госпожу советницу в известность, что речь идет о господине Римере, докторе Фридрихе Вильгельме Римере, секретаре и доверенном лице его превосходительства господина тайного советника. Не исключено, что господин доктор является посланцем...

Опешившая Шарлотта покраснела и заметно усилившимся дрожанием головы взглянула на него.

— Ах, так,— нерешительно произнесла она,— но, все равно, я не могу принять этого господина, я никого не могу принять. Право же, не понимаю, о чем вы собственно думали, предполагая, что я его приму! Вы контрабандой ввели ко мне мисс Казл, а теперь хотите, чтобы я, полуодетая, среди всего этого беспорядка принимала еще и доктора Римера?

— Это устроится,— возразил Магер,— у нас в первом этаже имеется гостиная. В надежде на согласие госпожи советницы, я попросил господина доктора подождать там, покуда госпожа советница закончит свой туалет, и затем хотел просить позволения госпожи советницы проводить ее туда на несколько минут.

— Надеюсь,— сказала Шарлотта,— что речь идет все же о других минутах, чем те, которые я посвятила этой очаровательной барышне. Милое дитя,— обратилась она к Казл,— вы сидите и рисуете... Вы видите мое положение! Благодарю вас за приятную встречу, но то, что вы еще не успели нарисовать, вам, к сожалению, придется восстановить по памяти...



Шарлотта Кестнер

Ее предупреждение оказалось излишним. Мисс Роза с широкой улыбкой объявила, что она готова.

— I'm quite ready¹,— воскликнула она, держа свое произведение в вытянутой руке и, прищурившись, разглядывая его.— I think, I did it well². Хотите посмотреть?

Скорей этого хотел Магер, который тотчас же приблизился.

— Весьма ценный рисунок,— решил он с видом знатока.— И документ большого значения.

Шарлотта, озабоченная приведением в порядок своего туалета, едва взглянула на свежее возникшее произведение искусства.

— Да, да, очень мило,— пробормотала она.— Это я? О, да, конечно, я замечаю сходство. Мою подпись? Давайте сюда — только поскорей.

И она, не присаживаясь, начертала углем свою подпись, по беглости не уступавшую наполеоновской, торопливым кивком ответила на прощальное приветствие ирландки и велела Магеру просить господина Римера набраться терпения еще на несколько минут.

Когда она, одетая для выхода, в шляпе и мантилье, с ридикюлем и зонтиком в руках, покинула свою комнату, Магер уже дожидался ее в коридоре. Он проводил ее

¹ Я совершенно готова (англ.).

² Думается, оно мне удалось. (англ.).

вниз по лестнице и в первом этаже, по своему обыкновению пропуская ее вперед, распахнул дверь в гостиную. При ее появлении посетитель поднялся со стула, рядом с которым стоял его цилиндр.

Доктор Ример — человек лет сорока, среднего роста, с густыми, зачесанными на виски каштановыми волосами, уже слегка поседевший, с широко расставленными и выпуклыми глазами, с прямым мясистым носом и мягким ртом, вокруг которого залегала какая-то брюзгливая недовольная складка, — был одет в коричневый сюртук с высоким воротником, подпирившим его затылок, и пикейный жилет, в вырезе которого виднелись скрещенные концы галстука. Его белая рука, украшенная кольцом-печаткой, сжимала набалдашник трости с болтавшейся на нем кисточкой. Голову он держал несколько набок.

— Ваш покорный слуга, госпожа советница, — кланяясь, произнес он звучным носовым голосом. — Не могу не упрекнуть себя за мое непростительно нетерпеливое вторжение. Такое отсутствие самообладания, беспорно, менее всего подобает наставнику юношества. Но что поделаешь, если время от времени во мне аукнется поэт; слух о вашем прибытии, разнесшийся по городу, пробудил во мне непреодолимое желание тотчас же засвидетельствовать вам свое почтение, приветствовать в наших стенах женщину, чье имя столь тесно связано с отечественной историей, я бы даже сказал — с формированием наших сердец.

— Господин доктор, — проговорила Шарлотта, отвечая на его поклон не без церемонной обстоятельности, — внимание человека ваших заслуг нам весьма лестно.

То, что эти заслуги были ей несколько темны, приводило ее в замешательство. Она обрадовалась напоминанию, что он является воспитателем юношества, и новой для нее вести, — что он поэт. Но в то же время эти сведения пробудили в ней нечто вроде досады или нетерпения, так как они оттесняли основное и решающее качество этого человека — его высокое служение *тому*. Она тотчас же почувствовала, сколь важно для гостя, чтобы значение и достоинство его особы не исчерпывались этим обстоятельством, — и сочла это пустым чудачеством. Должен же он по крайней мере понимать, что для нее его значение определялось одним: вестник ли он *оттуда* или нет? Она решила деловито направить разговор на разрешение этого вопроса и, довольная, что ее наряд не

оставлял в том никаких сомнений, продолжала:

— Разрешите поблагодарить вас за то, что вы называете вашим нетерпением и что я считаю рыцарственным порывом. Правда, меня удивляет, что дело столь частного характера, как мой приезд в Веймар, уже дошло до вас. Я спрашиваю себя, кто мог сообщить вам это известие? Надеюсь, моя сестра, камеральная советница, — торопливо добавила она, — на пути к которой вы меня застаете, скорее простит мне мое опоздание, узнав о столь приятном посещении, а также о другом, ему предшествовавшем, хотя и не столь лестном, по достаточности забавном: я говорю о визите одной странствующей художницы, почему-то пожелавшей как можно скорей нарисовать портрет старой женщины, с чем, насколько я понимаю, она справилась довольно относительно... Но не лучше ли нам присесть?

— Так, так, — отвечал Ример, продолжая держаться за спинку стула, — повидимому госпоже советнице пришлось столкнуться с одной из тех недостаточно уравновешенных натур, которые несколькими штрихами хотят создать слишком многое.

Мне лишь в наброске удалось запечатлеть живое, —

с улыбкой процитировал он. — Но я вижу, что меня опередили, и если я чувствую себя до известной степени утешенным, узнав, что другие разделили со мной мое нетерпение, то тем более сознаю необходимость умеренно пользоваться благоприятным моментом. Правда, цель тем заманчивее для человека, чем труднее достичь ее, а потому, госпожа советница, признаюсь, мне будет трудно тотчас же отказаться от счастья видеть вас, ибо не так-то легко было проложить себе к вам дорогу!

— Нелегко? — удивилась она. — Мне кажется, что человек, которому здесь дана власть вязать и разрешать, а именно наш господин Магер, отнюдь не похож на чербера.

— Пожалуй, — согласился Ример. — Но да убедится госпожа советница самолично.

С этими словами он подвел ее к окну, выходящему, как и окно ее спальни, на базарную площадь, и приподнял накрахмаленную гардину.

Площадь, в час ее приезда по-утреннему пустынная, теперь была полна людей, стоявших кучками и глазевших на окна гостиницы. Особенно заметна была толчея у входа, где два фельдфебеля старались

оттереть от дверей непрерывно умножавшуюся толпу, которая состояла из ремесленников, торгового люда, женщин с детьми на руках, а также солидных бюргеров.

— Боже милосердный! — проговорила Шарлотта, и голова ее при взгляде в окно снова задрожала. — На кого они смотрят?

— На кого же, как не на вас, — отвечал доктор. — Слух о вашем прибытии распространился с молниеносной быстротой. Смею вас заверить, да впрочем вы, госпожа советница, видите это сами, что город стал похож на разворошенный муравейник. Каждый надеется уловить хоть отблеск вашего сияния. Эти люди у ворот ждут, когда вы выйдете из дому.

Шарлотта ощутила потребность опуститься в кресло.

— Бог ты мой! — сказала она. — И это мне удружил тот же несчастный энтузиаст Магер. Он развонил во все колокола о нашем приезде. И надо же было, чтобы эта странствующая рисовальщица помешала мне уйти, покуда выход был свободен! А эти люди там внизу, господин доктор, — неужто они не нашли ничего лучшего, как осадить квартиру старой женщины, отнюдь не расположенной изображать из себя какое-то чудище и мечтавшей только мирно предаться своим частным делам?!

— Не сердитесь на них, — сказал Ример. — Этот натиск свидетельствует о чувствах более благородных, нежели простое любопытство, а именно о наивной преданности наших жителей высшим интересам науки, о популярности духовного начала, не делающей менее трогательной и отрадной, даже если к ней и примешиваются известные экономические соображения. Разве мы не должны радоваться, — продолжал он, возвращаясь со смятенной Шарлоттой в глубину комнаты, — если толпа, согласно ее собственному примитивному убеждению, извечно презирающая дух, приходит к почитанию этого духа единственно доступным ей путем — признанием его полезности? Наш многопосещаемый городок извлекает немало ощутимой пользы из поклонения немецкому гению, который для всего мира концентрируется в нем, для нас же, здешних жителей, в свою очередь, сосредоточивается в одном лице. Так поразительно ли, что наши веймарцы привыкли уважать то, что прежде казалось им вздором, и ныне почитают гуманитарные науки и все с ними связанное за свой кровный интерес, причем они, конечно, — ибо творения духа недоступны им так же, как всякой другой толпе, — преклоняются прежде всего перед личностями,



Фридрих Вильгельм Ример

благодаря которым или ради которых возникли эти творения.

— Мне кажется, — возразила Шарлотта, — вы одной рукой даете этим людям то, что другой от них отнимаете. Вы, видимо, хотели объяснить их столь тягостное для меня любопытство высокими побуждениями, но тут же подвели материально-корыстную основу под их благородный порыв, а это уже ничуть не утешает меня и даже кажется мне обидным.

— Уважаемая, — сказал он, — о столь двусмысленном создании, как человек, едва ли можно говорить недвусмысленно, и, право же, такая его оценка ничуть не погрешает против гуманности. Мне думается, что видеть не только положительные и отрадные проявления жизни, но и ее изнанку, с подчас непрезентабельными шероховатостями и прозаическими стежками, отнюдь не значит быть мрачным мизантропом, а скорее — другом всего живущего. Я имею все основания заступаться за этих зевак, там у ворот, ибо только мое достаточно высокое общественное положение разнит меня от них, и не стой я сейчас по счастливой и завидной случайности здесь перед вами, я смешался бы с толпой там внизу. Порыв, приведший ее сюда, определил, пусть несколько в более возвышенном и утонченном виде, и мое поведение, когда час назад мой парикмахер,

за бритьем, сообщил мне городскую сенсацию: в восемь часов утра прибыла в почтовой карете и остановилась в «Слоне» Шарлотта Кестнер. Я знал так же хорошо, как он, как весь Веймар, знал и глубоко чувствовал, что значит это имя. Мне больше не сиделось в моих четырех степях, и прежде нежели я успел дать себе отчет в своих действиях, я уже был одет и поспешил сюда, засвидетельствовать вам мое почтение — почтение незнакомца с родственной судьбой, даже брата, чье существование, на иной, мужской лад, также причастно великой жизни, перед которой склоняется мир, — передать вам братский привет человека, чье имя, имя друга и помощника, грядущие поколения вынуждены будут упоминать всякий раз, когда речь пойдет о геркулесовых подвигах титана.

Шарлотте, несколько неприятно задетой, показалось, что при этих тщеславных словах складка вокруг губ доктора Римера углубилась, словно в его претенциозном требовании к потомству уже заключалось сомнение в том, что оно таковое выполнит.

— Ай, ай, — сказала она, взглянув на гладко выбритое лицо ученого мужа. — Ваш парикмахер, видимо, болтлив! Ну, да это свойственно его профессии. Но всего час назад? Похоже, господин доктор, что я познакомилась с любителем сладко поспать.

— Не смею запыряться, — ответил он с несколько понурой улыбкой.

Они сели на стулья с резными спинками, у столика, под портретом великого герцога, на котором он был изображен еще юношей, в высоких сапогах и при орденской ленте, облокотившимся на античный постамент, отягощенный всевозможными воинственными эмблемами. Гипсовая Флора в складчатой тунике украшала скупо мебелированную, но украшенную богатым мифологическим орнаментом комнату. Белая колоннообразная печка, обвитая мраморной гирляндой, в противоположной нише являла собою как бы pendant к богине.

— Не смею запыряться, — продолжал Ример, — в этой моей слабости к утреннему сну. И если бы можно было сказать: «придерживаешься» слабости, я выбрал бы именно это выражение. Не покидать постели при первом крике петуха — дополнительная привилегия свободного человека, занимающего видное общественное положение. Я позволял себе роскошь спать до наступления дня, даже когда проживал на Фрауенплане, — хозяин дома должен был предоставить мне эту вольность, хотя сам

он, в соответствии со своим точным, чтобы не сказать педантическим, культом времени, начинал день несколькими часами раньше, чем я. Мы, люди, устроены не одинаково. Один находит удовлетворение в том, чтобы опережать других, и садится за работу, когда весь дом еще спит, другой любит побарствовать и понежиться в объятиях Морфея, даже когда докучная необходимость уже стучится в дверь. Главное в толерантном отношении друг к другу, — а в уметь быть толерантным учителем, надо сознаться, истинно велик, хотя от этой его толерантности иногда и становится не по себе.

— Не по себе? — обеспокоенно переспросила она.

— Разве я сказал: не по себе? — удивился Ример, рассеянно оглядывавший комнату, и воззрился на нее своими широко расставленными, чуть выпуклыми глазами. — В его близости чувствуешь себя хорошо, — разве иначе человек столь нервной организации, как я, мог бы девять лет, почти несменяемо, состоять при нем? Хорошо, очень хорошо. Правда, некоторые высказывания нуждаются сначала в решительном преувеличении, чтобы затем так же настоятельно воззвать к ограничению. Это крайность, включающая в себя свою противоположность. Уважаемая, правда не всегда довольствуется логикой; чтобы отступить от нее, приходится то тут, то там себе противоречить. Утверждая это, я не более как ученик того, о ком мы говорили и от которого нередко слышишь высказывания, содержащие в себе свою противоположность, — из любви к правде или из своеобразного вероломства — этого я не знаю и знать не могу. Хочу предположить первое, он и сам считает, что куда труднее и честнее умиротворить людей, чем смутить их... Я боюсь отклониться в сторону. Что касается меня, то я не поступаюсь правдой, говоря о великом счастье, которое испытываешь вблизи от него, — хотя и здесь наталкиваешься на мучительную противоположность, тяжелое чувство, до такой степени тяжелое, что трудно становится усидеть на стуле и так и порываешься бежать. Дражайшая госпожа советница, это прочные противоречия, они держатся девять лет, тринадцать лет, ибо их сменяют любовь и восхищение, которые, как гласит Писание, превыше разума...

Он запнулся. Шарлотта молчала, во-первых, потому что ждала продолжения, а во-вторых, потому что мысленно сравнивала его одновременно уклончивые и уязвленно-

уязвляющие вести из того далекого мира со своими воспоминаниями.

— Что касается его терпимости,— начал он снова,— чтобы не сказать: склонности к попустительству,— видите, я рассуждаю вполне логично и отнюдь не теряю нить,— то здесь надо различать между толерантностью, порождаемой смирением,— я имею в виду христианское, в широком смысле христианское чувство собственной погрешности, потребности в индульгенции,— нет, даже не это; в сущности, я говорю о различии между толерантностью, порождаемой любовью, и другой, которая вызвана равнодушием, небрежением и ранит больше любой строгости и нетерпимости, которая, исходя она от бога, была бы невыносимой и уничтожающей, но и тогда, по всем нашим понятиям, в ней оставалась бы доля любви,— а здесь и этого нет,— такая терпимость в равной мере состоит из любви и презрения и ничего божественного в себе не имеет; может быть потому-то ее не только терпят, ей предаются в пожизненное рабство... Что я хотел сказать? Не напомните ли вы мне, почему мы об этом заговорили? Сознаюсь, на мгновение я все-таки утратил нить...

Шарлотта смотрела, как он сидел, скрепив свои коленные руки на набалдашнике трости и уставившись в пространство напруженными воловьими глазами, и вдруг поняла отчетливо и ясно, что он пришел не ради нее, но воспользовался ею как предлогом, чтобы поговорить о своем господине и учителе и, быть может, таким путем приблизиться к решению долголетней загадки, тяготевшей над его жизнью. Она внезапно ощутила себя в роли Лотхен-дочери, прозавшей все предлоги и поводы и презирающей всяческой благой самообман. Она почти готова была просить у нее прощения, ибо, говорила она себе, мы неповинны в своей прозорливости, навязанной нам извне и вопреки нашей воле. Сознание, что тобою пользуются как «средством», тоже не очень лестное сознание. И все же ей не в чем упрекнуть этого человека, ибо она его приняла также не ради него, как не ради нее пришел он к ней. Ведь и ее привело сюда беспокойство, вечно тревожащее воспоминание о неразгаданном и нечаянно разросшемся «прошлом», неодолимое желание оживить его и «экстравагантно» связать с настоящим. Они были в известной мере соучастники, гость и она, сошедшие здесь во имя того, третьего, мучительно счастливающего, того, что держало их обоих в болезненном напряжении, в понимании чего и

возможной разгадке они могли взаимно помочь друг другу. Она натянуто улыбнулась и сказала:

— Ничего нет удивительного, мой милый господин доктор, что вы теряете нить разговора, раз вы пускаетесь по поводу такой невинной и маленькой слабости, как любовь хорошенько поспать, в столь пространные рассуждения и разбирательства. Ученый, сидящий в вас, сыграл с вами шутку. Но на чем мы остановились? Вы могли потакать этой слабости, как вам угодно было выразиться,— я бы просто назвала ее привычкой,— в той вашей прежней должности, но ведь теперь, если я не ошибаюсь, вы на казенной службе в качестве преподавателя здешней гимназии, не правда ли? Как же вам удастся совместить это пристрастие, которому вы, видимо, придаете значение, с вашей нынешней деятельностью?

— С грехом пополам,— отвечал он, закидывая ногу на ногу и кладя на колени трость, которую он теперь держал за оба конца,— ввиду прежней моей должности, несравненно более видной и слишком хорошо известной, чтобы не списать мне этого уважения. Госпожа советница совершенно права,— добавил он, принимая более сдержанную позу, ибо прежнюю считал не совсем подобающей и принял ее лишь на минуту, в знак уважения к собственной персоне,— уже четыре года, как я служу в здешней гимназии и живу своим домом. Соображения, потребовавшие этой перемены, были неоспоримы. При всех духовных и материальных преимуществах моего житья в доме великого человека, для меня, уже достигшего тридцатидевятилетнего возраста, было в известной мере делом мужской чести — этого наиболее уязвимого из чувств, моя уважаемая,— так или иначе встать на собственные ноги. Я говорю «так или иначе», ибо мои желания, мои мечты шли дальше этого учительского прозябания и так и не освоились с ним,— я стремился к более высокому наставничеству, к академической карьере — по следам моего почтенного учителя, знаменитого филолога Вольфа из Галле. Но судьба судила иначе. Это может показаться странным, не правда ли? Можно было бы предположить, что мое общезвестное долголетнее сотрудничество послужит надежнейшим трамплином для достижения моей заветной цели,— надо ли говорить, что столь высокая дружба и покровительство с легкостью могли бы доставить мне желанное место в одном из немецких университетов? Мне кажется, я

читаю именно этот вопрос в ваших глазах! Могу только сказать: это поощрение, эта протекция, это вознаграждающее предстательство мне не были суждены, я был обойден ими — вопреки всем человеческим ожиданиям и расчетам. Что пользы предаваться горьким размышлениям! Правда, временами — о, да! — день и ночь ломаешь себе голову над этой проблемой. Но это ни к чему не приводит, да и не может привести. Великим людям некогда думать о личной жизни и о личном счастье своих помощников, сколько бы пользы те ни принесли им и их делу. Они, видимо, должны прежде всего думать о себе и если, в ущерб нашим личным интересам, на весах перетягивает нужда в наших услугах, наша незаменимость, то это так почетно, так лестно, что мы охотно становимся на их точку зрения и подчиняемся их воле с горькой, но и гордой радостью. Так, например, по зрелом размышлении, я счел себя вынужденным отклонить недавно предложенную мне вакансию в Ропштокском университете.

— Почему?

— Потому, что я хотел остаться в Веймаре.

— Но, господин доктор, простите меня, тогда вам не на что жаловаться.

— А разве я жалуюсь? — опять удивленно спросил он. — Это отнюдь не входило в мои намерения; я, видимо, был неправильно понят вами. Я всего только размышляю о противоречиях жизни, сердца и высоко ценю возможность потолковать об этом с умной женщиной. Расстаться с Веймаром? О, нет! Я люблю его, я привязан к нему. За тринадцать лет я сроднился с жизнью этого города. Я приехал сюда уже тридцатилетним человеком из Рима, где был воспитателем детей прусского посла господина фон Гумбольдта. Его рекомендациям я обязан своим пребыванием здесь. Недостатки и теневые стороны? Веймар имеет недостатки и теневые стороны, свойственные человечеству — и прежде всего человечеству провинциальному. Пусть это гнездо тупоумных придворных сплетен, спесивое в верхах и отсталое в низах, пусть честному человеку здесь так же трудно, как и везде, — может быть, даже труднее; наверху, как и полагается, сидят плуты и бездельники, пожалуй, более откровенные, чем где-либо. Зато это хорошая питательная среда, славный городок, — право же, я не представляю себе другого места, где бы я теперь мог или хотел жить. Видели ли вы уже что-нибудь из наших достопримечательностей?

Дворец? Экзерцицплатц? Наш театр? Прекрасные парковые насаждения? Ну, да вы еще успеете насмотреться. Вы подивитесь кривизне наших улочек. Но приезшему следует помнить, что наши достопримечательности примечательны не сами по себе, а тем, что они *веймарские*. С чисто архитектурной точки зрения наш дворец не бог весть что, театр хотелось бы видеть более грандиозным; что же касается Экзерцицплатца, так это всего-навсего пустая затея. На первый взгляд кажется непонятным, почему такой человек, как я, всю свою жизнь тратя среди этих кулис и декораций и чувствует себя до того приверженным к ним, что даже отказывается от назначения, венчающего все мечты и желания, владевшие им с юных лет. Я возвращаюсь к Ропштоку, ибо мне кажется, что вы, госпожа советница, не совсем уяснили себе мотивы моего отказа. Видите ли, я отклонил столь почетную позицию под известным давлением, давлением обстоятельств. Припятать ее мне было запрещено, — я сознательно пользуюсь безличной формой, ведь существуют вещи, которые не приходится запрещать, ибо они сами по себе под запретом; впрочем, запрет может и здесь сказаться во взгляде или мимике почитаемого тобою человека. Не всякий, уважаемая, рожден для того, чтобы идти *своим* путем, жить *своей* жизнью, ковать *собственное* счастье; или, вернее, человек ничего не знает наперед, строит планы, носится со своими надеждами и вдруг делает открытие, что его личная жизнь и личное счастье состоят в отказе от того и от другого. Для такого человека, как это ни парадоксально, личное состоит в отречении от самого себя, в служении делу, которое не является ни его делом, ни им самим; ибо это дело сугубо личное, более того — *личность*, отчего и служение ему здесь становится механическим, подчиненным, — обстоятельство, искупаемое чрезвычайно высокой честью, с которой в глазах современников и потомства связано служение такому удивительному делу. Необыкновенной честью! Можно было бы возражать на это, что честь человека в том, чтобы жить собственной жизнью, заниматься своим делом, пусть скромнейшим. Но судьба научила меня, что есть две чести — горькая и сладостная; и я мужественно выбрал горькую, поскольку человек вообще выбирает, а не судьба делает за него выбор, не оставляя ему другого. Требуется много жизненного такта, чтобы

приспособиться к таким велениям судьбы, примириться со жребием, вынужденным ею, и притти, если можно так выразиться, к компромиссу между горькой честью и сладостной, к которой, несмотря ни на что, устремляются наши помыслы и честолюбие. Последнего требует мужская щепетильность; она-то и привела меня к несогласиям и неизбежным недоразумениям, позожившим предел моему долголетнему пребыванию в доме на Фрауенплане, и заставила меня стать преподавателем средней школы, к чему я никогда не имел влечения. Вот вам один из неизбежных компромиссов,—впрочем, он уважаем и моим начальством, так что распписание греческих и латинских уроков составляется с учетом моих, уже вне дома продолжающихся почетных обязанностей. И в дни, когда, как например сегодня, там мне не нужны, мне дается возможность воспользоваться светской прерогативой утреннего сна. Надо добавить, что я пошел еще дальше в этом согласовании горькой и сладостной чести, назовем ее честью мужской, обосновав собственный домашний очаг. Да, вот уже два года, как я состою в браке. Но и здесь, уважаемая, вы увидите все своеобразие «жизненного компромисса», в моем случае особо подчеркнутое. Упомянутый шаг должен был утвердить мою самостоятельность и помочь мне эмансипироваться от того дома горькой чести, на деле же еще теснее связал меня с ним. Короче говоря, оказалось, что этот шаг ничуть не удалит меня от упомянутого дома, так что о шаге, в собственном смысле этого слова, по существу не может быть и речи. Дело в том, что Каролина, моя супруга — ее девичья фамилия Ульрих — дитя все того же дома, она сирота, несколько лет назад принявшая туда в качестве компаньонки покойной советницы. Через некоторое время выяснилось непреложное желание всего дома: пристроить сироту. На лицах домочадцев, в их взглядах я читал, что во мне видят подходящую партию, и это пожелание тем легче вступило в компромисс с моим стремлением к самостоятельности, что эта девушка мне и в самом деле приглянулась.

...Но ваша доброта и терпение, уважаемая госпожа советница, побуждают меня излишне много говорить о себе...

— Нет, нет, прошу вас,—торопливо отвечала Шарлотта.— Я слушаю с большим интересом.

На деле она слушала с легким неудовольствием или, во всяком случае, со

смешанными чувствами. Претензии и желчность этого человека, его тщеславное бессилие и беспомощная борьба за свое достоинство сбивали ее с толку, внушали ей презрение вместе с поначалу недружелюбным состраданием, которое постепенно, однако, перерождалось в чувство солидарности с посетителем и в известную удовлетворенность от сознания, что его манера выражаться давала и ей право — безразлично, пожелает она им воспользоваться или нет — высказаться и облегчить свою душу.

Несмотря на это, она испугалась оборота, который он, словно угадав ее мысли, попытался дать разговору.

— Нет,—произнес он,—я злоупотребляю нашим положением осажденных жертв веселой блокады,—военные события еще не настолько изгладились в нашей памяти, чтобы мы не могли спокойно, даже с юмором, примениться к подобной ситуации... Я хочу сказать, что плохо воспользуюсь благосклонностью мгновения, если отнесусь с излишней добросовестностью к моему долгу откомендоваться вам. Право же, меня привело сюда желание не говорить, а видеть, слушать. Я назвал час благосклонным, хотя следовало бы назвать его драгоценным. Я сижу с глазу на глаз с существом, к стопам которого несут свое растроганное благоговение и почтение все слои общества — от детски наивных народных масс до просвещеннейших людей эпохи,—с женщиной, имя которой стоит в начале или почти что в начале истории гения. Это имя навеки вплетено богом любви в его жизнь, а следовательно, и в историю становления отечественного духа, в царство немецкой мысли... И я, кому в свою очередь суждено было, на свой, мужской лад, сыграть роль в этой истории и нередко служить советвателем ее герою, я, вдыхающий, так сказать, вместе с вами, тот же героический воздох,—как мог я не ощутить неудержимого влечения склониться перед вами. лишь только весть о вашем приезде коснулась моих ушей,—не увидеть в вас старшую сестру, сестру, мать, если хотите, близкую, родную душу, поведать которой я стремился о многом, но еще больше стремился — услышать ее... Вот о чем я хотел спросить вас — вопрос уже давно вертится у меня на языке: скажите мне, дорогая госпожа советница, скажите мне в оплату за мои, правда, куда менее интересные призвания... Мы знаем, знаем все, всему человечеству ведомо, что вы и ваш блаженной памяти

супруг много выстрадали из-за нескромности гения, из-за его, с обычной точки зрения трудно оправдываемого, поэтического своеурания, позволившего ему, не задумываясь, выставить ваши души, ваши взаимоотношения напоказ всему свету, буквально всему земному шару, и притом смешать правду и вымысел с тем опасным искусством, которое умеет сообщать поэтический образ правдивому, а вымышленному придавать вид действительного, так что различие между тем и другим оказывается полностью снятым, сглаженным. Короче говоря, сколько вы выстрадали из-за его беспощадности, пренебрежения верностью и верой, в которых он, конечно, был виновен, когда за спиной друзей втихомолку начал одновременно и возвеличивать и разоблачать то деликатнейшее, что может объединить троих людей... Все знают это, уважаемая, и все вам сочувствуют. Скажите мне, я отдал бы все, чтобы знать это: как справились вы и покойный советник с этим гнетущим открытием, с этой участью насильственных жертв. Я хочу сказать: как и насколько удалось вам привести в согласие боль от жестоко нанесенной раны, обиду видеть свою жизнь обращенной в средство для достижения цели, с иными, позднейшими чувствами, которые должно было возбудить в вас возвышение, могучее прославление этой жизни? Если мне суждено будет услышать от вас...

— Нет, нет, господин доктор,— поспешно возразила Шарлотта,— во всяком случае не сейчас. Когда-нибудь позже, вернее, в другой раз. Поверьте, это отнюдь не *façon de parler*, когда я говорю, что слушаю вас с полным вниманием, ведь ваши взаимоотношения с гением несомненно более интересны и примечательны.

— Это весьма спорно, уважаемая.

— Не будем обмениваться комплиментами. Не правда ли, вы родом из Северной Германии, господин профессор? Я заключила это по вашему произношению.

— Я силезец,— с достоинством отвечал Ример после короткой паузы. Его тоже одолевали двойственные чувства. Ее уклончивый ответ задел его; зато ее просьба, чтобы он и дальше говорил о себе, не могла не приттись ему по вкусу.

— Мои добрые родители,— продолжал он,— не пользовались изобилием благ земных. Не могу выразить, как бесконечно я признателен им, все положившим на то, чтобы дать мне возможность развить мои прирожденные способности. Мой учитель, достопочтенный тайный советник

Вольф из Галле, возлагал на меня большие надежды. Продолжать его дело было моим сокровенным желанием. Карьера университетского преподавателя почетна и оставляет досуг для общения с менее постоянными музами, милостью которых я не совсем обойден,— она-то всего сильнее влекла меня, но где взять средства на то, чтобы долгие годы стоять в притворах храма? Мой большой греческий словарь — его научная известность, может быть, коснулась и вашего слуха, я издал его в четвертом году в Пене — занимал меня уже тогда. Недоходная слава, мадам! Я добился ее благодаря досугам, которые мне давала моя должность домашнего учителя при детях господина фон Гумбольдта, назначенного послом в Рим. Должность эту мне устроил Вольф. В этом звании я прожил несколько лет в Вечном городе. Засим воспоследовала новая рекомендация — моего дипломатического патрона его знаменитому веймарскому другу. Это было осенью 1803 года, достопамятной для меня, достопамятной, может быть, и для будущей, более подробной, истории немецкой литературы. Я пришел, представился, внушил доверие. Предложение войти в круг домочадцев на Фрауенплане явилось следствием моей первой беседы с великим человеком. Мог ли я не ухватиться за него? У меня не было выбора. Иная, лучшая перспектива не открывалась мне. Должность школьного учителя я считал, по праву или нет, ниже своего достоинства, ниже своих дарований...

— Но, господин доктор, правильно ли я вас понимаю? Вы должны были быть счастливы местом и деятельностью, многим более почетной и привлекательной, чем всякая другая, не говоря уже об учительстве.

— Так и было, уважаемая. Я был счастлив. Счастлив и горд. Подумайте только, ежедневные встречи, ежедневное общение с таким человеком! Я сам был настолько поэтом, чтобы постичь всю его беспримерную гениальность. Я показал ему образцы своего таланта, которые, мягко говоря, даже если откинуть то, что следовало бы отнести за счет его удивительной лояльности, видимо, понравились. Счастлив? Я был упоен! На какую заметную, более того, завидную позицию в мире научном и светском возводила меня эта близость! Однако, позвольте мне быть откровенным, и здесь имелась своя шишка,— а именно: отсутствие выбора. Разве не верно, что необходимость испытывать благодарное чувство несколько

уменьшает его, лишая элемента радости? Будем откровенны. Мы становимся особо чувствительными по отношению к тому, кому обязаны величайшей благодарностью, если тот из нашего вынужденного положения извлекает выгоду для себя. Его вины здесь нет, ответственность несет судьба, неравномерно распределяющая свои дары. Но он использует ситуацию... Это надо испытать!.. Но нет, сударыня, не будем заниматься правоучительными рассуждениями! Почетным и возвышающим было то, что наш великий друг, видимо, нуждался во мне. Формально моей задачей было преподавание латинского и греческого его сыну Августу, единственному оставшемуся в живых из детей мамзели Вульпиус. Но, как ни слабы были познания моего ученика, я вскоре понял, что этой задаче, как весьма несущественной, придется отступить перед более прекрасными и значительными обязанностями служения отцу. Таково, разумеется, было и первоначальное намерение. Во всяком случае, мне известно письмо, написанное им в свое время моему учителю и благодетелю в Галле, где он обосновывал мое приглашение недостаточными классическими познаниями мальчика, — бедой, как он выразился, которой он не умел помочь. Но это было просто вежливостью по отношению к великому филологу. На деле отец мальчика придает мало значения систематическим школьным занятиям и воспитанию. Скорее он предпочитает, чтобы юношество на свободе удовлетворяло свою естественную жажду знаний, которую он в нем предполагает. Вот вам новый пример его склонности к попустительству, его толерантности! Может быть, здесь сказывается его доброта — я этого не отрицаю — великодушие, снисхождение; он благосклонно становится на сторону молодежи против школьной муштры и педагогства. Охотно соглашаюсь. Но сюда примешивается и нечто другое, менее похвальное, — известная пренебрежительность, недооценка юношества и его внутренней жизни. Ибо он все же не понимает его прав и обязанностей, придерживаясь того мнения, что дети существуют лишь для родителей, что их единственная задача — дорасти до них и мало-помалу впитать в себя их жизнь...

— Уважаемый господин доктор, — встала Шарлотта, — везде и всегда, невзирая ни на какую любовь, между родителями и детьми существуют разногласия и непонимание, известная нетерпимость детей к личной жизни родителей, в свою

очередь недооценивающих особых прав детей.

— Без сомнения, — рассеянно отвечал гость, подняв глаза к потолку. — Я часто беседовал с ним в экипаже или в его рабочей комнате по вопросам педагогики, — беседовал, а не спорил, ибо с благоговейным любопытством выслушивать его убеждения мне было интереснее, чем настаивать на своих. Под формированием юноши он подразумевает процесс созревания, который, при благоприятных обстоятельствах, — а обстоятельства своего сына он справедливо считает благоприятнейшими (поскольку речь идет об отце, разумеется, ибо что касается матери — ну, да оставим это), — и считает возможным в той или иной степени предоставить процесс его естественному развитию. Август — его сын. Этой формулой для него исчерпывался весь смысл существования мальчика, юноши, единственное назначение которого: быть его сыном и со временем снять с него тяготы будничных дел. Эту мысль Август впитал с малолетства. Об индивидуальном формировании характера, о воспитании ради него самого и его будущих целей думали значительно меньше. К чему, следовательно, принуждения и систематическая школьная муштра? Не надо забывать, что отец в юности этого также не ведал. Будем называть вещи своими именами: систематического воспитания он не получил ни в детском, ни в отроческом возрасте, и лишь немного изучил основательно. Это никому не бросится в глаза или лишь при очень долгом и близком общении и при собственных, действительно глубоких научных познаниях. Ибо, само собой разумеется, что при его остром восприятии, прочной памяти и высокой живости его духа, он множество знаний схватил на лету, ассимилировал их и, благодаря качествам уже иного порядка — остроумию, обаятельности, владению формой, красноречию, пользуется ими с большим успехом, нежели другой ученый, обладающий подлинными знаниями...

— Я слушаю вас, — произнесла Шарлотта, довольно успешно пытавшаяся выдать дрожание головы, снова ставшее заметным, за подтверждающие кивки. — Я слушаю вас с интересом, объяснение которому все время стараюсь подыскать. Ваша манера говорить проста, и все же в ней есть что-то волнующее, ибо невольно волнуешься, когда о великом человеке говорят не с предвзятой восторженностью, а трезво, сухо, с известным реализмом, основанным на интимном опыте ежеднев-

чего общения. Когда я начинаю вспоминать и сверяюсь с собственными наблюдениями, пусть очень давними, — но ведь они как раз относились к молодому человеку, о чем свободном самовоспитании вы говорите, — то, по-моему, его пример лишь подтверждает превосходство этих личных прав над более строгой системой воспитания. Как бы то ни было, но этого юношу, этого двадцатитрехлетнего молодого человека я знавала, долго приглядывалась к нему и могу только засвидетельствовать: систематического учения, трудолюбия, служебного рвения за ним не замечалось. В Вецларе он, собственно, ничем не занимался. Здесь, я не хочу это замалчивать, его значительно превосходили коллеги, практиканты истрячие, кого ни назови, — Кильмансегге, легационный секретарь Готтер, также писавший стихи, Борн и другие, даже несчастный Иерусалем, не говоря уже о Кестнере, который и тогда вел серьезную трудовую жизнь и однажды заставил меня призадуматься, заметив, как легко кружить головы женщинам, быть душою общества, всегда свежим, веселым, блестящим и остроумным, когда тебе живется так вольготно на божьем свете и ты наслаждаешься полной свободой, в то время как другие приходят к любимой после хлопотливого дня, уставши от деловых забот, и уже не могут ей показать себя с наивыгоднейшей стороны. Что здесь блага распределены неравномерно, я знала всегда и обращала это в пользу моего Ганса Христиана, хоть и сомневалась, чтобы другие молодые люди при большом досуге, — а ведь какой-то досуг они все же имели! — могли выказывать столь высокие душевные качества, были бы способны на такую теплую искреннюю шутку, как наш друг. И все же *часть* его пылкости я относила за счет его незанятости и того, что он мог невозбранно, всеми силами своей души предаваться дружбе, — но только *часть*, ибо я понимала, что прекрасная сила его сердца и — как это мне назвать? — его жизненный блеск не исчерпываются этим объяснением. Ведь даже когда он, печальный и скорбный, посылал весь мир и всех людей, он все же был интересней, чем наши трудолюбцы по воскресным дням. Это я знаю, как знала тогда. Он часто напоминал мне дамасский клинок, — я уж не упомяну теперь, в чем тут было сходство, — но также и лейденскую банку, и уж это по ассоциации с электрическим зарядом, ибо он всегда был как бы заряжен. Казалось, стоит до него только дотронуться, и ты

почувствуешь удар, как от прикосновения к определенной породе рыб. Не удивительно, что другие, вообще говоря, превосходные люди, в его присутствии или даже в его отсутствии казались вялыми. И еще у него был, когда я ворошу свои воспоминания необычайно открытый взгляд — я говорю «открытый» не потому, что его глаза, карие и близко посаженные, были особенно большими; но именно *взгляд* был очень открытый и одухотворенный, в сильнейшем смысле этого слова, а когда в них светилась сердечность, они становились совсем черными. Что, у него еще и поныне такие глаза?

— Глаза, — повторил Ример, — глаза временами могучие. — Его собственные, стеклянно выпуклые, меж которых залегала бороздка мучительных раздумий, показывали, что он слушал невнимательно, отдавшись течению своих мыслей. Дрожание головы собеседницы он едва ли заметил, ибо, когда он снял с набалдашника свою большую белую руку, чтобы, как того требует благовоспитанность, устранить легкое почесывание в носу чуть заметным прикосновением безымянного пальца, эта рука тоже дрожала. Шарлотта заметила это и была так неприятно поражена, что не замедлила приостановить аналогичное явление у себя, что при старании ей вполне удавалось.

— Здесь речь идет о фепомене, — продолжал свое Ример, — стоящем того, чтобы в него углубиться, и способном заставить человека часами предаваться размышлениям, пусть бесплодным и ни к чему не ведущим, так что даже рьяное занятие этим должно было бы скорее называться мечтанием, чем подлинным размышлением. Печать божества, назовем этим именем форму и обаяние, которые природа с улыбкой — так невольно себе это представляешь — накладывает на предпочтенный ею дух, отчего он становится прекрасным духом, — слово, имя, которое мы машинально произносим для обозначения привычной и приятной человечеству категории; хотя, вблизи, внимательно рассмотренный, этот феномен остается непостижимой, тревожной и, в личном плане, даже оскорбительной загадкой.

...Если я не ошибаюсь, мы говорили о несправедливости; что ж, и здесь без сомнения царит несправедливость, естественная, а потому всеми почитаемая, — восхитительная несправедливость, правда, не без колючих шипов для того, кому суждено из дня в день видеть и смаковать

ее. Тут имеют место изменения ценностей, обесценения и переоценки, которые ты принимаешь охотно, более того, — с невольным восторгом, ибо отказать им в радостном признании значило бы идти наперекор господу и природе, и все же, из чувства справедливости, тайком, в тиши не можешь не порицать их. Ты считаешь себя собственником упорным трудом, из чистой любви к науке достигнутого знания, солидного научного багажа, неоднократно и честно проверенного. Но вот приходишь к столь же своеобразно прекрасному, сколь и горько смешотворному выводу, что тот изощренный и благословенный дух, тот предпочтенный ум может сообщить скудному осколку этих знаний, случайно подхваченных или ему тобою же поставленных, — ведь ты для него только поставщик научных сведений! — благодаря все тем же форме и обаянию, — но ведь это только слова! — нет, попросту благодаря тому, что он, а никто другой, возвратил случайно подхваченное и, придав ему частицу самого себя, как бы отчеканил на нем свое изображение и сообщил ему вдвое, втрое большую ценность, чем целый мир, целые поколения кабинетных ученых. И правда, другие взрывают горы, роют землю, очищают руду, а король знай себе чеканит дукаты... Корлевская привилегия! Но в чем ее суть? Говорят о личности, он сам любит говорить о ней и, как известно, назвал ее высшим счастьем земнородных. Таково его мгновение, тем самым обязательное для человечества. Но это не определение. В лучшем случае это описание. Да и как определить таинство? Без таинств человеку, видно, не обойтись, и если христианские ему наскучили, он тешит себя языческими или природным таинством личности. О христианских наш властитель умов и слышать не желает. Поэт или художник, преданный христианской мистике, обречен на его немилость. Но таинство природы он ставит очень высоко, ибо это *его* таинство... Величайшее счастье — за меньшее мы, смертные, не смеем почитать это таинство! Иначе как объяснить, что просвещенные умы и люди науки считают не ограблением себя, по великой для себя чести толиться вокруг прекрасного гения, обаятельного человека, являть собою его штаб и свиту, приносить ему в дар свои знания, быть для него живыми словарями, всегда имеющимися под рукой, дабы избавлять его от возни с научным хламом. Как объяснить, что человек, подобный мне, с блаженной улыбкой — мне

самому она иногда кажется дурацкой — год за годом отдает на то, чтобы служить ему простым писцом...

— Позвольте, дражайший господин профессор, — прервала его пораженная Шарлотта, не пропустившая ни слова из его речи. — Не хотите же вы сказать, что вы все это время и в самом деле несли и негю незначительные и недостойные вас канцелярские обязанности?

— Нет, — отвечал Ример после паузы, собравшись с мыслями, — этого я не хочу сказать. И если я сказал подобное, то, значит, зашел слишком далеко. Не следует чрезмерно заострять понятия. В первых, добровольные услуги, которые оказываешь великому и дорогому тебе человеку, не знают табеля о рангах. Тут каждый так же мал и так же велик, как другой. Не об этом речь. К тому же, писать под его диктовку вообще неподходящее занятие для простого стрекулиста. Слишком почетное для него занятие. Возложить эту обязанность на какого-нибудь секретаря Джона, Крейтера или простого служителя, значило бы метать бисер перед свиньями. При одной мысли об этом человека образованного, способного мыслить и чувствовать, охватывает благородное негодование. Только ученому, только такому человеку, как я, способному оценить всю прелесть, редкость и достоинство этого положения, может быть препоручено подобное дело. Эта льющаяся, драматическая диктовка любимого, звучного голоса, это неудержимое, прерываемое разве что чрезмерным наплывом чувств созидание, — руки, заложенные за спину, взор, устремленный в многоликую даль, это властное и как бы небрежное заклинание слова и образа, эта жизнь в абсолютно свободном и смелом царстве духа, за которой, при всех сокращениях, едва поспевают торопливо смоченное перо, так что потом волей-неволей приходится корпеть над переписыванием; уважаемая, это надо испытать, надо восторженно насладиться этим, чтобы ревниво отнестись к своим обязанностям, не уступать их первому встречному. Правда, следует оговориться и для собственного успокоения напомнить себе, что речь идет отнюдь не о творческом миге, что здесь происходит не чудо, а лишь рождение на свет божий того, что годами, может быть десятилетиями, вынашивалось и пестовалось и, частично, в тиши, еще перед рабочим временем, было тщательно отделано для диктовки. Не надо забывать, что здесь имеешь дело не с вдохновенно порывистой натурой, а ско-

рее с доступной колебаниям, откладывающей, к тому же беспрестанно взвешивающей, нерешительной и, прежде всего, легко утомляющейся, неспособной сосредоточиться и подолгу задерживаться на одном и том же задании, с натурой, которой, при разнообразнейшей, направо и налево мятущейся деятельности, требуются обычно долгие годы, чтобы завершить задуманный труд. Это натура, склонная к замедленному росту и тихому развитию, которой нужно долго, может быть с юных лет, отогревать замысел на своей груди, прежде чем приступить к его воплощению. Для подобного характера прилежание равносильно терпению, то есть способности — при величайшей потребности в разнообразии — к неустанному, кропотливому труду над одним и тем же объектом в течение непомерно долгого времени. Все это так, верьте мне, ведь я одержимый наблюдатель этой героической жизни. Говорят, да он и сам говорит, что он умалчивает о замысле, формирующемся в тиши, чтобы не повредить ему, что он никому его не открывает, ибо никто другой не может постичь, почувствовать прелесть созревающего, столь обольстительную для лестуна. Следует добавить, что это молчание не так уж нерушимо. Надворный советник Майер, я говорю о нашем «шивопиисце» Майере, как его прозвали за цюрихский диалект, — итак, этот Майер, которому он почему-то приписывает бог весть какие заслуги, похваляется, что великий друг чуть ли не целиком поведал ему «Избирательное средство», когда еще только вынашивал его. Возможно, что это и так, ибо он и мне однажды увлекательнейшим образом изложил план этого романа и к тому же до того, как открыть его Майеру, — разница только в том, что я не похваляюсь этим направо и налево. В таком раскрытии тайны, в этой общительности и болтливости, если хотите, меня тешит и трогает очевидная людская тяга «поделиться», неодолимая доверчивость. Ибо утешительно и радостно — до восторга! — видеть эти людские черты в великом человеке, ловить его на маленьких хитростях и повторениях, подмечать экономно, которая наводится даже в таком, для нас необозримом, духовном хозяйстве. С месяц назад, шестнадцатого августа, в разговоре со мной он высказал одно замечание о немцах, достаточно колкое, — как известно, он не всегда лестно отзывался о своей нации: «Наших милых немцев, — сказал он, — я знаю: сначала они молчат, потом осуждают, потом отклоняют, потом

обворовывают и замалчивают». Это буквально, я записал его слова тотчас же после разговора, — во-первых, потому что слел их отменно острыми, а во-вторых потому что они мне показались блестящими: примером его живого и исключительного языка: как остро и точно он там же на месте определил все стадии дурного поведения немцев. И вдруг я узнаю о Цельтере — в Берлине проживает некий Цельтер, музыкант и хормейстер, которого он, не совсем понятно почему, удостоивает братским «ты»; перед такого рода предпочтениями приходится склоняться хотя тут и вспоминаются слова Гретхен «в толк не возьму, что он находит и чем», — тут ничего не поделаешь. Итак от Цельтера я слышу, что слово в слова та же фраза, записанная мною, как я сказал, шестнадцатого августа, стояла в его письме от девятого того же месяца адресованном Цельтеру из Теннштедта. Следовательно, эта мысль, видимо, очень ему понравившаяся, была уже написана черным по белому, когда в разговоре со мной он преподнес ее в качестве экспромта — маленькое жульничество, которое с улыбкой принимаешь *ad notam*¹. Вообще же мир даже такого могучего духа — все же мир замкнутый и ограниченный, единое целое, где мотивы повторяются и образы, пусть через большие промежутки времени, возникают вновь. В «Фаусте», во время знаменитого разговора в саду, Маргарита рассказывает возлюбленному о своей сестренке, этом бедном заморыше, которого мать не в состоянии кормить грудью и которого она, Маргарита, растит на «молоке и воде». Какие жизненные дали отделяют это от Оттилии, которая с любовью растит сына Эдуарда и Шарлотты на «молоке и воде»! Молоко и вода! Как крепко засело в эту великую голову представление о голубоватой жидкости в бутылке. Молоко и вода... Не помните ли вы мне, почему я заговорил о молоке и воде и что наводило меня на эти, повидному, совершенно не относящиеся к делу и праздные подробности?

— Вы говорили о почете, господин доктор, который вам воздается за вашу помощь и участие в деле друга моей юности. Но позвольте мне решительно не согласиться с тем, что высказанные вами мысли праздны и лишены интереса.

— Не отрицайте, уважаемая! Когда речь заходит о слишком большом, слишком жгучем вопросе, невольно растекаешь-

¹ На заметку (лат.).

ся в празднословии и начинаешь лихорадочно метаться, не только не доходишь до единственно важного и жгучего, не только безрасудно упускаешь его, но сам же начинаешь думать, что все тобою сказанное лишь предлог для того, чтобы обойти молчанием истинно важное и волнующее. И какой же тут несешь несусветный вздор! Это можно сравнить разве что с известным опытом: попробуйте горлышком вниз быстро опрокинуть полную бутылку, и жидкость вытечет не сразу, она задержится в сосуде, хотя шутя ей открыт. Ассоциация настолько посторонняя, что я снова чувствую себя сконфуженным. И все же! Как часто люди более значительные, чем я, несоизмеримо более значительные, предаются посторонним ассоциациям. Вот вам пример из моей, как бы побочной, на деле же основной работы: с прошлого года мы приступили к изданию нового собрания сочинений, рассчитанного на двадцать томов. Котта из Штутгарта выпускает его и за это уплачивает кругленькую сумму в шестнадцать тысяч талеров — великодушный, более того, смелый человек! Верьте мне, он приносит немалую жертву, ибо несомненно, что публика о большей части продукции нашего поэта ничего и знать не хочет. Так вот, трудясь над этим собранием, мы вместе, он и я, снова просматривали «Ученые годы»; мы вдвоем перечитали их от А до Z; при этом я мог быть полезен не только моими указаниями на ту или иную грамматическую погрешность, но также и советами по части правописания и пунктуации, в которых наш поэт, признаться, не очень-то силен. На мою долю выпал также ряд прекрасных собеседований о стиле. Мой разбор и толкование очень заинтересовали его. Ибо он мало знает о себе, и в свое время, приступая к «Мейстеру», по собственному признанию, находился почти в сомнамбулическом состоянии. Поэтому он с ребяческим удовольствием слушает, когда ему остроумно комментируют его же самого, что опять-таки дело не Майера или Цельтера, но филолога. Одному богу известно, какие это были дивные часы, проведенные за чтением романа, составляющего гордость эпохи и на каждом шагу дающего столько поводов к восхищению, хотя — и это бросается в глаза! — описания природы, ландшафты почти вовсе отсутствуют в нем. И раз уже мы заговорили о праздных ассоциациях, уважаемая, какое холодное, неторопливое многословие порою встречается в этой книге! Что за паутина

случайных, отрывочных мыслей. Сплошь и рядом — это необходимо уяснить себе! — вся прелесть и достоинство заключены здесь лишь в метких и живоительно точных формулировках давно надуманного и сказанного. Это, разумеется, дано в соединении с черточками обаятельной новизны, с такой мечтательной смелостью и высоким риском, что дух занимается, — да, в этом сочетании разумной чинности и неустрашимой отваги, более того, безумия, как раз и заключается источник сладостного смятения, в которое нас повергает этот единственный в своем роде автор. Когда я однажды с подобающей осторожностью высказал ему это, он рассмеялся и возразил: «Милое дитя, — так он и сказал, — что поделаешь, если ваши головы подчас идут кругом от моих напитков». То, что он меня, сорокалетнего человека, который кое в чем мог бы наставлять его, называет «милое дитя», может само по себе показаться странным, мое же сердце это смягчит и наполняет гордостью, ибо, как бы там ни было, в такой короткости растворяется различие между достойными и недостойными услугами. Простая канцелярская служба? Мне невольно становится смешно, уважаемая госпожа советница: ведь она состояла в том, что я в продолжение многих лет вел его корреспонденцию, не только под диктовку, но вполне самостоятельно, *за него*, вернее *вместо* него — от его имени и в его духе. Теперь вы видите, что здесь получается: самостоятельность достигает уже той степени, что диалектически переходит в свою противоположность и оборачивается полной обезличенностью — меня вообще уже не существует, и только *он* говорит моими устами, ибо я орудуя здесь оборотами столь старомодно куртуазными и остроумно вычурными, что эти письма, вышедшие из-под моего пера, кажутся более гетевскими, нежели продиктованные им. И так как моя деятельность широко известна в обществе, то нередко возникают мучительные сомнения, им или мною написано данное письмо. Нелепая и тщеславная тревога! — не могу не заметить, ибо в конечном счете это одно и то же. Правда, и меня тревожат сомнения, но они касаются проблемы чести, всегда остающейся наиболее трудной и волнующей из проблем. В свете этой проблемы здесь, вообще говоря, заключается нечто постыдное, во всяком случае временами мне мерещится, что это так. Но если ты подобным путем становишься

Тете и пишешь его письма, то опять же: трудно представить себе большую честь. Так кто же он, наконец? Кто он, ради которого почитается честью жертвовать собой и растворяться в нем? Стихи, свидетель бог, какие дивные стихи! Я тоже поэт, anch'io sono poeta, но, признаюсь с сокрушением, несравненно меньший. О, написать «Стучало сердце», или «Ганимеда», или «Ты знаешь край» — хотя бы одно из них, уважаемая, — чего не отдашь за это, с оговоркой, что у тебя есть, что отдавать! Франкфуртские рифмы, которые он себе позволяет, ибо он многие слова выговаривает неправильно, у меня не встречаются — во-первых, потому, что я не франкфуртец, а во-вторых, потому что я бы не посмел их себе позволить. Но разве они — все, что есть человеческого в его вещах? Нет, разумеется, нет. В конце концов его творение — все-таки дело рук человеческих и не может слагаться из одних шедевров. Да он и не обольщается на этот счет. «Кто же поставляет одни шедевры», справедливо говорит он. Здравомысляющий друг его юности, Мерк, — впрочем, вы его знаете, — назвал «Клавиго» дрянью. Да он и сам, кажется, недалек от этого мнения, ибо говорит: «Не всему же быть лучше лучшего». Скромность это или что-нибудь еще? Если скромность, то подозрительная. И все же в глубине души он скромен, скромен так, как другой не был бы на его месте. Я даже назвал бы его робким. По окончании «Избирательного сродства» он и впрямь оробел и лишь позднее составил об этом романе то высокое мнение, какое он несомненно заслуживает. Ведь он восприимчив к похвалам и охотно дает себя убедить, что созданное им произведение — шедевр, если раньше его и обуревали сомнения. Конечно, не следует забывать, что со скромностью в нем сочетается самоуверенность, порою доходящая до курьеза. Он способен, говоря о своеобразии своей натуры, о некоторых ее слабостях и недостатках, с невиннейшим видом присовокупить: «Все это, видимо, обратная сторона моих огромных достоинств». Услышав подобное, так и остаешься сидеть с раздутым ртом. Ужас охватывает тебя перед такой простотой, хотя и стараешься уговорить себя, что именно это сочетание необычайной духовной одаренности с подобной степенью наивности и восхищает мир. Но что все это значит? И достаточно ли этим оправдано принесение себя в жертву? Почему превыше всех именно он, нередко спрашивал я себя,

читая других поэтов — кроткого Клаудиуса, изящного Гельти, благородного Маттисона? Разве в них не слышится милый голос природы, разве теплота и немецкая задушевность звучат только в его строфах? «Вновь в долинах и кустах...» это перл, я отдал бы свой докторский диплом за то, чтобы быть автором хотя бы двух стрóf этого стихотворения. Но вандебекерово «Луна на небе встала» — пастолько ли оно хуже? И имел ли бы он основание устыдиться «Майской ночи» Гельти: «Если серебряный луч блещет съездов темень кустов»? Да несколько! Напротив! Можно только порадоваться, что рядом с ним другие так бодро заявляют о себе, не только не дают его величию подавить и искалечить себя, но его наивности противопоставляют свою и поют так, словно его и не существует. За это их голос надо ценить еще выше, ибо нельзя рассматривать лишь абсолютную ценность продукта, к нему надо подходить и с нравственной меркой, учитывающей условия, в которых он создавался. Я спрашиваю: почему превыше всех он? Какой еще ингредиент делает его полубогом, возносит его к звездам? Большой характер? Но где он у его героев — у Эдуарда, Тассо, Клавиго, даже у Мейстера или Фауста? Изображая себя, он изображает проблематиков и бесхарактерных неудачников. Право же, уважаемая, мне иногда приходят на ум слова Кассия из «Цезаря» великого британца: «Боги! Я дивлюсь, как человек такой невзрачной стати мог первенство у мира оттягать, презрев людскую гордость».

Наступило молчание. Большие белые руки Римера, с золотым кольцом-печаткой на указательном пальце, хотя и опирающиеся на набалдашник трости, заметно дрожали. И старая дама опять торопливо закивала головой. Шарлотта сказала: — Господин доктор, я чувствую себя едва ли не обязанной выступить на защиту друга юности, моей и моего мужа, создателя «Вертера», произведения, о котором вы даже не помянули, хотя оно и послужило фундаментом его славы и, по моему убеждению, так и осталось прекраснейшим из всего им написанного, против тех нападок, которым вы — простите меня — подвергаете величие его духа. Но я воздерживаюсь от этого соблазна или обязанности, — как хотите, — вспомнив, что ваша, я бы сказала, солидарность с великим духом не уступает моей, что вы в продолжение тринадцати лет были ему другом и помощником и что ваша критика — не зная, как определить это по-другому —

короче, то, что я назвала реализмом вашего восприятия, основана на преданном восхищении, а потому моя защита выглядела бы смешной и привела бы только к взаимному непониманию. Я простая женщина, но я прекрасно понимаю, что некоторые вещи говорятся лишь в силу сознания, что предмет играючи устоит против твоих нападков. Здесь преклонение говорит языком злобы, а хула становится новой формой восхваления. Правильно ли мое замечание?

— Вы очень добры, — отвечал он, — становясь на сторону того, кто в этом нуждается, и правильно толкую мою оговорку. Откровенно говоря, я не помню, что я сказал, но из ваших слов заключаю, что я, должно быть, зарпортовался. Иногда в мелочах язык играет с нами недобрую шутку, мы придаем комический оборот слову, другому, и нам остается только вторить смеху слушателей. Но в больших вопросах и оговорка принимает великий масштаб, и бог долгу ворочает слова в нашей гортани, откуда мы не начинаем славословить то, над чем хотели надругаться, и хулить то, что думали благословить. Верно, собрание небожителей сотрясается от гомерического хохота пад таким бессилием наших уст. Но будем говорить серьезно: мне кажется бесполезным и не адекватным, касаясь великого, только восклицать: «Грандиозно! Грандиозно!» — и едва ли не пошлым мило тараторить о вершине обольстительности. А ведь речь идет именно об этом — о деликатнейшей форме, в которую великое облекается на земле: о поэтическом гении; о великом в образе высшей обольстительности и обольстителем, возвысившемся до великого. Так оно живет среди нас и глаголет ангельскими устами. Да, сударыня, ангельскими! Откройте наугад его книги, эти миры его творений; возьмите, к примеру, пу, хотя бы «Пролог на театре», — я еще сегодня перечитывал его, дожидаясь парикмахера, — или такую весело глубокомысленную безделку, как басня о мушиной смерти:

Она сосет, дорвавшись до отравы,
Пригвождена к ней первым же глотком,
Блаженствует, а нежные суставы
Уже давно разбиты столбняком... —

но ведь тут смешная случайность; слепой производ, что я выхватил именно это, а не другое из необозримого избытия текущих в руки перлов, — короче, разве все это не сказано ангельскими устами, божественными устами высшей завершенности! Каким чеканом отчеканено любое вопло-

щение, драма, песня, рассказ, поговорка! И на всем печать индивидуальнейшей обольстительности — эгмонтовой обольстительности! Я так называю ее: «Эгмонт» — приходит мне на ум, потому что в нем царит особенно счастливое единство и внутреннее соответствие: отнюдь не безупречная обольстительность героя корреспондирует с также отнюдь не безупречной обольстительностью произведения, в котором он действует. Или возьмите его прозу, рассказы и романы, — мы как будто уже коснулись этой темы, помнится я что-то такое говорил и зарпортовался. Не может быть более чарующего изящества, живости ума, более скромной и легкой. Тут нет ни помпы, ни высокопарности, ничего от внешней приподнятости, — хотя внутренне здесь все удивительно возвышено, и всякий иной стиль изложения, в частности приподнятый, по сравнению с этим стилем кажется плоским, — ничего от торжественности и проповеднического тона, ничего от ходульности и чрезмерности; без огненных бурь и громогласных страстей, в тихом, легком журчании здесь присутствует божество. Можно было бы говорить о трезвости, о приглаженной красноте, если не вспомнить, что его речь тяготеет к крайностям. И все же она избирает срединный путь, со спокойствием, с изящной простотой: ее смелость скромна, отвага совершенна, поэтический такт безошибочен. Возможно, что я продолжаю заговариваться, по, клянусь вам, — хотя неистовые клятвы и находятся в несоответствии с затронутой темой, — что я прилагаю такие же старания говорить правду, как и тогда, когда я употреблял как раз обратные выражения. Я говорю, я хочу сказать: там для всего найден средний регистр, весьма умеренный, весьма прозаический, но это самый причудливо дерзкий прозаизм на свете: поворожденное слово получает здесь улыбочато-колдовской смысл, становится золотистым, весело призрачным, и абсолютно возвышенное, приятнейшее сдержанное, изящно модулированное, полное детски мудрых чар преподносится нам с чинной дерзновенностью.

— Вы превосходно говорите, господин Ример. Я слушаю вас с благодарностью, которую всегда вызывает точность. К тому же ваше изложение свидетельствует о провикновенном знании, о долгих и острых наблюдениях. И все же — не пеняйте на меня — опасение, что вы и теперь еще заговариваетесь, затрагивая эту необычную тему, кажется мне небезосновательным. Я не могу отрицать, что удовольствие, с

которым я слушаю вас, весьма далеко от настоящего удовлетворения, полного согласия. Ваша хвалебная речь — может быть, именно вследствие ее чрезмерной точности — содержит в себе какое-то умаление, какой-то элемент злословия, втайне меня пугающий и которого я сердцем принять не могу. Сердце подсказывает мне, что вы говорите не то. Пусть это смехотворно кричать о великом: «Грандиозно, грандиозно», пусть вы предпочитаете говорить о нем с педантичностью, в характере которой я, поверьте, не ошибаюсь, ибо знаю, что она порождена любовью. Но, не сердитесь на меня за этот вопрос, разве можно при помощи одной только точности объяснить поэтическое воодушевление?

— Воодушевление, — повторил Ригер. Он медленно и как бы с трудом стал склонять голову к рукам, скрещенным на набалдашнике трости. Но внезапно вздрогнул и отрицательно покачал головой.

— Вы ошибаетесь, — произнес он, — он не испытывает воодушевления. В нем есть нечто другое, может быть высшее; он, ну, скажем, осенен благодатью; но воодушевления в нем нет. Можно ли себе представить господа бога воодушевленным? Нет, нельзя. Бог — объект воодушевления, но сам он его не ведает. Нельзя же признать за ним своеобразной холодности и уничтожающего равнодушия. Да и чем прикажете господу богу вдохновляться? Чью сторону принимать? Ведь он *всё*, а потому сам себе сторона, на этом он стоит, и его дело, видимо, сводится к всеобъемлющей иронии. Я не теолог, уважаемая, и не философ, но житейский опыт заставлял меня частенько задумываться над единством *всего и ничего*, над *nilhil* и, если мне будет дозволено употребить производное от этого мрачного слова, определяющее образ мыслей, мировоззрение, то этот всеобъемлющий дух по праву можно будет назвать духом нигилизма, — из чего вытекает, что ошибочно воспринимать бога и дьявола как противоположные принципы и что дьявольское, по существу, лишь обратная сторона, — хотя почему обратная? — божественного. Да и как же иначе? Если бог *всё*, то он тем самым и дьявол, и ясно, что нельзя приблизиться к божеству, не приблизившись к дьяволу; можно даже сказать, что из одного глаза у него глядит небо и любовь, из другого — ад ледяного отрицания и уничтожающего равнодушия. Но два глаза, дражайшая госпожа советница, безразлично дальше или ближе они посажены, имеют *один*

взгляд. И вот тут-то я и хотел бы спросить: что это, собственно, за взгляд, в котором исчезает разлад между столь разными глазами? Я отвечаю вам и себе. Это взгляд искусства, абсолютного искусства, одновременно являющегося абсолютной любовью и абсолютным уничтожением или равнодушием, и означающий то страшное приближение к божественно-дьявольскому, которое мы зовем «величием». Вот вам и ответ. Покуда я говорил, мне стало казаться, что именно это я и хотел сказать вам с того самого момента, как узнал от парикмахера о вашем приезде, ибо мне думалось, что это будет вам интересно. Хотя меня не в меньшей мере привело сюда и желание облегчить *свою* душу. Вы мне поверите, что это не пустяки, что это немножко волнительно с *таким* сознанием, изо дня в день, жить перед лицом *такого* феномена, — что это приводит к известному перенапряжению сил, покончить с которым, однако, и уехать в Рошток, где, конечно, ничего подобного тебя не ждет, становится совершенно невозможным... Чтобы лучше разъяснить вам положение вещей, — а мне кажется, что я не напрасно предположил ваш интерес к нему и вы охотно выслушаете меня, — короче, если мне будет дозволено посвятить еще несколько слов этому явлению, то я скажу, что оно уже нередко заставляло меня вспоминать о благословении Иакова в конце Книги бытия, где говорится, что Иосиф благословен господом «благословениями небесными свыше и благословениями бездны, лежащей долу».

Простите меня, но это только кажется, что я уклонился, заговорив об этом месте из Святого писания, на самом деле я не разбрасываюсь мыслями и весьма далек от того, чтобы потерять нить. Мы говорили о соединении могучих духовных даров с крайней наивностью в единой человеческой конституции и, как будто, решили, что такое соединение вызывает величайший восторг человечества. Но ведь в Писании именно об этом и говорится. Речь идет о двойном благословении, дарованном природой и духом, которое, если вдуматься, является благословением, по сути же — проклятием всего человечества; ведь человек бранный стороной своего существа причастен миру природы, другой же — и я бы сказал, решающей — миру духа, что можно было бы выразить в образе несколько комическом, но хорошо передающем суть дела: правой ногой мы стоим в одном мире, левой — в другом, — головная позиция, затруднительность кото-

рой чувствовать живо и глубоко нас научило христианство. Если человек отдает себе отчет в этой опасной, временами постыдной позиции и, порвав узы природы, стремится к чистому, духовному, он христианин. Христианство — это тоска по бесконечному, — беру на себя смелость думать, что мое определение правильно. Я, кажется, перескакиваю с пятого на десятое, но не беспокойтесь! Я не забываю не только пятого, но и первого и крепко держу нить. Итак, значит, я возвращаюсь к феномену величия, — великого человека, — в равной мере великого и человека, поскольку то проклятье благословением, та осознанная человеческая двойственность в нем одновременно и заострена до предела и снята. Я говорю снята в том смысле, что о тоске и тому подобных жалостных чувствешках здесь не может быть и речи, — двойное же благословение «небесным свыше и бездной, лежащей долу», зная не знает о печати проклятья, делается формулой если не непокорной, то непокоряющейся и абсолютно благородной гармонии и земного блаженства. В великом человеке доминирует духовное начало без какой бы то ни было враждебности к природному; ибо дух обретает в нем характер, которому природа доверяет не меньше, чем самому создателю. Этот характер так или иначе связан с последним, являясь как бы его доверенным, братом природы, которому она охотно вверяет свои тайны; ибо созидание — дружественно-братский элемент, связующий воедино дух и природу. Этот феномен великого духа, любимец и доверенный природы, этот феномен нехристианской гармонии и людского величия — вы понимаете, что он приковывает к себе не на девять, не на тринадцать лет, но на целую вечность, и что никакое самолюбие, если потворство такому значит отказ от общения с ним, не может самоутвердяться вопреки ему. Я говорил о горькой и сладостной чести — помнится, я обосновал это различие. Но мыслима ли честь более сладостная, нежели любовное служение этому феномену, счастье жить возле него, ежедневно впивать его, пригвождаясь первым же глотком. Вы спросили, хорошо ли себя чувствуешь подле него? Я смутно вспоминаю, что речь зашла о необычной благодати, распространяемой его присутствием, но также и о том, что она не чужда известной насильственности и стеснения, так что иногда трудно становится усидеть на стуле и невольно порываешься бежать... Теперь я точно вспоминаю, мы

заговорили об этом в связи с его терпимостью, его склонностью к попустительству, его покладистостью, — кажется, у меня вырвалось именно это выражение, по существу совершенно неправильное, ибо оно заставляет думать о мягкосердечии, христианстве и тому подобном, а это было бы нелепо, прежде всего потому, что покладистость сама по себе не является феноменом, но в свою очередь стоит в прямой зависимости от единства *всего* и *ничего*, от всеобъемлющего и nihil, от бога и дьявола. Фактически оно порождено этим безразличием, а потому не имеет ничего общего с мягкосердечностью и, скорее, воплощается в своеобразную холодность, уничтожающее равнодушие, нейтральность и индифферентность абсолютного искусства, которое, как мы уже говорили, моя уважаемая, само себе сторона и, как гласит стишок, «все сводит ни к чему», короче говоря — к всеобъемлющей иронии. Как-то раз в экипаже он сказал мне: «Ирония это та крупца соли, которая и делает кушанье съедобным». Я не только открыл рот от удивления, у меня от этих слов мороз пробежал по коже, ибо вы видите перед собой человека, непохожего на того неустрашимого дурачка из народной сказки, пустившегося на поиски страха. Меня легко бросает в дрожь, а здесь к тому имелся достаточный повод. Вдумайтесь, что это значит: без примеси иронии, *id est* нигилизма, все становится несъедобным. Это — нигилизм как таковой, это — разгром воодушевления, если не говорить о воодушевлении абсолютным искусством — поскольку к последнему случаю вообще приложимо слово воодушевление. Я никогда не мог позабыть эти слова, хотя еще ранее сделал открытие, — довольно неприятное, — что сказанное им легко забывается. Да, легко забывается. Отчасти это происходит, вероятно, оттого, что его любишь, слишком жадно в себя вливаешь его голос, взгляд, выражение лица, с которым он произносит те или иные слова, так что на сказанное уже нехватает внимания, вернее, от сказанного мало что остается, если отнять этот взгляд, голос, жест, неотъемлемые от самой сути; а суть у него больше чем у кого бы то ни было связана с личным; я бы даже сказал, — настолько, что ею-то и определяется его правда, так что она, без поддержки и придатка личного, уже перестает быть правдой. Пусть так, тут нечего возразить! И все же одним этим не объяснишь, почему так необычно легко забываются его слова. Тут должна быть

еще одна причина, в них самих заложенная. И здесь мне приходит на ум нередко в них заключающаяся противоречивость, неуловимая двусмысленность, видимо, и составляющая суть природы и абсолютно искусства, но несомненно наносящая ущерб их устойчивости и усвояемости. Усвояемо и пригодно для бедного человеческого разума только моральное. То, что не морально, а стихийно — нейтрально; то, что злокозненно, нас смущает; короче, то, что может быть названо эльфическим, то, что идет от мира всепризнания и уничтожающей толерантности, мира без причин и цели, где зло и добро уравниваются в своем ироническом праве, — это не запоминается человеком, ибо к этому он не питает доверия, за исключением того безграничного доверия, которое он все же к нему питает, а это доказывает, что к противоречивому человек может относиться только противоречиво. Ибо, дражайшая госпожа советница, это беспредельное доверие внушено тем бесконечным добродушием, связанным с эльфической сущностью и все же ей противостоящим, так что оно ее вопрошает: «Людские нужды — кто поймет?» и само же дает ответ: «Святой глагол к благим делам взывает, об этом знает смертный человек и песням издавна внимают». Так, в силу одного только добродушия, природно эльфическая и всеобъемлющая ирония все же становятся моральными; зато, будем говорить откровенно, бесконечное доверие, с которым к нему относятся, несколько не правдиво, — иначе оно не было бы столь бесконечно. Оно, в свою очередь, стихийно, биологично и всеобъемлюще. Это аморальное, но целиком завладевающее людьми доверие к благодушию великого человека, которое делает его прирожденным исповедником. Ему все ведомо и все открыто, ему все хочешь и можешь сказать, ибо чувствуешь, как охотно он постарается для людей, скрасит им мир, научит жизни — не из уважения к ним, но именно из любви, или, правильнее будет сказать, из симпатии. Предпочтемте это выражение, характеризующее и объясняющее ту необыкновенную благодать, которой проникаешься вблизи него, — я снова возвращаюсь к ней, ибо мне так и не удалось востать о ней наговориться, — слово «симпатия», мне кажется, лучше подходит здесь, нежели то, более патетическое слово. Да и благодать эта не патетическая, я хотел сказать, не духовная, но скорее, — видите, как я затрудняюсь подбором слов, — деятельная, чувственная, хотя она

и несет в себе свое противоречие, а именно крайнее стеснение и тревогу, и если я ранее заговорил о стуле, на котором не можешь усидеть от панического желания бежать, то ведь это несомненно связано с не-духовной, не-патетической, не-моральной сущностью этого благостного чувства. Прежде всего необходимо предпослать, что такое стеснение не непосредственно, исходит не от нас, а оттуда, откуда на нас веет благодатью, которой оно сопричастно, а именно из тождества этого *всего и ничего*, из сферы абсолютного искусства и всеобъемлющей проники. А что счастье там не обитает, это, моя дорогая, я знаю так ясно, что временами у меня разрывается сердце. Можно ли считать Протея, принимающего все формы и облики, — всегда, правда, оставаясь Протеем, но вечно иным и «все сводящим ни к чему», — позвольте спросить, можно ли считать его счастливым существом? Он бог или нечто вроде бога, а божественное мы чужем тотчас же. Древние говорили, что божественное узнается по особому благоуханию. По этому же озону богов, вдыхаемому нами в его близости, бога и божественное узнаем и мы. О, это неопишимо приятное ощущение! Но говоря «бог», мы уже произносим нечто нехристианское. Да, христианства здесь нет ни на грош, это достоверно, — нет веры в благодать мира и заступничество, я бы сказал: нет души и воодушевления, ибо воодушевление даришь идеальному, а дух, ставший самой природой, весьма низко ценит плен; это дух неверующий, дух без души, душевность проявляется у него разве что в симпатии, в известном чувственном предпочтении, вообще же его удел — всеобъемлющий скепсис, скепсис Протея. Чудно приятное ощущение, испытываемое нами, все же не может внушить нам веры в то, что здесь обитает счастье. Ибо счастье, если я не окончательно заблуждаюсь, лишь там, где вера и воодушевление, более того, пристрастность, а ей не ужиться с эльфической проницей и уничтожающим безразличием. Божественный озон, о да! Им никогда достать не надышишься! Но нельзя девять и еще четыре года радоваться этим флюидам и не знать при этом многого, не столкнуться с множеством явлений, явлений, которые, вероятно, объясняешь правильно, расценивая их как страшные доказательства того, что я сказал о счастье: угрюмость, недовольство, безнадежный уход в молчание, которого обществу постоянно приходится опасаться, — не со стороны хозяина дома, в

качестве такового он себе этого не позволит, но гостя, который впадает в угрюмое молчание и с тоскливо закушенными губами бродит из угла в угол. Попробуйте себе представить этот мрак и подавленность! Всё молчит, ибо кто станет говорить, когда он не раскрывает рта? Гости разбредаются по домам, смущенно перешептываясь: «Он был не в духе». К сожалению, это случается довольно часто. И тогда какой же это холод и чопорность, какая броня церемонности, под которой кроется его непонятная застенчивость, на редкость быстрая утомляемость, изнуренность, замкнутый круг существования: Веймар — Иена — Карлсбад — Иена — Веймар, все возрастающее стремление к одиночеству, к окостенению, к тиранической нетерпимости, к педантизму, к странностям, к манерности мага... Моя милая, моя дорогая, уважаемая госпожа советница это не только преклонные лета! В преклонных летах не обязательно быть таким. В этих проявлениях я научился видеть тихие, страшные признаки законченного неверия и эльфической всепроницающей, которая воодушевление подменяет пунктуальностью, хлопотливой деятельностью, сверхъестественной упорядоченностью. Людей она не уважает — они животные, неспособные совершенствоваться. В идеи она не верит: свобода, родина — это лишено естества, это пустышки. Но ведь она зерно абсолютного искусства, — так верит ли она хотя бы в него? Нисколько, уважаемая. По сути, она относится к нему почти свысока. «Стихи, — услышал я однажды от него, — в сущности ничто. Стихи — это, как вам сказать, поцелуй, который даешь миру. Но от поцелуев дети не рождаются». К этому он ничего не пожелал присовокупить. Но, если я не ошибаюсь, вы хотели что-то сказать?

Рука, которую он простер к Шарлотте, как бы предоставляя ей слово, дрожала непозволительно, в степени, уже вызывающей беспокойство. Но он, казалось, этого не замечал, и хотя Шарлотта настойчиво желала, чтобы рука, наконец, опустилась, он долго держал в воздухе эту руку с колеблющимися, как от землетрясения, вихляющимися пальцами. Ример, повидимому, был в изнеможении, да и не удивительно. Нельзя так долго, не переводя дыхания, с такой напряженной стройностью речи говорить о вещах, столь близко принимаемых к сердцу, и не выдохнуться, не выказать симптомов, которые Шарлотта с волнением, но не без известного неудовольствия подметила в нем: он

побледнел, пот выступил у него на лбу, воловьи глаза невидящим взором уставились в пространство, открытому рту со всею брызгливой черточкой сообщилось выражение трагической маски; он дышал тяжело, прерывисто и слышно.

Сопение и дрожь мало-помалу прекратились, и так как ни одна тонко чувствующая женщина не может счесть приятным и для себя подобающим смотреть на зашедшего — хотя бы в приступе кашля — мужчину, то Шарлотта отважно попыталась, несмотря на свою собственную большую взволнованность и нервное напряжение, успокоить собеседника веселым смехом, видимо, относившимся к шутливым словам о поцелуе. Впрочем, на них она уже откликнулась движением, которое Ример принял за желание говорить, — и небезосновательно, хотя она, собственно, и не знала хорошенько, что хочет сказать. Теперь она произнесла первое, что ей пришло на ум.

— Но что же вы хотите, мой милый господин доктор? Сравнение поэзии с поцелуем не ущемляет и не унижает ее. Напротив, это очень милое сравнение: оно воздает ей должное и самым почетным, подобающим образом противопоставляет ее жизни и действительности... Хотите знать, — спросила она внезапно, словно ей пришло в голову нечто, способное отвлечь разволнованного доктора и навести его на другие мысли, — хотите знать, скольким детям я подарила жизнь? Одиннадцати, считая тех двух, которых господь снова взял к себе. Простите мне мое самохвальство, но я была страстной матерью, из числа тех, которые не скрывают своего счастья и любят хвалиться ниспосланным благословением. Я говорю это потому, что христианской женщине не приходится опасаться страшного возмездия, постигшего языческую царицу — я что-то запаматовала ее имя — ах, да, Ниобею, — ведь это она так жестоко заплатилась за свою материнскую гордость... Вообще же многодетность обычна в нашей семье, и моей личной заслуги тут нет. У нас в немецком орденом доме, если б не смерть пятерых, было бы шестнадцать детей. Впрочем, эта маленькая толпа, для которой я играла роль матери задолго до того, как стала ею, получила уже достаточную известность, и я еще как сейчас помню неистовый восторг моего брата Ганса, бывшего в особенно коротких отношениях с Гете, когда прибыла книжка о Вертере и стала ходить по рукам в нашем доме. У нас было два экземпляра,

мы их разделили на листы и страницы, чтобы читать одновременно. И детворе, особенно нашему весельчаку Гансу, за радостью видеть весь свой домашний быт так обстоятельно воспроизведенным в романе, и в голову не пришло, как мы были уязвлены и напуганы, мой добрый муж и я, этим преданием нас гласности, всей этой правдой, на которую налипло столько неправды...

— Как раз об этом,— воспользовался возможностью прервать ее Ример, уже начинавший успокаиваться,— об этих чувствах я и хотел спросить вас.

— Я заговорила о них между прочим,— продолжала Шарлотта,— сама даже не знаю почему, и не хочу на них останавливаться. Это зарубцевавшиеся раны, и только рубцы напоминают еще о прежних страданиях. Слово «налипло» пришло мне на ум, потому что оно играло тогда известную роль в наших объяснениях, и наш друг в ряде писем живо от него оборонялся. Он близко принял его к сердцу,— «не налипло, а вплетено в ткань,— писал он,— вопреки вам и всем остальным!» Ну, хорошо, пусть вплетено. Нам от этого было не легче. Он также утешал Кестнера, что Кестнер не Альберт, отнюдь не Альберт. Но как заставить людей поверить этому? Что я не Лотта, этого он не утверждал, а попросил мужа горячо пожать мою руку и мне передать: «знать, что твое имя произносится тысячами благоговейных уст, все же некоторая компенсация за сплетни досужих кумушек». И здесь он, пожалуй, был прав. Да я и с самого начала думала не столько о себе, сколько о моем уязвленном миллом, и всем сердцем радовалась тому удовлетворению, которое за его прекрасные качества принесла ему жизнь, в особенности же тому, что он стал отцом моих девяти или, вернее, одиннадцати детей,— впрочем и тот другой всегда относился к ним с сердечным участием, в этом ему отказать нельзя. Однажды он написал, что хотел бы крестить их всех, ибо они так же близки ему, как и мы. И правда, мы попросили его в крестные к нашему первенцу в семьдесят четвертом году, хотя нам и очень не хотелось называть его Вольфгангом, на чем тот непременно настаивал; и мы потихоньку дали ему имя Георг. Но в восемьдесят третьем году Кестнер послал ему силуэты всех бывших у нас к тому времени детей, и очень его этим порадовал. Всего шесть лет назад он помог моему сыну Теодору, врачу, женатому на уроженке Франкфурта, девице Линперт,

получить там права гражданства и профессию в Медико-хирургической академии. Да, простите меня, но в этом случае он пустил в ход все свое влияние; и когда в прошлом году Теодор вместе с братом Августом, легационным советником, навещал его в Гербермюле, у доктора Виллемера, он очень дружественно принял обоих, осведомился и о моем житье-бытье и даже рассказал им о силуэтах, присланных ему их покойным отцом, когда они еще были озорными мальчишками, благодаря чему он знает их всех. Августу и Теодору пришлось дать мне подробный отчет об этом визите. Говоря о силуэтах, он выразил сожаление, что этот, некогда столь принятый способ оставлять память о себе, совершенно вышел из моды. Он был очень обязателен, рассказывали они, и только как-то непокоен во время беседы в саду, где собралось небольшое общество. Он ходил взад и вперед по лужайке, заложив одну руку в карман, другую за борт сюртука, и, когда останавливался, казалось, не очень твердо стоял на ногах и прислонялся к дереву.

— Кто же этого не знает,— произнес Ример,— он был не в духе. А сентенция по поводу силуэтов ровно ничего не значит и сказана лишь бы что-нибудь сказать. Но не будем к нему строги.

— Право, не знаю, мой милый господин доктор, в свое время он имел случай оценить всю прелесть и преимущества искусства ножниц. Как мог бы он иначе составить себе представление о моих детях? Ведь несмотря на свою к ним приверженность, он никогда не нашел или не искал случая узнать их и вновь свидеться со своим старым Кестнером. Тут силуэты очень пригодились. Вы, наверное, знаете, что в Вецларе у Гете был также и мой силуэт (как бы я хотела знать, хранится ли он еще у него!) и какую неистовую, бурную радость выказал он, получив его в подарок от Кестнера. Возможно, что отсюда и идет его пристрастие к этому виду искусства.

— О, конечно! Не могу вам сказать с уверенностью, находится ли эта реликвия среди прочих. Но это весьма важно, и я охотно обещаю вам как-нибудь, в благоприятную минуту, попытаться его.

— Я предпочла бы спросить его сама. Как бы там ни было, но я знаю, что некогда он просто поклонялся этой бедной тени. «Тысячи, тысячи поцелуев запечатлел я на нем, тысячи приветов слал ему, уходя или возвращаясь домой». Так у него написано. По Вертеру, портрет был мне

возвращен, но ведь он, слава господу, всем нам на благо, не застрелился и, следовательно, еще владеет им, если только время его не испепелило. Да и кроме того, он не мог бы вернуть его мне, ибо получил его не от меня, а от Кестнера. Но скажите, господин доктор, не кажется ли вам, что бурная радость, выказанная им по поводу этого подарка, который он получил даже не от меня, а от моего жениха, то есть от нас обоих, и его необыкновенная к нему приверженность свидетельствуют об удивительной готовности довольствоваться малым?

— Это *поэтическое* довольствование малым, — заметил Ример, — то, что для других — нищета, для поэта — величайшее богатство.

— Видимо, это же заставило его довольствоваться силуэтами детей, вместо того чтобы свести с ними настоящее знакомство и завернуть к нам во время одного из путешествий; если б Август и Теодор не взяли на себя инициативу и не решились посетить его в Гербермюле, он так бы и не увидел ни одного из человечков, которых, по его же собственному признанию, хотел бы всех, без исключения, иметь своими крестниками, ибо они ему были так же близки, как и мы. Как и мы. Его старый Кестнер, мой добрый Ганс Христиан, отошел в вечность, тому уже шестнадцать лет, так и не свидевшись с ним. О моем здоровье он очень учтиво расспрашивал мальчиков, но никогда, за всю нашу долгую жизнь, не сделал ни малейшей попытки узнать о нем от меня... И если б теперь, в предвечерний час, я не взяла на себя почин, — с чем мне, может быть, следовало поременить, — но ведь я приехала к своей сестре Ридель, а все остальное, разумеется, не более, как à propos...

— Дражайшая госпожа советница, — и доктор Ример ближе придвинулся к Шарлотте, не поднимая на нее глаз; вернее, он опустил веки, и его лицо как бы застыло в чаянии того, что он собирался сказать и для чего понизил голос: — Дражайшая госпожа советница, я умею уважать ваше à propos, мне понятна чувствительность, даже легкая горечь, сквозящая в ваших словах, скорбное удивление такой нехватке инициативы, мало естественной и не вполне гармонирующей с человеческим сердцем. Прошу вас, не удивляйтесь моим словам. Поверьте мне, там, где есть столько причин восхищаться, не может не быть повода и для удивления. Он ни разу не посетил вас, не



Силуэт Лотты

когда столь близкую его сердцу и внушившую ему бессмертную страсть. Это странно. Но если узам природы, крови придавать еще большее значение, нежели узам приязни и благодарности, то обнаружатся факты, очевидная необычность которых послужит вам утешением в вашем горьком опыте. Какая-то своеобразная угрюмость наличествует там, трудно определяемое торможение души, нечто противообычное и оскорбительное. Как относился он в продолжение всей своей жизни к кровным родственникам? Да никак. Отзывался о них с принятой учтивостью и преступно пренебрегал ими. Еще в юные годы, когда были живы его родители, сестра, какая-то робость, судить которую мы не вправе, мешала ему навещать их, даже писать им. О существовании единственного оставшегося в живых ребенка этой сестры, злополучной Корнелии, он ни разу в жизни не вспомнил и так и не знает его в лицо. Что уж тут говорить о внимании, хотя бы минимальном, к франкфуртским дядьям, теткам и всем остальным родичам. Мадам Мельбер, престарелая сестра его покойной матери, живет там со своим сыном — он не имеет с ними никакой связи, если не считать маленького капитала, который они ему должны как наследнику покойной советницы. А сама мать, эта мамочка, подарившая ему, как он декларировал, «веселый нрав и страсть к повествованию»? — Доктор Ример склонился еще

ниже, попрежнему не подымая глаз.— Уважаемая, когда восемь лет назад она отошла в вечность (он тогда как раз возвратился после долгого и живительного пребывания в Карлсбаде в свой нарядный дом), они не виделись ровным счетом одиннадцать лет. Одиннадцать лет!— нелегко выговорить эту цифру. Человеку тут остается лишь развести руками. Он был убит, потрясен до глубины души, мы все это видели и знали и от всего сердца радовались, когда Эрфурт и свидание с Наполеоном вывели его из подавленного состояния. Но за одиннадцать лет ему ни разу не пришло в голову — или он не удосужился? — завернуть в родной город, в родительский дом. О, конечно, тут найдутся уважительные причины: болезни, войны, необходимые поездки на курорт. О последних я упомянул для очистки совести, но боюсь, что невпопад, ибо во время этих поездок как раз и можно было, сделав небольшой крюк, завернуть в родительский дом! Но он пренебрег этим! Не спрашивайте меня, почему! Нам, мальчикам, на уроке закона божия учитель тщетно силился растолковать слова спасителя, обращенные к его матери: «Женщина, что мне до тебя». Все это не так надо понимать, заверял он нас, и это непочтительное обращение, и последующее, где сын божий подчиняет то, что нам всем священо, своему высшему икупительному призванию. Но законоучитель напрасно старался примирить нас с этим изречением; оно казалось нам столь мало назидательным, что никто не решался вслух произнести его. Простите мне это отступление! Сентенция, о которой я говорил, часто приходила мне на ум в этой связи и теперь невольно примешалась к моим усилиям примирить вас с этой странностью и объяснить вам столь непостижимое отсутствие инициативы. Когда ранней осенью четырнадцатого года, во время своего путешествия по Рейну и Майну, он снова посетил Франкфурт, родной город не видел его в своих стенах ровно семнадцать лет. Что это? Какая робость, какая необоримая застенчивость или злопамятная стыдливость определили чувства гения к городу, где он возник, к стенам, которые видели его в эмбриональном состоянии и которые он перерос, чтобы выйти на всемирный простор! Что он — стыдится их или совестится перед ними? Нам остается только спрашивать и предполагать. Правда, ни город, ни его достойная мать, по видимому, ничуть этим не были задеты. Франкфуртский «Почтовый вестник» по-

святил его пребыванию статью (я сохранил ее); что же касается матери, уважаемая, то ее преклонение перед гением сына всегда было равновелико ее гордости тем, что она произвела на свет такое чудо, и ее бесконечной любви к нему. Он хоть и оставался вдали, но посылал ей, по мере выхода в свет, каждый том полного собрания своих сочинений, и с первым из них — стихотворным — она никогда не расставалась. Восемь томов успела она получить до своей смерти и велела переплести их в тисненую кожу...

— Мой милый господин доктор, — перебила его Шарлотта, — право же, вы напрасно превозносите передо мной необидчивость родного города и материнское всепрощение. Насколько я понимаю, вы хотите поставить мне их в пример, но я в этом не нуждаюсь! Мои скромные выводы я сделала с полным спокойствием, не без сознания курьезности его поступков, но зато и без горечи. Вы же видите, что я следую примеру пророка и иду к горе, раз гора не захотела пойти ко мне. Обидчивый пророк этого бы не сделал. Не надо также забывать, что он идет к горе лишь по оказии, вернее, просто не собирается ее обходить, ибо это уже смахивало бы на обиду. Надеюсь, вы меня правильно понимаете: я вовсе не хочу сказать, что мне так уж по душе материнское смирение нашей дорогой, с миром почившей госпожи советницы. Я сама мать, я произвела на свет несколько сыновей, и они выросли почтенными, деятельными людьми. Но если б хоть один из них повел себя подобно сынку имперской советницы и в продолжение одиннадцати лет не пожелал бы заглянуть ко мне и только знай катал бы мимо моего города — на курорт и обратно, — я научила бы его благоприличиям и, верьте мне, господин доктор, задала бы ему хорошую головомойку.

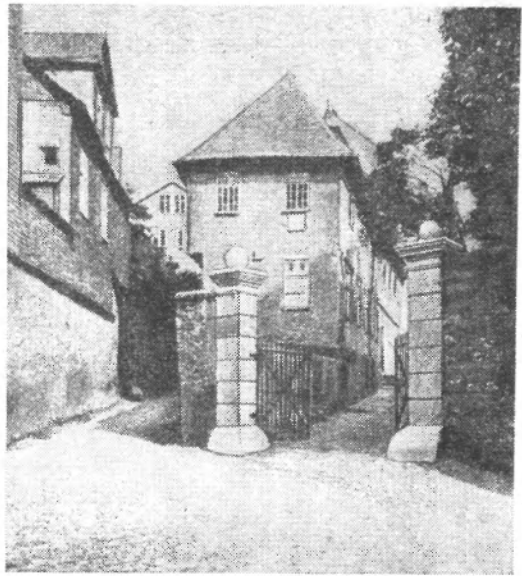
Гневно-веселое настроение, казалось, овладело Шарлоттой. Произнося свои запальчивые слова, она постукивала зонтиком, ее лоб с лепельно-серыми кудряшками покраснел, губы искривились не совсем так, как кривятся для улыбки, и в голубых глазах стояли слезы задора или какие-то другие слезы. Они блестели на ее ресницах, когда она продолжала:

— Нет, скажу откровенно, такое материнское всепрощение мне не по нраву; даже как обратную сторону великих достоинств я бы не признала ее, эту сыновнюю «непритязательность». Уж я бы примчалась — пророчица к горе — и поставила бы его призадуматься. Вы этому

поверите, раз я и теперь приехала посмотреть, что с этой горой происходит, — не потому, что я имею какие-нибудь права на него, боже упаси, я не мать ему, и он может проявлять свою «непритязательность» по отношению ко мне, сколько его душе угодно, — хотя, не стану отрицать, есть старый непогашенный счет между мною и им, и, может быть, он и привел меня сюда, этот давнишний непогашенный мучительный счет...

Ример со вниманием следил за Шарлоттой, словно «мучительный», выговоренное ею, было первым словом, соответствовавшим выражению ее рта, слезам на ее глазах. Мужчина и тяжелодум, он дивился и восхищался: на что только не способны эти женщины и как они хитрят, даже в чувстве. Она заранее позаботилась о текстке, сообщающем иной смысл выражению муки, вероятно, пожизненной муки — слезам и искривившемуся рту, ложно интерпретировавшем их так, что казалось, будто все это вызвано ее гневно-веселой тирадой и стояло с нею в прямой связи, задолго до того, как вырвалось это изобличающее слово, дабы никто не мог. не решился связать его с той давней мукой и, напротив, его воспринял в свете ранее сказанных слов, которыми она заблаговременно обеспечила себе право на внезапные слезы. Изощренные создания, думал Ример, невероятно искусные в притворстве, владеющие даром нераздельно смешивать лукавство и искренность, рожденные для света и любовных интриг. Мы, мужчины, — пентюхи, неповоротливые медведи в сравнении с ними. Мне удалось заглянуть ей в карты и постичь ее уловки только потому, что и я испытал мучения, столь схожие с ее мучениями, потому что мы соучастники, соучастники в муке... Он поостерегся прервать ее и выжидательно смотрел своими широко расставленными глазами на ее искривившиеся губы. Она снова заговорила:

— Сорок четыре года, мой милый господин доктор, прибавившиеся к моим тогдашним девятнадцати, для меня оставались загадкой, мучительной загадкой — зачем мне таится от вас? — эта «непритязательность», это довольствование силуэтами, довольствование поэзией, поцелуем, от которого, как он говорит, дети не рождаются. Но они родились, одиннадцать человек, если считать двух умерших, родились из любви моего Кестнера, его преданной, честной любви. Вдумайтесь хорошенько, попробуйте себе это представить и вы поймете, почему я за всю свою жизнь так



Немецкий орденский дом в Вецларе

и не справилась с моими сомнениями. Я не знаю, известны ли вам все обстоятельства? Кестнер приехал из Ганновера к нам, в Вецлар, когда началась ревизия, в качестве личного секретаря Фалька — Фальк, как известно, был посланником герцога Бременского. Все это со временем получит историческое значение и — не будем скромничать — каждый, именующий себя просвещенным человеком, должен будет знать все эти подробности. Итак: Кестнер в качестве секретаря бременской миссии приехал в наш город, спокойный, благонравный, положительный молодой человек. Я, пятнадцатилетнее создание — ведь мне тогда минуло всего пятнадцать, — тотчас же прониклась к нему глубоким доверием. Ибо он начал, поскольку ему позволяла постоянная занятость, бывать в Немецком доме, стал как бы членом нашего многочисленного семейства, за год перед тем потерявшего милую, любимую и незабвенную мать. О ней теперь весь мир знает из «Вертера». Наш отец, амтман, остался вдовым с целой кучей детей, и я, его вторая дочь, сама еще почти ребенок, изо всех сил старалась заменить покойную в воспитании детей и домоводстве; как умела, чистила носы малышам, кормила их и силилась крепче держать бразды правления в своих руках, ибо наша Лина, старшая, не проявляла ко всему этому ни охоты, ни склонности. Позднее, в семьдесят шестом году, она вышла замуж за надворного советника Дица и родила ему пятерых бравых сыновей. Старший из них, Фрицхен,



Ганс Христиан Кестнер

в свою очередь стал надворным советником при архиве имперского верховного суда,— все это надо будет знать со временем, когда в целях просвещения начнут докапываться и до этих сведений, а потому я уже теперь держу их в памяти. Кроме того, я хочу показать вам, что Каролина, наша старшая, впоследствии также сделалась превосходной женой и матерью; надо ведь позаботиться, чтобы история воздала должное и ей. Но тогда домовитостью отличалась я, а не она, так, по крайней мере, утверждали все, хотя в ту пору я была еще довольно тщедушным созданием, белокурым и голубоглазым. Лишь в последующие четыре года я несколько выровнялась как женщина — в угоду и из любви к Кестнеру — так, во всяком случае, мне казалось — он давно уже заглядывался на мою материнскую домовитость, и, что греха таить, заглядывался влюбленными глазами. А так как он всегда и во всем знал, чего хочет, то я здесь он едва ли не с первого дня знал, что хочет иметь меня, Лютхен, своей супругой и домоправительницей, когда служебное и материальное положение позволят ему посвататься за меня. Последнее, разумеется, было условием, которое поставил наш добрый отец, обещающий дать свое благословение, только когда Кестнер добьется известных жизненных благ и сможет прокормить семью. К тому же и я в ту пору была еще со-

всем неоперившимся цыпленком, в свои пятнадцать лет. Но все же это была помолвка, нерушимый, молчаливый обет, данный обеими сторонами. Мой добрый Кестнер хотел во что бы то ни стало добиться меня из-за моей домовитости, а я желала его всем сердцем, потому что он так сильно желал меня и из доверия к его достойному характеру. — короче говоря, мы были помолвлены. Мы навеки полагали свою жизнь друг в друге, и если я в последующие четыре года несколько развилась физически и приобрела, так сказать, женский облик, кстати — довольно приятный, то это, конечно, сделалось бы и само собой; просто для меня пришла пора из подростка стать женщиной или, выражаясь поэтически, расцвести. Конечно, это так, но в моем представлении все выглядело иначе. Все свершалось по определенному умыслу, из любви к нему, преданному и желавшему меня, в его честь, дабы ко времени, когда он станет достаточно представителем для звания жениха, и мне, со своей стороны, быть достаточно представительной в качестве невесты и будущей матери... Не знаю, понятно ли вам, почему мне кажется важным подчеркнуть, что по моему тогдашнему убеждению я исключительно для него, доброго, преданного, стала хорошенькой девушкой или хотя бы авантжной.

— Думается, я понимаю, — отвечал Рямер потупившись.

— И вот в пору, когда так обстояли дела, появился третий, друг, милый соглядатай. Он пришел извне, впорхнул в мир этих отношений и заботливо уготовляемой жизни, как бабочка или нестрая летняя птица. Не удивляйтесь, что я называю его бабочкой — он, конечно, был не очень легким юношей, то есть легким-то, пожалуй, и был: немного сумасбродный и сустный в манере одеваться, немного ветрогои, любивший щегольнуть силой и проворством; душа общества, он был изобретателем самых веселых игр, и лучшие из наших танцорок всегда были готовы с радостью протянуть ему руку — все это так, — хотя записчивость и нарядность не всегда были ему к лицу, ибо он все-таки был слишком тяжел, слишком полон духа и мысли для этого, — но ведь как раз тяга к глубоким размышлениям, гордость великими мыслями и были связующим звеном между серьезностью и легкомыслием, между грустью и самодовольством. В общем же он был очарователен. В этом нельзя не признаться: такой

открытый и добросердечный, в любую минуту готовый честно искупить свою провинность. Кестнер и я,— мы одинаково сдружились с ним,— все трое объединились в сердечной дружбе, ибо он, явившийся извне, пришел в восторг от отношений, существовавших между нами, с радостью воспринял их и к ним присоединился как друг и третий; у него на это хватало досуга, ибо, хорош или плох имперский суд, он оставил его в покое и ровно ничего не делал, в то время как мой, желая выдвинуться, то есть опять же ради меня, дневал и ночевал в капцелярии посланника. Я еще поныне убеждена и готова поручиться перед будущими исследователями, что он и от этого был в восторге — я имею в виду трудолюбие и занятость Кестнера — не потому, что это ему позволяло быть наедине со мною, нет, он не был неверным другом, никто не посмеет это сказать. К тому же поначалу он вовсе не был влюблен в меня, не поймите меня превратно, а был влюблен в нашу предназначенность друг для друга, в наше терпеливое счастье. В моем добром Кестнере он видел братскую душу и о неверности ему не помышлял. Он дружески положил руку на его плечо, чтобы в единении с ним любить меня, получая и свою долю в наших продуманно-спокойных отношениях. И вот тут-то и случилось, что рука, покоившаяся на плече Кестнера, была забыта, хотя он и не отнимал ее, и другое выражение принял взор, обращенный на меня. Доктор, представьте себе мое состояние: все долгие годы, вынашивая и растя детей, я день и ночь вспоминала об этом, без усталости думала и думаю по сегодняшний день! Боже милостивый, я все заметила, я была бы не женщина, если б не заметила, что его взор мало-помалу пришел в разлад с его верностью и что он был влюблен уже не в нашу помолвленность, но в меня, то есть в то, что принадлежало моему доброму Кестнеру, в то, во что я превратилась за эти четыре года ради него, желавшего меня на всю жизнь, желавшего стать отцом моих детей. Однажды *тогда* дал мне прочесть нечто выдавшее и долженствовало выдать мне, как обстоит дело и что он ко мне чувствует,— невзирая на руку, все еще покоившуюся на кестнеровом плече,— нечто, отданное им в печать,— ведь он писал и сочинял непрерывно и уже в Вецлар приехал с рукописью драмы о Геце фон Берлихингене, рыцаре с железной рукой, почему его приятели из трактира «Кронпринц», чи-

тавшие эту драму, и дали ему прозвание «Гец прямодушный». Но он писал также рецензии и тому подобное. Заметка, о которой я говорю, была напечатана во «Франкфуртском ученом вестнике». В ней разбирались стихи, написанные и выпущенные в свет каким-то польским евреем. Правда, о евреях и его стихах там говорилось немного. Он быстро переходил, словно не в силах сдерживаться, к рассказу о юноше и девушке, встреченной им среди мирной сельской природы. И в этой девушке я, несмотря на всю мою стыдливость и скромность, не могла не узнать себя, так густо был уснащен текст намеками на мою жизнь, на меня, на мирный семейный круг домашней деятельной любви, где расцветала эта девушка во всей своей душевной и телесной прелести, душа столь любвеобильная, что к ней неодолимо влеклись все сердца (я почти дословно цитирую его), поэты и мудрецы охотно шли к ней в ученье, с восторгом созерцая врожденную добродетель в союзе с врожденной прелестью. Короче говоря, конца не было намекам, надо было быть уже совсем богом ушибленной, чтобы не заметить, к чему он клонит,— тут уж никакая стыдливость и скромность не могли помешать пронырливости в истину. В трепет и от-



Шарлотта Буфф

чаяние меня повергло то, что юноша предложил девушке свое сердце, столь же молодое и пылкое, как и ее сердце, созданное, чтобы вместе с нею стремиться к далекому, таинственному блаженству этого мира (так он выразался) и в этом оживляющем содружестве (как было мне не узнать «оживляющее содружество») питать золотые надежды на вечную близость (я цитирую дословно) и вечно подвижную любовь.

— Позвольте, дражайшая госпожа советница, вы же делаете важнейшее открытие,— прервал ее Ример,— вы сообщаете вещи, в ценности которых для литературоведа едва ли отдасте себе отчет. Об этой рецензии ничего не известно. Я слушаю и ушам не верю. Ясно, что старик — ясно, что учитель утаил от меня этот документ. Возможно, впрочем, что он забыл...

— Этому я не верю,— перебила Шарлотта.— Такое не забывается. «Вместе с нею стремиться к далекому, таинственному блаженству» — об этом он, конечно, помнит так же, как и я.

— Очевидно,— усердствовал доктор,— этот документ связан с Вертером и положенными в его основу переживаниями. Уважаемая, это дело огромной важности! Сохранился ли у вас экземпляр? Надо его найти, сделать доступным филологам...

— Мне было бы очень лестно послужить науке таким указанием,— отвечала Шарлотта,— хотя должна сказать, что мне вряд ли еще необходимо обращать на себя ее внимание единичными заслугами.

— Вы совершенно правы.

— У меня нет этой рецензии,— продолжала она,— приходится разочаровать вас. В свое время он дал мне ее только на прочтение и требовал, чтобы я прочла ее при нем, на что я бы никогда не согласилась, если б хоть на мгновение заподозрила, в сколь тяжкий конфликт здесь вступят моя скромность и пронизательность. Так как я отдала ему рецензию, не взглянув на него, то не могу вам сказать, какую мину он состроил. «Вам понравилось?» — спросил он беззвучным голосом. «Еврей будет не слишком доволен», — холодно отвечала я. «Ну а вы, Лотхен,— настаивал он,— вы довольны?» — «Я не утратила душевного равновесия». — «О, если б я мог то же сказать о себе!» — воскликнул он, словно недостаточно было одной этой рецензии и понадобилось еще это восклицание, чтобы сказать мне, что рука, покоившаяся на плече Кестнера, за-

быта и вся жизнь теперь сосредоточилась в глазах, которыми он смотрел на то, что принадлежало Кестнеру, на то, что для него одного, под теплым, пробуждающим взглядом его любви, распустилось во мне. Да, все, чем я была, и все, что было во мне, все, что я могу теперь назвать моей девятнадцатилетней прелестью, принадлежало моему милому, было посвящено нашим честным житейским намерениям и црело не для «таинственного блаженства», не для какой-то «вечно подвижной любви», отнюдь нет. Но вы, доктор, поймете, да и все люди, я надеюсь, поймут, что девушка радуется и веселится, когда не только один видит ее весеннее цветение, не только тот, кому оно посвящено и кем, я бы сказала, оно вызвано, но когда на это цветение раскрываются глаза и у другого, третьего, ибо это ведь подтверждает нашу ценность для нас и для того, кто властвует над нами. И как же я радовалась, видя преданную радость моего милого суженого, его гордость моими успехами у других и, в особенности, у его необыкновенного, гениального друга, которым он восхищался, в которого верил так же, как в меня, или, вернее, несколько иначе, несколько менее почетной верой. Ибо в меня он верил потому, что не сомневался в моем благоразумии и был убежден, что я знаю, чего хочу; в него же верил именно потому, что тот понятия не имел, чего он хочет, и любил смятенно и бесцельно, как поэт. Вот, доктор, видите, как все было! Кестнер в меня верил, так как принимал меня всерьез, в того же верил, так как его всерьез не принимал, хотя и восхищался им бесконечно, его блеском и гением, хотя и сочувствовал страданиям, уготованным ему его бесцельной любовью поэта. Я тоже жалела его за то, что он так страдал из-за меня, за то, что по дружбе угодил в такой переплет, по мне было еще и обидно за него, за то, что Кестнер не принимал его всерьез и верил в него какой-то непочетной верой, а потому меня часто мучила совесть: мне казалось, что я обкрадываю моего милого, объединяясь душою с другом в обиде на такого рода доверие. Но, с другой стороны, это доверие успокаивало меня, позволяло мне смотреть сквозь пальцы и чет считать за нечет, видя, как подозрительно перерождается добрая дружба третьего и как он забывает о руке, положенной на плечо моего милого. Понимаете ли вы, господин доктор, что это чувство обиды было уже признаком моего собственного небрежения долгом и благоразумием и что доверие и

невозмутимость Кестнера сделали меня кемного легкомысленной?

— Благодаря моему высокому служению,— отвечал Ример,— я привык разбираться в подобных тонкостях и, кажется мне, постигаю всю тогдашнюю ситуацию. Я отдаю себе отчет также и в трудностях, выставленных для вас, госпожа советница, из этого положения.

— Благодарю,— отвечала Шарлотта,— и позволю себе заверить вас, что давность всего происшедшего нисколько не умаляет моей благодарности за это понимание. Ведь время здесь, против обыкновения, играет весьма ничтожную роль. Я берусь утверждать, что, несмотря на эти сорок четыре года, то давнее сохранило свою свежесть и непосредственность, постоянно наводящую на новые и новые размышления. Да, как ни полны были эти долгие годы радостями и страданиями, но дня не проходило, чтобы я напряженно не раздумывала о тогдашнем; впрочем, его последствия и то, во что оно выросло для всего просвещенного человечества, делают это понятным.

— Вполне понятным.

— Как хорошо вы это сказали, господин доктор, как ободряюще! И до чего же приятно беседовать с человеком, у которого всегда наготове эти добрые слова. Видно, то, что вы называете своим «высоким служением», и вправду во многом отразилось на вас, сообщило и вам качества исповедника, которому можешь и хочешь все открыть, ибо ему все «вполне понятно». Вы придаете мне мужество поведать вам еще кое-что о мучительных размышлениях, на которые наталкивали меня некоторые переживания той поры и позднейшие,— а именно о характере и роли того третьего, явившегося извне, чтобы положить в заботливо свитое гнездо кукушечье яйцо своего чувства. Не обижайтесь на такое определение, как «кукушечье яйцо»,— вспомните, что вы сами подали мне пример для подобных оборотов, смелых или дерзких, называйте, как хотите. Вы говорили о «эльфической» сущности, а эльфичность, на мой слух, звучит ничуть не лучше кукушечьего яйца. К тому же это только выражение долголетних непрестанных дум,— правильно ли вы меня понимаете?— я имею в виду: не плод их! В качестве такового оно действительно было бы некрасиво и недостойно, с этим я согласна. Нет, такие определения— это, в известной мере, продолжающиеся думы, не больше. Итак, я говорю и плечо другого не хочу сказать: добропоряд-



Гете в 1783 году

дочный юноша, несущий к ногам девушки свою любовь и поклонение— поклонение, а следовательно, и домогательства, которые не могут не смущать ее,— тем паче, чем особеннее и блистательнее проявляет себя этот юноша и чем увлекательнее общение с ним, естественно, вызывающее некоторые ответные чувства в ее сердце: такой юноша, я полагаю, должен был бы самостоятельно, если можно так выразиться, избрать свою избранницу, сам обнаружить ее на своем жизненном пути, сам оценить ее достоинства и вывести ее из мрака неузнанности, чтобы отдать ей свое сердце. Почему бы мне и не спросить вас о том, о чем я так часто спрашивала себя в продолжение этих сорока четырех лет: что сказать о добропорядчности юноши,— пусть общение с ним стократно увлекательно,— кому недостаёт самостоятельности в любви и избранни и кто предпочитает быть третьим и любить то, что расцвело для другого и благодаря другому?— кто, влюбившись в чужую влюбленность, вторгается в жизнь, созданную другими, и лакожится яствами с чужого стола? Любовь к нареченной другого— вот то, что заставляло меня ломать голову все эти годы моего замужества и вдовства, любовь, сочетаемая с верной дружбой к жениху, которая— при всех домогательствах, неразлучных с нею,— отнюдь не намеревалась ущемить его права— или разве что поцелуем,— любовь, предоставляющая другу все права и обязанности и наперед ограничивающая себя намерением крестить детишек, которые произойдут от

брака тех двоих, а если и это не удастся, то довольствоваться представлением о них по силуэтам. Скажите, что же это такое — любовь к чужой невесте, и почему она может стать предметом долголетних, трудных дум? Они привели к тому, что у меня на языке стало неотвязно вертеться одно слово, и я, несмотря на внутреннее сопротивление, не смогла от него отделаться. Это слово — прихлебательство...

Наступило молчание. Голова старой дамы дрожала. Ример на мгновение закрыл глаза и закурил губы. Затем он заговорил с нарочитым спокойствием.

— Имея мужество выговорить это слово, вы, должно быть, учли, что у меня достанет мужества его выслушать. И, верно, вы согласитесь, что испуг, на мгновение заставивший нас умолкнуть, был только испугом перед божественным значением и смыслом этого слова, не ускользнувшем от вас, когда вы его обрели. Могу вас заверить, что принимаю эту мысль во всей ее чистоте. Существует божественное прихлебательство, нисхождение божества в обитель человека, не новое для нашего воображения, божественно случайное соучастие в земном блаженстве, высшее избрание избранницы смертного, любовная страсть божества к жене человека, достаточно благочестивого и богобоязненного, чтобы чувствовать себя не оскорбленным и не униженным такого рода делом, но, напротив, вознесенным и отличенным. Его доверие, его спокойствие вызвано именно этой бродяжно-божественной сущностью сотрапезника, которому, независимо от благоговения и набожного восторга, им возбуждаемого, свойственна некая реальная незначительность, — я упоминаю об этом, так как вы первая заговорили о «непринимании всерьез». Божественное, право же, не принимается вполне всерьез, конечно, поскольку оно обитает среди людей. Земной жених по справедливости может сказать себе: «Успокойся, это только бог», хотя «только» здесь, разумеется, исполнено прямодушного признания высшей природы солюбownika.

— Так все и было, друг мой; оно было исполнено этим чувством и притом даже слишком, так что я нередко замечала сомнения и терзания моего милго: достоин ли он быть моим обладателем перед лицом столь высокой, хотя и не совсем всерьез принимаемой страсти другого? Сможет ли он осчастливить меня в той мере, как тот, и не лучше ли ему, стиснув зубы, отказаться от соперничества?

И, признаюсь, я была не всегда, не всем сердцем готова снять с Кестнера эти сомнения. И все это, доктор, заметьте, — хотя мы оба и чуяли про себя, что его страсть, сколько бы страданий она ни несла с собой, была лишь чем-то вроде игры, чем-то, на что нельзя было положиться, каким-то сердечным средством для достижения сверхобычных, — мы едва решились так думать, — сверхчеловеческих целей.

— Дражайшая, — произнес фамулус¹ растроганным и в то же время предостерегающе порицательным тоном, он даже простер ввысь украшенный перстнем палец, — поэзия — это не сверхчеловеческий феномен, несмотря на всю ее божественность. Девять плюс четыре года я служу ей поденщиком и писцом. В тесном общении я многое заметил за нею и вправе о ней говорить: на деле она — таинство, очеловечивание божества; она человечна и божественна в равной мере — феномен, отсылающий нас к глубочайшим тайнам христианского учения и к обольстительным мифам язычества. Пусть причина — в ее божественно-человеческой двойственности или в том, что она сама красота, — безразлично; она склонна к самолюбванию и ассоциируется с древним прелестным образом отрока, в восторге склонившегося над своим отражением. Как слова в ней, улыбаясь, любят себя, так и чувства, и мысли, и страсть. Самолюбование не в чести у смертных, но в высоких сферах, дражайшая госпожа советница, это слово не имеет порицания. Да и как может прекрасное, поэзия, не прельщаться собою? Она продолжает собой любоваться и в страстнейших страстях — она человечна в страданиях и божественна в самовосхищении. Она любит себя созерцать в самых странных обликах и причудах любви, к примеру, в любви к невесте, то есть к невеленному, запретному. Ей правится, неся на себе печать принадлежности к чуждому, нечеловеческому, любовному миру, вступать в людские связи и соучаствовать в них, пьянея от греха, в который она впадала, которому предалась добровольно. В ней много от знатного господина — и в нем от нее, — которому правится распахнуть плащ и предстать перед ослепленной, молящейся на него девочкой из народа во всем великолепии испанского придворного платья... Такова природа ее самовосхищения.

— Сдается мне, — заметила Шарлот-

¹ Ассистент или ученый служитель (лат.).

та.—такое самовосхищение связано с чрезмерной неприязнательностью, уже не позволяющей всецело признать его права. Мое смятение в ту пору — долго не проходящее смятение, не буду этого скрывать — было вызвано сравнительно жалкой ролью, на которую здесь согласилось божество, как вам угодно было выразиться. Вы, милый доктор, сумели грубому слову, вырвавшемуся у меня, дать высокое, величественное толкование, и я очень благодарна вам. Но, по правде говоря, какой все-таки жалкий вид имело это божественное сотрапезничество и в каком конфузливом удивлении повергало нас, предназначенных друг для друга, непонятное нам сострадание к этому другу, к этому третьему меж нами, столь превосходящему блеском нас, простых смертных. Разве ему нужно было строить из себя нищего и принимать милостыню? А чем был мой слуга или бант от платья, подаренный ему Кестнером, как не милостыней? Правда, я знаю, что одновременно они были и жертвой, примирительной жертвой, ибо я, невеста, безусловно хотела этого, и дар был сделан с моего согласия. И все же, доктор, всю мою долгую жизнь я не переставала дивиться неприязнательности богоподобного юноши. Сейчас я хочу вам рассказать кое-что, над чем я ломала голову в продолжение сорока лет, так и не подыскав объяснения, — мне однажды поведал это Борн, практикант Борн, проживавший тогда в Вецларе, сын лейпцигского бургомистра, знакомый с ним, как вы знаете, еще с университета. Борн хорошо относился к нему и к нам, в особенности к Кестнеру. Превосходный, благоспитанный юноша, он обладал большим тактом и на многое из происходившего смотрел с неодобрением. Его заботило, как я узнала позднее, близость того ко мне и его поведение, так как все это было похоже на шуры-муры, опасные для Кестнера, то есть на то, что он волочил за мною, желая отбить меня у моего жениха. Борн высказал это тому, когда мой милый был в отъезде. «Брат, — сказал он, — не дело ты затеял, к чему все это приведет? Ты даешь повод к пересудам о девушке и о тебе. Будь я Кестнером, клянусь богом, мне бы это не пришлось по вкусу. Опомнись, брат!» И знаете, что он ему ответил? «Пусть я дурак, — сказал он, — но я бесконечно высоко ставлю эту девушку, и если она меня обманет (если я его обману, так он сказал), если она окажется столь заурядной и воспользуется Кестнером как ширмой, чтобы тем

увереннее расточать свои прелести, то миг, в который я это узнаю, миг, в который она предаст жениха, будет последним мигом нашего знакомства». Что вы на это скажете?

— Весьма благородный и деликатный ответ, — промолвил Ример, опустив глаза, — свидетельствующий о доверии, с которым он к вам относился, о вере в то, что вы ложно не истолкуете его приверженность.

— Ложно не истолкую? Я и поныне стараюсь не истолковать ее ложно. Но скажите, как правильно толковать ее? Нет, он мог быть спокоен, мне и на ум не приходило предаваться кокетству под прикрытием нашей помолвки. Для этого я была слишком глупа или, говоря его словами, недостаточно заурядна. Но он-то сам, разве он не пользовался Кестнером и нашим обручением как прикрытием для своих поступков и страсти к уже несвободной девушке, которой зазорно предавать своего жениха? Разве он не обманывал меня, не мучил своей вдохновенно взволнованной, будоражившей мою душу привлекательностью, которой я не могла, и он это знал наверное, не могла, не хотела и не дерзала покориться? Однажды в Вецларе заявился его друг, долговязый Мерк, — я его не терпела, — вечно насмешливый и озлобленный вид, противная физиономия, заставлявшая меня сжиматься, но большая умница и на свой лад действительно любивший его, может быть, единственного на свете. Убедившись в этом, я волей-неволей стала лучше к нему относиться. Так вот, то, что ему сказал этот Мерк, позднее дошло и до меня. Мы вместе с брандтовскими девочками, Анхен и Дортельхен, дочерьями прокуратора Брандта, снимавшего большой дом в Орденском дворе, моими соседками и закадычными подругами, отправились на вечеринку потанцовать и поиграть в фанты. Дортель, красивая и рослая, была куда представительнее меня, все еще довольно субтильной, несмотря на мое цветение в честь Кестнера, — а глаза у нее были как черные вишни и частенько возбуждали мою зависть, ибо я знала, что он в сущности любит черные глаза и отдаст им предпочтение перед голубыми. И вот этот долговязый отзывает Гете и говорит: «Глупец, какого чорта ты волочишься за невестой и попусту теряешь время? Обрати-ка лучше внимание на эту чернооую Юнопу, Доротею, и приударь за нею, тут дело живо наладится, она свободна и ничем не связана. Ну, да, впрочем, ты

охотник расточать время». Анхен, ее сестра, слышала это и точно пересказала мне. Он только рассмеялся на слова Мерка, говорила она, и пропустил мимо ушей упрек в грате времени,— тем более легко для меня, если хотите, что он не признавал потерянным время, отданное мне, и свободу Дортель не счел достоинством, превышавшим мои достоинства. Или же, быть может, и видел в этом достоинство, но ему ненужное. Впрочем, в романе он наделил Лотту черными глазами Дортель,— если это ее черные глаза. Ведь говорят, что они идут от Максимилианы Ларош, впоследствии Брентано, во Франкфуртском доме которой, в ее медовый месяц, он просиживал целые дни перед написанием «Вертера», покуда муж не устроил сцену, положившую конец этим визитам. Люди говорят, что это ее глаза, у некоторых даже хватает бесстыдства утверждать, будто в вертеровской Лотте от меня не больше, чем от иных прочих. Что вы скажете об этом, доктор, в качестве мужа науки? Разве это не ужасная вещь и разве я могу спокойно к ней относиться? Подумайте только, из-за этой чуточки черных глаз я уже перестаю быть Лоттой?

Ример с изумлением заметил, что она плачет. На лице старой дамы, резко отворотившейся, чтобы скрыться от его взора, покраснел носик, ее губы дрожали, и тонкие пальцы торопливо шаркали в ридикюле, отыскивая платочек, которому предстояло осушить слезы, готовые вот-вот пролиться из ее быстро мигающих незабудковых глаз. Но и опять, как прежде, доктор снова заметил это, она плакала по заранее предусмотренному поводу. Быстро и хитро, из женской потребности в притворстве, она его симпровизировала, чтобы беспомощным слезам, давно уже подступавшим к горлу, слезам о неспостижимом, дать более простое, хотя и довольно вздорное толкование. Несколько секунд она прижимала платочек к глазам.

— Дорогая, бесценная мадам Кестнер,— проговорил Ример.— Как может сомнение в вашей почетнейшей роли задеть вас, хотя бы на малый миг причинить вам огорчение? Наше сидение здесь, осада, терпеливыми и, как мне думается, довольными жертвами которой мы стали, должна со всей ясностью показать вам, в ком нация видит прообраз вечной героини. Я говорю так, словно еще может быть место сомнению в вашем величии, после того как учитель сам в... позвольте... да, в третьей части своей исповеди высказал-

ся об этом. Надо ли мне вам напоминать? Как художник, говорит он, концентрирует в своей Венере множество виденных красавиц, так и он позволил себе из добродетелей многих хорошеньких девушек сформировать свою Лотту; но основные черты, добавляет он, взяты от любимейшей,— любимейшей, госпожа советница! А чей дом, чью семью, характер, внешность и деятельную любовь описывает он с такою нежностью и точностью, не оставляющими места каким бы то ни было сомнениям, в...— сейчас, одну минуточку— в двенадцатой книге? Пусть спорят празднословы, существует одна или несколько моделей Лотты Вертера,— героиня одного из прелестнейших, трогательнейших эпизодов в жизни великого гения. Лотта юного Гете, уважаемая, имеется только одна...

— Это я сегодня уже слышала,— улыбаясь и краснея, сказала она, выгнув из-под платочка.— Здешний кельпер, Магер, по какому-то поводу высказал то же самое мнение.

— Я ничего не имею против,— возразил Ример,— разделять проникновение в истину с простым человеком.

— В конце концов,— заметила она с легким вздохом и дотронулась платочком до своих глаз,— эта истина не столь уже много значит, мне следовало бы помнить об этом. На один эпизод, разумеется, довольно и одной героини. Но эпизодов-то было множество, и говорят, что они все еще имеют место. Я внесена в длинный список...

— Бессмертный список,— дополнил он.

— Вернее,— поправились она,— судьба внесла меня в него. Я на нее не в претензии. Она была ко мне милосерднее, чем ко многим из нас, даровав мне полную, счастливую жизнь бок о бок с добрым мужем, которому я хранила разумную верность. Среди нас есть более туманные, печальные образы; они изошли одинокими слезами и обрели мир в безвременной могиле. Но когда он пишет, что покидал меня не без страданий, но все же с более чистой совестью, нежели Фредерику, то я не могу не сказать: и в моем случае совести есть за что попрекнуть его, немало он измучил меня своими бесцельными домогательствами и до того возмутил мое сердечко, что оно готово было разорваться. Когда он уехал и мы снова оказались одни, простые люди, в своем кругу, грустно стало у нас на душе, и только о нем мы и могли говорить. Но и легко нам стало тоже. Да, мы почувствовали облегчение,— я тогда же это подумала и в этом

старалась убедить себя, что вот восставились естественные для нас, нам подобающие мирные будни и отныне навек пойдут своей чередой. Да, как бы не так! Тут все только и началось! Пришла книга, и я стала бессмертной возлюбленной, — не единственной, боже упаси, ведь их целый список, но прославленнойнейшей, больше других возбуждающей людское любопытство. И вот я вошла в историю литературы, стала предметом исследований и паломничеств, изображением Мадонны, перед чьей нишей всегда толпится парод в соборе человечности. Таков был мой удел. И я продолжаю спрашивать себя, как это случилось? Потому ли, что юноша, смущавший меня в то лето, стал так велик, что и меня повлек за собою, и с тех пор всю свою жизнь я живу в тревоге болезненного возвеличения, в которое меня ввергло его тогдашнее бесцельное волокитецтво? Как случилось, что мои бедные, глупые слова были произнесены для вечности? Когда мы с кухней ехали на бал и разговор вертелся вокруг романов, а затем перешел на танцы, я что-то болтала о том и о другом, нимало не помышляя — боже избави! — что я болтаю для столетий и что это будет стоять в книге навеки веков. Я бы тогда попридержала язык или попыталась сказать что-нибудь, может быть, более подходящее для бессмертия. Ах, господин доктор, я стыжусь этих слов, встречаясь с ними в книге, стыжусь так вот стоять с ними в моей нише перед всем человечеством! А этот мальчик, раз уж он был поэтом, неужели он не мог немного прикрасить их, переказать половчее, чтобы мне лучше было стоять с ними — Мадонной перед лицом человечества? Ведь, собственно, это была его обязанность, раз уж он непрошено втянул меня в мир вечности.

Она опять заплакала. Кто раз всплакнул, у того глаза уже на мокром месте. И снова, качая головой, в беспомощном недоумении перед своим жребием, она прижала к глазам платочек.

Ример склонился к ее другой руке в митенке, вместе с ридикюлем лежавшей на коленях, и ласково положил на нее свою руку.

— Милая, дорогая мадам Кестнер, — произнес он, — трепет, некогда возбужденный вашими милыми словами в груди юноши, вовеки веков будет разделяться всем чувствующим человечеством — об этом он, как поэт, позаботился, и пе в словах тут дело. — В дверь постучали. — Войдите, — машинально произнес он, не

изменяя ни своего положения, ни мягкого утешающего тона.

— Примите смиренно, — продолжал он, — что ваше имя отныне и вечно будет блистать среди женских имен, отмечающих эпохи его великого творчества, и питомцы просвещения будут говорить о вашей встрече, как о любовных похождениях Зевса. Сживитесь с тем, — да, впрочем, вы уже давно сжились, — что вы, как и я, принадлежите к людям, мужчинам, женщинам, девушкам, на которых, благодаря ему, падет свет истории, легенды, бессмертия, — как на тех, вокруг Иисуса... Кто там? — спросил он, выпрямляясь, но все еще растроганным голосом.

В комнате стоял Магер. Услышав, что речь идет о господе нашем Иисусе Христе, он молитвенно сложил руки.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Шарлотта торопливо засунула в ридикюль свой платочек, быстро замигала глазами и слегка потянула покрасневшим носиком. Таким путем ей удалось побороть душевное состояние, нарушенное появлением кельнера. Мина, которую она теперь приняла, относилась уже к новой фазе ее переживаний: это была весьма рассерженная мина.

— Магер! Вы уже опять здесь? — с досадой сказала она. — Я ведь, кажется, предупреждала, что должна обсудить с доктором Римером весьма серьезные вопросы и не хочу, чтобы мне мешали!

Тут у Магера нашлось бы что возразить, но он из почтения отказался оспаривать этот самообман и ограничился тем, что, простерев к старой даме и без того уже молитвенно сложенные руки, проговорил:

— Госпожа советница, смею заверить, что я до последней минуты старался не нарушить происходящего здесь собеседования. Я безутешен, но что мне было делать? Вот уже более сорока минут новый гость, дама из веймарского общества, дожидается возможности предстать перед госпожой советницей. Я не мог более медлить с докладом и решился войти, уповая на чувство справедливости госпожи советницы и господина доктора, без сомнения привыкших, подобно другим высоким и почитаемым особам, делить между людьми свое время и благосклонность, дабы не оставить многих обойденными...

Шарлотта поднялась.

— Это уже слишком, Магер, — заявила

она.— Битых три часа или больше, не знаю, когда я и без того проспала, я собираюсь уходить, чтобы добраться, наконец, до моих на pewno уже обеспокоенных родственников,— а он хочет задержать меня новыми визитами! Право, это уже чересчур! Я сердилась из-за мисс Казл, из-за господина доктора я сердилась тоже, хотя, как оказалось, это был визит более чем интересный. А теперь он навязывает мне еще новое промедление! Приходится всерьез сомневаться в преданности, которую он на все лады изъяснял мне, видимо, только для того, чтобы удобнее выставлять меня напоказ.

— Недовольство госпожи советницы.— с покрасневшими глазами воскликнул кельнер,— разрывает мне сердце, и без того растерзанное борьбой двух священных обязанностей. Ибо как мне не почтять священной обязанность защищать нашу знаменитую гостью от посторонних вторжений? Но пусть госпожа советница, прежде чем навеки обречь меня своей немилости, соизволит взвесить, что не менее священы и понятны такому человеку, как я, чувства высокочтимых особ, которые тотчас же по принятии к сведению вести о прибытии госпожи советницы возгорелись страстным желанием предстать перед нею.

— Прежде всего,— строго взглянув на него, сказала Шарлотта,— следовало бы узнать, кем пущен этот слух.

— Кто спрашивает госпожу советницу?— осведомился Ример, в свою очередь поднявшийся со стула.

— Демуазель Шопенгауэр,— отвечал Магер.

— Гм,— буркнул доктор.— Уважаемая, этот добрый человек не так уж неправ, взявшись доложить о ней. Речь, с вашего разрешения, идет об Адели Шопенгауэр, весьма просвещенной девице, принадлежащей к лучшему обществу, дочери мадам Иоганны Шопенгауэр, богатой вдовы из Данцига, которая вот уже десятилетия проживает у нас,— она преданный друг учителя, к тому же сама писательница и хозяйка литературного салона, в котором он, в пору, когда еще охотно бывал в обществе, нередко проводил вечера. Вы были так добры приписать известный интерес нашему собеседованию. И если вы чувствуете себя не слишком утомленной и располагаете еще малой толикой времени, то я взял бы на себя смелость посоветовать вам уделить несколько минут этой барышне. Не говоря уже о благодеянии,

которое вы, таким образом, окажете чувствительному юному сердцу, это, и готов перучиться, даст вам лучшую возможность ознакомиться с нашими обстоятельствами и взаимоотношениями, нежели беседа с ученым отшельником. Что же касается последнего,— с улыбкой добавил Ример,— то он очищает поле действий, за слишком долгое пребывание на котором ему, к сожалению, нельзя не упрекнуть себя...

— Вы чересчур скромны, господин доктор,— успокоила его Шарлотта.— Я благодарна вам за этот час, столь приятно проведенный, он навсегда останется памятен мне.

— Два часа, позволю себе заметить,— вставил Магер, в то время как Ример с чувством склонился над ее рукой.— И так как обед, повидимому, несколько отсрочится, было бы весьма желательно, чтобы госпожа советница, прежде чем я введу демуазель Шопенгауэр, подкрепила свои силы легкой закуской, чашечкой бульона с гренками, например, или стаканчиком венгерского.

— Я не голодна,— отвечала Шарлотта,— и в полном обладании своими силами! Будьте здоровы, господин доктор! Надеюсь еще увидиться с вами в последующие дни. Ну, а Магер пусть идет с богом и просит ко мне эту барышню, оговорив, однако,— я на этом настаиваю,— что у меня осталось лишь несколько минут для беседы с нею и что даже малая проволочка является непростительным обкрадыванием моих заждавшихся родственников.

— Слушаюсь, госпожа советница! Но позвольте заметить: отсутствие аппетита еще не означает отсутствия потребности в пище. Если б госпожа советница мне дозволила возобновить просьбу о небольшом подкреплении сил... это наверно послужило бы ей на пользу, и госпожа советница, возможно, благосклоннее отнеслась бы к предложению моего друга, полицейского сержанта Рюрига... Он, вместе с одним из своих коллег, наблюдает за порядком возле нашего дома и только что заглянул ко мне в сени. По его мнению, наших жителей легче было бы заставить разойтись, если б им удалось бросить хотя бы взгляд на госпожу советницу, и госпожа советница оказала бы немалую услугу полиции и общественному порядку, согласившись, пусть только на мгновение, показаться толпе в дверях дома или у раскрытого окна...

— Да ни за что, Магер! Ни под каким видом! Это же совершенно нелепое, абсурдное предложение! Может быть, еще прикажете мне держать речь? Нет, я не покажусь, ни в коем случае. Я не владетельная особа...

— Больше, госпожа советница! Больше, возвышеннее, чем таковая. При нынешнем расцвете культуры смотреть сбегаются не на владетельных особ, но на светила нашей духовной жизни.

— Глухости, Магер. Я, слава тебе господи, знаю толпу и грубые мотивы ее любопытства; с духом они имеют ах как мало общего. Все это вздор. Я пойду, когда мой прием, наконец, кончится, не оглядываясь по сторонам. И, конечно, ни о каком «показывании» не может быть и речи.

— На усмотрение госпожи советницы. Но горько сознавать, что небольшое подкрепление сил могло бы побудить госпоже советнице увидеть все в ином свете... Я иду известить декуазель Шопенгауэр.

Шарлотта воспользовалась краткими минутами своего одиночества, чтобы подойти к окну и, выглянув из-за тюлевой занавески, которую она присобрала в руке, убедиться, что на площади не произошло никаких перемен и двери гостиницы озаждены попрежнему. Ее голова при этом сильно дрожала, а щеки от волнующих перипетий разговора с фамулузом пылали румянцем. Отвернувшись, она дотронулась до них тыльной стороной руки, чтобы ощутить тепло, туманившее ей глаза. Вообще же ее утверждение, что она не утратила своих сил, отвечало истине, хотя лихорадочная природа ее бодрости и была, вероятно, не вполне ясна ей. Безудержная общительность и возбужденно нервная словоохотливость одолевали ее, нетерпеливое расположение к дальнейшим разговорам и почти торжествующее сознание небудничной беглости речи, способной касаться самых скользких вещей. Она с любопытством поглядела на дверь, которая должна была распахнуться перед новой гостьей.

Адель Шопенгауэр, впущенная Магером, застыла в глубоком реверансе, дожидаясь ответного приветствия старой дамы. Молодая девушка, лет двадцати с небольшим, по оценке Шарлотты, обладала наружностью весьма некрасивой, но интеллигентной,— даже ее манера, с первого мгновения и непрестанно быстро мигать, озираться и поднимать взор к небу, чем она силилась скрыть очевидную косость желто-зеленых глаз, производила впечатление нервной интеллектуальности, а ее



Адель Шопенгауэр

рот, большой и узкий, но умно улыбающийся и, видимо, понаторелый в просвещенной беседе, отвлекал внимание от длинного носа, такой же длинной шеи и удручающе оттопыренных ушей, на которые из-под несколько экстравагантной соломенной шляпы свисали вдоль щек мелкие буколки. Фигура у нее была сухопарая. Белая плоская грудь утопала в батистовых рюшах, обвивавших худые плечи. Ажурные митенки на тонких руках не закрывали тоже сухих, красноватых пальцев с белыми ногтями. Помимо ручки зонтика она сжимала в них еще какой-то пакетик и стебли цветов, завернутых в шелковую бумагу.

Говорить она начала тотчас же, быстро, безупречно, не делая пауз между фразами, с тем проворством, которого Шарлотта заранее ждала от ее умного рта. При этом он слегка увлажнялся, так что быстрые, чуть окрашенные саксонским акцентом слова, казалось, катятся как по маслу, и Шарлотта невольно ощутила беспокойство: захотят ли здесь считаться с ее собственной возбужденной словоохотливостью.

— Госпожа советница,— начала Адель.— нехватает слов выразить, как я благодарна вам за доброту, незамедлительно даровавшую мне радость засвидетельствовать вам мое глубокое уважение.— И, не переводя дыхания:— Я делаю это не только от

лица моей собственной скромной особы, но также и от имени, если не по поручению,—такового я еще не успела получить — нашего содружества муз, дух и единство которого блестяще выдержали испытание перед лицом чудесного события,— я имею в виду ваш приезд,— поскольку одна из нас, а именно моя возлюбленная подруга, графиня Лина Эглоффштейн, передала мне окрыляющую весть, едва только услышала ее от своей камеристки. Совесть мне подсказывает, что я должна была бы поставить в известность Музеллину — ах, простите, это прозвище Лины Эглоффштейн, в нашем содружестве у всех такие имена, вы будете смеяться, если я перечислю их — а задуманном мною шаге, хотя бы из чувства благодарности,— она, конечно, не замедлила бы ко мне присоединиться. Но, во-первых, твердое решение я приняла уже после ее ухода, а во-вторых, у меня имеются достаточно веские основания желать в единственном числе приветствовать вас, госпожа советница, и поговорить с вами с глазу на глаз... Разрешите мне преподнести вам несколько астр, колокольчиков и петуний, а также этот скромный образчик нашего усердного искусства.

— Милое дитя,— отвечала повеселенная Шарлотта, так как произношение Адели: «бедунни» разбудило ее смелость и ей не надо было удерживаться от смеха, который мог относиться еще к «Музеллине»,— милое дитя, это очаровательно. С каким вкусом подобраны тона! Надо нам позаботиться о воде для этих чудесных цветов. Таких красивых петуний,— и смех снова разобрал ее,— я, кажется, сроду не видывала.

— Наш край славится цветами,— встала Адель.— Флора к нам благосклонна.— И она взглядом указала на гипсовую фигуру в пише.— Эрфуртское семеноводство пользуется мировой известностью уже целое столетие.

— Прелестно,— повторила Шарлотта.— А то, что вы называете образчиком веймарского усердного искусства, что это такое? Я хоть и старая, но любопытная женщина.

— О, я прибегла к иносказательному выражению! Это пустяк, госпожа советница, создание моих рук, самый скромный приветственный дар. Разрешите помочь вам развязать? Узелок вот с этой стороны! Силуэт, вырезанный из черной глянцевитой бумаги и наклеенный на белый картон, групповой портрет, как видите.

Это не что иное, как наше содружество муз, портретное сходство достигнуто по мере сил. Вот это упомянутая Музеллина, она же Лина Эглоффштейн, восхитительная певица и любимая придворная дама великой княгини, нашей наследной принцессы¹. Рядом Юлия, ее прелестная сестра, художница, по прозванию Юлемуза. Дальше иду я, так называемая Адельмуза, а та, что держит руку у меня на плече.— Тиллемуза, то есть Оттилия фон Погвиш — очаровательная головка, не правда ли?

— Очень мило,— сказала Шарлотта, все это очень мило и необыкновенно искусно сделано! Я восхищена вашим умением, дитя мое. Как это сработано! Эти юшки и пуговики, локоны, ножки кресел, ресницы и носики! Просто необыкновенно хорошо. Я давнишняя поклонница этого искусства и всегда считала большой потерей для ума и сердца, что оно вышло из моды. И потому я тем больше восхищаюсь выдержкой и терпением, благодарая которым выдающееся природное дарование достигло такого полного развития и совершенства.

— В нашем краю нельзя не развивать своих талантов, коль скоро ты не обойлена ими,— возразила молодая девушка,— иначе у нас не достигнешь светских успехов и останешься незамеченной. Здесь все совершают жертвоприношения музам, это слывет хорошим тоном, да и является им, не правда ли? Я с детских лет имела перед собой превосходный пример моей милой мамы. Еще до переезда в Веймар, при жизни моего отца, она занималась живописью, но серьезно культивировать этот талант начала только здесь: далее она усердно играла на клавикордах и кроме того училась итальянскому у ныне покойного Ферно, искусствоведа Ферно, долгие годы жившего в Риме. Она всегда с большим вниманием следила за моими скромными поэтическими опытами, хотя ей самой и не дано писать стихи — во всяком случае по-немецки,— итальянский сонет во вкусе Петрарки она под руководством Ферно однажды сочинила. Замечательная женщина! Какое впечатление произвело на меня — мне было тогда лет тринадцать-четырнадцать — то, как она сумела обосноваться здесь и в мгновение ска сделать свой салон средоточием просвещенных умов. Если я добилаь чего-

¹ Марии Павловны, сестры императора Александра I, которая была замужем за наследным герцогом Саксен-Веймарским Карлом-Александром.

нибудь в искусстве ножниц, то я этим обязана ей и ее примеру; она была и осталась великой мастерицей в вырезывании цветов, и сам тайный советник неизменно восхищался ее искусством на наших чаепитиях.

— Гете?

— Ну, да. Он не успокоился, покуда мама не согласилась украсить цветами весь каминный экран, и сам с величайшим усердием помогал ей при наклеивании. Я как сейчас помню, что он добрых полчаса сидел перед этим экраном и не мог им налюбоваться...

— Гете?

— Ну, да! Любовь великого человека ко всему сделанному, к продукту усердного искусства и всякого рода шноровке, одним словом — к созданию рук человеческих, просто трогательна. Тот, кто не знает его с этой стороны, его не знает.

— Вы правы, — промолвила Шарлотта. — Даже я знаю его с этой стороны и вижу теперь, что он все тот же старый Гете, я хочу сказать: молодой. Когда мы были молоды, там, в Вецларе, он приходил в восторг от моих вышивок цветными шелками и нередко, с охотой и усердием, помогал мне набрасывать узоры для них. Мне вспоминается один, так никогда и не законченный, храм любви, на ступенях которого подруга приветствует возвратившуюся паломницу. В этой композиции он принимал живейшее участие...

— Божественно! — вскричала гостья. — Божественно, дорогая госпожа советница! Пожалуйста, пожалуйста, говорите дальше!

— Во всяком случае, не стоя, моя милая, — отвечала Шарлотта. — Не понимаю, как я могла забыть о долге гостеприимства, и мне это тем неприятнее, что меня отвлекли от него ваше внимание и ваши милые дары.

— Я была безусловно уверена, — продолжала Адель, усаживаясь на канapé, рядом со старой дамой, — что я, не единственная и не первая, прорвусь сквозь кордон вашей славы. Вы были заняты, наверно, весьма интересной беседой. Я встретилась с выходящим от вас дядей Риме-ром...

— Как, он ваш...

— О, нет! Я так называю его еще с детства, как называла и продолжаю называть всех завсегдатаев или даже частых посетителей маминых воскресных и четверговых чаепитий: и Мейеров, и Шютце, и Фальков, и барона Эйзидела, переводчика Теренция майора фон Кнебеля и ле-

гационного советника Бертуха, основателя «Всеобщей литературной газеты», Гримма и князя Пюклера, еще братьев Шлегелей и Савиньи! Да, все они были и остались для меня дядями и тетями. Даже Виланда я называла дядей.

— Вы так же зовете и Гете?

— Его нет. Но тайную советницу я называла тетей.

— Эту Вульпиус?

— Да, ныне покойную супругу Гете, которую он тотчас же после венчания ввел в дом моей матери, — в других домах это встретило известные затруднения. Можно даже сказать, что и сам великий человек едва ли бывал тогда где-нибудь, кроме нас, так как двор и свет, смотревшие сквозь пальцы на его свободное сожителство с покойной, не хотели простить ему законного брака.

— А баронесса фон Штейн, — осведомилась Шарлотта со слегка заалевшими щеками, — тоже выказывала недовольство?

— Даже больше других. Во всяком случае, она делала вид, что гневается на легализацию этой связи, тогда как на деле сама эта связь издавна заставляла ее страдать.

— Ее чувства вполне понятны.

— О, разумеется. Но, с другой стороны, разве не благородный порыв заставил учителя сделать бедняжку своей законной женой. В том году она мужественно и преданно перенесла вместе с ним страшные дни французского нашествия, и он счел, что они, вместе прошедшие через такое испытание, принадлежат друг другу перед богом и людьми.

— Правда ли, что ее поведение оставляло желать лучшего?

— Да, она была вульгарна, — отвечала Адель. — *De mortuis nil nisi bene*¹. Но вульгарна она была до непозволительности, в высшей степени прожорлива и тучна, со всегда красными щеками, помещана на танцах, да и бутылочку почитала сверх меры, постоянно яшталась с актерами и молодыми людьми, сама уже будучи не первой молодости; конца не было маскарадам, ужинам, катаниям на санях и студенческим балам, где иенские бурши позволяли себе строить куры тайной советнице.

— И Гете терпел подобное поведение?

— Он смотрел на него сквозь пальцы и даже посмеивался. Я бы сказала, что в известной мере он сам потакал жене в ее

¹ О мертвых — ничего, кроме хорошего (лат.).

распущенной жизни,— по слухам, не без тайного умысла, желая выговорить и себе право свободно располагать своими чувствами. Гениальный поэт не может черпать свое поэтическое вдохновение исключительно из супружеской жизни.

— У вас очень широкие, очень свободные воззрения, дитя мое.

— Я жительница Веймара,— отвечала Адель.— Амур у нас в чести, ему даны широкие права, при всем уважении к благоприличию. Следует также заметить, что наше общество осуждало грубоватую жизнерадостность тайной советницы скорее с эстетической, чем с моральной точки зрения. Ибо всякий, желавший быть справедливым, не мог не признать, что на свой лад она была примерной женой — всегда озабоченная физическим благодеянием своего высокого супруга, а к нему он никогда не был безразличен, усердная в создании наилучших условий для его творчества, в котором она, говоря по правде, ничего не понимала,— ни единого слова, духовный мир был для нее за семью замками,— хотя она благоговейно и признавала его значение для человечества. Гете и после женитьбы не оставил своих холостяцких привычек и большую часть времени проводил в Иене, Карлсбаде, Теплице. Но когда в июне этого года она умерла от судорог на руках наемных сиделок, ибо сам он в этот день был нездоров и прикован к постели,— он уже давно подвержен таким приступам нездоровья, она же была олицетворением жизни, доходившей до антиэстетического, отталкивающего... Но вот, когда она умерла, он, как говорят, припал к ее телу, восклицая: «Ты не можешь, не можешь покинуть меня!»

Шарлотта молчала, и посему гостя, светское воспитание которой не терпело записок в разговоре, поспешила затараторить:

— Как бы там ни было, мама поступила очень умно, принимая у себя — единственная из всего здешнего общества — эту женщину и с большим тактом выводя ее из всевозможных неловкостей. Таким путем она лишь крепче привязала великого человека к своему молодому салону, для которого он, разумеется, служил главной приманкой. Она же приучила меня называть Вульпиус «тетей». Но Гете и никогда не называла дядей. Это не подобало. Правда, он любил меня и нередко мною забавлялся. Мне разрешалось задувать фоларь, которым он освещал себе

дорогу, он рассматривал мои игрушки и однажды протанцевал экосез с моей любимой куклой. И все же я не могла называть его «дядей», для этого он был слишком почитаемой особой, не только для меня, но и для взрослых, что я отлично понимала. Ибо, даже когда он бывал неразговорчив и молча сидел у стола, что-то рисуя, он доминировал в салоне, хотя бы потому, что всё и вся применялось к нему и он тиранил общество,— не потому, что был тираном, но потому, что из него делали тирана. И он входил в эту роль, распорядился, стул у стола, отдавал то то, то другое приказание, читал шотландские баллады, требуя, чтобы дамы хором подхватывали рефрен, и горе той, которой овладевал смех,— он сверкал глазами и объявлял: «Я прекращаю чтение»; маме стоило немало трудов восстановить равновесие, впрямь гарантируя полное послушание. Или вдруг его забавляло до полусмерти пугать какую-нибудь бязливую даму страшными рассказами о привидениях. Да и вообще он любил дразнить. Я вспоминаю, как однажды вечером он вывел из себя старого дядю Виланда, непрестанно ему противореча,— не по убеждению, по нутки ради; Виланд же принимал все за чистую монету и очень сердился, а гетевы подпеивали, Майер и Ример, снисходительно его поучали: «Милый Виланд, вы напрасно себя расстраиваете...» Это было недостойно, я, маленькая девочка, и то это почувствовала, как, вероятно, почувствовали и все другие, кроме, как ни странно, Гете.

— Да, это странно.

— У меня давно сложилось впечатление,— продолжала Адель,— что общество, по крайней мере наше, немецкое, из тяги к сервиллизму, само портит своих властителей и любимцев, навязывая им досадное злоупотребление своим превосходством. В конце концов не сулящее радости обеим сторонам. Так, например, однажды Гете целый вечер промучил общество и довел его до полного изнеможения непомерно растянутой шуткой: он заставлял гостей по отдельному реkvизитам угадывать содержание новых, еще никому не известных пьес, которые он только что репетировал. Это было немисливо, задача с чрезмерным количеством неизвестных. Лица стали вытягиваться, зевки слышались все чаще и чаще. Но он не отступался и продолжал пытать их скукой, так что я невольно спрашивала себя: неужто он не чувствует насилия, которому подвергает людей? Нет, он его не чувствовал. общество отучило

его от этого, но, право же, непонятно, как ему самому до смерти не наскучила эта свирепая игра. Тиранство, надо думать, довольно скучное занятие.

— Вы правы, дитя мое.

— К тому же,— добавила Адель.— он, кажется, рожден вовсе не тираном, а скорее другом человечества. Я сделала этот вывод из того, что он так любил и так хорошо умел смешить людей. Это способность, не свойственная тирану: он выказывал ее и как чтец, рассказчик, даже повествуя о самых обыкновенных вещах или описывая комические происшествия и людей. Его чтение не всегда удачно, это общепризнанно. Разумеется, все охотно слушают или попросту городил фантастический вздор, все наши гости буквально валились от смеха. Но вот что примечательно: во всех его вещах доминирует плавность и тонкость характеристик, временами дающая повод к улыбке, но к смеху — я не припоминаю. Ему же лично милее всего, когда люди катаются от хохота над его выдумками; я сама была свидетельницей, как дядя Виланд накрыл себе голову салфеткой и запросил пардоню — он совершенно изнемог, да и все сидевшие за столом уже едва дышали. Сам он сохранял в таких случаях известную серьезность; но у него была своеобразная манера: с блестящими глазами и каким-то радостным любопытством всматриваться во всеобщие веселье и хохот. Я часто задумывалась, что это значит и почему человек столь непомерной силы, так много переживший, выносивший и создавший, с такой охотой заставляет людей покатываться со смеха.

— Вероятно, это объясняется тем,— сказала Шарлотта,— что он остался молодым в своем величии и в трудной серьезности своей жизни сохранил верность смеху,— меня это не удивляет, а радует. В дни нашей юности мы много и безудержно смеялись вдвоем или втроем, и как раз в минуты, когда на него находили мрак и меланхолия, он вдруг овладевал собою, все оборачивал в шутку и своими проказами

заставлял нас смеяться не меньше, чем гостей вашей матушки.

— О, продолжайте, госпожа светлица! — взмолилась молодая девушка.— Расскажите мне еще об этих бессмертных днях вдвоем и втроем? Что же я делаю, чудачка! Я знала, к кому иду, кому меня неудержимо тянет открыть свою душу. Но теперь у меня как-то выскочило из головы, кто та, рядом с которой я сижу на этом канapé, и только ваши слова мне напомнили об этом, почти повергая меня в ужас. О, говорите дальше о той поре, умоляю вас!

— Мне куда приятнее слушать вас, моя дорогая,— возразила Шарлотта.— Вы так очаровательно занимаете меня, что я не перестаю чувствовать угрызения совести за то, что вас заставила так долго дожидаться, и хочу еще раз поблагодарить вас за ваше терпение.

— О, что касается моего терпения... Я сторала от нетерпения увидеть вас, женщину, прославленную в веках, и кое в чем открыть вам свое сердце, так что вряд ли я заслуживаю похвалы, ведь терпение я проявила как раз во имя нетерпения. Нравственное — это, обычно, производное от страсти, а искусство, по моему, можно рассматривать как высокую школу терпения в нетерпеливости.

— Ах, как хорошо, дитя мое! Прелестное арагси!¹ Я вижу, что среди ваших талантов не последнее место занимает и философическая одаренность.

— Я жительница Веймара,— повторила Адель.— Здесь это носится в воздухе. Если, прожив десяток лет в Париже, человек начинает говорить по-французски, то тут нечему удивляться, не правда ли? Да и вообще все наше содружество муз привержено философии и критике не меньше, чем поэзии. Мы читаем друг другу не только собственные стихи, но также исследования и разборы, посвященные прочитанному,— новейшим порождениям разума, как говорили раньше, или «духа», как говорят теперь. Хотелось бы только, чтобы до великого старца не дошел слух о наших собраниях.

— Почему?

— На то есть множество причин. Во-первых, тайный советник иронически преубежден против интеллектуальных женщин, и следует остерегаться, как бы он не поднял насмех эти столь милые нашим сердцам занятия. Видите ли, смешно было бы утверждать, что великий человек пред-

¹ Наблюдение (франц.).

взято относится к нашему полу,— это было бы нетрудно опровергнуть. И все же в его отношении к женщинам примешивается нечто отрицательное, я бы даже сказала: грубоватое — мужская брутальность, готовая закрыть нам доступ к найвысшему,— к поэзии, к духу — и охотно видящая в комическом свете то, что нам всего дороже. Кстати или некстати, но мне вспомнилось в этой связи, как он однажды заметил при виде нескольких наших дам, собирающих цветы на лужайке, что они напоминают сентиментальных коз. Очень любезно, не правда ли?

— Не слишком,— ответила Шарлотта и рассмеялась.— Я не удержалась от смеха,— пояснила она,— потому что это хоть и зло, но довольно метко. Впрочем, злым быть не следует.

— Метко?— повторила Адель.— В том-то и дело! В подобном слове есть нечто убийственное. Достаточно мне теперь наклониться во время прогулки, чтобы прижать к груди несколько детей весны, и я кажусь себе сентиментальной козой. То же ощущение не покидает меня и когда я вписываю стихотворение в альбом, будь то свое или чужое.

— Вам не следует принимать это так близко к сердцу. Но по каким еще причинам Гете не должен знать об эстетических интересах, ваших и ваших подруг?

— Дражайшая госпожа советница,— в силу первой заповеди...

— Что вы хотите сказать?

— Которая гласит,— продолжала Адель,— *да не будет у тебя других богов пред лицом моим*. Здесь мы снова возвращаемся к разговору о тирании,— на этот раз уже не насильственной, не навязанной обществом, но прирожденной и, повидимому, не отделяемой от всякого чрезмерного величия, тирании, которую надобно шадить и уважать, избегая ей подчиняться. Он многославен и стар и мало расположен печься о том, что ему наследует. Но жизнь идет дальше, не останавливаясь даже на величайшем, а мы, Музелины и Юлемузы, мы дети нового времени, новое поколение, и отнюдь не сентиментальные козы, но самостоятельные, передовые умы, смело отстаивающие свое время, свой вкус, уже познавшие новых богов. Мы знаем и любим художников вроде благочестивого Корнелиуса или Овербека, по чьим картинам он, я сама слышала эти его слова, с удовольствием выстрелил бы из пистолета, а также божественного Давида Каспара Фрид-

риха, картины которого, по его мнению, можно с тем же успехом рассматривать вверх ногами. «Эти всходы не вырастут!» — гремел он,— подлинно тиранический гром, ничего не скажешь, но мы в содружестве муз, смиренно вслушиваясь в его раскаты, переписываем в свои альбомы стихи Уланда и с наслаждением читаем друг другу восхитительно причудливые рассказы Гофмана.

— Я не слыхивала об этих авторах,— холодно заметила Шарлотта,— но вы ведь верно не хотите сказать, что они, при всей своей причудливости, поднимаются до автора «Вертера»?

— Они не поднимаются до него,— возразила Адель,— и все же — простите сей парадокс — его превосходят, вероятно, просто потому, что они возникли позднее, являют собой новую ступень,— потому что они нам любезнее, ближе, твердят нам о более новом, задушевном, нежели застывший утес величия, повелительно, но и грозно врезавшийся в новые времена. О, не считайте нас чуждыми пиэтета! Пиэтета чуждается время, оставляющее позади старое и выращивающее новое. Правда, оно дает след за великим взойти малому. Но это малое подстать времени, и нам, его детям, оно живое и подлинное, оно затрагивает нас с непосредственностью, которой не знает пиетет, вызывает к сердцам и нервам тех, кому оно принадлежит и кто принадлежит ему, тех, кто как бы содействовал его возникновению.

Шарлотта сдержанно молчала.

— Ваше семейство, мадемуазель,— спросила она с деланной любезностью,— как я слышала, родом из Данцига?

— Совершенно верно, госпожа советница. С материнской стороны безусловно, с отцовской относительно. Дед моего покойного отца, богатый негодяй, обосновался в Данциге, вообще же род Шопенгауэров голландского происхождения; правда, мой отец охотнее имел бы своими предками англичан, ибо он, сам — до мозга костей джентльмен, был рынанным сторонником и почитателем всего английского; даже его загородный дом в Оливе был построен и обставлен на английский манер.

— Нашему роду Буфф,— вставила Шарлотта,— приписывают английское происхождение. Правда, доказательств этому я не обнаружила, хотя, по вполне понятным причинам, усердно занималась своей родословной, изучала генеалогию и собрала кое-какие интересные сведения, главным образом после смерти моего дорогого

Ганса Христиана, когда у меня стало больше досуга для подобных изысканий.

Лицо Адели с мгновение ничего не выражало — она не сразу постигла «вполне понятные причины». Затем ее вдруг осенило, и она воскликнула:

— О, как прекрасны, как великодушны эти ваши усилия! С какой обязательностью вы идете навстречу потомкам, которые несомненно пожелают собрать точные сведения о происхождении и фамильной пред истории избранницы судьбы, столь много значащей для летописей человеческого сердца.

— Таково и мое мнение, — с достоинством отвечала Шарлотта, — или, вернее, мне известно, что наука уже нынче интересуется моим происхождением, и я считаю своим долгом по мере сил споспешествовать ей. Мне удалось проследить все разветвления нашего рода до времен Тридцатилетней войны. С 1580 до 1650 годов в Буцбахе проживал станционный смотритель Симон Генрих Буфф. Сын его был пекарем. Но уже один из сыновей последнего, Генрих, сделался капелланом, а с течением времени и первым викарием в Мюнценберге. С тех пор Буффы преимущественно принадлежали к духовенству или служили в окружных консисториях — в Кренфельде, Штейнбахе, Виндгаузене, Рейхельсгейме, Гладербахе и Нидервельшtedте.

— Это важно, это бесценно, в высшей степени интересно, — одним духом выпалила Адель.

— Я полагаю, — заметила Шарлотта, — что это заинтересует вас, невзирая на вашу слабость к менее значительным *nouveautés*¹ литературной жизни. Попутно мне удалось исправить одну касающуюся меня ошибку, грозившую неисправленной перейти к потомству: днем моего рождения всегда считалось одиннадцатое генваря. Гете придерживался, да, верно, придерживается и поныне той же даты. На самом деле я родилась тринадцатого и на следующий же день получила святое крещение, надежность вецларской церковной книги — вне подозрений.

— Надо сделать все возможное, — решила Адель, — и я приложу к тому свои усилия, чтобы распространить правду касательно этого пункта. Прежде всего надо уведомить об этом самого тайного советника, лучшим поводом для чего послужил бы ваш визит. Ну, а милые создания ваших девических рук — вышивки, сделан-

ные при нем в ту бессмертную пору, незаконченный храм любви и другое, — скажите, ради бога, что случилось с этими реликвиями? Мы, к сожалению, уклонились от разговора.

— Они существуют, — отвечала Шарлотта. — Я позаботилась о сохранности этих самих по себе пустячных предметов и обязала к этому моего брата Георга, выполнявшего должность амтмана еще при жизни отца и ставшего его преемником в Немецком орденом доме. Я положила на его сердечное попечение об этих сувенирах: незаконченном храме, двух-трех вышитых изречениях в венке из цветов, нескольких шитых бисером мешочков, о рисовальном альбоме и прочих мелочах. Приходится считать с тем, что в будущем они возымеют музейную ценность, как и весь дом и двор, столовая внизу, где мы так часто сжили с ним вдвоем, а также и угловая с окнами на улицу и языческими богами на обоях, которую мы называли «парадной комнатой». В ней стояли и старинные куранты с ландшафтом на циферблате, к тиканию и бою которых он так часто прислушивался. Эта угловая, по-моему, даже лучше подходит для музея, чем наша столовая, и в ней, если мое мнение примут во внимание, будут под стеклом храниться все реликвии.

— Все грядущие поколения, — изрекла Адель, — не только отечественные, но и чужеземные паломники возблагодарят вас за эти попечения.

— Надеюсь, — отвечала Шарлотта.

Разговор не клеился. Просвещенная находчивость гостыи, видимо, иссякла. Адель вперила глаза в пол, по которому она взад и вперед водила концом зонтика. Шарлотта ждала новой вспышки красноречия с меньшим нетерпением, чем можно было предположить по ситуации. Впрочем, она была скорее довольна, когда молодая девушка заговорила так же бойко, как прежде.

— Дражайшая госпожа советница, или, может быть, я уже смею сказать — уважаемая подруга? Мое сердце жестоко упрекает меня, и горчайший из этих упреков — то, что я так беспечно принимаю в дар ваше время. Но столь же горестно, что я плохо пользуюсь этим даром... Я преступно упускаю редчайший случай, и при этом мне невольно вспоминается мотив одной народной сказки — мы, немецкая молодежь, чувствительны к ее поэтическим чарам, — как кому-то было даровано исполнение трех заветных же-

¹ Новинки (ф р а н ц.).

ланий, и он все три раза пожелал что-то пустячное, вздорное, так и не вспомнив о заветном и важном. Вот и я с видимой беззаботностью болтаю о том и о сем, забывая за этой болтовней то заветное, что у меня на сердце и что, позволяйте мне в этом признаться, повлекло меня к вам, ибо я уповаю и полагаюсь на ваш совет, вашу помощь. Вы вправе удивляться и гневаться на меня за то, что я дерзаю занимать вас ребяческими затеями нашего веночка муз. И, право же, я не допустила бы себя до этой дерзости, если б с ней не были связаны страх и забота, в которых я бы так несказанно охотно вам открылась.

— Что ж это такое, дитя мое, и кто или что вас так заботит?

— Дорогая мне человеческая душа, госпожа советница, возлюбленная подруга, моя единственная, мое сокровище, прелестнейшее, благороднейшее, воистину заслуживающее счастья создание, опутанное сетями несправедливого, совершенно ненужного и все же, повидимому, неотвратимого рока. Одним словом — Тиллемуза.

— Тиллемуза?

— Простите. это прозвание моей любимицы, я уже упоминала о ней — Оттилии фон Погвиш.

— А-а! И какой же рок, по-вашему, тяготее над мадемуазель фон Погвиш?

— Она накануне обручения.

— Но... позвольте, с кем же, в таком случае?

— С господином камеральным советником фон Гете.

— Что вы говорите! С Августом?

— Да, с сыном гения и мамзели. Кончина тайной советницы сделала возможным этот союз, которому при ее жизни, несомненно, было бы суждено разбиться о сопротивление семьи Оттилии, о сопротивление всего общества.

— И в чем же вам видится опасность такого союза?

— Дозвольте мне вам поведать.— попросила Адель.— Дозвольте мне в рассказе облегчить мое наболевшее сердце и похотатайствовать перед вами за милое, запутавшееся создание, которое, наверно, очень рассердилось бы на такое заступничество, хотя Оттилия в равной мере нуждается в нем и его заслуживает.

И вот, быстро и часто возводя глаза к небу, чтобы скрыть их очевидную косость, мадемуазель Шопенгауэр своим большим, временами увлажнявшимся ртом начала рассказывать следующее.

(Продолжение в следующем номере)

* * *

ИЗ КНИГИ АНДРЭ МАРТИ «ВОССТАНИЕ
НА ЧЕРНОМ МОРЕ»

В день окончания войны
Мы все надеялись беспечно
Попасть во Францию, конечно,
С которой так разлучены.
Довольно мерзнуть на биваке!
Уж двадцать месяцев прошло,
Что мы бездомные бродяги.
Нам это, право, тяжело!

Как придет вечерок,
Соберемся в кружок
И толкуем.
Кто о дальней стране,
Кто о милой жене —
Мы тоскуем.
Кто подумать бы смел,
Что еще не доел
Всей закуски,
Что какой-то бандит
Нас послать поспешит
К этим русским.

Но на заре был дан приказ,
Примкнули трапы к пароходам.
Опять построились по взводам,
И в трюмы погрузили нас.
Трехцветный флаг висит на мачте.
Мужайтесь, чорт возьми, друзья!
Сжимайте кулаки, не плачьте!
На море бунтовать нельзя.

Как придет вечерок,
Соберемся в кружок
И толкуем.
Но о дальней стране,
О друзьях, о жене
Не тоскуем.
Только шопот идет,—
Где, мол, тот идиот,
Тот достойный
Депутат иль префект,
Кто им подал проект
Новой бойни?

Когда же мы в Одесский порт
Причалили дней через восемь,
Нам русские сказали: просим!
И дали залпы, что за чорт!
И офицерской белой рати
Велели нас прибрать к рукам,
Чтобы стреляли мы по братьям,
Рабочим и большевикам.

Господа торгоши,
Собирайте гроши
И валюту!
Убирайтесь, пока
Не намнут вам бока!
Будет люто!
Кто под Марной дрожал,
Кто в траншеях лежал
В красных лужах,
Если жив он и цел,
Не возьмет на прицел
Безоружных!

Но запасем терпенья впрок!
Настанет день свободы нашей!
Придем домой, заварим кашу,—
Лишь дайте срок,— ах, дайте срок!
Перед отплытием обратно,
Когда на службе кончим все,
Пошлем подарочек приятный
Пуанкаре и Клемансо!

Вам в лицо прохрипев
Этот милый припев,
Мы расскажем,
Что в России давне
Вас пустили на дно
С такелажем.
Ото всех, кого нет,
Мы везем вам привет
И находку.
Мы забьем наконец
Этот грязный свинец
В вашу глотку!

A. Marty. «La révolte de la Mer Noire».
Paris, [1928].

Перевод с французского
П. Антокольского

Новеллы Ирвина Шоу

Перевод с английского Н. ДАРУЗЕС

Мы знаем Ирвина Шоу преимущественно как драматурга. Его пьеса «Похороните мертвых» (есть русский перевод) с большим успехом ставилась в рабочих и студенческих клубах США. Это — острый сатирический памфлет против империалистической войны, написанный в плане фантастического гротеска. Вторая пьеса молодого писателя — «Мирные люди», сценический рассказ о нравах капиталистического Нью-Йорка, также известна у нас: она идет сейчас на сцене Московского драматического театра. Однако, зная Ирвина Шоу только как драматурга, значит, по существу, зная его очень неполно, ибо драматургия Ирвина Шоу никак не может идти в сравнение с его рассказами. Истинное призвание этого писателя — новелла, и по справедливости Ирвин Шоу может считаться одним из лучших новеллистов современной Америки.

Ниже мы печатаем ряд новелл из вышедшего в 1939 году сборника Ирвина Шоу «Моряк с Бремена и другие рассказы». Конечно, эти новеллы далеко не исчерпывают всех особенностей писательского облика Ирвина Шоу, но все же дают известное представление об идейном и художественном значении его творчества, о его тематике, отношении к жизни и к людям, новеллистической технике.

Новелла Ирвина Шоу не имеет ничего общего с традициями стандартной американской новеллы конца XIX и начала XX века. Нет в ней и характерных черт новеллистического «кризиса», который привел американскую новеллу в тупик бездейственного психологизма, серенького бытописательства или формального новаторства в духе «школы потока сознания». Новелла Ирвина Шоу реалистична, образна, динамична. Сюжет не расплывается в психологических отступлениях, бытовые детали не загружают повествования. Писатель видит действительность такой, какова она есть, и воспроизводит ее иронически, порой с едкой насмешкой, чуждой всякой «утешительной» философии. Мир его — это больной и уродливый мир современного капиталистического города. Иногда это — тихий провинциальный городок с чертами горьковского Окурова, иногда — Нью-Йорк, его кафе, его спортив-

ные стадионы, его стандартные квартирки, где уныло тянут ляжку безрадостного существования «маленькие люди». Таков, например, герой рассказа «Санта Клаус» (рождественский дед) — Сэм Ковен. Целый месяц он аккуратно приносил по субботам получку. Но однажды пришел без денег и вынужден был рассказать всю правду. И работа, и «получка» — все было блефом. Просто занял Ковен немного денег у родственника и придумал красивый мираж, чтобы хоть на месяц создать иллюзию давно утраченного благополучия. Ведь так давно уже Санта Клаус не посещает маленькие квартирки в Бронксе!

Ирвина Шоу в Америке считают юмористом. И, действительно, юмор Шоу, пожалуй, самая интересная черта его творчества. Он умеет весело посмеяться и над злоключениями провинциального констебля, которому не удастся доставить в тюрьму арестованного ворышку, и над двумя спортивными «болельщиками», заканчивающими свою дискуссию потасовкой, и над профессиональным боксером, страдающим от причуд своей молодой жены, и над супружеской парой, устраивающей семейное «торжество», которое заканчивается тем, что жену с разбитой головой увозят в больницу. Правда, темы все, как будто, не очень веселые. Что ж поделаешь, — усмехается писатель, — такова наша жизнь. Один из американских биографов Твена, характеризуя его юмор, говорит: «В жестоких шутках, — а большая часть ранних шуток Марка Твена жестока до такой степени, что это поражает того, кто не изучал сам творчество Твена, — он изливал свою ненависть к жизни, к условиям, которые душили в нем художника...» Нотки такого юмора звучат и у Ирвина Шоу. Его смех — подчас очень злой смех, полный возмущения и горечи. Это совсем не беззлобный юмор О. Генри, переходящий в сентиментальную радость по поводу того, что все хорошо, что хорошо кончается. Ничто хорошо не кончается у Ирвина Шоу. Ничего хорошего не может быть для маленьких людей в большом неприглядном капиталистическом мире. Смешно, конечно, наблюдать, как маленький Эдди, сын знаменитого актера, оставленный на рождественские каникулы в за-

крытой школе, играет в кости с угрюмым львицей сторожем («Маленький Генри Ирвинг»). Но совсем не смешно становится, когда он от тоски по дому поджигает здание ненавистой школы-тюрьмы. Смешон как будто и случай с другим поджигателем, греком, совершающим поджог уже из меркантильных соображений, дабы разделить с теми, кто нанял его, солидный куш страховой премии («Греческий генерал»). Однако наниматели оказались хитрее и облапошили незадачливого мошенника, уплатив ему за «услуги» всего лишь пятидолларовую кредитку. Старый смешной анекдот: жулика надули жулики. Помните, как обыгрывал эту тему О. Генри? Без боли, без крови, с милой веселой шуткой. Но Ирвин Шоу не шутит. Его герой, изувеченный, обожженный, обманутый, вызывает не смех, а жалость и отвращение. Действительно, страшно жить в мире таких «благородных» жуликов!

Ирвин Шоу напоминает другого американского писателя, Ринга Ларднера, также слышшего юмористом. Ларднер умел бить своего героя, мелкого американского мещанина — будь он клерком, адвокатом, дельцом или спортсменом — бить всегда беспощадно и зло. Этого же героя видим мы и на страницах Ирвина Шоу. Только Шоу порой немножко жалеет его, словно хочет сказать: конечно, подчас мой герой — и откровенный мошенник, и плут,

и грубиян, и невежда, но ведь не он виноват в этом, а условия жизни.

И действительно, футболисты, которых мы видим перед матчем в рассказе «Марш, марш на поле!», конечно, ничем не похожи на наших советских физкультурников. И герой рассказа «Уймись, Роки!» тоже отнюдь не вызывает симпатии. И вся эта история с жульническим матчем достаточно отвратительна. Но ведь таковы нравы американского буржуазного спорта, таковы «правила игры» в капиталистической Америке.

Особо хочется поговорить еще об одном рассказе, опубликованном в сборнике под названием «Жители других городов», о рассказе, действие которого происходит не в Америке, а в России в годы гражданской войны. Хотя с точки зрения советского читателя он несколько и наивен, но по своему тону, по тому, как автор относится к советским персонажам рассказа, он служит лишним свидетельством симпатии автора к Советской стране.

Так же звучат и выступления писателя на митингах и в печати, когда он говорит об СССР. Недавно Ирвин Шоу, на митинге прогрессивной интеллигенции в Нью-Йорке, выступил с речью, требуя расширения и укрепления дружеских отношений с Советским Союзом.

Таков Ирвин Шоу — талантливый американский писатель.

Ал. Абрамов

У Й М И С Ь, Р О К И!

Мистер Гензель заботливо наматывал шестой метр бинта на знаменитую правую руку Джои Гарра. Джои сидел на столе для массажа, болтая ногами, и угрюмо поглядывал на своего менеджера.

— Деликатность, — произнес мистер Гензель, весь уйдя в работу. — Помните, деликатность — это главное.

— М-да, — сказал Джои, рыгнув.

Мистер Гензель поморщился и бросил бинтовать ему руку. — Джои, — сказал он, — сколько раз я вам говорил: пожалуйста, не обедайте в столовках, сделайте мне такое одолжение.

— М-м, — сказал Джои.

— Всею есть граница, Джои, — сказал мистер Гензель. — В экономии тоже не надо заходить слишком далеко. Вы не нищий. У вас в банке лежит не меньше

денег, чем у любой голливудской актрисы. Зачем же есть какую-то отраву за тридцать пять центов?

— А вы бы поменьше разговаривали. — Джои выставил вперед левую руку.

Мистер Гензель занялся знаменитой левой рукой.

— Язва желудка, — ворчал он. — У меня будет боксер с язвой желудка. Замечательная перспектива. Охота же есть требуху. Требуху под томатным соусом. Будущий чемпион в среднем весе. В каждом кулаке динамит. А рыгает сорок раз на дню. Боже мой, Джои!

Джои равнодушно сплюнул на пол и покосился в зеркало на свои аккуратно прилизанные волосы. Мистер Гензель вздохнул, беспокойно поправил языком мост во рту и закончил свою работу.

— Позвольте мне как-нибудь угостить вас обедом,— сказал он.— Обедом за полтора доллара. Хоть вкус узнаете.

— Берегите ваши деньги, мистер Гензель,— сказал Джои,— на старости пригодятся.

Дверь отворилась, и вошел Маколмон, а по бокам его еще какие-то двое,— высокие, плечистые молодцы с расплюсченными носами; на их изуродованных губах играла дружелюбная улыбка.

— Рад вас видеть, ребята,— сказал Маколмон, подходя к Джои и похлопывая его по спине.— Как чувствует себя мой мальчик Джои?

— М-м,— сказал Джои, ложась на стол для массажа лицом вверх и закрывая глаза.

— У него отрыжка,— сказал мистер Гензель.— Я еще в жизни не видел, чтобы боксер так рыгал. А ведь я тридцать пять лет на ринге. Ну, а как ваш?

— Роки в форме,— сказал Маколмон.— Он хотел притти сюда вместе со мной. Чтобы убедиться, что Джои понимает.

— Понимаю,— сердито ответил Джои.— Отлично понимаю. Ох, уж этот Роки. Вечно дрожит, как бы его кто-нибудь не ударил. Призовой боксер.

— Тут ничего такого нет,— рассудительно сказал Маколмон.— Ведь он же знает, что если Джои захочет, так может так его уложить, что он до второго пришествия не встанет.

— Одной рукой,— мрачно добавил Джои.— Тоже боксер, этот ваш Роки.

— Напрасно он беспокоится,— сказал мистер Гензель вкрадчиво.— Все абсолютно ясно. Ясно как день. Он у нас продержится десять раундов.

— Послушайте, Джои,— Маколмон навалился на стол как раз над самым лицом Джои.— Вы уж постарайтесь, чтоб он выглядел прилично. У него много поклонников в Филадельфии.

— Будет выглядеть замечательно,— неохотно сказал Джои.— Ни дать, ни взять британский флот. Меня только одно беспокоит, как бы Роки не растерял своих поклонников.

Маколмон ответил очень холодно: — Мне не нравится ваш тон, Джои.

— М-да.— Джои перевернулся на живот.

— На тот случай,— сказал Маколмон сухо,— на тот случай, если кто-нибудь забудет о нашем уговоре, позвольте вам представить мистера Пайка и мистера Петроскаса.

Оба плечистых молодца широко ухмыльнулись.

Джои медленно приподнялся, сел и уставился на них.

— Они будут сидеть в публике,— сказал Маколмон.— И с интересом следить за всем, что делается на ринге.

Оба молодца ухмыльнулись от уха до уха, и их расплюснутые носы расплюснулись еще больше.

— У них револьверы, мистер Гензель,— сказал Джои.— Вон они, подмышками.

— Это только предосторожность,— сказал Маколмон.— Я не сомневаюсь. Все сойдет как по маслу. Но ведь мы вложили капитал.

— Послушай, дубина ты этакая.— начал Джои.

— Так нельзя разговаривать, Джои.— встревоженно остановил его мистер Гензель.

— У меня тоже вложен капитал!— завопил Джои.— Я поставил тысячу долларов чистыми деньгами на вашего Роки. Надеюсь, этот мозгляк продержится десять раундов. И совсем ни к чему эти гориллы. Я сам боюсь, как бы ваш Роки не окачурился со страху еще до десятого раунда.

— Это правда?— спросил Маколмон мистера Гензеля.

— Я сам вносил деньги через моего шурина,— сказал мистер Гензель.— Могу побожиться.

— Стану я бросать такие деньги на ветер! Я деловой человек.

— Верьте моему слову,— сказал мистер Гензель.— Джои деловой человек.

— Ну, ладно, ладно,— Маколмон примирительно выставил вперед ладони.— Тут нет ничего такого, если мы захотели наперед все это выяснить, ведь правда? Теперь всем все понятно. Вот так я люблю работать!— Он обратился к Пайку и Петроскасу.— Все в порядке, ребята, сидите на своих местах и развлекайтесь.

— А для чего это они останутся?— спросил Джои.

— Вы ведь не против того, чтобы они развлекались?— с холодной иронией спросил Маколмон.— Ведь вас от этого не убьет, если они немножко повеселятся?

— Это ничего,— успокаивающе сказал мистер Гензель.— Мы не возражаем. Пускай веселятся.

— Только пусть убираются отсюда,— громко сказал Джои.— Не желаю, чтоб ко мне в комнату лезли всякие с револьверами.

— Ну, ребята! — сказал Маколмон, открывая дверь.

Оба они приятно ухмыльнулись и вышли. Петроскас остановился на пороге и обернулся. — Желаю удачи, — сказал он, и, важно кивнув головой, вышел, закрыв за собой дверь.

Джои посмотрел на мистера Гензеля и помотал головой. — Приятели Маколмона, — сказал он. — Филадельфийские поклонники.

Дверь распахнулась настежь, и глашатай пропел:

— Джои Гарр, следующий Джои Гарр. — Джои поплевал на забинтованные руки и вместе с мистером Гензелем поднялся по ступенькам на ринг.

Как только матч начался, Роки сразу же вошел в клинч. Под густой порослью волос, которая покрывала его грудь и даже плечи, он весь вспотел.

— Послушай, Джои, — взволнованно шептал он на ухо Джои, крепко ухватив его за локти, — ты ведь помнишь уговор? Помнишь, Джои, правда?

— М-да, — сказал Джои. — Пустяки мою руку. Что ты, оторвать ее хочешь, что ли?

— Извини меня, Джои, — сказал Роки, освобождаясь из клинча и нанося Джои два удара по ребрам, один за другим.

По мере того как бой развертывался и публика громкими воплями одобряла технику боя, ловкие приемы, сокрушительные удары, только чудом не попадавшие в цель, Роки набирался храбрости. К четвертому раунду он уже стоял, подняв голову и открыв подбородок, быстро и эффективно работая кулаками. Его приятели в публике взвизгивали от удовольствия и во весь голос орали: «Убей длинного, Роки! Ух ты, Роки!» Роки, тяжело дыша, вдруг размахнулся и хватил Джои по уху. Голова Джои слегка качнулась, лицо его выразило некоторое изумление. — Луни его, Роки! — прогремел чей-то бас в толпе сторонников Роки. Роки выпрямился и в ту самую минуту, как ударил гонг, опять свиснул Джои по уху. Приосанившись, он зашагал в свой угол, самоуверенно улыбаясь своим приятелям.

Мистер Гензель нагнулся и стал растирать Джои. — Слушайте, Джои, — зашептал он, — Роки вас затирает. Скажите ему, чтоб унялся. Смотрите, как бы он не получил приз.

— А, пустяки, — сказал Джои. — Это для публики. Для его приятелей. Так

все-таки веселей. Имеет вид. Не беспокойтесь, мистер Гензель.

— Пожалуйста, скажите ему, чтоб унялся, — упрасивал мистер Гензель. — Сделайте мне такое удовольствие, Джои. Он должен продержаться десять раундов, но победить должны мы. Не можем же мы уступить первенство Роки Пиджону, Джои.

На пятом раунде Роки перешел в нападение, работая обеими руками, ныряя, атакуя, гоняя Джои по всей арене, а «своя» публика повскакала с мест, ободряя его хриплыми криками. Джои очень ловко сдерживал его, то принимая удары на перчатку, то уклоняясь от ударов, и время от времени направляя джеб в грудь Роки. Загнав Джои к веревкам, Роки сделал свинг правой рукой и радостно заворчал, когда удар попал в цель.

Охнув от боли, Джон вошел в клинч. — Послушай, Роки, — вежливо шепнул он, — уймись, пожалуйста.

— О, — проворчал Роки, словно только что опомнившись, и отступил. В течение тридцати секунд они очень осторожно вели спарринг, Джои не отходил от веревки.

— Ну же, Роки! — крикнул тот же бас. — Прикончи его! Ух ты, Роки!

Глаза у Роки загорелись, он подтянулся и нанес удар. Удар пришелся Джои по голове, слева, и как раз в это мгновение зазвучал гонг. Джои прислонился к веревке, отдыхая, и проводил Роки хмурым взглядом. Тот легкой походкой направился в свой угол под бурю аплодисментов. Джои подошел к мистеру Гензелю и сел.

— Ну, как? — спросил он мистера Гензеля.

— Вы побиты в этом раунде, — сказал мистер Гензель быстро и взволнованно. — Ради бога, Джои, скажите ему, чтобы он унялся. Ведь он вас победит. А если вы потерпите поражение от Роки Пиджона, вам только и останется драться в команде сиротского приюта. Почему вы ему не скажете, чтобы он унялся?

— Я говорил, — огрызнулся Джои. — Он точно взбесился. Приятели ему кричат, что он герой, а он и верит. Ну, пусть только даст мне в ухо еще раз, я после матча выведу его в переулочек и всю шукуру с него спущу.

— Вы только скажите ему, чтоб он не увлекался, — озабоченно сказал мистер Гензель. — Напомните ему, что победить должны мы.

— Болван этот Роки, — сказал Джои. — Еще и рассуждать с ним — прямо заплачешься.

Ударил гонг, и оба боксера накинулись друг на друга. Глаза Роки все еще горели воинственным огнем, и он энергично работал, посылая один свинг за другим.

Джой стиснул его и сказал очень веско:

— Послушай. Роки, хорошенького поемножку. Будет тебе разыгрывать героя. Все уж и так думают, что ты чемпион. Ну и ладно. Хватит с тебя. Уймись, Роки. Ведь тут капитал вложен. Рехнулся ты, что ли? Ты понимаешь, что я тебе говорю?

— Ну да,— прохрипел Роки.— Это я только так, для виду. Надо, чтоб был вид.

— М-да,— сказал Джой, когда рефери наконец растащил их в стороны.

После этого они еще две минуты кружились один вокруг другого, но перед самым концом раунда Роки нанес Джой такой сокрушительный апперкот, что из носа Джой фонтаном брызнула кровь. Как только ударил гонг, Роки развязно повернулся на пятках и стал пожимать руки своим беснующимся поклонникам. Джой поглядел на него и выплюнул длинную струю крови вслед его удаляющейся гордо выпрямленной спине.

Мистер Гензель в тревоге бросился навстречу и увел Джой в свой угол.

— Почему вы ему не сказали, чтобы он унялся?— спросил он.— Почему же вы не сделали, как я вас просил?

— Я ему говорил,— со злобой ответил Джой.— И вот вам, полюбуйте, нос разбит. Выходит, для того я и приехал в Филадельфию, чтобы мне разбили нос. Мерзавец этот Роки.

— Так вы уж, пожалуйста, скажите ему, чтобы он унялся,— сказал мистер Гензель, проворно растирая нос Джой.— С этого раунда вам уже надо побеждать. Теперь уж чтоб было без ошибки.

— Неужели для того я приехал в город Филадельфию, в Старлайт-парк,— изумлялся Джой,— чтобы Роки Пиджон разбил мне нос. Боже ты мой!

— Джой,— умолял мистер Гензель,— вы же забудете, что я вам сказал? Остановите его, пусть он...

Прозвучал гонг, и оба боксера набросились друг на друга, а публика все так же завывала, словно никакого перерыва и не было. Громкий бас теперь гудел, подминая и почти не умолкая, все одно и то же:— Ух, Роки, ух ты, Роки!

Джой свирепо сдавил Роки.— Слушай ты, бродяга,— прошептал он сердито.— Тебя честью просят, уймись. А не то— выведу тебя после матча и все зубы повыбью. Так что, смотри.

И он разика два легонько стукнул Роки по голове, чтобы не забывался.

После этого Роки целую минуту держался на почтительном расстоянии, и Джой быстро набирал очки. Но вдруг половина публики подхватила завывание: «Ух, Роки, ух ты, Роки!» Воспламененный восторгами публики, Роки набрал побольше воздуха в грудь и сделал штос правой. Удар пришелся Джой как раз по разбитому носу. Кровь опять хлынула. Джой потряс головой, чтобы очистить нос, и шагнул навстречу бешено нападавшему Роки. Джой спокойно сделал крюк левой рукой, словно развертывая пружину, потом ударил правой. Роки зашатался, глаза у него остекленели, он упал и, откатившись на четырнадцать шагов, остался лежать лицом вниз. На какую-то долю секунды удовлетворенная улыбка осветила лицо Джой. Потом он вспомнил. Он судорожно глотнул, в ушах у него зазвенело от рева толпы. Он посмотрел в свой угол. Мистер Гензель как раз отвернулся и пересел спиной к рингу, охватив голову руками. Он посмотрел в угол Роки. Маколмон приплясывал на месте, в иступлении молотя свою шляпу кулаками, и вопил:— Роки! Вставай, Роки! Вставай, или я тебя убью! Слышишь, Роки?

За спиной Маколмона Джой увидел Пайка и Петроскаса, они встали на своих местах и, любезно ухмыляясь, с интересом глядели на Джой, засунув руки подмышки.

— Роки!— хрипло шепнул Джой, когда рефери отсчитал «пять»,— Роки! Милый! Вставай. Ради бога. Ну, пожалуйста... прошу тебя.— Он вспомнил про тысячу долларов и чуть не заплакал.— Роки,— всхлинул он, нагнувшись над ним в углу ринга, когда рефери отсчитал «семь»,— ради всего святого...

Роки перевернулся, встал на одно колено.

Джой закрыл глаза, чтобы не видеть. Когда он открыл их, Роки стоял перед ним, еще слегка пошатываясь. У Джой вырвался не то вздох, не то молитва, и он бросился ему навстречу, театрально размахивая руками. Он обхватил Роки за шею и с силой сдавил ее. Роки опять чуть не упал. Джой ухватил его подмышки и отчаянно забарахтался, сильно двигая руками и делая вид, что никак не может высвободиться.

— Держись, Роки!— хрипло шептал он, не выпуская бесчувственного боксера.— Ты хоть колени не сгибай. Ну, как тебе, Роки? Ничего? Роки, отвечай же! Ну, скажи хоть что-нибудь!

Но Роки не отвечал. Он прислонился к Джои, глаза у него были совсем стеклянные, руки бессильно висели по бокам, и Джои пришлось вести бой одному, как знает.

Ударил гонг, а Джои все держал Роки и не выпускал его, пока не подошел Макколмон и не оттащил его в свой угол. Судья пристально взглянул на Джои, когда тот проходил в свой угол.

— Интересный матч, очень интересный, — сказал судья. — Да, сэр!

— М-да, — сказал Джои, падая на стул. — Эй, мистер Гензель! — псзвал он. Мистер Гензель опять повернулся лицом к рингу, в первый раз после того как упал Роки. Он едва взобрался по ступенькам, словно дряхлый старик, и принялся кое-как растирать своего боксера.

— Объясните мне, пожалуйста, — сказал он слабым голосом, — о чем вы только думаете?

— Это все Роки, — устало сказал Джои. — У любой старой лошади больше мозга. Никак не мог унять. У меня чуть не полведра крови из носа вытекло. Я его и стукнул, чтоб не забывался.

— Да, — сказал мистер Гензель. — Очень хорошо. Ведь мы бы отсюда живыми не вышли.

— Я же его слегка, — оправдывался Джои. — Обыкновенный удар, средней силы. У него подбородок как у киноактрисы. Как у Мирны Лой. Не на ринге ему место. А за прилавком, обслуживать покупателей... В молочной. Масло, яйца.

— Сделайте мне такое одолжение, будьте любезны, — сказал мистер Гензель. — Чтобы он у вас продержался еще три

раунда. Обращайтесь с ним поосторожней. А я пойду посижу в гардеробной.

И он вышел, а Джои повел нападение, колотя изо всех сил по дрожащим локтям Роки.

Через четверть часа Джои вышел в гардеробную и устало растянулся на столе для массажа.

— Ну? — спросил мистер Гензель, не поднимая головы.

— Ну, мы победили, — хрипло сказал Джои. — Ровно десять минут пришлось носить его по рингу как младенца. Как восьмимесячного младенца женского пола. Ох, уж этот Роки. Стукнешь его раз, так он три года никуда не годится. Никогда в жизни мне так не приходилось работать, даже на каучуковом заводе в Экроне, штат Огайо.

— Никто ничего не заметил? — спросил мистер Гензель.

— Слава богу, мы в Филадельфии, — сказал Джои. — Они не заметили, как мировая война кончилась. А сейчас все еще стоят и орут: Роки! Ух ты, Роки! как же, такой бесстрашный, таким молодцом принял бой. Ах ты господи! Да я каждые десять секунд лягал его по коленкам, чтоб не гнулись, а то он и стоять не мог бы.

Мистер Гензель вздохнул. — Ну что ж, заработали кучу денег.

— М-да, — сказал Джои без всякой радости.

— Я угощаю вас обедом за полтора доллара, Джои.

— Не-е-т, — сказал Джои, растягиваясь на столе для массажа. — Мне хочется полежать тут и отдохнуть. Полежать и отдохнуть хорошенько.

Земляничное мороженое

Эдди Барнс глядел на громады Адирондакских гор, рыжие от яркого летнего солнца. Он слушал, как в доме его брат Лоуренс играет на рояле упражнения для пяти пальцев: раз два три четыре пять, раз два три четыре пять, и скучал по Нью-Йорку.

Он лежал ничком в высокой траве на лужайке перед домом и осторожно сдирал с носа дупившуюся кожу. Одуревший от солнца кузнечик качался на желтой травинке перед самым его носом. Без всякого интереса Эдди протянул руку и поймал его.

— Дай меду, — сказал он рассеянно. — Дай меду, а то убью...

Но кузнечик сидел, не двигаясь, вялый, равнодушный к жизни и к смерти.

Эдди разочарованно отшвырнул кузнечика в сторону. Тот нерешительно расправил крылья, перекувыркнулся, скакнул назад к своей травинке, взлетел кверху и повис на ней, сонно покачиваясь на ветру перед самым носом Эдди. Эдди повернулся на спину и стал смотреть в высокое синее небо.

Дача! Зачем это люди вообще ездят на дачу... Что-то теперь делается в Нью-Йорке, какие неожиданные события на многолюдных улицах, какие приключения, какая радость, какие отчаянные шутки среди трамваев, троллейбусов, грузов.

Какой оглушительный крик, какой веселый смех перед красным киоском, где продается лимонное мороженое по три цента двойная порция — настоящая еда для мужчины в пятнадцать лет.

Эдди оглянулся по сторонам, на молчаливые, вековые, окованные гранитом горы. Деревья да птицы, вот и все. Он вздохнул, терзаясь воспоминаниями о недоступных ему радостях, встал и подошел к окну, за которым Лоуренс солидно барабанил на рояле: раз два три четыре пять.

— Лоуренс, — окликнул его Эдди, благовоспитанно гнусава и с раскатом произнес р, — Лоур-р-енс, ты — дрянь.

Лоуренс даже не взглянул на него. Его пальцы, все еще пухлые и младенческие, пальцы тринадцатилетнего мальчишки, с безошибочной четкостью отсчитывали раз два три четыре пять. Он был талантливый пианист и всю жизнь посвятил своему таланту, и когда-нибудь на эстраду Карнеги-холла выкатят большой рояль, и он выйдет и вежливо раскланяется под гром аплодисментов, потом сядет, раздвинув фалды фрака, и начнет играть, и люди, слушая его, будут смеяться и плакать, вспоминая свою первую любовь. А сейчас его пальцы бегали вверх и вниз, вверх и вниз, набираясь сил к этому великому дню.

Эдди постоял под окном еще немного, следя за братом, потом вздохнул и пошел за угол дома, где ворона сонно клевала семена редиски, которую Эдди посеял от скуки дня три назад. Эдди швырнул в ворону камень, она молча взлетела на ветку дуба и стала ждать, чтобы Эдди ушел. Эдди еще раз швырнул в нее камнем. Ворона пересела на другую ветку. Эдди завертел камень, как заправский бэйзболист, и бросил в нее, но ворона и внимания не обратила. Эдди уперся ногой в землю, подражая Карлу Геббелю, нацелился, и камень просвистел в каких-нибудь трех шагах от вороны. Ворона, ничуть не волнуясь, перебралась шестью дюймами выше. Эдди запустил в нее камнем с невероятной быстротой, теперь уже в стиле Диззи Дина. Конечно, мимо: ворона даже не повернула головы. Этого и следовало ожидать: при такой быстроте непременно промажешь. Эдди нашел хороший круглый камень и профессиональным жестом вытер его о штаны. Он оглянулся через плечо, услышав маячащую сигналу. Эдди Геббель Ден Феллер Феррел Варнеке Годец поставил ногу как полагается, нацелился и сделал свой знаменитый удар.

Ворона медленно снялась с ветки и с сожалением полетела прочь.

Эдди подошел к грядке, раскидал ногой сухие комочки земли сверху и осмотрел семена редиски. Ничего с ними не делалось. Они просто лежали в земле, засохшие и неподвижные, такие же, какими он их посеял. Ни зелени, ни корешков, ни редисок, ровно ничего. Он пожалел, что ему вздумалось заняться сельским хозяйством. Пакетик семян обошелся ему в десять центов, и ничего ровно из этого не вышло, зря скормил воронам. А теперь ему пригодились бы десять центов. Сегодня у него свидание.

— У меня свидание, — сказал он громко, смакуя каждое слово. Он пошел в виноградную беседку, чтобы подумать об этом. Он сел на скамейку в тени прохладных плоских листьев и стал думать. Он еще никогда в жизни не был на свидании. У него оставалось тридцать пять центов. Тридцати пяти центов должно хватить для любой девушки, но все-таки, если б он не покупал семян, у него было бы сорок пять центов, и тогда он был бы готов ко всему. — Проклятая ворона, — сказал он, думая о злой черной птице, поживившейся на его счет.

Раньше он очень много думал о том, как это назначают свидания. А теперь он знал. Все это вышло неожиданно. Подходишь к девочке, когда она лежит на плоту посреди озера, и смотришь на нее, такую пухленькую в голубом купальном костюме, а она тоже смотрит на тебя серьезными голубыми глазами, в которых отражаешься ты, весь мокрый, с голой безволосой грудью, и вдруг говоришь: — Что вы делаете завтра вечером? Не заняты, а? — Ты и сам еще не знаешь, зачем это сказал, зато она знает и отвечает тебе: — Ничего особенного, Эдди. Часов в восемь, да? — И ты киваешь головой и ныряешь обратно в воду — вот и все.

А все-таки... эти семена, и обжора ворона, и лишние десять центов...

Из дома вышел Лоуренс, пошевеливая пальцами, очень чистенький, в белой рубашке и коротких штанах цвета хаки. Он сел рядом с Эдди в виноградной беседке.

— Хорошо бы земляничного мороженого с содовой водой, — сказал он.

— А деньги есть? — с надеждой спросил Эдди.

Лоуренс помотал головой.

— Ну, так не будет тебе мороженого, — сказал Эдди.

Лоуренс солидно кивнул головой. — А у тебя есть деньги? — спросил он.

— Есть немного,—осторожно ответил Эдди. Он притянул к себе виноградный лист, положил его на ладонь, прихлопнул, потом поднял к глазам рванный лист и стал его внимательно разглядывать против света.

Лоуренс промолчал, но Эдди понял, какие чувства кроются в этом молчании.— Я не могу швырять деньгами,— сказал он сухо.— Я иду на свидание. У меня всего тридцать пять центов. Почему я знаю, может ей захочется бананового пломбира?

Лоуренс опять кивнул, в знак того, что он понимает, но его лицо становилось все печальнее,— печаль заливала его, как река в половодье.

Они сидели молча, чувствуя себя довольно неловко, и прислушивались к шороху виноградных листьев.

— Пока я играл упражнения,— сказал наконец Лоуренс,— я все время думал: мне хочется земляничного мороженого, мне хочется земляничного мороженого...

Эдди вдруг встал.— А, пойдём-ка отсюда. Пойдём на озеро. Может быть, там будет что-нибудь интересное.

Они вместе пошли через луг к озеру, не разговаривая, только Лоуренс все время шевелил пальцами.

— Неужели ты не можешь перестать, хоть на минуту?— с отвращением спросил Эдди.— Хоть на одну минуту.

— Это полезно для пальцев. Чтоб не теряли гибкости.

— Надоел ты мне.

— Ну, хорошо,— сказал Лоуренс,— я не буду.

Они пошли дальше. Лоуренс был гораздо меньше ростом, только до подбородка Эдди, тоненький, чистенький, и волосы цвета красного дерева гладкой прядью лежали на его высокий, розовый детский лоб. Лоуренс начал насвистывать. Эдди слушал с тайным уважением.

— Неплохо получается,— сказал Эдди.— Ты совсем неплохо свищишь.

— Это Брамс, второй концерт для рояля.— Лоуренс перестал свистать.— Это легко свищется.

— Надоел ты мне,— повторил Эдди машинально,— право, надоел.

Когда они пришли к озеру, там никого не было. Ровное и невозмутимое, оно простиралось перед ними, как полная синяя чаша, до лесов на противоположном берегу.

— Никого нет,— сказал Эдди, глядя на плот, неподвижный и сухой посреди спокойной воды.— Это хорошо, а то здесь всегда очень много народа.— Его глаза

обежали все озеро, до самого дальнего уголка, до самой глубокой бухты.

— Хочешь покататься на лодке по озеру?— спросил Эдди.

— Да ведь у нас нет лодки,— рассудительно ответил Лоуренс.

— Я тебя не о том спрашиваю. Я спросил: хочешь покататься?

— Я бы с удовольствием, если б только была...

— Заткнись!— Эдди взял Лоуренса за плечо и повел его сквозь высокую траву к самой воде, где на песке лежала старая плоскодонка, купая в озеро высокую корму, выкрашенную темнокрасной краской и облупившуюся от солнца и дождя. Тяжелые весла лежали на дне лодки.

— Когда я скажу, прыгай в лодку,— велел Эдди.

— Но ведь она не наша.

— Ты хочешь кататься или нет?

— Да, но...

— Ну вот, когда я скажу, тогда и прыгнешь.

Пока Эдди сталкивал лодку в воду, Лоуренс аккуратно снял башмаки и носки.

— Прыгай!— крикнул Эдди.

Лоуренс прыгнул. Лодка заскользила по тихому озеру. Как только они выбрались из осоки, Эдди начал усердно грести.

— Не так плохо, правда?— Отдыхая, он откинулся на весла.

— Хорошо,— сказал Лоуренс.— Очень спокойно.

— А, брось!— сказал Эдди.— Ты и говоришь-то как пианист.

И он взялся за весла. Немного погодя он устал и предоставил лодку итти по ветру. Он лег, опустил пальцы в воду и стал думать о сегодняшнем вечере.— Пусть бы поглядели на меня сейчас наши с Сотой и Семьдесят третьей улицы,— сказал он.— Пусть бы поглядели, как я правлю этой лодкой.

— Совсем было бы хорошо,— согласился Лоуренс, подбирая ноги, чтобы не замочить их в луже, скопившейся на дне лодки,— если б еще поесть земляничного мороженого, когда вылезем из лодки.

— Неужели ты не можешь думать о чем-нибудь другом? Заладил свое! Неужели тебе не надоело?

— Нет,— подумав, ответил Лоуренс.

— Вот!— Эдди подтолкнул к нему весла.— Гребь! По крайней мере займешься чем-нибудь другим.

Лоуренс осторожно взял весла.— Это вредно для рук,— объяснил он, послушно налегая на весла.— Пальцы от этого теряют гибкость.

— Смотри, куда едешь!— сердито закричал Эдди.— Кругами, все кругами! Ну, какой смысл ездить кругами?

— Это лодка сама так идет,— говорил Лоуренс, гребя изо всех сил.— Что же я могу поделать, если лодка сама так идет.

— Пьянист! Только на рояле брэнчать. Больше ты никуда не годишься. Дай сюда весла!

Лоуренс благодарно отдал весла.

— Я не виноват, если лодка сама идет кругами. Значит, она так устроена,— настаивал он смиренно.

— Да заткнись ты!— Эдди свирепо налег на весла. Лодка рванулась вперед, поднимая пену.

— Эй вы там, в лодке! Эй!— донесся по воде мужской голос.

— Эдди,— сказал Лоуренс,— это он нам кричит.

— Правьте сюда, пока я с вас штаны не спустил!— кричал мужчина.— Сейчас же вон из моей лодки!

— Он хочет, чтобы мы вылезли из его лодки,— перевел Лоуренс.— Это, должно быть, его лодка!

— Да что ты? Неужели?— фыркнул Эдди с глубочайшим сарказмом. Он повернулся к берегу, чтобы ответить мужчине, который энергично размахивал руками.— Ладно!— крикнул Эдди.— Ладно! Сейчас отдадим вам вашу лодку. Не кипятитесь!

Человек подскочил на месте.— Голову оторву!— заорал он.

Лоуренс боязливо утер нос платком.— Эдди,— сказал он,— а почему бы нам не подъехать к другому берегу и не пройти домой оттуда?

Эдди с презрением взглянул на брата.— Это ты что же, испугался, что ли?

— Нет,— сказал Лоуренс, помолчав.— А только зачем нам лезть в драку?

Вместо ответа Эдди принялся грести изо всех сил. Лодка стрелой полетела по озеру. Лоуренс осторожно покосился на быстро приближавшуюся фигуру на берегу.

— Здоровый дядя,— доложил Лоуренс.— Ты еще не видел таких здоровых. И злой, должно быть. Может, не пало нам было кататься на его лодке. Может, он не любит, когда чужие катаются на его лодке. Эдди, ты меня слушаешь?

Последним героическим усилием Эдди разогнал лодку на берег. Она противно закричала по мелким камешкам на дне.

— Боже ты мой,— сказал мужчина,— кенец теперь моей лодке.

— Да нет же, ей ничего не сделается,

мистер,— сказал Лоуренс.— Только шуму много, а вреда никакого.

Человек протянул руку, схватил Лоуренса за шиворот и поставил его на землю. Это был очень крупный мужчина, широкоплечий, с двойным подбородком, сплошь заросшим жесткой щетиной, и волосатыми крепкими руками, которые теперь дрожали от ярости. С ним был мальчик лет тринадцати, повидимому, его сын, и этот сын тоже злился.

— Дай ему, пап,— твердил сын.— Хорошенько его!

Фермер потряс Лоуренса за плечи. Он задыхался от ярости и едва говорил:— Вреда никакого, а? Только шум, а?— кричал он прямо в побледневшее лицо Лоуренса.— Вот я покажу тебе вред! Вот я покажу тебе шум!

Заговорил Эдди. Эдди теперь вылез из лодки и, крепко ухватив весло, приготовился к самому худшему.

— Это нечестно,— сказал он.— Смотрите, насколько вы больше. Найдите кого-нибудь с вас ростом, тогда и деритесь.

Мальчишка фермера подскочил на месте от злости совершенно так же, как отец.— Я с ним буду драться, пап, я! Я с него ростом! Ну ты, сопляк, выходи!

Фермер посмотрел на сына, посмотрел на Лоуренса. Потом неохотно выпустил Лоуренса.— Ладно,— сказал он.— Покажи ему, Натан.

Натан толкнул Лоуренса.— Идем в лес, сопляк,— сказал он воинственно.— Там разберемся.

— В ухо его,— шептал Эдди уголком рта.— Дай ему в ухо, Ларри!

Но Лоуренс стоял, опустив глаза, разглядывая свои руки.

— Ну?— спросил фермер.

Лоуренс все еще разглядывал руки, медленно сжимая и разжимая пальцы.

— Он не хочет драться,— издевался Натан.— Кататься на нашей лодке — это он хочет, а драться — нет.

— Ничего подобного, он хочет драться.— заступился Эдди и прибавил шопотом:— Ну же, Ларри, двинь его по скуле, двинь хорошенько...

Но Ларри стоял тихо, спокойно, как будто задумался о Брамсе, о Бетховене, о далеких концертных залах.

— Он трус, вот оно в чем дело!— завопил Натан.— Трус, все городские мальчишки трусы!

— Нет, не трус,— уверял Эдди в глубине души зная, что брат его не из храбрых. Коленкой он подтолкнул Лоуренса.— Становись, Ларри! Ну, становись же!

Глухой ко всем просьбам, Лоуренс стоял, опустив руки.

— Трус! Трус! Трус! — пронзительно вопил Натан.

— Ну, что же, — осведомился фермер, — будет он драться или нет?

— Ларри! — Пятнадцать лет отчаяния было в голосе Эдди, но на Лоуренса это нисколько не повлияло. Эдди медленно повернул к дому. — Он не будет драться, — сказал он упавшим голосом. И, словно бросая кость чужой собаке: — Ну, ты, пойдём...

Лоуренс не спеша нагнувшись, подобрал носки и башмаки и шагнул вслед за братом.

— Погодите минутку, вы! — окликнул их фермер.

Он догнал Эдди и повернул его лицом к себе. — Мне надо тебе кое-что сказать.

— Да? — отозвался Эдди невесело, но все-таки с вызовом.

— Видишь вон тот дом? — сказал фермер.

— Да, — ответил Эдди. — Ну и что же?

— Это мой дом, — сказал фермер. — Держись от него подальше. Понял?

— Хорошо, хорошо, — сказал Эдди неохотно и уже без всякой гордости.

— А эту лодку видишь? — спросил фермер, показывая на причину всех зол.

— Вижу, — сказал Эдди.

— Это моя лодка. Держись от нее подальше, не то исколочу до полусмерти. Понял?

— Да, да, понял, — сказал Эдди. — Пальцем не трону вашей паршивой лодки. — И опять Лоуренсу: — Ну ты, пойдём...

— Трус! Трус! Трус! — подсказывая на месте, вопил Натан, и его было слышно очень долго, пока они шли по веселому лугу, напоенному нежным и сладким запахом клевера на склоне летнего дня. Эдди шел впереди Лоуренса, насупившись, с окаменелым, суровым лицом, горько сжав рот от стыда и злости. Он яростно шагал по цветущему клеверу, словно ненавидел эти цветы, словно хотел растоптать их, уничтожить вместе с корнями, вместе с землей, из которой они росли.

Держа башмаки в руках, опустив голову на грудь, все такой же чистенький, все с тем же ровным начесом волос, темных и гладких, как красное дерево, Лоуренс шел сзади брата, в десяти шагах, ступая по его следам, ясно видимым среди клевера.

— Трус, — бормотал Эдди, достаточно громко для того, чтобы негодай, шедший позади, мог его слышать. — Трус! Труслив,

как заяц. Мой родной брат, — удивлялся он. — Да на его месте я бы лучше умер, а не позволил бы себя так обозвать. Пускай бы меня лучше убили на месте. Мой родной брат. И труслив, как заяц. Хоть бы раз дал в ухо! Хоть бы раз! Хоть показал бы им... А он стоит, как пень, и позволяет какому-то сопляку в рваных штанах издеваться над собой. Пианист. Лоуренс? Небось, знали, что делали, когда называли тебя Лоурренс! И не говори со мной! Не желаю, чтоб ты со мной разговаривал, никогда, до самой смерти! Лоурренс!

Горюя так сильно, что даже не было слез, оба брата дошли до дома, оставаясь в десяти шагах, в десяти миллионах миль друг от друга.

Не оглядываясь, Эдди пошел в виноградную беседку и растянулся на скамье. Лоуренс, бледный, с неподвижным лицом, посмотрел ему вслед, потом ушел в комнаты.

Лежа на скамье вниз лицом, совсем близко к жирному чернозему беседки, Эдди кусал пальцы, едва удерживаясь от слез. Но, должно быть, он кусал не очень сильно, и слезы хлынули, горьким ручьем побежали по щекам, закапали на мягкую черную землю, где коренились виноградные лозы.

— Эдди!

Эдди поспешно обернулся, смахнув слезы крепко сжатым кулаком. Перед ним стоял Лоуренс, аккуратно натягивая замшевые перчатки на свои маленькие руки.

— Эдди, — говорил Лоуренс, упорно не замечая слез, — я хочу, чтобы ты пошел со мной.

Молча, но с такой глубокой радостью в сердце, что она опять вызвала слезы на его мокрые глаза, Эдди встал, высморкался, догнал брата и плечо к плечу с ним пошел через луг таким легким шагом, что красные и розовые головки клевера едва сгибались на их пути.

Эдди строго постучался в двери фермерского дома — три раза, три стука, сильные, звучные, похожие на зов боевой трубы.

Натан открыл дверь. — Вам чего надо? — спросил он подозрительно.

— Не так давно, — сказал Эдди официальным тоном, — вы предлагали моему брату драться. Теперь он готов.

Натан взглянул на Лоуренса; тот стоял перед ним прямо, подняв голову, сжав пухлые губы в узкую прямую линию, выставив вперед большие кулаки в толстых

перчатках. Натан хотел было закрыть дверь.— Надо было раньше,— сказал он. Эдди крепко держал открытую дверь.— Вы сами предлагали, не забудьте,— напомнил он вежливо.

— Тогда и надо было драться,— упрямо сказал Натан.— Ему предлагали.

— Ну, как же,— почти упрасивал Эдди.— Вы же сами раньше хотели драться.

— То было раньше. Пустите-ка дверь, я закрою.

— Так нельзя!— в отчаянии крикнул Эдди.— Вы же сами предлагали.

На пороге появился фермер, отец Натана. Он холодно взглянул на них.— Что еще тут такое?— спросил он.

— Не так давно,— заговорил Эдди очень быстро,— вот этот человек предлагал вот этому человеку драться.— Его красноречивая рука указала сперва на Натана, потом на Лоуренса.— А теперь мы принимаем вызов.

Фермер посмотрел на сына.— Ну?

— Надо было раньше,— недовольно буркнул Натан.

— Натан не хочет драться,— сказал фермер, обращаясь к Эдди.— Уходите отсюда.

Лоуренс сделал шаг вперед, ближе к Натану. Он посмотрел Натану прямо в глаза.— Трус,— сказал он.

Фермер вытолкнул сына за дверь.— Иди, поколоти его,— приказал он.

— Пойдем в лес, там поговорим,— сказал Лоуренс.

— Всыпь ему хорошенько, Ларри,— крикнул Эдди, когда Лоуренс и Натан направились к лесу, держась на одной линии, но, из вежливости, в пяти шагах друг от друга. Молча, Эдди смотрел, как они скрылись за деревьями.

Фермер тяжело опустился на крыльцо, достал пачку папирос и предложил Эдди.— Хотите?

Эдди посмотрел на папиросы и вдруг взял одну.— Спасибо,— сказал он.

Фермер чиркнул спичкой, дал закурить Эдди, закурил сам, прислонился к столбу и вытянул ноги поудобнее — все это молча. Эдди беспокойно слизнул с губы табачные крошки своей первой папиросы.

— Садитесь,— сказал фермер,— никогда нельзя знать, как долго мальчишки будут драться.

— Спасибо,— сказал Эдди, садясь, отважно затягиваясь папиросой и неторопливо, с природным талантом, выпуская дым.

Оба они молча смотрели на лес за лугом, скрывавший от них поле битвы. Верхушки деревьев слегка покачивались от ветра, и летний вечер собирал густые синие тени между толстыми коричневыми стволами, там, где они упирались в землю. Над лугом лениво кружил ястребенок, повертываясь боком и скользя по ветру. Фермер глядел на ястребенка без всякой злобы.

— Как-нибудь подстрелю этого мошенника.

— А что это такое?— спросил Эдди, осторожно вынимая папиросу, чтобы можно было разговаривать.

— Ястребенок. Ведь вы из города?

— Да.

— Хорошо там у вас, в городе?

— Ничего не может быть лучше.

Фермер задумчиво покуривал.— Как-нибудь и я переберусь в город. Теперь нет никакого смысла жить в деревне.

— Нет, почему же,— сказал Эдди.— В деревне тоже очень хорошо. Много можно сказать и за.

Фермер кивнул, взвешивая мысленно этот вопрос. Он потушил свою папиросу.— Хотите еще папиросу?— спросил он Эдди.

— Нет, спасибо,— ответил Эдди,— я еще эту не докурил.

— Послушайте,— сказал фермер,— как вы думаете, ваш брат здорово исколотит моего мальчишку?

— Очень может быть,— сказал Эдди.— Он ведь хулиган, мой брат. Постоянно дерется, чуть не каждый день. Дома у нас все мальчишки его как огня боятся. Да вот,— начал Эдди, давая полную волю фантазии,— еще не так давно, я помню, Ларри побил троих мальчишек, одного за другим. В полчаса. Всем трем расквасил носы. В каких-нибудь полчаса! Есть у него один удар левой рукой, страшное дело — раз, два, бац! Вот так — и сразу нос в лепешку.

— Ну, моего мальчишку он не изуродует.— Фермер засмеялся.— Такому носу ничего не делается, только лучше будет.

— Он очень способный, мой брат,— сказал Эдди, гордясь воином в лесу.— Играет на рояле. Очень хороший пианист. Вот бы вы послушали.

— Такой маленький,— изумился фермер.— А мой Натан ничего не умеет.

В отдалении, в сумраке под деревьями показались две фигуры, плечо к плечу, и медленно вышли на луг, освещенный солнцем. Эдди и фермер встали. Еле передви-

гая ноги, бойцы приближались, плечо к плечу, болтая руками.

Эдди посмотрел сначала на Натана. Рот у Натана был в крови, на лбу вскочила шишка, ухо все красное. Эдди радостно улыбнулся. Натану здорово влетело. Эдди медленно двинулся навстречу Лоуренсу. Лоуренс подходил к нему, высоко подняв голову. Но эта голова порядком пострадала. Волосы были спутаны, один глаз совсем закрылся, из разбитого носа все еще капала кровь. Время от времени Лоуренс подлизывал кровь языком. Воротничок у него был разорван, штаны перепачканы в лесной глине, голые колени ободраны в кровь. Но тот глаз, который был еще открыт, светился ясным блеском, доблестно и победно.

— Идешь домой, Эдди?— спросил Лоуренс.

— Ну, конечно.— Эдди хотел похлопать Лоуренса по спине, но вдруг отвел руку. Он обернулся и помахал рукой фермеру.

— До свидания.

— До свидания,— отозвался фермер.— Когда вздумаете покататься на лодке, берите ее, и все тут.

— Спасибо.— Лоуренс степенно прощался с Натаном за руку, Эдди подождал его.

— Добрый вечер,— сказал Лоуренс.— Хорошая была драка.

— Да,— сказал Натан.

Оба брата пошли рядышком через луг, благоухающий клевером и осененный длинными тенями. Половину дороги они прошли в молчании, в молчании равных, сильных мужчин, умеющих говорить друг с другом без слов, но гораздо красноречивее, и единственным звуком было жиденькое побрякивание тридцати пяти центов в кармане Эдди.

Вдруг Эдди остановил Лоуренса.— Пойдем вот этой дорогой,— сказал он, показывая направо.

— Но ведь домой вот сюда, Эдди.

— Я знаю. Пойдем в город. Поедим мороженого,— сказал Эдди.— Земляничного мороженого с содовой водой.

П о м о щ н и к ш е р и ф а

Макомбер сидел в вертящемся кресле шерифа, засунув ноги в корзину для мусора, потому что толстый живот мешал ему положить их на стол. Он сидел и разглядывал висевшее на стене объявление: «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПО ОБВИНЕНИЮ В УБИЙСТВЕ УОЛТЕР КУПЕР. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЕТЫРЕСТА ДОЛЛАРОВ». Случалось, что он целую неделю подряд просиживал здесь, глядя на слова «Четыреста долларов» и уходил домой только обедать и спать. Спал он не меньше десяти часов в сутки.

Макомбер был третий помощник шерифа и дежурил в конторе потому, что ему не хотелось идти домой к жене. После завтрака пришел и второй помощник, сел, прислонился к стене и тоже устался на слова: «Четыреста долларов».

— Я читал в газетах,— сказал Макомбер, чувствуя, как пот медленно скатывается по его шее за рубашку,— что в Нью-Мексико самый здоровый климат на свете. Погляди, как я потею. Ты скажешь, это здорово?

— Ну, при твоей толщине,— сказал второй помощник шерифа, не отводя взгляда от слов «Четыреста долларов»,— чего же ты хочешь?

— Хоть ячичницу жарь,— сказал Макомбер, поглядывая на раскаленную улицу за окном.— Мне нужен отпуск. Тебе тоже. Всем нужен отпуск.— Он с трудом передвинул револьвер, давивший на складку жира. Почему бы Уолтеру Куперу не войти сюда вот сейчас? Ну, почему?

Зазвонил телефон. Макомбер взял трубку. Он слушал и отвечал:— Да, нет, шериф отдыхает. Я ему передам, до свидания.

Он медленно положил трубку на рычаг и задумался.— Это из Лос-Анжелоса,— сказал он.— Они все-таки поймали Брисбэйна. Он сидит у них в тюрьме.

— Пятнадцать лет получит,— сказал второй помощник шерифа.— Его сообщнику уже дали пятнадцать лет. Могут поздравить друг друга.

— Это мои крестники,— с расстановкой сказал Макомбер, надевая шляпу.— Я ведь первый заметил, что фургон ограблен.— Он повернулся к двери.— Кому-нибудь придется съездить в Лос-Анжелос за Брисбэйном. По-моему, мне, как ты скажешь?

— Ну, конечно, тебе,— сказал второй помощник.— Славно прокатиться. Голливуд. Девочки там невредные, в Голливу-

де.— Он сонно кивнул головой.— Я бы и сам непрочь повеселиться в Голливуде.

Макомбер не торопясь шел к дому шерифа и, не смотря на жару, слегка улыбаясь при мысли о Голливуде. Он даже зашагал быстрее, все его двести сорок фунтов легко и проворно неслись к цели.

— О, чтоб их!— сказал шериф, когда Макомбер сообщил ему о Брисбэйне.— Какого чорта им там не сидится в Голливуде!— Шериф, заспанный и недовольный, спустил ноги с дивана. Он только что прилегло вздремнуть после завтрака, сняв башмаки и расстегнув три верхние пуговицы на брюках.— Ведь мы уже осудили одного по этому делу.

— Брисбэйн известный преступник,— сказал Макомбер.— Он совершил кражу со взломом.

— Да, со взломом,— сказал шериф.— Украл пару носков и два пальто, а я должен посылать за ним человека в Лос-Анжелос. А попроси их препроводить к нам убийцу, так они двадцать лет продержат его в Лос-Анжелосе! Зачем вы меня разбудили?— спросил он сердито.

— Просили передать, чтоб вы как можно скорее позвонили в Лос-Анжелос,— ответил Макомбер ровным голосом.— Там не знают, что с ним делать. Им хочется от него отвязаться. Говорят, он целыми днями орет не своим голосом. Оглушил всю тюрьму.

— Только его тут и нехватало,— сказал шериф.— Очень он мне нужен.

Однако он надел башмаки, застегнул брюки и пошел с Макомбером в контору.

— Может быть, вы не откажетесь съездить в Лос-Анжелос?— спросил он Макомбера.

Макомбер пожал плечами.— Кому-нибудь надо же поехать.

— Макомбер у нас молодчина,— съязвил шериф.— Наша опора. Всегда готов пожертвовать собой.

— Я же знаю это дело,— сказал Макомбер.— Вдоль и поперек.

Шериф оглянулся на него через плечо.— Я читал, что девушек там очень много, так много, что даже толстяки могут надеяться на успех. И жену возьмете с собой, Макомбер?

— Кому-нибудь нужно же ехать. Впрочем, я с вами согласен, и Голливуд посмотреть недурно,— рассудительно сказал Макомбер.— Кое-что я о нем читал.

Они вошли в контору, второй помощник вылез из-за стола, и шериф уселся на свое место, расстегнув три верхние пуговицы на брюках. Пыхтя от жары, он от-

крыл ящик и достал оттуда конторскую книгу.— И зачем только люди живут в таком месте?— вот что мне хотелось бы знать.— Шериф заглянул в раскрытую книгу.— Денег нет ни пени, — сказал он с досадой.— Ни одного паршивого пенни. После поездки в Индлз за этим Бьюкером касса совсем пустая. А новых поступлений не будет еще два месяца. Замечательный у нас город. Поймаешь одного жулика, а потом сиди сложа руки весь сезон. Ну, чего вы на меня так уставились, Макомбер?

— Послать человека в Лос-Анжелос обойдется не дороже девяноста долларов.— Макомбер осторожно присел на низенький стул.

— У вас есть девяноста долларов?— спросил шериф.

— Я тут ни при чем,— сказал Макомбер.— Ведь это же известный преступник.

— Может быть, вы уговорите Лос-Анжелос, чтобы они подержали его у себя два месяца.— сказал второй помощник.

— Ну и умники сидят у меня в конторе,— сказал шериф.— Прямо-таки профессора.— Однако он повернулся к телефону и сказал:— Соедините меня с полицейским управлением в Лос-Анжелосе.

— Того, кто ведет дело, зовут Свенсон,— сказал Макомбер.— Он ждет вашего звонка.

— Попробуйте, попросите их изловить убийцу, увидите, что получится. А вот на таких, которые носки крадут, они прямо орлы.

Пока шериф ждал соединения, Макомбер тяжело повернулся на стуле, с трудом отдирая штаны, прилипшие к желтому лаку сидения, и стал смотреть на пустую улицу, добела раскаленную солнцем, на асфальт шоссе, вскипавший от жары мелкими черными пузырьками. На минуту, где-то глубоко, под слоем жира, в нем шевельнулось отвращение к городу Гэтлину, штат Нью-Мексико. Окраина пустыни, прекрасный климат для больных туберкулезом. Двенадцать лет он живет здесь, ходит в кино два раза в неделю, слушает болтовню жены. Растолстел. Прежде чем умереть в Гэтлине, штат Нью-Мексико, непременно растолстешь. Двенадцать лет, думал он, глядя на улицу, всегда пустую, кроме субботних вечеров. Он уже видел, как выходит из парикмахерской в Голливуде, гуляет под руку с тоненькой блондинкой, заглядывает в бар, выпивает кружку-другую пива. Болтает и смеется в толпе других людей, которые тоже болтают и смеются. Грета Гарбо ходит там

по улицам, и Кэрол Ломбард и Алиса Фэй. «Сара,— скажет он жене,— я уезжаю в Лос-Анжелос по служебным делам. Вернусь не раньше чем через неделю».

— Да?..— кричал шериф в телефон.— Да? Где же Лос-Анжелос?

Девяносто долларов, какие-то паршивые девяносто долларов... Макомбер отвернулся и уже не смотрел на улицу. Он положил руки на колени и сам удивился, что они так дрожат, особенно когда шериф сказал:— Алло, это Свенсон?

Не в силах сидеть спокойно и слушать, как шериф говорит по телефону, он встал и медленно ползлел через проходную комнату в уборную. Там он запер дверь и стал разглядывать себя в зеркало. Так вот на что стало похоже его лицо — и все это сделали двенадцать лет жизни в Гэтлине, двенадцать лет женой болтовни. С ничего не выражающим лицом он вернулся в контору.

— Да нет,— говорил шериф,— вам придется держать его у себя два месяца. Я знаю, что у вас все полно. Знаю, что это противоречит конституции. Сказал, знаю, чорт вас возьми! Я же только предложил. Очень жаль, что он орет. А я тут при чем? Может, и вы бы заорали, если б вас засадили на пятнадцать лет. Да будет вам, чорт вас возьми, этот разговор обойдется округу Гэтлин в миллион долларов. Я вам еще позволю. Хорошо, в шесть часов. Сказал — хорошо. Хорошо!

Шериф положил трубку. С минуту он сидел, отдыхая, опустив голову. Потом вздохнул и застегнул брюки.— Ну и город,— сказал он,— этот Лос-Анжелос.— Он покачал головой.— Прямо хочется послать все к чорту. Что ж мне, в гроб ложиться, что ли, из-за человека, который украл пару носков? Ну, что тут делать?

— Это известный преступник,— сказал Макомбер.— Все его дело у нас.— Голос его звучал ровно, но где-то внутри все в нем дрожало от нетерпения.— Закон есть закон.

Шериф посмотрел на него уничтожающим взглядом:— Неподкупный Макомбер! Прямо-таки совесть шерифа.

Макомбер пожал плечами:— При чем тут это? Я только хочу закончить дело.

Шериф опять повернулся к телефону.— Дайте мне казначейство,— сказал он. Дожидаюсь соединения и прижав трубку к уху, он глядел на Макомбера.

Макомбер подошел к дверям и выглянул на улицу. В доме напротив, под окном сидела его жена, поджав толстые локти и

обливаясь потом. Он отвернулся и стал смотреть в другую сторону.

Голос шерифа, говорившего с казначеем, доносился словно откуда-то издалека и очень неясно. Голос казначея сердито верещал в трубке, скрипучий, точно механическая пила.

— Все только тратят деньги,— кричал он.— Поступлений никаких, а все тратят деньги. Я буду счастлив, если в конце месяца получу свое жалованье, а вы просите девяносто долларов на увеселительную поездку в Лос-Анжелос! Как же, очень нужно ехать за жуликом, который украл на девять долларов старья. Да подите вы к чорту! Я сказал, подите вы к чорту!

Трубка звякнула о рычаг на другом конце провода, и Макомбер сунул руки в карман, чтобы никто не заметил, как они дрожат. Он холодно смотрел, как шериф осторожно кладет трубку на место.

— Макомбер,— сказал шериф, чувствуя на себе жесткий, осуждающий взгляд помощника,— пожалуй, Джоан Кроуфорд придется обойтись без вас в этом году.

— Да, все студии уберут траурным креном по этому случаю,— сказал второй помощник.

— Я о себе не хлопочу,— сказал Макомбер ровным голосом,— но ведь всем это покажется очень странно: поймали известного преступника, а шериф его выпустил.

Шериф сразу вскочил.— Чего вы ко мне пристали?— крикнул он, выйдя из себя.— Ну, скажите, какого чорта вам от меня надо? Не могу же я родить вам девяносто долларов. Говорите со штатом Нью-Мексико!

Макомбер пожал плечами.— Это уж не мое дело,— сказал он.— Однако, я думаю, мы не можем позволить, чтобы преступники издевались над законами штата Нью-Мексико.

— Ну, хорошо!— закричал шериф.— Действуйте сами! Идите, действуйте! Я буду им звонить только в шесть. У вас есть еще три часа, вот и старайтесь, чтобы правосудие восторжествовало. Я умываю руки.— Он сел и, расстегнув три верхние пуговицы на брюках, положил ноги на стол.— Если это так для вас важно,— сказал он вдогонку Макомберу,— хлопочите сами.

Направляясь к прокурору округа, Макомбер прошел мимо своего дома. Его жена все так же сидела под окном и обливалась потом. Она посмотрела на мужа равнодушными глазами, и он тоже, прохо-

дя мимо, взглянул на нее. Ни тот, ни другая не улыбнулись, не обменялись хоть словом. Одно мгновение они смотрели друг на друга с выражением привычной двенадцатилетней скуки. И Макомбер решительно зашагал дальше, чувствуя, что жара проникает сквозь подошвы и ослабляющей волной поднимается по ногам вверх.

В Голливуде, где на чисто выметенных тротуарах раздается четкий, дразнящий стук высоких каблучков, он будет ходить не так, как ходят толстяки, а твердым и быстрым шагом. Сделав десять шагов с закрытыми глазами, он свернул на главную улицу города Гэтлина, штат Нью-Мексико.

Он вошел в солидное здание в греческом стиле, выстроенное недавно для округа Гэтлин. Проходя по тихим коридорам, отделанным мрамором и прохладным даже среди дня, он зорко оглядывался по сторонам и твердил: — Девяносто долларов, какие-то паршивые девяносто долларов.

Он остановился перед дверью, на которой была табличка «Прокурор округа». Он постоял с минуту, и страх волной то приливал, то отливал в нем. Его пальцы, сжимавшие дверную ручку, вспотели, пока он открывал дверь. Он постарался принять независимую позу человека, который пришел по служебному делу и незаинтересован в нем лично.

Дверь в кабинет была слегка приоткрыта, посреди комнаты стояла жена прокурора, и прокурор кричал на нее: — Ради бога, Кэрол, надо же иметь совесть! Неужели я похож на миллионера? Ну, скажи, да или нет?

— Мне только нужно немного отдохнуть, — упрямо твердила жена прокурора. — Три недели, только и всего. Я не переношу здешней жары. Я заболела и умру, если мне придется пробыть здесь еще неделю. Значит, ты хочешь, чтобы я заболела и умерла? Ты заставляешь меня жить в этом чудном месте, так что ж мне, и умирать здесь? — Она заплакала, встряхнув тщательно причесанными светлыми волосами.

— Ну, хорошо, — сказал прокурор. — Хорошо. Хорошо, Кэрол. Пожалуйста. Ступай, укладывайся. И перестань плакать. Ради бога, перестань!

Она подбежала к прокурору, поцеловала его и вышла из кабинета, прикладывая платок к кончику носа. Прокурор проводил ее и открыл ей дверь. Она поцеловала его еще раз и побежала по коридору. Проку-

рор закрыл за ней дверь и устало прислонился к косяку.

— Она хочет съездить в Висконсин, — сказал он Макомберу. — У нее там знакомые. В Висконсине есть озера. Вы ко мне зачем?

Макомбер рассказал ему про Брисбэйна и Лос-Анжелос, и в каком состоянии касса шерифа, и что сказал казначей округа Гэтлин. Прокурор сел на скамью у стены и слушал, опустив голову.

— Чего же вы от меня хотите? — спросил он, выслушав Макомбера до конца.

— Брисбэйн должен получить пятнадцать лет тюрьмы. Это уж наверняка, лишь бы он попал к нам. Известный преступник. В конце концов, это будет стоить всего девяносто долларов... Если бы вы что-нибудь сказали, заявили бы протест.

Прокурор округа сидел на скамье, опустив голову, свесив руки между колен.

— Всем нужны деньги, всем хочется уехать куда-нибудь, лишь бы не сидеть в городе Гэтлине, штат Нью-Мексико. Знаете, сколько стоит послать мою жену в Висконсин на три недели? Триста долларов. О, боже мой!

— Тут совсем другое дело, — сказал Макомбер очень мягко и рассудительно. — Ведь это в ваших же интересах. Наверняка вынесут обвинительный приговор.

— Мне беспокоиться нечего. — Прокурор встал. — У меня все в порядке. Одно обвинительного приговора по этому делу я уже добился. Чего вы от меня хотите — чтобы я всю жизнь возился с делами о краже носков?

— Если бы вы замолвили словечко казначею...

Макомбер поплелся за прокурором в кабинет.

— Если казначей экономит деньги, значит, он на своем месте, нам как раз такой человек и нужен. Кому-то надо же экономить деньги. Кому-то надо же заниматься делом, не всем же разбегать на казенный счет.

— Это опасный прецедент, когда преступника... — начал Макомбер гораздо громче, чем хотел.

— Оставьте меня в покое, — сказал прокурор. — Я устал.

Он ушел в кабинет и захлопнул за собой дверь.

— Сукин сын, мерзавец, — негромко сказал Макомбер, обращаясь к двери, разделанной под дуб, и вышел в мраморный вестибюль. Он нагнулся и выпил воды из блестящего фарфорового фонтанчика, поставленного в вестибюле. Горло у него

пересохло, словно набитое песком, и вкус во рту был затхлый.

Выйдя на улицу, он зашагал по раскаленному тротуару, с трудом волоча ноги. Пояс брюк неприятно резал ему живот, и, вспомнив стряпню своей жены, он подавил стрижку. В Голливуде, чего бы это ни стоило, он пообедает в каком-нибудь ресторане, куда ходят кинозвезды, и ему подадут легкие французские блюда и вино в замороженной бутылке. Какие-то паршивые девяносто долларов. Он шел в тени брезентовых навесов, обливаясь потом, мучительно ломая голову в поисках выхода.— К черту, все к черту!— сказал он наконец, не в силах что-нибудь придумать. Никогда уже ему не уйти из Гэтлина, Нью-Мексико, никогда не будет другого случая вырваться на свободу хоть на недолго... Виски у него ломило от напряжения. Вдруг он вышел из-под навеса и поднялся по лестнице, которая вела в редакцию гэтлинского «Геролда».

Редактор городского отдела сидел за большим столом, покрытым пылью и загроможденным ворохом рукописей, и с утомленным видом чиркал синим карандашом длинную белую полосу. Он рассеянно выслушал Макомбера, время от времени пуская в ход карандаш.

— Вот и покажите избирателям города Гэтлина,— Макомбер говорил, захлебываясь, наклонившись над столом,— что за народ их обслуживает. Покажите землевладельцам округа Гэтлин, какой защиты они могут ждать от шерифа, прокурора и казначея, которых они сами назначили. Интересная получилась бы статья: люди, которым место за решеткой, разгуливают у нас на свободе и плевать хотят на все законы. На вашем месте я такую написал бы передовицу! Из-за каких-то паршивых девяноста долларов! А стоит газете высказаться, и шериф завтра же пошлет человека в Лос-Анжелос. Вы меня слушаете?

— Да, да,— сказал редактор, осторожно перечеркивая страницу тремя прямыми линиями.— Почему вы не занимаетесь своим делом, Макомбер? Вы же третий помощник шерифа.

— Ваша газета партийная — вот что скверно,— огрызнулся Макомбер.— Вель вы демократы, вам хоть всю Главную улицу вывози на грузовике, если это свой человек сделал, вы и слова не скажете. Продажный вы народ, и газета у вас продажная.

— Вот именно,— сказал редактор.— Вы попали в точку.— Он опять чиркнул карандашом.

— А ну вас к черту!— сказал Макомбер и отвернулся.

— Вы мало едите, Макомбер, вот в чем беда,— сказал редактор.— Вам нужно усиленное питание.— Держа карандаш на весу, редактор задумался над какой-то фразой, и Макомбер вышел, хлопнув дверью.

Макомбер в унынии плелся по улице, не обращая внимания на зной, тяжело бивший ему в лицо. По дороге в контору он опять прошел мимо своего дома. Его жена все еще сидела под окном, глядя на улицу, всегда пустую, кроме субботних вечеров.

— Больше тебе делать нечего, все сидишь под окном?— крикнул он ей с той стороны улицы.

Она ничего не ответила, только посмотрела на него и опять перевела равнодушный взгляд на улицу.

Макомбер вошел в контору шерифа и тяжело опустился на скамейку. Шериф сидел еще там, положив ноги на стол.

— Ну, как?— спросил шериф.

— Все к черту,— Макомбер вытер потное лицо пестрым платком.— Наплевать, проживу и так.

Пока шериф вызывал Лос-Анжелос, он расшнуровал башмаки и уселся на свое место.

— Свенсон?— кричал шериф в трубку.— Это шериф Хэдли из Гэтлина, Нью-Мексико.— Можете сказать Брисбэйну, чтоб он перестал орать. Выпустите его. Мы за ним не приедем. И без него много хлопот. Спасибо.— Он повесил трубку и вздохнул, как вздыхает человек после целого дня работы.— Пойду домой обедать,— сказал он и вышел.

— Я посижу здесь, пока ты сходишь домой поесть,— сказал второй помощник Макомберу.

— Не стоит,— сказал Макомбер.— Я не хочу есть.

— Ну, ладно,— сказал второй помощник и, поднявшись с места, пошел к дверям.— Всего хорошего, Барримор.— Он вышел, насвистывая.

Макомбер заковылял к креслу шерифа в расшнурованных башмаках. Откинувшись на спинку кресла, он взглянул на объявление: «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПО ОБВИНЕНИЮ В УБИЙСТВЕ... ЧЕТЫРЕСТА ДОЛЛАРОВ», теперь освещенное косыми лучами солнца. Потом сунул ноги в корзину для мусора и сказал:— К черту Уолтера Купера!

Моллой отпер дверь своей квартиры и тихонько вошел в гостиную. Он осторожно положил сверток на маленький столик светлого дуба, рядом с аккуратной стои- кой старых номеров «Католического стра- жа». С минуту он любовно смотрел на сверток, распутив в улыбку свое морщи- нистое лицо. Он снял шляпу, как пола- гается порядочному человеку, и голосом, пронзительным, как трамвайный звонок, закричал на все пять комнат: — Бесси! Бесси!

Бесси выбежала из спальни в домашнем туалете, ее не стянутая корсетом грудь тряслась под капотом, седые волосы раз- вевались на бегу. — Что случилось? — отозвалась она, еще не видя Моллоя. — Что с тобой, Винсент?

— Милочка моя Бесси, — сказал Мол- лой. Он подошел к ней и крепко обнял ее. — Мой бутончик. — Она отстранилась, и поцелуй пришелся в правый глаз.

— Ну и несет же от тебя, — холодно сказала Бесси, отталкивая его руки. — Не- чего сказать!

— А ты знаешь, какой сегодня день? — Моллой опять обнял ее.

— Суббота, — сказала Бесси, подталки- вая его к креслу. — То-то от тебя и несет по-субботному.

— Сегодня, — торжественно произнес Моллой из глубины кресла, — сегодня как раз тот день, когда мы с тобой пожени- лись, четырнадцатое мая, счастливый день. Поцелуй меня, Бесси. Мой бутончик. Как раз двадцать шесть лет сегодня, четырнад- цатого мая. Моя непорочная невеста. Пом- нишь, Бесси?

— Помню, — сурово сказала Бесси. По- том смягчилась. — Так ты все-таки вспом- нил, Винсент, — сказала она ласково, целуя его в лысину и приглаживая рас- трепанные седые волосы. — Вот это был денек. — Она опять поцеловала его в лысину.

Винсент нежно взял ее за руку. — А погляди-ка на стол, Бесси. Что там такое, прямо на тебя смотрит. — Свободной рукой он сделал широкий жест, указывая на круглый столик. — Это тебе за двадцать шесть лет. Ну-ка, разверни!

Бесси поцеловала его еще раз и, подой- дя к столу, развернула сверток. — Четыре розы! — вскрикнула она, подняв бутылку к свету. — Какой ты внимательный, Вин- сент.

Винсент просиял. — Целая кварта, — сказал он. — Лучше этого ничего за деньги не купишь. Смесь самых крепких сортов.

Бесси торопливо принялась откупоривать бутылку. — А я-то лежала в спальне и грустила о том, что годы уходят, — говори- ла она, энергично отвинчивая металличе- скую пробку. — Вот это меня утешит. — Закрыв глаза, она с наслаждением поню- хала бутылку. — Удивительно все-таки, из горлышка так приятно пахнет, а изо рта у мужчины так противно. В самом деле, Винсент, как это мило с твоей стороны, что ты обо мне вспомнил. Вот верный муж.

Моллой подошел ближе и любовно об- нял Бесси за талию, слегка ущипнув ее дряблый и обвисший бок. — Сегодня, моя старушка, — сказал он, — мы с тобой са- мая счастливая парочка во всем Брукли- не. — Он взял за бутылку.

— Ах, Винсент, — прошептала Бесси, — не так уж плохо мы с тобой прожили эти двадцать шесть лет. Что ты, из бутыл- ки?! Из бутылки неприлично, Винсент. Пойдем, сядем на кухне, там светлей.

Рука об руку они пошли на кухню, Моллой благоговейно нес бутылку. Бесси достала два чайных стакана и села за ку- хонный стол, напротив Моллоя. Она улы- балась мужу, старательно отмерявшему виски поровну.

Они подняли стаканы. — За вечную лю- бовь, — с чувством сказал Моллой и про- слезился.

— За нашу с тобой любовь, — мягкая, ответила Бесси.

Они выпили, улыбнулись друг другу, и Моллой налил по второму стакану.

— Вот это виски, — сказал он. — Юби- лейное виски. В день нашей свадьбы старое оверхольтовское виски лилось рекой. К шести часам утра веселье было еще в самом разгаре. — Он покачал голо- вой, предаваясь воспоминаниям, и налил себе еще.

— Да, — сказала задумчиво Бесси, — и гости были все веселый народ. Пятеро из них просили моей руки, и все они пели и плясали, пу просто были в отчаянии.

— В то время, — сказал Моллой, — ты была самая хорошенькая мордашка во всем Бруклине. Этого уж не отнимешь. Мой бутончик. — Он опорожнил стакан, запрокинув голову. — Мне повезло. Здро- во повезло. — Он засмеялся, наливая себе

и Бесси еще по стакану.— Боже ты мой, как это хорошо, когда тебе двадцать лет. Боже ты мой, как хорошо!

— Я тебя помню,— сказала Бесси, дотрагиваясь до его руки через фаянсовую доску стола,— у тебя были рыжие усы, как у кавалериста, а лицо совсем молодое, ты чокался с каждым, кто только хотел, а с девушками шутил и похлопывал их по спине, красивый, как король, и голова тогда у тебя была отчаянная, ты весь мир готов был перевернуть. Да, да, вот это был денек!— Она вздохнула и выпила.

— Да, мир еще стоит на своем месте,— трезвым голосом сказал Моллой.— За эти двадцать шесть лет Винсент Моллой ничего плохого ему не сделал.— Он налил себе.— А помнишь, как я сказал тебе, что буду мэром города Нью-Йорка?

— Помню,— мирно ответила Бесси, отхлебнув глоток.— Я каждому твоему слову верила.

— И вот я женился,— Моллой угрюмо посмотрел в свой стакан и взболтал остатки виски на дне.— Поступил служить на почту. А того ли можно было ждать,— сказал он с горечью.

— По правде сказать, Моллой,— заметила Бесси,— женатый или холостой, ты все равно служил бы на почте.

— Тяжело это слышать,— сказал с достоинством Моллой.— Очень тяжело. От собственной жены. А кто говорил: сиди дома, занимайся с детьми, когда мне следовало бывать в барах и политических клубах и заводить выгодные знакомства? Кто это говорил?— он залпом выпил свой стакан.

— Ты и заводил бы знакомства со всякой рванью,— выпрямившись, сказала Бесси.— Самые были бы тебе подходящие друзья.

— Что это за разговор для такого торжественного дня,— сказал Моллой.— Когда надо радоваться и веселиться.

— Дай-ка мне бутылку,— сказала Бесси. Моллой подвинул ей бутылку, и она налила им обоим.— Ты был такой муж, за которым нужен глаз да глаз.

— Ну, что это за разговор, Бесси.

— Мэр города Нью-Йорка. Избран одними женщинами.

— Ты придираешься, Бесси,— захныкал Моллой, утирая мокрый подбородок.— Несправедливая ты женщина. Винсент Моллой все двадцать шесть лет своей семейной жизни был тебе верен, свидетель бог.

— А рассказать тебе, что я знаю?— задирала его Бесси.

— Что ж, рассказывай,— сказал Моллой, храбро стукнув по столу кулаком.— Рассказывай все, что знаешь. Называй имена. Разоблачай факты. Я всем своим будущим пожертвовал ради жены. И вот награда. В день годовщины. О боже мой, боже мой.

— А скажи-ка, что у тебя было с Розой Боуэн,— начала Бесси,— и с миссис Слоон, и с женой Джона Галлагера — это еще в 1922 году.

Моллой весь вспыхнул, у него покраснел даже череп под редкими волосами.— Враки!— закричал он.— Прямо в лицо тебе скажу, что враки! Все это выдумали сплетницы, разные богомольные старушонки! Да!

— А с миссис Пиловски? Тоже ничего не было — с миссис Пиловски, в то лето, когда я была в Нью-Джерси?— Бесси дрожащей рукой поднесла стакан ко рту и опрокинула его.— Скажешь, нет?

— Вот я сижу здесь,— начал Моллой со слезами на глазах,— и чувствую, что люблю тебя все так же, как и двадцать шесть лет назад, сижу и пью с тобой самое лучшее виски, какое можно купить за деньги, а ты вдруг вздумала копать в этих сплетнях. Постыдилась бы, право, постыдилась бы.— С минуту он пил молча, потом заговорил необыкновенно веско, наклонившись над столом вперед и стуча кулаком для пущей убедительности.— Почему ж ты ничего не говорила в 1922 году? Почему ж ты молчала, когда приехала из Нью-Джерси, если заметила что-нибудь такое? Ну-ка, отвечай!— прогремел он.

— Из-за детей,— кротко сказала Бесси.— Из-за ни в чем неповинных малюток, которым ты отец.— Она всхлинула и утерла нос фартуком, висевшим на краю стола.

— Замолчи,— сказал Моллой.— Придержи язык. Слушай, когда муж говорит.

— Бедные деточки.— Вспомнив про детей, Бесси положила голову на стол и зарыдала.— Ангельские душеньки, и жили бок-о-бок с таким грешником, с таким развратником!

— Это ты про кого?— заорал Моллой, вскакивая с места, и жилы у него на шее вздулись и покраснели.— Я тебя спрашиваю, это ты про кого говоришь?

— Отец у них такой, что и в церковь-то не заглядывал с самой войны. Безбожник, нечестивец, погибший человек.

Моллой опорожнил бутылку и сел пошатываясь.— Ну, и ядовитая же ты баба. Ты всю мою жизнь загубила, так дай хоть последние годы прожить в покое.

— А какой пример для деточек? Чему ты их учишь?— причитала Бесси, раскачиваясь взад и вперед.— Смеялся над законами божескими и человеческими, внушал детям постыдные и греховные мысли...

— Скажи, какие? — вспыхнул Моллой.— Скажи, какие я мысли внушал моим детям? Назови хоть одну!

— А младшую дочку, самую любимую, довел до погибели...

— И в этом я виноват?— завопил Моллой.— И это ты на меня сваливаешь? Отвечай, да или нет?— Он встал, покачиваясь.

— Кэтрин, деточка моя, какой он тебе отец, он обманщик...

— Обманщик! Берегись, жена, я ведь не погляжу, что нынче годовщина...

— Милочка моя Кэтрин, самая ласковая, самая хорошенькая из всех дочерей. Мое утешенье на старости лет. И вышла замуж за протестанта!— Бесси раскачивалась взад и вперед, горько, неудержимо рыдая.

У Моллоя словно язык отнялся, он стоял, все пуще разгораясь гневом, и только губы у него судорожно дергались. Наконец он взял себя в руки и заговорил ледяным тоном:

— Так, по-твоему, я виноват, что она вышла за этого лютеранина? Говори прямо, старая пьяница, по-твоему, это я отдал ее за протестанта?

— Да!— крикнула Бесси.— И скажу! Смеялся и издевался над истинной верой, в церковь и носу не показывал, да еще снял в гостиной башмаки, когда священник к нам пришел...

— Ты это всерьез?— негромко спросил Моллой.— В самом деле так думаешь?

— Вот уж может сказать отцу спасибо наша Кэтрин, что на всю жизнь связалась с протестантом,— подняв голову, сказала Бесси.

Моллой потряс бутылку, проверяя, нет ли в ней виски, и хватил Бесси по голове. Кровь, смешанная с виски, потекла по лицу Бесси, она тихо качнулась раз, другой и беззвучно сползла на пол.

— Ну, вот,— довольным тоном сказал Моллой, садясь на место с разбитой бутылкой в руке и хладнокровно глядя на Бесси, которая лежала на полу, уютно свернувшись, а от ее головы уже расплывались темные струйки, словно пальцы от ладони.

Немного погодя Моллой встал и подошел к телефону.— Пришлите мне санитарную машину,— сказал он телефонистке, повесил трубку, опять сел к кухонному столу и уснул, положив на него голову.

Когда в комнату вошел санитарный врач, Моллой проснулся и с интересом наблюдал, как он перевязывает голову Бесси. Она была в сознании, но еще ничего не понимала и молча сидела на полу.

Врач перевязывал ее, а Моллой время от времени говорил соседям, столпившимся у дверей:— Бутылка свалилась ей на голову. Замечательная женщина. Только вот бутылка ей на голову свалилась.

Кончив возиться с перевязкой, молодой врач посмотрел на Бесси, потом — с сомнением — на Моллоя.

— Пожалуй, лучше взять ее в больницу,— сказал он шоферу.— Давайте, положим ее на носилки.

Шофер принялся было развертывать носилки, но Моллой широким жестом остановил его.— Ничего подобного, мой милый,— сказал он.— Ничего подобного. Мою жену не понесут на носилках из моего дома.

— Послушайте,— начал врач.

— Нет и нет, мой милый,— сказал Моллой.— Это же замечательная женщина. И ее не понесут из моего дома напоказ всем соседям. Бесси, Бесси!— позвал он,— вставай-ка на ноги.— Он ухватил ее подмышки, и она встала, еще ничего не соображая.— Вот это молодцом,— сказал Моллой.— В нашей семье все крепкий народ. Замечательная женщина. Берите ее, доктор.

Доктор покачал головой и, поддерживая Бесси под руки, повел ее вниз с третьего этажа.

Моллой стоял на верхней площадке и смотрел им вслед. Когда они скрылись из виду, он обратился к соседям:— Замечательная женщина. Держится молодцом. А ведь уже бабушка. Поверите ли, сегодня двадцать шестая годовщина ее свадьбы. И с характером. Во всем Бруклине не было девушки красивей двадцать шесть лет тому назад. Сегодня годовщина. Я бы всех вас пригласил выпить по этому случаю, да, кажется, бутылка разбилась. Да и много ли там, в квартале.

Он торжественно переступил порог и захлопнул дверь перед носом у соседей, потом уселся к кухонному столу, положил на него голову и уснул.

Ф. ШПИГЕЛЬ

Путь к Компьенскому лесу

В будущей истории второго тура империалистических войн и пролетарских революций эта глава — глава о разгроме Франции и крушении Третьей республики — будет всегда привлекать к себе самое пристальное внимание. Как могло случиться, что одна из ведущих капиталистических держав, раскинувшая свою империю по всему миру, победительница в первой империалистической войне, диктовавшая в Версале свою волю десяткам стран, гегемон послеверсальской Европы, оплетавший сетями союзов и дипломатических соглашений едва ли не весь континент, страна, создавшая могучую промышленность и хранившая в подвалах своего Банка немалую долю мирового золотого запаса, держава, чей военно-морской флот соперничал с первыми флотами мира, а армия была овеяна легендами Вердена и Марны, — как могло случиться, что эта держава развалилась под первыми же ударами неприятельских войск и в течение нескольких недель была доведена до Компьена.

Исчерпывающий ответ на этот вопрос будет дан тогда, когда все архивы дипломатических и военных канцелярий Франции станут достоянием французского народа и его историков. Но и сегодня уже совершенно ясны вехи того пути, который привел Третью республику в Компьенский лес. И если бы (хотеть дать ответ в одной фразе, то и сейчас с не подлежащей сомнению достоверностью можно было бы сказать: Франция пала потому, что правящие ее круги ставили свои классовые интересы выше национальных. Для финансовой олигархии, правящей страной через Французский банк и послушных ему министров, подлинным врагом был не тот, кто угрожал целостности и независимости страны, а тот, кто мог угрожать классовым привилегиям пресловутых «200 семейств», то есть французский народ и, в первую очередь, его славный рабочий класс.

Опережая будущих историков, нетерпеливые мемуаристы уже и сейчас создали целую литературу, посвященную разгрому Франции. Отдельные произведения этой литературы весьма неравноценны по политической значимости, по объективности, по умению аналитически подойти к событиям. Социальные и политические страсти бушуют на страницах этих трудов, зачастую заставляя их авторов искать правых и виноватых совсем не там, где

их легче всего обнаружить. Свежесть впечатлений и острота событий нередко приводят к абберациям и к искажению перспектив. Значительную часть контингента мемуаристов, да и просто авторов, стремящихся дать ответ все на тот же вопрос, составляют военные специалисты, которые пытаются разрешить задачу, поставленную историей, как задачу из учебника арифметики. Отказываясь даже от умножения и деления, они полагают, что им достаточно оперировать сложением и вычитанием.

«125 германским дивизиям, — пишет, например, один из таких «историков» от математики, официозный стратег из агентства Гавас, — противостояли 100 союзных дивизий (90 французских и 10 английских), в том числе одна треть мало пригодных для войны. Некоторые дивизии были совершенно не приспособлены к маневрированию, так как французская армия насчитывала 13 «статических» дивизий в укрепленной зоне (то есть гарнизоны линии Мажино. — Ф. Ш.) и 16 дивизий, укомплектованных старшими возрастными... Однако наиболее существенная диспропорция мощи обеих армий заключалась в их вооружении. В составе германских войск насчитывалось 10 бронетанковых дивизий, с 500 танков каждая. Франция же имела 3 легких механизированных и 3 бронированных дивизии по 150 танков, созданных лишь за несколько недель до того. Всего у Германии было 7500 танков против 2000 французских...»

Несть числа подобным же подсчетам относительных размеров авиации, мощности авиационных моторов, скоростей истребителей, количества зенитных и противотанковых пушек, грузовиков и т. п. Такие подсчеты закономерны. С точки зрения военной техники отнюдь не безразлично, разумеется, располагает ли сотнями или тысячами боевых самолетов первой линии. Тем не менее, люди, пытающиеся разрешить проблему с помощью такой бухгалтерии, напоминают врача, который стал бы лечить сифилитические язвы, усердно посыпая их тончайшей пудрой Коти: не раскрыв тайны болезни, они сосредоточивают внимание на ее внешних симптомах.

Другие авторы, отодвигая на задний план материальную часть, сосредоточивают свое внимание на причинах порядка стратегического. Вот, мол, заявляет один, — если бы тотчас после окончания мобилизации французские войска рину-

лись на прорыв линии Зигфрида, то германская армия, занятая еще операциями в Польше, не закончившая еще развертывания на Западе и много более слабая в сентябре 1939 года, нежели в июне 1940 года, была бы наверно посрамлена гением генерала Гамелена. Нет, возражают им. Этот момент был непригоден для наступления. Прямая атака линии Зигфрида стоила бы такого количества жертв, что обескровленная Франция даже не смогла бы воспользоваться плодами своей победы. Гораздо выгоднее было (и тут стратегия уже помножается на дипломатию) предвосхитить германский марш на Бельгию и обойти линию Зигфрида, как немцы обошли линию Мажино. Что вы! — восклицают, вмешиваясь в спор, все новые историки-счетоводы, — в этом случае мы имели бы против себя сверх германской армии еще 25 прекрасно вооруженных и обученных бельгийских дивизий. Нет, даже и наше движение к германобельгийской границе было роковой ошибкой: мы должны были ждать врага на линии Вейгана, то есть за той цепью разрозненных укреплений, которая наспех сооружалась от Монмеди до побережья Ла-Манша и которую разве только злые языки могли окрестить именем очередного кандидата в спасители Франции...

Талантливый Андрэ Моруа, блистательный биограф Дизраэли и Байрона, в своей книжке «Как Франция проиграла войну» идет несколько дальше официозных любителей арифметики и крепких задним умом стратегов. Моруа тесно был связан с высшими английскими кругами и эту бесславную войну провел даже в качестве «официального французского наблюдателя» при главной квартире британского экспедиционного корпуса во Франции. Большие связи были у него, разумеется, не только в Лондоне, но и в Париже. Перед ним легко распахивались двери министерских кабинетов, и его положение признанного «мэтра» открывало ему доступ в политическую кухню Третьей республики. Поэтому Моруа не ограничивается описанием ошибок, сделанных французскими генералами, и констатацией того трагического факта, что в 1937 году продукция французской авиационной промышленности упала до 38 самолетов в месяц. Резюмируя, Моруа заявляет:

«Безусловно, не роль отдельных личностей является главной причиной поражения. Как мы уже показали, этими причинами были: недостаточная подготовка союзников в военном, дипломатическом и военно-хозяйственном отношениях. Но споры министров и отсутствие вождя, который мог бы объединить нацию, отняли у армии ее последние шансы».

Очень характерна эта тоска о «вожде» для Моруа, который видит главные причины развала французской военной промышленности не в бездарности и преступной беспечности занятых интригами министров, не в волчьих аппетитах Шнейдеров и де Ванделей, а, как он сам формулирует, — в «сумасбродных требованиях профсоюзов».

До тонкости проникшись духом викторианской Англии, когда он писал своего Дизраэли, — он оказался неспособным проанализировать положение современной ему его родной Франции. Вместе со своим классом он искал «вождя», «нового Клемансо», который вытащил бы Францию из болота. Вместе со своим классом он рыдал в треуголку Наполеона Эдуарда Даладье, а потом готовился объявить «тигром» Поля Рейно. Увы! Даладье оказался не только не Наполеоном, но даже не важным Фуше, а кандидат в «тигры», по свидетельству самого Моруа, был блудлив, как кот, и на этой почве нажил себе непримиримого врага в лице неудавшегося Наполеона.

Мемуары Андрэ Моруа имеют, конечно, свою ценность. Не только литературно-биографическую, но и историко-политическую. Все же это документ эпохи, свидетельство человека, много видевшего, о многом рассказавшего, хотя еще больше не понявшего, или не хотевшего понять. Не хотевшего, потому что понять — это значит вынести приговор всему тому и всем тем, от кого неотделим сам Моруа.

Но что сказать о его блистательном собрате, о рафинированном, эстетствующем «бессмертном», о великолепном председателе Пенклуба, о Жюле Ромэне? Разумеется, и он — ему и книги в руки — оказался в числе торопливых мемуаристов, которые стремятся воссоздать картину и найти причины крушения. Его «Семь тайн Европы» (какая находка для заголовка детективного романа!) обошли семижды семь журналов и еще большее количество газет нескольких континентов. Издатель наперебой раскупали «тайны» Жюль Ромэна поштучно и комплектом. Успех был головокружителен. И, однако, если бы мы не знали с абсолютной достоверностью, что авторство «Семи тайн» не подлежит ни малейшему сомнению, мы легко могли бы предположить, что это не мемуары самого Ромэна, а злобный памфлет на него.

Главнейшей из «тайн», которые открывает Роман своим читателям, следует признать то, что, как он сам утверждает, он принимал самое активное, самое горячее участие во всех наиболее грязных делах господ Даладье, Рейно и даже Бонизэ, которого он с поразительным бесстыдством титурует своим «старым другом». Оказывается — вот она сенсационная тайна Европы и Ромэна — Францией правили не министры, не «200 семейств», не даже 15 членов правления Французского банка, Францией правил... сам Жюль Ромэн. Таков, по крайней мере, весь тон его замечательного автопамфлета. Послушайте сами.

Страшная послевоенная осень 1939 года. Позади остался знаменитый марсельский съезд радикал-социалистов, на котором Даладье, выступив с резкой антикоммунистической речью, фактически взорвал Народный фронт. Ободренная этим реакция повела бешеное наступление на те немногие экономические и социальные завоевания трудящихся, кото-

рых успел добиться Народный фронт. Рабочий класс готовился к борьбе, мобилизовал свои силы, вступал в открытый бой против реакции во внутренней политике, против капитулянтского «умиротворения» — во внешней. На 30 ноября была назначена всеобщая стачка. Но... властитель и добрый гений Франции, то есть Жюль Ромэн, бдит.

«Я написал, — повествует он в своих «тайнах», — воззвание к нации, вложив в него всю свою душу. 23 ноября я сообщил Даладьё (тогдашнему премьеру. — *Ф. Ш.*), не показав ему текста, что передам воззвание по радио 24 ноября в 8.30 вечера. Он мне ответил: «Я буду обедать в британском посольстве с Невилем Чемберленом. Но не беспокойтесь, мы будем слушать».

Выступление Жюля Ромэна, несомненно, способствовало спокойному пищеварению обоих премьеров. И в самом деле, сколь приятно им было, наслаждаясь послеобеденной сигарой, слушать это произведение, которое, по утверждению самого автора, —

«Укрепило позицию Даладьё в стране и в значительной мере явилось причиной, определившей поражение всеобщей забастовки 30 ноября».

«Поражение» это выразилось в том, что по всей Франции бастовало свыше миллиона рабочих и служащих. И это несмотря на то, что Даладьё объявил железнодорожников мобилизованными и грозил им за стачку военным судом, несмотря на то, что всякий, не вышедший 30 ноября на работу государственный служащий подлежал увольнению, несмотря на то, что жандармерия и полиция были приведены в боевую готовность и блокировали все крупнейшие предприятия. Вспоминая «успех» своего воззвания, Ромэн попросту лжет. Но ведь дело не в том, насколько его мемуары соответствуют исторической истине. В данном случае гораздо интереснее то, какую роль почтенный мемуарист отводит себе в этих событиях. И вот мы узнаем, что нимфа Эгерия в штанах председателя Пенклуба не ограничилась радиовыступлением, Ромэн не верит в твердость неудавшегося Наполеона. Он вспоминает, что в феврале 1934 года тот же Даладьё, и тогда бывший премьером, проявил редкостную трусость перед бандами «королевских молодчиков», деларокковских апашей и прочей реакционной чернью, осмелившейся впервые выйти на улицу. Ромэн боится, что и теперь Даладьё дрогнет в последнюю минуту. Накануне стачки Ромэн пишет премьеру письмо, столь замечательное по тону и содержанию, что его необходимо здесь привести целиком:

«Проявленная вами энергия поразительна, — снисходительно похлопывает он Даладьё по плечу. — Все принятые вами меры превосходны. А сейчас сохраните решимость и не уступайте ни одного пункта. Думаю, что наиболее тяжелый момент наступит завтра в 11 часов утра. Я хочу быть возле вас в этот час, дабы вы не чувствовали себя одиноким. Не затруд-

ните себя посылкой ответа. В 11 часов я буду у входа в ваш кабинет».

Эффект оказался поразительным:

«На следующий день ровно в 11 часов я вошел в кабинет Даладьё. Он встал. Лицо его дышало спокойствием. Он сказал: «Я сохранил решимость, Жюль Ромэн. Все закончилось, и я победил».

Так радиовыступление и маленькое дружеское письмо сохранили премьеру решимость, Франции — внутренний мир. Биографии мэтра — этот непревзойденный анекдот...

Но наивно было бы думать, что государственный ум такого калибра ограничивал свою деятельность тем, что опекал премьера и руководил им только в области внутренней политики. «Семь тайн Европы» показывают нам своего автора, так сказать, в мировом масштабе. И именно эта часть мемуаров представляет наибольший интерес, так как именно в этой связи мы получаем, наконец, ответ на вопрос — почему же Франция проиграла войну? Ответ прост и ясен: своевременно не послушались Ромэна, и... все погибло.

Вот как он сам рассказывает об этом эпизоде, погубившем Францию:

«Прошло шесть недель с начала войны. Я поехал в Брюссель с миссией, которая мне казалась весьма важной. Теперь, оценивая характер этой миссии в ретроспекции, я думаю, что она была важнее всего другого. Если бы Даладьё тотчас же воспользовался достигнутыми мною результатами, нападение на Бельгию и Голландию в мае 1940 года, вероятно (скромность, как видите, не покидает Ромэна! — *Ф. Ш.*), не приняло бы столь катастрофических форм для Франции и для Западной Европы».

Один только раз этот упрямец Даладьё вышел из повиновения Ромэна и, — подумайте, — что из этого получилось! В Брюсселе —

«Я не давал исчерпывающей информации французскому послу, ибо Париж предоставил мне полную свободу действовать по собственному усмотрению. Но послу было известно, что в случае надобности он должен полностью находиться в моем распоряжении».

Проведя массово-разъяснительную работу среди бельгийских министров и представителей королевского дома, этот чудо-дипломат возвращается в Париж.

«В пути я подготовил краткую речь для переговоров с Даладьё. Моей целью было добиться у него решения в течение пяти минут. Я весь еще был охвачен впечатлением энергичной деятельности, развернутой во время моей шестидневной борьбы с бельгийским правительством».

А далее следует потрясающая по своему драматизму сцена, передать которую в изложении или в купюрах было бы преступлением перед историей. Вот она:

«Меня пропустили в кабинет Даладьё. Я даже не имел времени спросить, как он себя чувствует. Однако я заметил красный цвет его лица, потускневшие глаза.

— Как вам известно, я только-что прибыл из Брюсселя. После непрерывной

интенсивной работы в течение шести дней, я хочу информировать вас о результатах, которые, мне кажется, имеют большое значение и которых мы с трудом осмелились бы ожидать неделю тому назад.

Я изложил их в нескольких фразах.

— Но теперь нам надо безотлагательно закрепить эти результаты. Таков план, относительно которого мы договорились со Спааком. Вы мне дадите собственноручное письмо для короля.

— Для короля? — он недоверчиво посмотрел на меня.

— Да. Кроме того, мы со Спааком договорились и насчет содержания этого письма. Мы получили согласие короля. Обстановка подготовлена. Я возвращусь в Брюссель сегодня вечером. Завтра король предоставит мне аудиенцию, и я передам ему письмо. Он даст ответ, который я привезу вам. И это все. Отныне его слово будет твердым.

Даладье возражал. Я удвоил усилия, стараясь его убедить, и заявил:

— Я во что бы то ни стало должен возвратиться сегодня вечером с письмом.

Даладье ответил:

— Сегодня вечером? Ни в коем случае. Я должен работать с Гамеленом вплоть до глубокой ночи.

— Но, с вашего позволения, я перейду в другую комнату, набросаю черновик письма, ибо мы уже пришли к окончательному соглашению насчет деталей. Вам не понадобится более пяти минут, чтобы переписать его своей рукой и подписать.

Даладье покачал головой.

— Нет, и прежде всего потому, что я не могу писать бельгийскому королю.

— Почему же?

— Потому что я не глава государства. Написать это письмо может только Лебрен.

Я не возвратился в Брюссель в течение последующих трех месяцев. Король так и не получил письма от Даладье.

Ну, а что произошло дальше — известно всем... Ответ Жюлья Ромэна ясен: катастрофа произошла потому, что короли, премьеры, министры не до конца были послушны директивам нашего тайнотворца и не всегда следовали его мудрым указаниям. Послушался Даладье Ромэна в сентябре 1938 года, и враг (внутренний, конечно) был посрамлен. Через год Даладье ослушался, — и Бельгия, а вслед за нею и Франция капитулировали перед врагом, на этот раз — внешним.

Эта убогая фанфаронада, этот детективный репортаж саморазоблачившегося агента гг. Даладье, Рейно, Бонне заставляют со стыдом вспоминать о том времени, когда имя Жюлья Ромэна произносилось с известным уважением к таланту писателя...

Литература, посвященная попыткам объяснить и, во всяком случае, описать путь Франции к Комьенскому лесу, повторяем, обширна, разнообразна, неравноценна. Нет надобности останавливаться на таких, скажем, ее опусах, как произведение Монтины. С грустью надо пройти мимо бег-

лых записок старого Лиона Фейхтвангера, который, претерпев обиды от властей и французских чиновников всех калибров, забыл о прекрасном французском народе. Не найти ответа на основной вопрос и в таких трудах, как, скажем, труда американца Армстронга, составившего педантично разработанный «календарь событий» не то что по дням, а по часам и чуть ли не по минутам. Споры нет, каждый из этих документов, как документ эпохи или как человеческий документ, будет иметь свою ценность для историков, которые сумеют подойти к ним достаточно критически. Но не в них можно найти ответ на вопрос — кто же привел и что привело Францию к Комьенскому лесу?

Сознательно оставляя в стороне блестящую брошюру тов. Андрэ Марти «Кто предал Францию?» и другие статьи и документы такого порядка, мы, — ставя своей задачей рассмотрение написанного только по ту сторону баррикад, — можем сказать, что наиболее правдивый и ясный ответ на поставленный в начале нашей статьи вопрос дает книга Андрэ Симона «J'accuse!» Бесспорно, книга эта, выпущенная в конце 1940 года нью-йоркским издательством The Dial Press, стоит особняком среди всей литературы, о которой мы говорили выше. Сокращенный текст этой книги и публикуется в настоящем номере.

Андрэ Симон — псевдоним. Автор не пожелал подписать свой обвинительный акт подлинным своим именем. Андрэ Симон очень далек от коммунизма и не всегда умеет до конца понять во всей глубине смысл того или иного политического факта, явления, события. Но он много знал и видел. Его повествование звучит точностью протокола, и он нигде не бахвалится тем, что он поучал министров.

По сути дела, книга Андрэ Симона — это политическая история Третьей республики за последние семь лет, предшествовавшие ее гибели.

Особый интерес представляет портретная галерея, развернутая Синомом.

В блестящей главе «Правители Франции» Андрэ Симон с удивительной ясностью и убедительностью показывает весь этот страшный механизм, который ставил великую страну под власть пресловутых «200 семейств». Здесь разоблачающая сила и документальная насыщенность книги достигают своего апогея. Любому читателю станет ясно, какими методами утверждала и осуществляла против народа господство «новой Бастилии» — Французского банка — та самая буржуазия, которая за 150 лет до того вместе с народом низвергла старую Бастилию, Бастилию феодально-монархическую. В этой главе Симон выходит за рамки политического летописца, и его объективность, быть может даже против его воли, обращает его «J'accuse!» не только против непосредственных виновников крушения Третьей республики, но и против всего того социально-политического строя, который с роковой неизбежностью вел ее по пути к Комьенскому лесу.

Я О Б В И Н Я Ю!

ПРАВДА О ТЕХ, КТО ПРЕДАЛ ФРАНЦИЮ*

КАПИТУЛЯЦИЯ

16 июня 1940 года...

Почти до самого вечера я не знал, что это мое последнее воскресенье во Франции. Такие дни не забываются: все, кто пережил роковые часы в Бордо, навсегда сохранят их в своей памяти.

Я приехал в этот красивый старый портовый город накануне. Отныне я был журналистом без газеты. 11 июня потрепанный старый «ситроен» вывез нас четверых из Парижа. Наша маленькая машина ползла со скоростью десяти миль в час в сплошном потоке автомобилей, автобусов, грузовиков, велосипедов и повозок. Мы уже не обращали внимания на бесконечные остановки. Встревоженные деревенские жители спрашивали нас: «что же будет?» Мы ничего не могли им ответить. Мы не знали, где были немцы и где была французская армия, да и существовала ли она еще?

Подобно сорока миллионам других французов, мы еще не осмыслили подлинного значения того, что произошло. Мы не были уверены, будет ли наша газета выходить где-нибудь в провинции. Мы знали лишь одно, — что правительство Поля Рейно переехало в Тур, прелестный средневековый город на берегу Луары. И мы направились туда же.!

Мы добрались до Тура через шестнадцать часов. Улицы новой столицы заполнились беженцами. В гостиницах немислимо было получить комнату. Почти невозможно было достать еду. Ночевать пришлось в машине.

Когда я приехал в Тур, наступление реакционных элементов в самом правительстве и вне его было в полном разгаре. Один из министров, которого я встретил у городской ратуши, сказал мне, что генерал Максим Вейган, новый главнокомандующий, решительно заявил о бес-

полезности сопротивления натиску германских войск. Его предложение заключить перемирие поддерживают два заместителя премьера — престарелый маршал Анри-Филипп Петэн и хитрый Камилл Шотан. «Сейчас, — сказал мне министр, — судьба Франции висит на волоске».

Он рассказал мне следующее: во время заседания кабинета министров Вейган внезапно встал, вышел из комнаты и через несколько минут вернулся в страшном волнении, с криком: «Коммунисты завладели Парижем! По всему городу мятежи! Морис Торез в Елисейском дворце!» Вейган потребовал, чтобы немцам было немедленно послано предложение о перемирии. «Мы не можем отдать страну коммунистам, это наш долг перед Францией!»

По словам моего собеседника, сообщение Вейгана произвело сильное впечатление на Совет министров. Но Жорж Мандель, министр внутренних дел, тут же подошел к телефону и вызвал парижского префекта. Ему сообщили, что в Париже все спокойно, нет ни мятежей, ни уличных боев, ни власти коммунистов. Маневр Вейгана сорвался.

— Надолго ли? — с унынием спросил министр.

Да, надолго ли? Из отелей и ресторанов, битком набитых политическими деятелями, волной набегали слухи. Я обошел все кафе на главной улице города. В течение одного только часа я услышал: что немцы будут в Туре сегодня вечером; что англичане за спиной французов просили у немцев перемирия; что Уинстон Черчилль покончил с собой; что его примеру последовал Поль Рейно; что Париж в огне; что через несколько часов должно вспыхнуть коммунистическое восстание; что оно уже началось. И, наконец, последний, но далеко немаловажный слух, что якобы Гитлер предложил Петэну — «как солдат солдату» — почетные условия мира. В одном из кафе смуглый, черноволосый Пьер Лаваль, бывший премьер, беседовал с несколькими своими сторонниками. Он утверждал, что давно предвидел все это. «Я всегда стоял за соглашение с Герма-

* André Simon. J'accuse! The inside story of the men who betrayed the French nation. The Dial Press. New York, 1940, 354 p. Карикатуры из французской предвоенной прессы.

нией и Италией, — говорил он. — Эта безумная пробританская политика и авансы, которые мы делали Советской России, погубили Францию. Если бы послушались моего совета, — уверял он своих слушателей, — Франция теперь была бы счастливой страной, наслаждающейся миром.

Его перебил пожилой человек в сером костюме. «Господин Лаваль?» — спросил он и, прежде чем Лаваль успел ответить, дал ему пощечину. Воспользовавшись переполохом, старик скрылся в толпе. Впоследствии я узнал, что его сын, летчик, погиб в бою.

Такова была атмосфера в Туре, когда прибыл Уинстон Черчилль в сопровождении лорда Галифакса и лорда Бивербрука. Они направились в городскую ратушу, где их ожидали французские министры.

Это была драматическая встреча. В любой момент чаша весов могла склониться в пользу капитуляции Франции. Обе стороны знали, что, быть может, в последний раз разговаривают как союзники. Они знали, что кампания во Франции проиграна. Они уже не в силах были остановить ход событий на континенте, — они обсуждали лишь вопрос о том, будет ли правительство Рейно продолжать вести войну на территории огромной французской империи с ее семидесятиmillionным населением; может ли быть эвакуирована часть французской армии; и, наконец, жизненно важный для англичан вопрос — будет ли французский флот продолжать сражаться на стороне Англии?

Получить в эти дни точную информацию было особенно трудно. Я слышал различные версии об этих знаменательных переговорах. Один рассказывал о бурной сцене между Вейганом и Черчиллем. Другой описывал маневры Шогана, имевшие целью склонить французских министров к перемирию с немцами. Третий утверждал, что английские деятели не проявили понимания положения Франции и заботились только об интересах Великобритании. Но все версии сходились в главном: премьер Рейно просил Англию освободить Францию от ее обязательства не заключать сепаратного перемирия или мира. Черчилль отверг просьбу Франции, но сделал это без обычно присущей ему твердости. Он произвел на французов впечатление очень озабоченного человека. В конце концов французские и английские министры сошлись на том, что Рейно еще раз обратится за помощью к Соединенным Штатам.

Когда Рейно вышел после заседания кабинета, его обступили журналисты. «Будете ли вы продолжать войну?» — спросили они. «Разумеется», — поспешно, как-то слишком поспешно ответил премьер. Я как сейчас слышу звук его голоса.

Затем произошло нечто странное: внезапно был опубликован текст призыва о помощи, с которым Рейно несколько дней тому назад обратился к президенту Рузвельту. Рейно писал в этом обращении, что, если потребуется, Франция будет продолжать сражаться в Африке. «Мы напечатали это обращение, — объяснил нам один из высших чиновников министерства информации, — чтобы усилить давление на Соединенные Штаты».

— А что, если ответ будет неудовлетворительным? — спросил один из моих коллег-журналистов. — Ведь это может плохо подействовать на дух армии.

Чиновник только пожал плечами.

Творилось нечто непонятное. Нельзя было установить, кто ответственен за опубликование обращения — премьер Рейно или министр информации Жан Пруво, сторонник перемирия. Распространялись все новые слухи. Наши английские коллеги говорили нам, что их посольство весьма мрачно смотрит на создавшееся положение. Рассказывали, что у Черчилля после совещания не осталось сомнения в том, что капитуляция Франции — вопрос ближайших дней.

Мучительная неизвестность и нервное напряжение длились весь следующий день. И вот мы снова в пути. Теперь мы двигались в Бордо, где уже однажды, в 1914 году, французское правительство искало убежища от германских войск. Но в 1914 году немцам не удалось дойти до Парижа. Сейчас они вступали в столицу Франции.

Когда в Тур пришло известие, что Париж пал, никто из нас не произнес ни слова. Мы сели в машину и двинулись в путь. Призрак побежденного Парижа неотступно следовал за нами. Париж — прекрасный, жизнерадостный город мирного времени; Париж — осыпаемый снарядами, печальная траурная столица дней войны — обезображенный символ воли народа, его стремления к свободе. Теперь он был в руках врага.

В Бордо слухов было еще больше. С каждым часом возрастало влияние группы Петэна — Вейгана...

Мэр города Бордо, Адриен Марке, «неосоциалист», проповедовал теорию, что

«новая Франция» должна сотрудничать с Германией, дабы покончить с коммунизмом, демократией и, разумеется, с евреями. Его друг, Пьер Лаваль, окруженный густой толпой политиканов, твердил, как попугай, одно и то же: «Я знаю Муссолини, как свои пять пальцев. Он не даст Германии слишком сурово обойтись с Францией».

Последователи Петэна усердно трубили по всему городу, что престарелый маршал — единственный человек, который может добиться почетных условий мира. Он, «герой Вердена», на развалинах поверженной Франции построит новую Францию — по образу и подобию католической Испании Франко.

Приспешники Петэна, Марке и Лаваль, сходились на том, что в поражении Франции виновны: Народный фронт, Советская Россия и Англия.

Британский консул посоветовал английским журналистам готовиться к отъезду. Опубликовано было еще одно обращение Рейно к Соединенным Штатам. В нем проскальзывали чрезвычайно пессимистические нотки. Премьер просил «самолетов и самолетов» и тут же добавлял: «Существование Франции поставлено на карту. Наша дальнейшая борьба, с каждым днем все более мучительная, не имеет смысла, если будущее не сулит нам вдали никакой надежды на общую победу».

Что это было — предвестие капитуляции? Два-три министра усиленно отрицали это. «Завтра, — заявил один из них, — будет решено, куда переедет правительство, чтобы продолжать вести войну».

Это завтра было то самое воскресенье, о котором я уже говорил. Мое последнее воскресенье во Франции.

Почти никто не спал в ту ночь. Все знали, что ближайшие 24 часа — решающие.

Совет министров заседал три раза. Главным предметом споров был ответ Рузвельта. На первом заседании сторонники сопротивления цеплялись за одну фразу его ответа: «с каждой неделей все больше американского снаряжения будет направляться союзникам». Петэновская группа, от которой на этом заседании выступал главным образом Шотан, подчеркивала, что Рузвельт заявил одновременно, что не берет на себя никаких военных обязательств. По окончании заседания стало известно, что тринадцать министров все еще стояли за продолжение войны, одиннадцать держались противоположного мнения.

На дневном заседании Совета министров обсуждалось английское предложение создать единое франко-британское правительство с объединенным франко-британским парламентом. К концу заседания большинство кабинета попрежнему высказывалось за продолжение войны. Голоса снова разделились на тринадцать — за и одиннадцать — против. Один из министров сказал мне, что решено перенести Совет министров в Перпиньян — город на франко-испанской границе. Оттуда было легко перебраться воздушным путем в североафриканские владения Франции.

Что произошло в течение дальнейших двух часов, до сих пор остается тайной. Известно лишь, что за это время состоялось несколько бесед большого значения. Рейно заперся с генералом Вейганом и графиней Элен де Порт, своей подругой. Известно было, что она стоит за капитуляцию.

Министр авиации Лоран-Эйнак, голосовавший за продолжение войны, имел продолжительный разговор с маршалом Петэном.

Камилл Шотан старался склонить на свою сторону министра снабжения Анри Кэйля. Оба они виделись с президентом Лебреном.

Третье заседание кабинета началось около 10 часов вечера. Длилось оно недолго. Заместитель премьера Шотан, не теряя времени, потребовал немедленного обращения к немцам с просьбой о перемирии. «Если условия окажутся неприемлемыми, — рассуждал Шотан, — французский народ с тем большей энергией будет продолжать войну». Ему возражал Жорж Мандель: «Как только Франция заговорит о перемирии, ни одного французского солдата нельзя будет снова заставить сражаться».

Шарль Помарэ, министр труда, поддерживал Шотана своим резким выступлением против Великобритании. Ему вторил Ибарнегарэ, весьма прозрачно намекавший на еврейское происхождение Манделя и этим объяснявший его воинственное настроение.

Маршал Петэн и генерал Вейган снова извлекли на свет старый призрак коммунистической опасности. Президент Лебрен был на их стороне.

Рейно выступил за принятие английского предложения. Но некоторым министрам показалось, что он говорит без внутреннего убеждения в своей правоте. Тогда Шотан повторил свое предложение. И вот

тут-то произошел перелом. Два министра, Лоран-Эйнак и Кэйль, до сих пор стоявшие за сопротивление, перешли на сторону Шотана. Соотношение сил изменилось. Министр-социалист, входивший в кабинет, тут же поспешно переметнулся на сторону петэновского большинства. Вопрос был поставлен на голосование. Четырнадцать голосов было подано за капитуляцию, десять — против.

Кабинет Рейно перестал существовать. Восьмидесятипятилетний старец Петэн сделался премьер-министром Франции.

Мы выслушали это решение в полном молчании.

Анри-Филипп Петэн родился в той части Франции, которая дает людей упрямых и физически выносливых. Образование он получил в Сен-Сире, учебном заведении, готовящем высший состав французского офицерства. К началу войны 1914 года Петэн, пятидесятидевятилетний полковник, командовал пехотной бригадой. В картотеке личного состава армии на его карточке имелась пометка: «Не продвигать дальше чина бригадного генерала». Он не блистал никакими талантами, которые могли бы привлечь к нему внимание высшего командования.

Его считали, как и Гинденбурга в Германии до 1914 года, ничем не выдающимся, обыкновенным обер-офицером французской армии. Но после окончания мировой войны молва на долгие годы связала его имя с защитой Вердена. Правда, историк и до сих пор еще не установили, в чем именно выразилась роль Петэна как «героя Вердена».

Суровый генерал с ясными голубыми глазами оказался в 1917 году на посту главнокомандующего французской армии. Еще в «Эколь де герр»¹ он проповедовал «непрерывное наступление, проводимое без всяких колебаний». И вот ему представилась возможность на практике и в гигантских масштабах осуществить свою теорию. Петэн несет ответственность за ряд неудачных атак, когда крупные соединения французской пехоты были брошены, без достаточного артиллерийского прикрытия, прямо на пулеметы кайзера.

Эти атаки, стоившие множества жизней, а также общая несостоятельность высшего

боевого командования довели французскую армию до отчаяния. Вспыхнули бунты. Петэн их подавил. По его приказу в восставших полках был расстрелян каждый десятый человек. С тех пор, — по крайней мере для одной части французов, — его имя стало символом скорее этих трагических событий, чем обороны Вердена.

По окончании войны Петэн вышел в отставку.

Он опять появился на сцене в 1925 году, когда на него возложили подавление восстания риффов в Марокко. В эту кампанию одним из офицеров его штаба был полковник де ла Рок.

Маршал и полковник снова встретились через несколько лет, на этот раз в Париже. Теперь де ла Рок был уже вожаком «Боевых крестов», организации бывших фронтовиков, превратившейся в фашистскую лигу. Имя маршала Петэна, принадлежавшего к лагерю реакции, было пушено в ход для поднятия престижа «Боевых крестов».

Петэн стал их героем. После февральского путча 1934 года, когда он занял пост военного министра в кабинете Думерга, он помог закрепить дружбу между «Боевыми крестами» и высшим военным командованием.

Именно тогда он сблизился с людьми, которым была предоставлена руководящая роль в правительстве, сформированном Петэном теперь, после поражения Франции. То были Пьер Лаваль, Адриен Марке, Франсуа Пьетри и Анри Лемэри.

Петэн — верующий католик. Мышление его ограничено узкими рамками воинского устава. С юношеских лет, еще обучаясь в Сен-Сире, он был сторонником монархии.

Страх перед коммунизмом заставил его вступить на путь, по которому шли уже многие высокопоставленные политические деятели Франции.

Когда в Испании появился генерал Франко, маршал Петэн стал одним из влиятельнейших его защитников в французских правительственных кругах. Франко был прилежным учеником Петэна в «Эколь милитер»¹. Вместе с Петэном Франко участвовал в войне с риффами.

Теперь им довелось действовать совместно против Франции. Петэн был первым французским послом в Испании Франко. Однажды, когда он раздавал хлеб голод-

¹ Высшее военное учебное заведение, соответствующее Академии генерального штаба.

¹ Военное учебное заведение.

ным на улицах Бургоса, толпа фалангистов приветствовала его криками: «Долой Францию! Да здравствует Петэн!»

Таков был человек, которому Поль Рейно в мае 1940 года, после прорыва немцами французского фронта у Седана, предоставил пост заместителя председателя Совета министров. Вместе с Петэном в кабинет Рейно вошли и другие министры, «боявшиеся поражения Германии больше, чем ее победы». Троянский конь очутился внутри самого правительства.

Как только Петэн стал премьер-министром, он дважды вызывал из Бордо по телефону Мадрид. Один раз он говорил с испанским министром иностранных дел, полковником Хуаном Бейгбедером, другой раз с германским послом фон Шторером. Таким образом, в первые же 24 часа после прихода Петэна к власти, в Германии стало известно, что война за Францию прекращена.

В эти же первые сутки петэновского правления был арестован Жорж Мандель. В одном из кафе в Бордо, где он сидел с знакомыми — генералом и дамой, к нему подошел офицер со словами: «На меня возложена прискорбная обязанность арестовать вас». Через несколько часов Мандель был освобожден. Когда Петэн, вызвавший его к себе, стал извиняться перед ним, Мандель отказался пожать протянутую руку маршала.

Петэн послал своих эмиссаров к германскому командованию за условиями перемирия.

22 июня Третья республика была официально похоронена в старом вагоне в Компьенском лесу.

Я покинул Бордо через два дня после прихода Петэна к власти. Пароход медленно рассекал волны. В голове у меня, как и у многих других, сверлил вопрос: что же стало с Францией и как это могло произойти?

Я непоколебимо верю в народ Франции. Все, что было совершено до войны, во время и после нее, совершено было без его ведома. Правители держали французский народ во мраке неведения, они имели все основания бояться света. Народ предали люди, для которых предательство — вторая натура. Он был принесен в жертву интересам небольшой кучки людей, заботившихся лишь о том, как бы сохранить свои привилегии и свою власть. Но я уверен, что час расплаты придет.

Автор указывает, что для понимания истинных причин поражения Франции необходимо обратиться к истории последних лет. Симон начинает изложение этой истории с момента, когда в Германии пришли к власти национал-социалисты.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ КАРУСЕЛЬ

В день 30 января 1933 года, когда Адольф Гитлер стал канцлером Германской империи, Франция не имела правительства: за двое суток до того подал в отставку 91-й министерский кабинет Третьей Французской республики, возглавляемый Жозефом Поль-Бонкурром. Пытаясь преодолеть бюджетные затруднения, премьер внес в палату депутатов проект снижения окладов служащих государственного аппарата на 5—6 процентов. После бурных дебатов, длившихся почти всю ночь, на рассвете кабинет Поль-Бонкура постигла судьба многих его предшественников — он был «гильотинирован».

В этот холодный зимний день парижане занимались своими обычными делами. В час «аперитива» модные кафе на бульварах были полны народа; шум разговоров, споры. Главной темой, заслонявшей все остальные, были «дела». Времена были тяжелые и становились еще тяжелее. Ни Германия, ни министерский кризис во Франции не занимали большого места в разговорах.

Парижская биржа почти не реагировала на приход национал-социалистов к власти в Германии. С осторожной сдержанностью она ожидала известий о формировании нового французского кабинета.

В кулуарах Палаты депутатов царил оживленная суета. Депутаты не теряли времени на разговоры о Германии. Их гораздо больше занимали домашние дела: парламентские интриги и происки с целью заполучить для себя теплое местечко.

Премьер, назначенный французским президентом, по освященному временем обычаю, объезжал влиятельных политических деятелей, которые, в свою очередь, весьма красноречиво заверяли его, что будут с удовольствием служить под его началом. В кулуарах Палаты толпа благожелателей, просителей и просто любопытных окружала депутатов и сенаторов, имена которых назывались при обсуждении состава нового правительства. Все усердно пытались пристроить своих близких на места начальника канцелярии или секретаря при министре. Влиятельные полити-

ческие деятели наперебой расхваливали достоинства своих кандидатов — сыновей, племянников, приятелей. Упорная борьба шла даже за незначительные должности мелких чиновников.

Вспоминаю, что я видел в тот день премьера одного из прежних кабинетов, Андре Тардые, — он стоял в уголке, окруженный горсточкой друзей, и сардонически улыбался. Он был лидером оппозиции, и поэтому ни у него, ни у его политических оруженосцев не было шансов занять какой-либо государственный пост. Посему они уже обсуждали тактику борьбы против будущего кабинета. Один из журналистов принес известие, что Гитлер возглавил германское правительство. «Что вы скажете об этом? — спросили Тардые.

— Я ожидал этого, — категорическим тоном заявил он. — Несколько недель тому назад я читал предсказание Леона Блюма, что судьба Гитлера и национал-социалистов предрешена, что они обречены на неудачу. Всякий раз, как Блюм что-нибудь предсказывает, непременно происходит обратное. Это верный способ никогда не ошибиться».

В другом углу радикал-социалист Анри Кэйль, в прошлом и будущем — министр земледелия, выразил свое мудрое суждение о событиях: «Гитлер у власти? Не все ли равно? Он ведь не заставит немцев пить больше вина».

Для Кэйля, как и для многих его коллег из сельскохозяйственных округов, судьба Франции решалась продажей пшеницы и вина. Потребление французских вин в других странах было для них мерилом политического и социального будущего Европы.

На следующий день был сформирован новый Совет министров с Эдуардом Даладьё в качестве премьера. Вокруг Елисейского дворца, куда президент пригласил членов нового кабинета, шныряли предприимчивые репортеры и фотографы. На известие об образовании кабинета Даладьё биржа реагировала повышением. Она выражала свое удовлетворение тем, что ни один социалист не вошел в список министров.

На протяжении семи лет, предшествовавших началу нынешней войны, новый премьер-министр Даладьё играл видную роль в политике Франции, либо как глава кабинета, либо как военный министр, либо совмещая в своем лице обе эти должности.

«Как вы ладите с вашим военным ми-

нистром?» — спросил несколько лет тому назад один радикал-социалистский депутат генерала Максима Вейгана. «Мы никогда не ссоримся», — с многозначительной улыбкой ответил Вейган.

Даладьё, сын владельца хлебопекарни, происходит из сельскохозяйственного района южной Франции. Его принято было считать «человеком из народа». Говорили, что он особо внимательно прислушивается к настроениям французского крестьянства. В парламентских дебатах и на заседаниях Совета министров он отстаивал свою точку зрения настойчиво и с упорством. Это породило легенду, что Даладьё — человек сильной воли. Дальнейшие события показали, что это свое качество, если оно у него было, он растратил в парламентских поединках и министерских турнирах. Перед лицом событий величайшего исторического значения его хваленая сила воли рассеялась, как дым.

В свой первый кабинет Даладьё включил двух людей, чьи имена отныне неразрывно связаны с падением Франции. То были министр финансов Жорж Боннэ и министр внутренних дел Камилл Шотан. Оба они уже занимали прежде министерские посты, но именно Даладьё дал Боннэ его первый крупный пост во французском правительстве.

Жорж Боннэ впервые выступил на политической сцене в 1919 году как руководитель ведомства по демобилизации французской армии. Эта работа дала честолюбивому молодому политику возможность соприкоснуться с влиятельными финансистами и промышленниками. Заручившись их поддержкой, Боннэ был избран в парламент и сосредоточил свое внимание на проблемах финансов и торговли. Женитьба на племяннице прежнего лидера радикал-социалистской партии Камилла Пеллетана помогла ему создать себе прочное положение в этой влиятельной партии. В ходу была шутка, что честолюбие Одета Боннэ отличается столь же исключительными масштабами, как и длина носа ее мужа. Эти язвительные слова довольно точно характеризуют супругов Боннэ, сыгравших в падении Франции зловещую роль.

Камилл Шотан в отличие от Даладьё не претендовал на репутацию человека с сильной волей. Он не проявлял своего честолюбия столь открыто, как Боннэ. На примере своего отца, который тоже был министром, Шотан понял, что французская политика в значительной степени зиждется на компромиссах. И Шотан про-

явил себя исключительно ловким парламентарием, умеющим искусно маневрировать и в критические моменты сглаживать все разногласия. Речи его всегда были рассчитаны на то, чтобы смягчить разгневанных и успокоить недовольных.

Теперь, когда ему был вручен портфель министра внутренних дел в кабинете Даладье, он чрезвычайно пришелся по вкусу Палате депутатов. Однако некоторые его коллеги утверждали, что Шотан никогда никому не смотрит прямо в глаза — он словно всегда скрывает какую-то тайну. Жорж Мандель как-то заметил: «У этого Шотана типичная физиономия предателя».

Даладье, Боннэ и Шотан — все трое были членами радикал-социалистской партии, которая в продолжение многих десятков лет играла крупную роль в судьбах французского парламентаризма.

Радикал-социалисты изображали из себя прямых наследников энергичных якобинцев времен Великой французской революции 1789 года. На самом же деле название «радикал-социалист» звучало гораздо более грозно, чем на то давала основная сама партия и ее программа. В ней не было ничего ни радикального, ни социалистического. Это была партия средних классов, партия умеренного либерализма, к тому же нередко разбавленного и неясного.

Стратегическое значение радикал-социалистской партии в парламентской политике заключалось в том, что без ее поддержки нельзя было сформировать сколько-нибудь работоспособного кабинета. Эта роль радикал-социалистов в Палате депутатов давала им возможность сваливать кабинеты и создавать новые.

Правительство Даладье было третьей парламентской комбинацией радикал-социалистской партии после выборов 1932 года.

Сформировав кабинет и оставив за собой портфель военного министра, радикал-социалист Даладье прежде всего вызвал к себе крайнего консерватора, генерала Максима Вейгана. Премьер несколько часов пробыл с ним наедине. Никаких сообщений о содержании беседы не было сделано. Но несколько дней спустя редактор газеты, в которой я работал, был принят Даладье и имел с ним продолжительный разговор. Редактор высказал Даладье свою тревогу в связи с возможным изменением обстановки в Европе после прихода национал-социалистов к власти. Желая его разубедить, Даладье вкратце

сообщил ему содержание своей беседы с генералом Вейганом, главной темой которой был приход Гитлера к власти и возможные последствия этого для Франции. Расставшись с премьером, наш редактор тотчас же записал в главных чертах все, что ему рассказал Даладье. Ниже приведена самая суть этой записи.

Вейган высказал Даладье свое глубокое убеждение в том, что если даже Германия напряжет все силы и использует все свои потенциальные возможности для ускорения вооружений, — ей понадобится по меньшей мере десять лет, чтобы создать армию, способную выдержать сравнение с армией кайзера. Вейган был высокого мнения о теоретической подготовке и организаторских способностях руководителей рейхсвера. Однако он считал, что недостаток квалифицированных офицеров и обученных военных резервов еще долгое время не даст немцам возможности достигнуть боевой мощи войск Вильгельма, а тем более превзойти ее. Кроме того, Вейган полагал, что опасность не может принять угрожающих размеров еще и потому, что на франко-германской границе уже идет строительство мощной линии укреплений. Эти оборонительные сооружения по плану предполагалось закончить к 1934 году, — и тогда границы Франции, действительно, станут неприступными. Впоследствии эти укрепления стали известны под названием линии Мажино.

Оценивая силы союзников, с которыми Франция была связана целой системой договоров, генерал Вейган сказал, что польская армия, с ее устарелым техническим снаряжением и некомпетентным командованием, может служить лишь помехой военным действиям держав. Бельгийскую армию, обязанную в силу Локарнского договора притти в случае агрессии на помощь Франции, Вейган также ставил невысоко из-за распри между валлонцами и фламандцами. Он очень хвалил чешскую армию. На английскую армию, по его словам, нельзя было особенно рассчитывать, но британскому флоту предстояло сыграть решающую роль.

Что же касается политических последствий прихода национал-социалистов к власти, то здесь, по мнению Вейгана, имелись свои преимущества. Франция, полагал он, несомненно должна приветствовать движение, направленное против германских коммунистов, которые стали угрожающей силой. Подавление коммунизма в Германии, — указал Вейган, — будет способствовать ослаблению коммунистиче-

ского движения и во Франции, где, по данным военной разведки, оно за последние годы медленно, но верно усиливается. Кроме того, крестовый поход национал-социалистов против коммунизма несомненно наложит свой отпечаток на русско-германские отношения, — а это может быть Франции только на пользу.

Короче говоря, Вейган держался того мнения, что угрозы господству Франции на континенте нет никакой. Французская политика может строиться, исходя из предположения, что мир в Европе не будет нарушен по крайней мере в течение ближайшего десятилетия.

Разговор с Вейганом по всей вероятности доставил Даладье минуты приятного волнения и гордости. Он, Даладье, сын пекаря, сражавшийся в мировую войну в чине капитана, обсуждает теперь на равной ноге с прославленным воином, знаменитым генералом, изъяны в военной системе Франции. По словам Вейгана, он и прежде ладил с Даладье. И в дальнейшем у него никогда не было оснований быть им недовольным. В лице Даладье французские генералы нашли весьма подходящего, уступчивого военного министра. Именно генеральный штаб усердно распространял легенду о больших способностях Даладье как организатора и руководителя.

Карьера Вейгана была довольно необычной. Начало войны 1914 года застало его в чине лейтенанта-полковника в одном из полков легкой кавалерии. По рекомендации генерала Жоффра он был назначен начальником штаба армии генерала Фоша, тогда еще лишь формировавшейся. Вейган стоял рядом с Фошем в знаменитом железнодорожном вагоне в Компьенском лесу в 1918 году, когда главнокомандующий французской армии, принимая германских делегатов, приехавших просить перемирия, язвительно спросил: «Что же, собственно, вам угодно, господа?» В 1920 году, когда армия Пилсудского едва не была разгромлена Красной Армией, Фош послал Вейгана в Польшу; через несколько лет его отправили в Сирию, где он с невероятной жестокостью подавил разраставшееся восстание. Передавали, что Фош перед смертью сказал: «Если Франция будет в опасности, зовите Вейгана».

В 1931 году Вейган сделался преемником маршала Петэна на важном посту заместителя председателя Высшего совета

обороны Франции. В том же году он был избран членом Французской академии. В это время французская армия в Европе насчитывала около 370 тысяч человек. Ее офицеры, получившие образование в привилегированных военных учебных заведениях вроде Сен-Сира, воспитывались в сугубо реакционном духе. Многие генералы были, подобно Фошу, Петэну и Вейгану, монархистами. Они смотрели на республику, как на неизбежное зло, и терпели ее со смешанным чувством снисходительности и презрения. Но они никогда не считали республику тем государственным строем, за который им стоило бы сражаться.

Руководители французской армии твердо усвоили одно: чтобы добиваться своих целей в рамках республики, надо скрывать антидемократические убеждения, во всяком случае — высказывать их возможно осторожнее. Вейган постиг это в совершенстве. Когда молодой министр авиации в кабинете Даладье, Пьер Кот, решил предупредить премьера об антидемократических, реакционных тенденциях Вейгана, Даладье ответил ему: «Да вы послушали бы его речи! Я готов ручаться за него головой!»

Каково же было внешнее и внутреннее положение Франции к тому моменту, когда Даладье стал премьер-министром Франции?

Некий авторитетный экономист писал, что в то время Франция была величайшей военной, политической и финансовой силой в Европе. Система внешних договоров обеспечивала Франции, в случае нападения, помощь Великобритании, Бельгии, Польши и Чехословакии. Хотя у нее и не было военного союза с Югославией и Румынией, но не могло быть сомнений, к кому тяготели симпатии этих стран. Италия, экономически ослабленная кризисом, не в состоянии была идти против Франции. Во главе недавно провозглашенной Испанской республики стояли люди, в мировую войну горячо сочувствовавшие англо-французскому союзу. За последний год улучшились отношения Франции с Советским Союзом. В ноябре 1932 года Эррио подписал с СССР пакт о ненападении.

Менее радужной была картина в области экономики. Мировой экономический кризис 1929 года с наибольшей яростью обрушился на крупнейшие промышленные

страны: США, Великобританию, Германию. Кривая кризиса во Франции значительно отличалась от его развития в вышеупомянутых странах. По ряду причин во Франции кризис дал себя почувствовать позже и достиг наибольшей силы между 1933 и 1935 годами.

Уже в 1933 году, сквозь туман обманчивых лозунгов и иллюзий, которыми одно время почти удалось усыпить французский народ, стали проступать очертания настоящего кризиса. Кабинет Даладье получил в наследство от своих предшественников распухший бюджет с несбалансированными статьями прихода и расхода. Дефицит выражался в сумме 12—14 миллиардов франков, между тем как поступление налогов было значительно ниже нормального. Экспорт и импорт упали более чем на одну треть. Число туристов, приезжавших во Францию, снизилось с четырех миллионов до одного. Государство должно было оплачивать почти миллионную армию чиновников.

Два с половиной миллиона работоспособных людей не имели работы, из них всего 275 тысяч получали жалкое пособие.

Десятки тысяч служащих государственного аппарата, над которыми вечно висела угроза сокращения окладов, стали вступать в различные общественные организации и выражали свое недовольство.

Крестьяне, — а они составляли восьмимиллионную массу, — все яростнее проклинали мошенников и путанников, сидящих в Париже. Цены на пшеницу и вино упали на одну треть — вот в чем был вопрос!

Кризис сильно ударил и по средним слоям. Помимо 400 тысяч рантье, около шести миллионов людей были держателями французских государственных займов и облигаций. С возрастающей тревогой следили они по биржевому бюллетеню за колебаниями курса своих бумаг. Их имущество, собственность, рента, фермы, лавки, фабрики были в опасности.

Из одиннадцати миллионов французских рабочих в 1933 году около шести миллионов были заняты в промышленности. Во Франции существовали два центра, вокруг которых сосредоточивалась компактная масса рабочих: Париж и его окрестности, с их металлургическими, военными и автомобильными заводами, и Северная Франция с каменноугольной и текстиль-

ной промышленностью. Правда, во Франции везде можно найти довольно значительное рабочее население. Все же передовым, ведущим отрядом французских рабочих являлся парижский пролетариат. Сигнал к бою всегда давали предместья Парижа, «красное кольцо», опоясывающее столицу.

Вот почему именно в Париже нарастающие кризиса заставило учащенно забиться пульс рабочего движения. Когда Даладье пришел в правительство, пролетариат уже проявлял беспокойство. Количество стачек все возрастало.

Перед радикал-социалистским триумvirатом, оказавшимся у власти, стояло множество трудно разрешимых проблем: бюджетный дефицит, усиливающаяся экономическая депрессия с ее последствиями, дальнейшая судьба политики разоружений; наконец, — самая сложная проблема: взаимоотношения с Германией.

Относительно намерений Германии у правительства не могло быть никаких сомнений. Ее планы не составляли уже тайны.

Знать намерения своего потенциального противника — идеал каждого генерального штаба. Именно в таком идеальном положении и находилось французское правительство. Располагая совершенно недвусмысленно сформулированной программой действий Германии в отношении Франции, оно имело полную возможность заблаговременно принять необходимые меры. Но французское правительство не принимало всерьез книгу «Майн кампф», — это стало для меня очевидным после разговора с одним из членов кабинета Даладье. Я коснулся политики и программы, изложенных в этой книге. «Неужели вы действительно думаете, что можно делать политику по книге?» — шутливо спросил меня министр, очевидно находя эту мысль забавной.

Даладье стал строить свои отношения с Германией в духе той политики, которая впоследствии получила название «умиротворения».

Во Франции правые партии по традиции считали патриотизм своей монополией. Теперь, впервые после 1918 года, правая печать стала воздерживаться от нападков на Германию. Правые никак не могли решить, как им быть дальше. Их привлекала одна сторона программы национал-социалистов — беспощадная борьба с коммунизмом. Но зато вначале их пугала другая сторона этой программы:

тенденция к пангерманской экспансии, провозглашение борьбы против «диктата» Версальского мира. Однако самый факт, что французские партии уже начали колебаться между интересами классовыми и интересами национальными, означал если не победу, то, по крайней мере, первый успех германской пропаганды во Франции.

В феврале 1933 года Даладье послал в Берлин своего первого эмиссара. То был граф Фернан де Бринон. Он принадлежал к самому высшему кругу французского общества, был ловким журналистом, а также неофициальным доверенным лицом крупного банка. Ему случалось уже выполнять секретные миссии по поручению бывшего премьера, Пьера Лаваля. Графа рекомендовал Даладье его министр финансов, Жорж Бонне, который был тесно связан с тем самым банком, в чьих интересах осторожно, окольными путями действовал де Бринон.

Даладье только что виделся с Макдональдом, остановившимся в Париже по пути в Рим. В погоне за призраком разоружения британский премьер-министр надеялся соблазнить Италию новой формулой — пактом четырех крупнейших держав. Великобритании, Германии, Франции и Италии. После этой-то беседы с Макдональдом Даладье отправил графа де Бринона в Берлин.

Когда слухи о проектируемом «пакте четырех» стали просачиваться во Францию, с решительным протестом выступил бывший премьер — Эдуард Эррио. Он только что был переизбран председателем радикал-социалистской партии, и при наличии оппозиции с его стороны у Даладье почти не было шансов осуществить свой проект. Поэтому Даладье поспешил услатить своего бывшего школьного учителя в Америку, поручив ему выведать намерения президента Рузвельта и смягчить недовольство, вызванное в Соединенных Штатах отказом Франции сделать хотя бы символические взносы в счет уплаты военных долгов. Даладье рассчитывал таким образом сразу убить двух зайцев: он избавлялся от Эррио на период, когда будет закладываться фундамент «пакта четырех», и, кроме того, награждал его миссией, которая в лучшем случае могла дать самые незначительные результаты. Вопреки советам своих ближайших друзей, Эррио попался на эту удочку. Разумеется, он вернулся из США ни с чем, и после этого долгое время служил излюбленной мишенью для французских карикатуристов и фельетонистов.

Проект «пакта четырех» предусматривал возможность пересмотра Версальского договора. Это означало резкий отход Франции от ее традиционной политики, проводимой ею через Лигу наций. «Пакт четырех» игнорировал Советский Союз. Наконец, он грозил нарушить весьма неустойчивое равновесие малых европейских государств, которые все еще видели в Лиге наций гарантию своей национальной независимости.

Предварительные переговоры относительно заключения «пакта четырех» потребовали больше времени, чем предполагалось вначале, и Эррио вернулся из США как раз вовремя, чтобы повести яростную атаку против пакта. В результате бурного разговора, продолжавшегося несколько часов, Эррио заставил Даладье отступить. Если Франция будет участвовать в пакте четырех держав, направленном к пересмотру границ в Европе, — утверждал Эррио, — за этим неизбежно последует война. Эррио сделал также публичное заявление, в котором подчеркнул ту же мысль. В результате начали составлять новый проект пакта. Законники и юристы плели сложную сеть казуистических фраз, подменяя одни формулировки другими.

Пакт, о котором Эррио сказал, что он «либо бесполезен и бессмысленен, либо опасен», был мертворожденным с самого момента его подписания 7 июня 1933 года в Риме.

Наиболее резкая реакция на заключение «пакта четырех» последовала со стороны Польши. В марте 1933 года диктатор Польши, маршал Пилсудский, информировал правительство Даладье о секретных планах вооружения Германии.

Маршал Пилсудский предложил Франции «превентивную войну» против Германии. Даладье долго тянул с ответом, затем отклонил предложение Польши. В апреле 1933 года оно было повторено и на этот раз подкреплено меморандумом польского посла в Париже, содержавшим данные о лихорадочных вооружениях, проводимых в Германии.

На этот меморандум даже не последовало ответа.

Кончилось все это взрывом дипломатической бомбы — германо-польским договором о ненападении, обязывавшим обе страны на протяжении ближайших десяти лет «ни при каких обстоятельствах не прибегать к силе при разрешении спорных вопросов между ними». Таков был

результат «четырёхпактного» флирта Даладьё. Первая брешь в системе союзов Франции была пробита.

В октябре 1933 года делегаты конференции по разоружению, собравшейся в Женеве, были извещены краткой телеграммой германского министра иностранных дел фон-Нейрата, что Германия вынуждена уйти с конференции по разоружению, а также из Лиги наций. Склонный к театральным жестам Поль-Бонкур, министр иностранных дел в кабинете Даладьё, потребовал, чтобы Германии был послан энергичный ответ. Конференция выделила подкомиссию для составления проекта ответа. В нее вошли Поль-Бонкур, сэр Джон Саймон (бывший в то время английским министром иностранных дел) и Норман Дэвис, наблюдатель от США.

Представленный ими доклад от заседания к заседанию все больше смягчался в своих формулировках. Когда же, в конце концов, этот доклад увидел свет, он явился ясным свидетельством того, что Германии нечего опасаться. Впервые была подвергнута серьезному испытанию коллективная воля демократий Запада к сопротивлению. Она оказалась дряблой, распыленной.

Другим последствием этих событий была тревога, охватившая малые европейские государства. Предвидя политику дальнейших уступок Германии со стороны Англии и Франции, некоторые из них стали серьезно задумываться о том, чтобы войти самим в соглашение с Германией.

★

Пока конференция по разоружению медленно агонизировала, внутренняя ситуация Франции все ухудшалась. Свирепствовала депрессия, казна была пуста. Еще в первые месяцы 1933 года министр финансов Жорж Боннэ раздобыл в Лондоне краткосрочный заем в 150 миллионов долларов. Теперь он снова был занят безуспешными поисками денег. Наступление правого крыла Палаты депутатов на правительство шло с нарастающей силой. Оппозиция уже предвкушала момент, когда радикал-социалистский кабинет «падет направо», то есть будет свергнут при таких обстоятельствах, которые позволят радикал-социалистам вступить в министерскую коалицию с правыми партиями.

Фашистские и полуфашистские союзы и группы проявляли лихорадочную активность. Наиболее значительный из всех



Жан Кьяпп



Альбер Карро

союзов, «Боевые кресты», возглавляемый полковником Казимиром де ла Роком, рос, как грибы после дождя. «Боевые кресты», первоначально аполитичный союз бывших фронтовиков, теперь был организован на фашистский лад. Члены его проходили военное обучение, устраивали пробные мобилизации и секретные маневры, в которых впоследствии участвовали даже самолеты. Связи де ла Рока с армией делали «Боевые кресты» особенно опасными, — уже давно поговаривали, что оружие и снаряжение они получали из военных arsenалов.

Около середины октября в газетных редакциях и в кулуарах Палаты депутатов пронесся слух, что в ближайшие дни должен разразиться какой-то новый финансовый скандал. Я пытался разузнать подробности этого таинственного дела, но безуспешно.

После бурного заседания Палаты, на котором резкая перебранка сменялась ораторским красноречием, кабинет Даладьё пал на рассвете 24 октября 1933 года. Еще одно правительство слоткнулось на предложении урезать оклады государственных служащих.

В ту ночь парижская полиция находилась в боевой готовности. Говорили, что государственные служащие и шоферы такси готовятся к массовой демонстрации перед парламентом. Префектом парижской полиции был в то время корсиканец Жан Кьяпп, которого Клемансо как-то назвал «самым ловким шпиоком во Франции».

Стоя у главного входа в Пале-Бурбон, где помещается Палата депутатов, Кьяпп самолично руководил действиями полиции.

— Что ты здесь делаешь, Жан? — спросил его проходивший мимо депутат-социалист.

— Охраняю жизнь Даладье, — с подчеркнутой многозначительностью, ответил Кьяпп.

В течение следующих трех месяцев еще три кабинета были сформированы и так же быстро свергнуты. Все те же лица, те же радикал-социалистские лидеры, все та же тесная компания каждый раз возвращалась к власти, с той разницей, что в каждом новом кабинете эти люди занимали иные посты.

Преемником Даладье был Альбер Сарро, один из лидеров радикал-социалистской партии — уроженец юго-западной Франции, эпикуреец и стареющий донжуан. Он уже давно принимал активное участие во французской политике. В дни своей молодости, в самый разгар дела Дрейфуса, он чуть не был убит на дуэли. Впоследствии Сарро отправился в Индо-Китай в качестве губернатора этой французской колонии. Там на него было совершено несколько покушений, но все неудачно. В дальнейшем он создал себе прочное положение в радикал-социалистской партии и стал одним из ее лидеров. Теперь, на закате его жизни, все большую роль в ней играли женщины.

Даладье сохранил пост военного министра в кабинете Сарро и продолжал делать политические авансы Германии.

Кабинет Сарро пал через три недели. Новая перетасовка привела на пост премьера Камилла Шотана. Даладье снова сохранил за собой пост военного министра. И вот тут-то публично разыгрался скандал, о назревании которого говорили уже давно. Дело Ставиского вынырнуло наружу; оно вписано в историю Франции кровавыми буквами.

Александр Ставиский, «красавец Александр», был в течение многих лет хорошо известен как в полусвете и среди подонков Парижа, так и в фешенебельных па-

рижских кругах. Он уже был однажды под следствием за подделку векселей на сумму около 350 тысяч долларов; теперь он подделал обязательство городского ломбарда в Байонне, маленьком городе на юго-западе Франции, на сумму 12 или 13 миллионов долларов. Выслеженный полицией, он, как утверждало официальное полицейское сообщение, покончил с собой в Шамониксе (Швейцария). Но, по мнению многих парижских газет, особенно правого лагеря, — его пристрелили, так как он слишком много знал.

Надо сказать, что главным в деле Ставиского было не его финансовое мошенничество. Такие истории случались и прежде и в более крупных масштабах. Но в этом скандале оказались замешаны несколько министров, в том числе Жорж Бонне, ряд депутатов, видные судебные чиновники, редакторы нескольких газет и сам префект парижской полиции.

Дело Ставиского бросило тень на политических деятелей как правого, так и левого, радикал-социалистского крыла парламента. Но французские реакционные круги решили использовать этот скандал для создания послушного им правительства, за которым последовала бы ликвидация демократического режима.

Началась атака против левых, беспримерная по своей ярости. Застрельщиками кампании в прессе были: «Акссион франсез» — газета монархически-фашистского направления, «Жур» — орган крайнего правого крыла, и «Гренгуар» — брызжущий злобой еженедельник, издававшийся зятем Кьяппа. Во время дела Ставиского тираж этих изданий возрос в несколько раз.

В начале 1934 года, по случаю открытия сессии Палаты депутатов, в Париже произошли первые организованные фашистами уличные беспорядки. Наиболее разнузданно вели себя так называемые «Королевские молодчики», связанные с «Акссион франсез», возглавляемой Шарлем Моррасом и Леоном Додэ. К ним вскоре присоединились другие фашистские лиги. Демонстрации продолжались, нарастая, до 26 и 27 января. В эти дни на бульварах и улицах, прилегающих к Палате депутатов, к толпам демонстрантов стали присоединяться члены различных организаций бывших фронтовиков. С каждым днем становилось все очевиднее, что эти демонстрации есть результат объединенных действий фашистских лиг и что ими руководит общий штаб. Зараза распространялась. По всей Франции были расклеены



Леон Додэ



Шарль Моррас

плакаты: «Гоните вон депутатов!» «К чертям депутатов!» Волнения достигли апогея.

Как впоследствии обнаружил Жорж Мандель, скандальная информация, которой фашисты воспользовались как поводом для выступления против парламента, была получена ими от Жана Кьяппа, префекта полиции. Кьяпп открыто симпатизировал правым. Используя свое положение хозяина парижской полиции, он собрал множество компрометирующих сведений о ряде известных политических деятелей парламентской левой. Он без всякого стеснения устраивал за ними слежку; его агентура подслушивала их частные телефонные разговоры. В его архивах был похоронен не один финансовый скандал Третьей республики, так и не выплывший наружу. Интимные отношения Сарро с женщинами сомнительной нравственности, финансовые фокусы и спекуляции Боннэ, личные секреты Шотана, — все это имело среди сокровищ, собранных в секретных досье Кьяппа. Он передал газетам только часть своей коллекции. Другую часть он держал про запас.

Для французских правых дело Ставиского было счастливой находкой. Оно пришлось в самый подходящий момент. Страна устала от беспорядочной смены кабинетов, от перетасовки все той же колоды засаленных карт, от монотонного повторения одного и того же предложения — урезать оклады государственных служащих, устала от вечных обещаний и неизменного бездействия Палаты депутатов. Рабочие, крестьянство и средний класс были доведены до отчаяния экономическим кризисом. Правые считали момент вполне подходящим для того, чтобы уничтожить парламентскую систему Франции и перекроить государственный строй по фашистскому образцу. И тут, перед решающим сражением, Камилл Шотан дезертировал со своего поста. Несмотря на то, что он получил вотум доверия значительным большинством голосов Палаты, он все же подал в отставку. Это создало опасный прецедент. Впервые в истории Третьей республики законно сформированный кабинет, поддерживаемый Палатой депутатов, подал в отставку под нажимом фашистских и близких к фашизму групп, хозяйничавших на улицах Парижа.

Еще одна перетасовка все той же колоды карт, — и снова вынырнул Даладьё. К концу января 1934 года он сформировал свой второй кабинет. Еще до назначения новых министров по аристократическим

салонам Парижа ходил список, — в нем значились имена пяти человек, которым предстояло «руководить судьбами Франции». В списке стояли имена маршала Петэна, бывшего президента республики Гастона Думерга, Пьера Лавалья, Андре Тардьё и Адриена Марке.

Новый кабинет не просуществовал и десяти дней. Он пал под ударами первого открытого выступления реакции в Париже. 6 февраля 1934 года на площади Согласия и вокруг здания парламента вновь собрались фашистские толпы, чтобы «прогнать депутатов к чертям».

Тут были все лиги и группы, которым уже давно не терпелось нанести демократические институты Франции: «Боевые кресты», «Патриотическая молодежь» и «Королевские молодчики».

Демонстрация перешла в путч. Путчисты провоцировали полицию. Вначале долинейские пытались успокоить толпу, затем был отдан приказ стрелять. Когда дым выстрелов рассеялся, двадцать мятежников и один полицейский остались лежать на мостовой... Свыше 2 000 человек получили ранения, из них половина — полицейские и жандармы. Париж пережил кошмарную ночь уличных баррикад, беспорядочной стрельбы и поножовщины. Фашисты жгли автобусы, они пытались устроить пожар в здании министерства торгового мореплавания и взять штурмом Елисейский дворец, резиденцию президента Французской республики.

В то время как развешивались эти первые вооруженные выступления реакции во Франции, Даладьё получил парламентский вотум доверия большинством 343 голосов против 237.

После голосования в Палате депутатов я направился в военное министерство, где находилась личная канцелярия Даладьё. Я нагнал его у входа в здание. Он казался растерянным.

«Что вы намереваетесь делать?» спросил я его.

«Мятеж будет подавлен, — ответил Даладьё. — Правительство не потерпит нарушения порядка. Оно располагает всеми средствами, чтобы заставить уважать закон!»

С этими словами, отрывисто брошенными через плечо, Даладьё исчез в здании военного министерства.

Но в ночь с 6 на 7 февраля состоялась еще одна важная беседа Даладьё с Вейганом. Вейган явился к Даладьё, который не помнил себя от страха. «Говорят, что

вы намереваетесь вызвать войска, — сказал Вейган премьеру. — Я не могу сказать твердо, выступит армия или нет. Но я ручаюсь, что если вы избавите армию от необходимости такого выбора, она это никогда не забудет».

Президент республики, Альбер Лебрен, поддержал Вейгана. Он угрожал отставкой, если армия будет использована против мятежников.

Ранним утром 7 февраля перепуганный Даладе ушел со своего поста. Он передал президенту свою отставку, даже не согласовав ее предварительно с коллегами по министерству. Он освободил место для правительства, которое, как рассчитывали, должно было покончить с парламентской системой. За спиной этого правительства маячили тени пятнадцати правителей Франции.

ПРАВИТЕЛИ ФРАНЦИИ

В течение почти семидесяти лет существования Третьей Французской республики свыше сотни правительств приходило и уходило — но в действительности все это время страной управляли пятнадцать членов правления Французского банка. Они были истинными хозяевами страны.

Еще в самые первые годы существования Французского банка, — более ста лет тому назад, — одна популярная газетка окрестила его «Новой Бастилией». Действительность показала, что Французский банк — настоящая крепость, воздвигнутая для защиты интересов самых богатых людей Франции.

«Верховный банк» распоряжался жизнью и смертью каждой промышленной компании, каждого кредитного общества или коммерческого банка Франции. Он мог учесть векселя и подарить жизнь торговой фирме; мог отказать им в учете и вынести ей смертный приговор. Он определял судьбу правительства, находящегося у власти: отпускал необходимые кредиты, он санкционировал дальнейшее существование кабинета; отказывая в кредитах — предвещал его падение.

В 1933 году капитал Французского банка находился в руках около 31 тысячи держателей акций. Но из них только 200 пользуются правом голоса на общих собраниях правления банка. Они известны под названием «200 семейств Франции». В их руках находится контроль над основными рычагами финансов и промышленности всей страны.

Деятельностью банка управлял совет, в который входил двадцать один человек: директор, два вице-директора, пятнадцать членов правления и три финансовых эксперта. Право назначения директора и вице-директоров банка формально принадлежало французскому правительству. Однако, лишь акционер, владевший не менее чем ста акциями основного капитала, мог быть назначен директором банка; в 1933 году это составляло, примерно, два миллиона франков. Чтобы стать вице-директором, надо было обладать пятьюдесятью акциями. Сами члены правления снабжали необходимым количеством акций своих кандидатов на пост директора и вице-директоров.

Выборы членов правления банка были такой же пустой формальностью, ибо фактически места их передавались по наследству. Семейство Ротшильд было представлено в правлении банка в течение более семидесяти лет, семейства Моллет и Хеттингер — более ста лет. Совет банка был таким же замкнутым организмом, как какой-нибудь аристократический жокей-клуб. Горсточка людей, связанных между собой узами брака, коммерческими интересами, общественным положением, всем жизненным укладом, воздвигла прочную ограду против новопришельцев.

Члены правления Французского банка контролировали денежный фонд страны. Следовательно, они имели почти неограниченную власть над ее промышленным механизмом. Они поддерживали самые тесные связи с руководящими представителями военной касты, многие из которых происходили по боковой линии от этих же семейств. Они были связаны со многими высшими представителями церкви. Их сыновья, племянники и зятья занимали виднейшие посты в министерстве иностранных дел, министерстве финансов и в других высших государственных учреждениях. Они поставляли дипломатов, представлявших Францию в иностранных государствах. С истинно королевской щедростью они финансировали свои собственные политические партии и группировки. При помощи газет они управляли общественным мнением, обрабатывали и регулировали его. «Верховный банк» фактически осуществлял контроль над государственной политикой Франции.

Французский банк пережил длинную историю; но, как сказал французский политический деятель Франсис Делези, он всегда находился «по ту сторону баррикад». В 1848 году банк боролся с либе-

ральными демократами и поддерживал генерала Кавеньяка. Позднее он оказал поддержку Наполеону III. После франко-прусской войны 1870 года Французский банк был на стороне маршала Мак-Магона и монархистов против народа. Во время дела Дрейфуса банк, наперекор Ротшильдам, субсидировал противников Дрейфуса. Однажды, во время мировой войны Клемансо жаловался, что он не обладает достаточно широкой властью. Один из депутатов спросил его: «Но кто же, в конце концов, имеет большую власть, чем вы?» «Тигр» Клемансо рявкнул: — «Члены правления Французского банка!»

С 1934 года «200 семейств» окончательно приняли решение прийти к политическому соглашению с Германией. При этом они считали Францию созревшей для перестройки ее государственной системы по фашистскому образцу.

Статистические данные показывают, что пятнадцать членов правления Французского банка были представителями или членами правления двухсот пятидесяти промышленных компаний, частных банков и страховых обществ. Подобно спруту, они протянули свои щупальцы не только во все основные отрасли французской промышленности, но и за пределы Франции.

Эжен Шнейдер, железный король, глава крупнейшего французского треста вооружений «Шнейдер-Крезю», один из правителей Французского банка, был также руководителем Объединенного европейского банка, который контролировал крупнейшие военные заводы Шкода в Чехословакии. В 1939 году Шнейдер продал свои акции на предприятия Шкода германским фирмам. Сделка была заключена парижским банком «Братья Лазар», который был тесно связан с банком «Лазар-Шнейер-Элисон» во Франкфурте, в свою очередь связанным через компанию «Металл-Гезельшафт» с мощным германским химическим концерном «И. Г. Фарбениндустри». «И. Г. Фарбениндустри» сотрудничал в Испании, Южной Америке и Китае с французским химическим трестом Кульмана, представленным в правлении Французского банка Рене Дюшоменом. Небезынтересно отметить, что 75 процентов капиталовложений в один из крупнейших заводов взрывчатых веществ «И. Г. Фарбениндустри» пришли из французских источников.

В 1933 году делегат съезда радикал-социалистской партии, Сеннак, заявил, что он располагает данными, доказываю-

Франсуа
де Вандель



щими, что фирма «Шнейдер-Крезю» снабжает Германию большим количеством танков новейшей системы, принятых во французской армии; чтобы не вызвать подозрения, танки пересылались в Германию через Голландию. В марте 1940 года на одном из закрытых заседаний французской палаты было выяснено, что, начиная с сентября 1939 года, из Франции было отправлено в Германию колоссальное количество железной руды в обмен на германский уголь. Транзит этих товаров шел через Бельгию.

Таковы люди, которые в действительности управляли Францией. Они показали и в мирное время, как и во время войны, что национальные интересы имели для них значение лишь тогда, когда совпадали с их личными интересами. Они были финансовой опорой самых реакционных группировок и обществ. Сенатор Франсуа де Вандель, один из правителей Французского банка и глава крупнейшей во Франции шахтовладельческой компании, имел членскую книжку «Боевых крестов» за № 13. Глава крупнейшего электроконцерна, Эрнест Мерсье, тесно связанный с германским концерном «А. Э. Г.», имел членскую книжку № 7 той же организации. В 1934 году сообщалось, что пожертвования Мерсье в пользу этой крупнейшей фашистской лиги и ряда других, ей подобных, достигли суммы в десять миллионов франков. Субсидии от таких богачей давали возможность полковнику де ла Року добывать винтовки, амуницию, пулеметы и самолеты для своих военизированных фашистских отрядов. На эти деньги в феврале 1934 года было организовано кровавое столкновение на площади Согласия в Париже.

Когда февральский путч привел к желанной цели и Даладьё подал в отставку, его преемником сделался человек, слывший любимцем «200 семейств». Это был Гастон Думерг.

ПАПАША ДУМЕРГ

Назначение семидесятидвухлетнего Гастона Думерга премьером было расценено «Боевыми крестами» как крупный успех. Полковник де ла Рок передал телеграфно по всей стране своим отрядам: «Первая цель достигнута!» В речи, обращенной к руководящим деятелям возглавляемой им организации, де ла Рок выразил уверенность, что антипарламентский строй будет установлен во Франции не позднее конца 1934 года.

За неделю до кровавого столкновения на площади Согласия Думерг заявил в речи, передававшейся по радио: «Парламент несет ответственность за создавшееся положение. Он ничего не предпринял, чтобы выполнить свой долг. Пересмотр нашей конституции кажется мне неотложной необходимостью». Так была заранее намечена Думергом программа его будущего кабинета.

В течение сорока лет улыбка Думерга, подобно радуге, нисходящей с небес, оазяла французскую политику. Впервые он был избран премьером в 1913 году. Он был членом кабинета во время мировой войны. Он приобрел особенно широкую известность, когда в 1917 году, вернувшись из официальной поездки в Россию, заявил, что никогда еще царский режим не чувствовал себя так прочно, как в этот момент. Месяц спустя царь и царское правительство были свергнуты Февральской революцией.

В 1924 году Думерг был избран президентом республики. Вскоре после его избрания Эдуард Эррио жаловался: «Мы выгоняем реакцию через парадную дверь, в лице Гастона Думерга она вползает к нам через черный ход». За неделю до истечения срока его президентских полномочий Думерг женился на пожилой даме, своей многолетней подруге. Когда его спросили, почему он выбрал именно дни своей отставки, чтоб расстаться с холостяцкой жизнью, он признался одному близкому другу: «Я хотел доставить ей удовольствие побыть супругой президента республики, хотя бы в течение недели».

Покинув пост президента, Думерг, в награду «за оказанные услуги», был назначен одним из директоров компании Суэцкого канала с недурным доходом в 200 тысяч франков в год. Доход этот он получал, проводя дни в полном бездействии на юге Франции, в своем имении возле местечка Турнфейль.

Портрет Думерга стал часто появляться в газетах в 1933 году. Реакционные круги искали подходящего кандидата на должность премьера. В газетных статьях человека с сияющей улыбкой уже не называли, как обычно, иронически-ласкательным именем «Гастонэ». Ему было пожаловано звание «мудрого мужа из Турнфейля». Полковник де ла Рок усиленно превозносил Думерга и в одной из своих речей назвал его «будущим спасителем Франции». Итак, Думерг был введен в должность премьера как спаситель Франции. «200 семейств» считали, что пора свести счеты с либеральными идеями — раз и навсегда.

План пересмотра и изменения конституции в духе предложений Думерга был изложен еще раньше в книге сенатора Мориса Ординера, к которой Думерг написал предисловие. Этот план заключался в следующем: во-первых, президент республики имеет право распускать Палату и требовать новых выборов; во-вторых, Палата должна избираться не прямым, а косвенным голосованием, причем число депутатов должно быть уменьшено, а сроки их полномочий увеличены; в-третьих, государственный бюджет должен составляться и проводиться в жизнь по указу правительства, без утверждения парламента.

Но прежде чем новый кабинет Думерга встретился с Палатой депутатов, произошли два события, заставившие Думерга повременить со своими проектами. Через два часа после официального утверждения кабинета, вечером 9 февраля 1934 года в Париже начались уличные бои между полицией и народными массами.

Коммунисты выпустили воззвание, призывавшее рабочих к демонстрации протеста против кабинета Думерга. Были мобилированы полиция и войска, окружившие плотным кордоном район предполагаемых демонстраций. Однако, они вспыхнули, подобно пожару, во всех рабочих кварталах Парижа — в исторических Бельвилле и Менильмонтане, у Северного и Восточного вокзалов. Безоружные рабочие, отбиваясь от натиска полиции, начали строить баррикады. С раннего утра раздались залпы полицейских винтовок и треск пулеметов. Рабочие отвечали градом камней. Когда сражение окончилось, Франция увидела, что кабинет Думерга густо запятнан кровью. По официальным сообщениям, с обеих сторон насчитывалось свыше двухсот убитых и раненых. В Париже было

произведено больше тысячи арестов. В первый раз появились официальные разъяснения, что во всем происшедшем повинны «интриги и махинации иностранной агентуры». С этого времени призрак «иностраных агитаторов» не сходил со страниц парижской правой прессы.

Три дня спустя Париж и крупные провинциальные города стали свидетелями всеобщей стачки. По беспристрастным оценкам, она охватила 100 процентов служащих таких жизненно важных учреждений, как почта, телеграф, телефон, трамвай, автобус, метро. Рабочие крупнейших промышленных предприятий присоединились к забастовке. По приказу руководителей стачки железные дороги, водопровод, газ и электричество продолжали работать.

Правительство Думерга было напугано внушительным размахом стачечного движения. И, пожалуй, еще больше тем, что рабочие демонстрации, созданные порознь социалистами и коммунистами, по окончании митингов двинулись вместе по широкому аллеям Венсенского парка. Более ста тысяч парижан участвовало в этом мощном шествии. Правительственные круги были испуганы и ошеломлены. Это была первая объединенная демонстрация, в которой участвовали рабочие, идущие за социалистами и коммунистами.

Думерг, собиравшийся изложить свою программу коренной реформы конституции в первом же правительственном выступлении перед Палатой, вынужден был отложить это намерение. Новый кабинет предстал перед депутатами и сенаторами в скромном и ласковом обличи «правительства примирения партий». Думерг — «спаситель Франции» — на время снова задрапировался в халат «папаши Гастона», сияя добродушной, почти ангельской улыбкой. Первая попытка ввести фашизм «бескровным путем» потерпела крах.

Реакционные члены кабинета Думерга были единодушны и в стремлении покончить с системой парламентской демократии во Франции; но они расходились в путях и средствах осуществления этой задачи. Так, например, Тардье, министр без портфеля, призывавший к созданию корпоративного государства, в то же время был поборником продолжения французской традиционной политики «твердой руки» в отношении Германии. Напротив, Пьер Лаваль, министр колоний, рассчитывал на соглашение с Италией и Германией. Точка зрения Лавала постепенно брала верх в правых кругах Палаты депутатов.



Гастон Думерг



Андрэ Тардье

Но чтобы осуществить на деле свою линию в иностранной политике, Лавалю пришлось дожидаться смерти Луи Барту, которого Думерг сделал министром иностранных дел. Думерг включил Барту в состав своего кабинета не из любви или уважения к нему. Причина была та, что «Барту в кабинете был помехой, но Барту вне кабинета был бы катастрофой».

Через несколько недель после того как Барту получил портфель министра иностранных дел, я взял у него интервью. Я пошел к нему потому, что по всему Парижу уже разносились слухи о том, что Германия потребовала для себя права создания регулярной армии в 300 тысяч человек. Утверждали, что кабинет Думерга, под давлением Великобритании, готов согласиться на это. Агенты Лавала шныряли повсюду, доказывая, что это верный путь обеспечения мира.

Барту изложил свое мнение в самых решительных выражениях. Он категорически отрицал приписываемое ему согласие с политикой уступок Германии. «Если мы сделаем этот роковой шаг, — воскликнул он, — нам предъявят в скором времени новые, более широкие требования. В один прекрасный день мы вынуждены будем остановиться. Лучше сделать это сейчас, пока козыри еще в наших руках».

Барту был последним представителем традиционной французской иностранной политики. Эта политика диктовалась опасениями перед потенциальной промышленной и военной мощью Германии, а также недоверием к великобританской политике «равновесия сил» на континенте. Хотя Барту старался сохранить франко-британское сотрудничество, его всегда преследовала мысль, что в этом содружестве, установленном еще Клемансо, Франция играла роль лошади, а Англия — наездника. Барту считал, что Франция должна стать первой континентальной державой в Европе. Он полагал, что система союзов, заключенных Францией с Польшей, Чехословакией, Румынией и Югославией, была необходимым условием сохранения европей-

ского равновесия. В бытность Барту руководителем Кэ д'Орсэ, инициатива в европейской международной политике на некоторое время вернулась к Франции.

Сделавшись министром иностранных дел, Барту немедленно принялся за реорганизацию и укрепление системы внешних договоров Франции. С этой целью он совершил свое «большое турне» по Европе, посетив Польшу, Румынию, Югославию и Чехословакию. Его основной идеей было расширить Локарнский пакт, дополнив его «Восточным Локарно», которое охватывало бы Германию, Советский Союз, Польшу, Чехословакию и Прибалтийские государства.

Во время этого путешествия Барту едва не погиб: на территории Австрии в его поезд была брошена бомба. Французская пресса получила от премьера Думерга указание всемерно преуменьшать значение этого инцидента.

Поездка Барту принесла крупный успех не только ему лично, но и всей внешней политике Франции.

В октябре 1934 года югославский король Александр приехал отдать официальный визит французскому президенту. Король и сопровождавший его Барту были убиты в Марселе. Расследование марсельского убийства было возложено на сенатора Андре Лемари, активного члена организации «Боевых крестов». Неудивительно, что расследование тянулось два года.

Барту ушел в могилу. Пьер Лаваль развил бурную деятельность, чтобы занять его место на Кэ д'Орсэ.

Кабинет Думерга после марсельских событий просуществовал еще около месяца. Правительство не предпринимало ничего против быстрого роста безработицы и было беспомощно перед лицом экономического кризиса, распространявшегося подобно раковой опухоли. Несмотря на то, что военным министром в кабинете Думерга был маршал Петэн, а министром воздушных сил генерал Денэн, этот кабинет меньше всего занимался проблемами обороны страны. В первые недели существования кабинета генерал Денэн в поверхностном устном докладе коснулся вопроса о реорганизации воздушных сил. Он предложил увеличить военный воздушный флот, пополнив его тысячей новых самолетов. Прошло больше двух лет, пока эта тысяча самолетов была передана армии. Но за это время модели уже устарели!

Тем временем между социалистами и коммунистами шли переговоры. Начало

было положено объединенной демонстрацией 12 февраля 1934 г. За ней последовали неоднократные обращения коммунистов к социалистам с предложением о согласованных действиях. После пятимесячных переговоров между обеими партиями было заключено соответствующее соглашение.

Вожди французских социалистов шли на установление единого фронта с коммунистами очень неохотно и с большой опаской.

За месяц до того как соглашение было официально подписано, исполнительный комитет социалистической партии отверг предложение о совместных действиях с коммунистами большинством в 22 голоса против восьми. В числе этих 22 был и Леон Блюм, лидер социалистической партии. Была принята даже резолюция, в которой говорилось, что комитет считает в настоящий момент несвоевременным и неуместным продолжать переговоры с коммунистами. Но это решение, очевидно, противоречило настроениям большинства членов социалистической партии. Совместные выступления рабочих-социалистов с коммунистами следовали одно за другим. Блюм писал по этому поводу в газете «Попюлер»: «Чувствуешь себя точно на крутом откосе и спускаешься больше в силу инерции, чем по собственному желанию... Это прыжок в неизвестное...»

Соглашение социалистов с коммунистами, подписанное 27 июля 1934 года, не могло не вызвать отклика в рядах радикал-социалистической партии. Левое крыло радикал-социалистической партии начало келебаться. Прошло уже больше половины законного междувыборного четырехгодичного периода. В недалеком будущем предстояли выборы в Палату депутатов. Радикал-социалисты начали уже более доброзжелательно прислушиваться к проектам предвыборного союза с социалистами и коммунистами. Только таким путем они могли бы обеспечить себе возвращение в Палату. От их избирателей из провинции приходили груды писем и сообщений.

В конце октября напряжение в Париже достигло высшей точки. Ходили упорные слухи, что «Боевые кресты» готовят путч. Полковник де ла Рок произносил хвастливые речи, полные угроз по адресу тех, «кто тайно замышляет свергнуть великого патриота Думерга». «Боевые кресты» возобновили в широком масштабе военные маневры и пробные мобилизации, в которых участвовало большое количество самолетов. Де ла Рок был принят маршалом Петэном. Париж жил в атмосфере, грани-

чащей с гражданской войной. В информированных кругах передавали даже точную дату переворота — 11 ноября, годовщина заключения мира. В этот день обычно устраивались парады организаций бывших фронтовиков с традиционным шествием к могиле Неизвестного солдата и неугасимому огню под Триумфальной аркой. На этот раз, как говорили, после парада его участники не разойдутся. В то время как самолеты «Боевых крестов» «закроют парижское небо», их отряды захватят главные пункты столицы и многих провинциальных центров. Затем они прихлопнут «старую говорильню» — Палату депутатов — и утвердят «диктатуру пяти». На этот раз называли следующих кандидатов: Думерг, Петэн, Лаваль, Марке и генерал Вейган. Тардьё не было в их числе. И Тардьё навсегда затаил в душе ненависть против де ла Рока, исключившего его из списка будущих диктаторов. Тардьё отслужил полковнику несколько лет слуга.

Париж был в волнении. Около ста тысяч человек шли по улицам Парижа, требуя отставки Думерга. Это была контрдемонстрация, организованная левыми партиями накануне съезда радикал-социалистической партии.

Любопытно, что человек, который в конечном счете решил исход событий, был министр общественных работ в кабинете Думерга, Пьер-Этьен Фланден. Он в завуалированной форме предложил радикалам объединить силы с представляемой им группой и создать новый кабинет, в который бы не входил Думерг. Эррио ухватился за эту идею. Вместо того, чтобы вступить в серьезный конфликт с Думергом по основной проблеме — о реформе конституции, он выбрал для нападения сравнительно незначительный бюджетный вопрос. Думерг упорно отстаивал в Палате свои предложения. Радикал-социалистские министры внезапно вышли из зала вслед за Эррио. Кабинет Думерга перестал существовать.

Преемником Думерга стал Фланден. Ростом 6 футов и 6 дюймов, прозванный «небоскребом французского парламента», Фланден был самым молодым французом, получившим пост премьера, — он занял его в сорок пять лет. Эдуард Эррио вошел в кабинет министром без портфеля, а Пьер Лаваль получил портфель министра иностранных дел.

Фланден происходил из богатой и высокопоставленной семьи. Его отец был губернатором в Тунисе и оставил своим де-



Пьер-Этьен
Фланден



Леон Блюм

тям значительное состояние. Пьера-Этьена предназначали для судебной карьеры, но в двадцать лет он уже был избран в Палату от провинциального департамента Ионны. Он был одним из первых французских военных летчиков. В 1917 году он стал директором «Объединенной авиационной компании».

До того как стать премьером, Фланден занимал семь министерских постов в различных кабинетах. Он был лидером парламентской группы, известной под названием «демократического союза». Когда-то председателем этой группы был Пуанкаре. Здесь мы снова сталкиваемся с одним из хитросплетений французской парламентской системы. Левое крыло «демократического союза» — этой явно разношерстной коалиции — политически мало чем отличалось от своего ближайшего соседа слева, в то время как ее правое крыло резко расходилось с соседями справа. В меру возможности Фланден всегда тянул в правую сторону. Он участвовал исключительно в кабинетах, возглавляемых правыми. Вот почему маневр, при помощи которого он содействовал окончательному падению Думерга, вызвал немалую сенсацию. Но это было в порядке вещей парламентской действительности Франции. Фланден был тесно связан именно с теми кругами, которые стояли за Думергом и пользовались им как удобной ширмой. Но он считал вполне нормальным пустить в ход любые средства, чтобы занять место своего предшественника. Сложная обстановка осени 1934 года казалась ему подходящей для того, чтобы сделать быструю политическую карьеру. И как только подвернулся удобный случай, он, не теряя времени, сделал внезапный поворот влево — к радикал-социалистам. Его расчеты полностью оправдались.

Большим сюрпризом для всех явилось включение в кабинет Фландена в качестве

министра почт и телеграфа Жоржа Мандела. В последнее время Мандель усиленно охотился за министерским портфелем. Полученный им пост был, правда, не из крупных, но все же открывал широкие возможности. Став министром, Мандель мог читать частные телеграммы всех своих друзей и врагов. Фланден, боясь, что полиция будет подслушивать его телефонные разговоры, провел к себе отдельный провод. Он обошел полицию, но не расторопных агентов Манделя — они бодрствовали на своем посту, неведомые Фландену.

Социалисты и коммунисты заняли резко враждебную позицию в отношении нового правительства. Незадолго перед этим Фланден был замешан в скандале с «Авиапочтовой компанией». Эта фирма запуталась в мошенничестве и спекуляциях. Вскрытые следствием махинации вызвали большой шум и привели к банкротству трех парижских банков. Фланден состоял в должности официального консультанта «Авиапочтовой компании». Все данные говорили с очевидностью о том, что он продолжал получать у этой компании жалование и в период, когда он занимал пост министра финансов в предыдущем кабинете. Когда Фланден представлял свой кабинет Палате депутатов, с левых мест его приветствовали громкими криками: «Аэро-посталь! Аэро-посталь!» Но должно быть именно поэтому он получил вполне достаточное большинство голосов палаты.

Его кабинет держался семь месяцев. Затем ему пришлось расплачиваться за свой маневр, который «200 семейств» сочли предательством: за участие в свержении правительства Думерга. В мае 1935 года кабинет Фландена крайне нуждался в кредитах Французского банка. Фланден обратился к банку за поддержкой и получил скромную ссуду. Но банк одновременно выпустил коммюнике, в котором говорилось: «Правительству Фландена вскоре потребуются большие кредиты. Решение банка будет зависеть от того, насколько он сочтет себя удовлетворенным деятельностью правительства за время передышки, которая предоставлена ему в награду за выраженное им намерение вести политику защиты франка». Всякий понимал, что в этих словах был смертный приговор кабинету Фландена. Когда премьер еще раз обратился к Французскому банку с просьбой о кредитах, правление отказало ему наотрез, с холодной непреклонностью. Правительство Пьера Фландена запата-

лось, некоторое время оно беспомощно барахталось и затем пало в мае 1935 года.

ПЯТНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ЛАВАЛЯ

Эту главу Андре Симон посвящает тем пятнадцати месяцам, в течение которых французским министерством иностранных дел руководил Пьер Лаваль. Автор останавливается на основных международных событиях этого периода и указывает, что результатом их был отход Франции от ее традиционной внешней политики, построенной на так называемой системе коллективной безопасности.

В начале главы автор набрасывает портрет Лавалья.

Некоторые из биографов Пьера Лавалья утверждают, что он — сын мясника; другие — что его отец был владельцем кафе. Он среднего роста, слегка приземистый, коренастый. Цвет лица зеленовато-оливковый, как у большинства его земляков-овернцев; темные глаза и тяжелые веки; толстые губы и желтые от никотина зубы...

Лаваль — выходец из французской социалистической партии. В молодые годы он в течение некоторого времени занимался преподавательской деятельностью в своем родном городе. Потом изучал юриспруденцию в Париже. Перед войной 1914—1918 гг. он успел выдвинуться как «адвокат бедняков». Он познакомился с Аристидом Брианом — незадолго до того, как тот покинул ряды французской социалистической партии. Немногим старше тридцати лет Лаваль уже был избран в Палату депутатов от парижского пригорода Обервилье.

Лавалю не пришлось побывать на фронте во время войны. Зато он сумел основательно изучить тыл. Он сошелся с политическими деятелями, группировавшимися до большей части вокруг бывшего премьера Жозефа Кайо, близкого к заправилам финансового мира. Вскоре Лаваль, слывший среди социалистов представителем «левых» настроений, переместился на правое крыло партии. Леон Блюм как-то сказал о нем: «Никогда нельзя предвидеть, где Лаваль окажется завтра; известно только, что он всегда движется вправо».

Лаваль стал преуспевающим адвокатом грестов. Он сделался, в частности, доверенным юрисконсультом Франсуа де

Ванделя, председателя «Комите де Форж».

В 1935 году дочь Лавалья Жозе вышла замуж за графа Ренэ де Шамбрена, потомка маркиза де Лафайета. К этому времени состояние Лавалья исчислялось в сумме свыше трех с половиной миллионов долларов. Он получил графский титул от папы римского и был собственником трех больших поместий, старинного замка, скаковой конюшни и неопенимой коллекции предметов старины. Кроме того, он владел несколькими провинциальными газетами и торговой фирмой минеральных вод.

Из года в год он носит белый моющийся галстук одного и того же фасона. Одни объясняют это скупостью, другие — рекламным кокетством. Один социалистический депутат прервал как-то речь Лавалья в Палате возгласом: «Я хотел бы, чтобы ваши руки были так же чисты, как ваш галстук».

Касаясь первых шагов Пьера Лавалья как министра иностранных дел, автор книги рассказывает о его роли в разрешении саарской и абиссинской проблем. В то время в кругах французских политиков пользовалась популярностью идея совместной декларации французского и английского правительств о необходимости через десять лет провести вторичный плебисцит в Саарской области. Лаваль на заседании французского кабинета, опираясь на поддержку маршала Петэна, провел решение об отказе от такой декларации.

Что же касается дипломатических мероприятий Лавалья в области франко-итальянских отношений, то им в книге посвящены следующие строки.

В начале января 1935 года Лаваль отправился в Рим. Прощаясь с дипломатами, провожавшими его на вокзале, он в приподнятом тоне заявил:

— Я имею большие основания надеяться, что наступает новая эра во франко-итальянских взаимоотношениях...

Лаваль настоял на том, чтобы «Боевые кресты» инсценировали «восторженную встречу», когда он вернется из Рима в Париж. Как выяснилось из позднейших материалов по судебному делу де ла Рока, Лаваль уплатил «с головы» за каждого демонстранта, посланного «Боевыми крестами» на вокзал для встречи.



Жак Дорио



Пьер Лаваль

Палата депутатов и сенат также встретили его шумными овациями. Римское приглашение было одобрено подавляющим большинством голосов. Против голосовали только коммунистические депутаты. Лаваль сам составил коммюнике о заседании обеих палат.

Десять месяцев спустя, в октябре 1935 года, итальянские войска вступили в Абиссинию.

Дальше идет описание ряда дипломатических поездок Лавалья, связанных как с деятельностью Лиги наций, так и с отношениями между Францией и отдельными странами.

Лавалевские сторонники прозвали его «коммивояжером мира»; он пересаживался с поезда на поезд и с самолета в самолет, разъезжая по разным странам. Но почти каждая из этих поездок вела к дальнейшему ослаблению дипломатических позиций Франции.

В Женеве он произнес речь, проповедующую «веру в Лигу». Ему пришлось, однако, выдержать неприятный разговор с румынским министром иностранных дел Титулеску. Югославский дипломат, присутствовавший при этом разговоре, говорил потом, что на месте Лавалья он не потерпел бы оскорблений, которыми осыпал его Титулеску. Но Лаваль преспокойно проглатывал все и только скалил зубы.

В феврале 1935 года он, вместе с премьером Фланденом, поехал в Лондон. Один из коллег Лавалья, рассказавший мне о лондонском свидании, сравнил его со встречей двух бродяг, заблудившихся в джунглях. Оба смотрят друг на друга с плохо скрываемым подозрением, оба каждое мгновение ожидают удара. К этому и свелись лондонские переговоры: каждая из сторон подозревала другую, но обе не решались открыто поссориться из страха перед опасностями, которые в джунглях могут возникнуть каждую минуту...

Лондонский мыльный пузырь лопнул через три месяца, когда в Германии была введена всеобщая воинская повинность. Бледные и неподвижные сидели в Палате депутатов Лаваль и Фланден, когда правый депутат Франклен-Буйон бичевал их за «попустительство германским вооружениям». Когда Франклен-Буйон окончил свою речь, он обвел взглядом правые скамьи Палаты, ожидая, повидимому, бурного взрыва аплодисментов. Но хлопали лишь немногие из его коллег. Франклен-Буйон, растерянный, с налившимся кровью лицом, выскочил в кулуары. Увидев там своего старого приятеля, журналиста из бывших фронтовиков, он отчаянным голосом завопил: «Погибла Франция!» А в зале заседаний Лаваль, вновь обрешивший самоуверенный вид, сидел в ложе правительства, и рот его расплылся в широкой члыбке.

Несколько страниц Андре Симон отводит так называемому «стрезкому фронту» — соглашению Англии, Франции и Италии по вопросам ограничения вооружений и соблюдения договоров, в частности — Локарнского пакта. Для автора, как он сейчас пишет, уже в момент заключения стрезких соглашений не было сомнения в их чисто декларативном характере.

Три державы — Англия, Франция и Италия — торжественно заявляли, что они воспротивятся всякому одностороннему отказу от договоров, могущему поставить под угрозу мир в Европе. Этот документ получил громкое название «стрезкого фронта». Один наблюдательный комментатор назвал его гораздо лучше: «стрезкая бумажная стена, которая не выдержит первого дуновения ветра».

После описания поездки Лавалья в СССР для подписания франко-советского пакта автор возвращает читателя в Париж, где обстановка все более накалялась в связи с ростом политической активности народных масс.

Вскоре же после возвращения во Францию, Лаваль увидел, как его внутриполитические расчеты разлетаются в прах. Муниципальные выборы в Париже дали блистательную победу левым партиям. Особенно большого успеха добились коммунисты, завоевавшие большинство в окру-

жающих Париж пригородах — в индустриальном «красном поле» столицы. В Обервилье — округе, где Лаваль был мэром, — коммунисты нанесли поражение его сторонникам, несмотря на энергичную предвыборную кампанию, которой лично руководил сам министр.

Лаваль тотчас же начал воздвигать всяческие препятствия на пути к ратификации франко-советского пакта. Хотя по французской конституции не требуется ратификации таких договоров парламентом. Лаваль настоял, чтобы в данном случае была применена парламентская процедура. В результате окончательная ратификация затянулась до тех пор, пока не ушел сам Лаваль...

В июне 1935 года Пьер Лаваль возглавил новое правительство, оставив за собой портфель министра иностранных дел. Приблизительно в это же время полковник де ла Рок объявил от имени «Боевых крестов»: «Близок, очень близок день, когда мы возьмем власть в свои руки. Наши самолеты не будут показываться до тех пор, пока не наступит время нанести удар. Этот момент приближается».

Левые тоже мобилизовали свои силы. В Париже состоялся первый официальный митинг Народного фронта. Главными ораторами были социалистический лидер Леон Блюм, коммунистический лидер Морис Торез и вновь появившийся на горизонте лидер радикал-социалистов Эдуард Даладьё. По своему значению митинг был событием из ряда вон выходящим — он официально освящал временное соглашение о совместных действиях мелкой буржуазии и рабочего класса. Обращаясь к переполнившим зал слушателям, Даладьё выразил свою благодарность за то, что он имеет возможность говорить перед социалистическими и коммунистическими рабочими. «Как представитель мелкой буржуазии, — ораторствовал он, — я утверждаю, что средние классы и рабочий класс — естественные союзники. Громовым эхом отозвался по всей стране парижский митинг».

В день 14 июля — годовщину взятия Бастилии, Париж увидел самую величественную, яркую и красочную демонстрацию, какую знает современная история Франции. Полмиллиона людей шествовали сомкнутыми рядами. Во главе бесконечных колонн шли Даладьё, Блюм и Торез. На исторической площади Бастилии лидеры дали торжественную клятву бороться за свободу, равенство и братство.

На Елисейских полях демонстрировали тысяч тридцать «Боевых крестов» — под охраной плотной стены полицейских, отгораживавших их от колонн Народного фронта. Было ясно: в Париже легионам полковника де ла Рока будет во всяком случае мудрено осуществить свои угрозы.

Автор книги приводит далее материалы о разногласиях, возникших между Англией и Францией по абиссинскому вопросу, поставленному на повестку Лиги наций.

Газеты, хорошо известные своей близостью к Лавалю, открывали почти ежедневно ураганный огонь по Великобритании. Их нападки напоминали по ожесточенности дни Фашоды в 1898 году, когда Англия и Франция были на волосок от войны. Фашистский еженедельник «Гренгуар» поместил вызвавшую общее возбуждение статью Анри Бери, в которой говорилось: «Англия должна быть низведена на положение раба... Придет день, когда мир будет достаточно силен и мудр, чтобы обратиться в рабство тирана, пользующегося репутацией непобедимости».

Это писалось в 1935 году!

Английское министерство иностранных дел ответило на эту антианглийскую кампанию кампанией против Лавалья.

В заключительной части главы рассказывается о сорвавшейся, ввиду нарастания революционных настроений среди рабочих, попытке полковника де ла Рока повторить фашистский путч в годовщину «дня перемирия». Автор книги приводит данные о том, что выступление «Боевых крестов» было отменено самим Лавалем, который учел возможность решительного сопротивления масс, объединенных Народным фронтом.

Дипломатическая полемика, вызванная абиссинским вопросом, продолжалась между Англией и Францией с возрастающим упорством.

Обе державы старались свалить друг на друга ответственность за банкротство лиги наций. Желая прижать Лавалья к стене, Лондон поставил ему в упор вопрос: может ли английский флот, если он подвергнется нападению в Средиземном море, ассчитывать на помощь французского флота? Ответ Лавалья был слишком многоповным, чтобы его можно было принять за «да». Но в то же время его нельзя бы-



Эдуард Эррио



Эдуард Даладьё

ло толковать и как «нет». Лаваль поставил встречный вопрос: поддержат ли англичане Францию, если ее союзники подвергнутся нападению? Тут настала очередь англичан прикусить язык.

Крупным дипломатическим провалом Лавалья явился так называемый «план Хора—Лавалья» по тому же абиссинскому вопросу. Вернее, не самый план, а его преждевременное оглашение в печати французскими журналистами. Это повело, в конце концов, к падению кабинета Лавалья.

Опубликованный в газетах план вызвал бурю негодования... Лаваль покинул Палату с улыбкой на устах. Он наскреб жалкое большинство в двадцать голосов. «Ну и хватит, чтобы продержаться до выборов», — сказал он мне в кулуарах.

Но не прошло и месяца, как кабинет Лавалья пал; это было в январе 1936 года. Подчиняясь настроениям, охватившим страну, Эррио вышел в отставку. Это решило судьбу правительства Пьера Лавалья.

ДВА ЭДУАРДА

В декабре 1935 года Эррио сложил с себя обязанности председателя радикал-социалистской партии — пост, который он занимал много лет подряд.

Эррио не был большим поклонником Народного фронта. В годовщину взятия Бастилии лионские радикал-социалисты не демонстрировали бок-о-бок с социалистами и коммунистами. Эррио, мэр города Лиона, предпочел, чтобы они держались особняком. А теперь он чувствовал, что настал момент, когда председательский пост в партии должен перейти к Эдуарду Даладьё, лидеру того крыла радикал-социалистов, которое тяготело к Народному фронту.

Даладьё был учеником Эррио, сначала в школе, а потом и в политике. Но, примерно, в 1928 году их пути разошлись. Даладьё, снедаемый честолюбием, сорвался с привязи, — он желал сделаться сам

лидером партии. Когда он впервые стал премьером, Эррио отнесся к этому в высшей степени критически.

Соперничество между обоими лидерами оказало большое влияние на судьбы французской радикал-социалистской партии. Начиная с 1933 года Даладьё и Эррио, как правило, занимали противоположные позиции по всем вопросам — шла ли речь о внутренней или внешней политике. Даладьё, вернувшегося после короткого антракта на сцену, февральские беспорядки толкнули влево. Он сделался признанным глашатаям Народного фронта у радикал-социалистов. «В случае тревоги идите налево!» — таков был его лозунг. Впрочем, впоследствии он сделал вольт и круто повернул в обратную сторону. Но тогда налево — под влиянием событий — пошел Эррио. В течение целого года казалось, что эти два политических деятеля обменялись костюмами.

Критические месяцы, пережитые Францией, показали полнейшую несостоятельность обоих лидеров в момент кризиса. Оба они были радикал-социалистами. И это в конечном счете говорит о них больше, чем любой психологический анализ.

Эррио родился в семье армейского офицера. Но в его наружности нет ничего, напоминающего солдата. У него массивная голова и массивный живот; глазки маленькие, но взгляд острый и пронизательный. Голос Эррио знает все тембры, регистры и оттенки. По ораторскому таланту он не уступает никому из парламентских деятелей новейшей истории Франции. Когда Эррио выходит на трибуну конгресса радикал-социалистской партии, он может заставить слушателей плакать или корчиться от хохота, может зажечь их огнем энтузиазма. В течение пятнадцати лет он, в буквальном и переносном смысле, как башня возвышался над толпой съезжавшихся на конгресс радикал-социалистских делегатов. А когда его красноречие переставало действовать, он становился на дыбы и угрожал отставкой. Радикал-социалистский конгресс без очередного заявления Эррио об отставке считался скучным.

Эррио окончил с высшим отличием «Эколь Нормаль», из которой вышли многие представители французской политики и литературы. Он с большим успехом занимался преподавательской деятельностью. Но политика привлекала его с ранних лет, и вскоре он почувствовал себя на трибуне, как дома.

Эррио мерещилась либеральная Европа, сплотившаяся в Лиге наций вокруг английской и французской демократий. Он надеялся осуществить этот идеал при помощи кампании в пользу разоружения и уступок веймарской республике. Но еще тогда, когда Франция была первой военной державой европейского континента и ее экономическая мощь была прочно ограждена от возможных посягательств, Эррио испытывал страх при мысли о падении рождаемости во Франции и о грандиозных военных и промышленных возможностях Германии. Он начал проповедывать соглашение с СССР и более тесное сближение с США. Он видел Францию в роли стража либеральных принципов, связанного союзом с Англией и поддерживаемого с флангов потенциальными союзниками в лице СССР и США.

Ради этой концепции — либерализм, разоружение и французская безопасность — Эррио не щадил трудов. Но его сила воли далеко не соответствовала его широкому и пронизательному уму. Всякий раз, когда он встречался с энергичным сопротивлением, он отступал. Его противники не стеснялись пускаться против него в ход все, что могло бы его уронить в глазах общественного мнения. Эррио совестился вступать в борьбу на этой почве и уступал. Он довольствовался словесными обличениями и в страстных филиппиках укорял обладателей золотых мешков в том, что они ставят палки в колеса всякому работоспособному французскому правительству. Но вместо того, чтобы сражаться с этими своими противниками всеми имеющимися в его распоряжении средствами, он вступал с ними в компромиссы. Он клеймил плутов и взяточников, но чувствовал себя неспособным бороться с злоупотреблениями. Мало того, он брал под свою защиту многих коллег по партии, которые, как ему прекрасно было известно, использовали депутатское звание для личного обогащения.

Он твердо верил в коллективную безопасность. Но он хранил молчание, когда руководящие деятели его партии, Даладьё и Бонне, взрывали эту коллективную безопасность изнутри. Он подготовил фундамент для франко-советского пакта о взаимной помощи. Но когда Даладьё и Бонне изорвали пакт в клочки, он позорно капитулировал перед ними. Были моменты, когда один жест Эррио, одно его слово, простое выступление против зловещих махинаций «пятой колонны» могли бы повлиять, хотя бы временно, на курс фран-

цузской политики. Жест остался несделанным; слово осталось произнесенным.

Эррио любил, слишком любил легкую, привольную жизнь Третьей республики. Литератор и знаток искусства, он писал хорошие книги о Бетховене, о мадам Рекамье, о прекрасном городе Лионе и... о прекрасной французской демократии.

Эррио любит поесть, его тянет к еде, как других к спиртным напиткам. Мне часто казалось, что Эррио в состоянии опьянеть от еды. Он особенно бывал в ударе после изысканной и в то же время обильной трапезы в духе лучших традиций французской кухни. Его речь сверкала тогда, как фейерверк.

Эррио всегда оставался глубоким пессимистом. Он сказал мне однажды, что не верит в возможность решительного изменения французской политики. Свою собственную слабость он принимал за национальное свойство. Его личное обаяние, авторитет и блестящая культура скрывали за собой пустоту безверия. Он не принадлежал к лагерю «умиротворителей». Но его колебания, его любовь к комфорту, к легкой жизни, его стремление всегда идти по линии наименьшего сопротивления и, наконец, недостаток мужества в решающие моменты — все это в немалой степени способствовало крушению Французской республики. От ораторского огня Эррио никому не было ни тепло, ни холодно.

Небольшого роста, коренастый, с бычьей шеей — таков портрет Эдуарда Даладье. Он никогда не принадлежал к числу выдающихся французских ораторов. Ему не дано было воспламенять делегатов радикал-социалистских конгрессов и ослеплять парламент блесками красноречия. Эррио укреплял свое влияние в партии на ее конгрессах; Даладье предпочитал работать в промежутках, занимаясь обработкой делегатов к очередному съезду. Он питал особое пристрастие к людям достаточно честолюбивым; чтобы добиваться влияния, и достаточно раболепным, чтобы не соперничать с «патроном». Эррио сам выдвигал деятелей вроде Даладье и Шотана, которые потом предали его и отняли у него руководство партией; Даладье поощрял лишь людей со смиренной чиновничьей душой.

Даладье любил разыгрывать из себя «сына народа». Он подчеркивал, что добился всего благодаря своему прирожденному таланту. Он охотно рассказывал о своей тяжелой юности и о том, как он сделал карьеру без всякой посторонней помощи. Он часто называл себя продук-

том французской демократии, где «каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл».

Молчаливость и подозрительность отгораживали его от людей. В его окружении было всегда лишь несколько человек, скорее официальные сотрудники, чем близкие друзья.

Даладье — человек обыкновенных вкусов и простых привычек. Он питает особое пристрастие к определенному сорту абсента; это в течение многих лет давало богатую пищу шутникам и карикатуристам. Возможно, рассказы насчет его злоупотребления абсентом преувеличены, но не подлежат сомнению, что он отдаст ему много внимания. Как-то раз, по поручению редакции, я поехал в военное министерство, чтобы получить у Даладье очень срочную и чрезвычайно важную информацию. Один из его секретарей посоветовал мне не настаивать сейчас на приеме: «Напрасно вы не пришли перед аперитивом. После аперитива премьер бывает всегда в очень плохом настроении».

Даладье часто выходил из себя и устраивал бешеные сцены. В таких случаях он невероятно грубо обращался со своими сотрудниками. Зато он избегал публично воздавать им должное. Он был подвержен частой смене настроений: то поднимался на вершины благодушия, то проваливался в бездну депрессии. Подчас он воображал себя сильным человеком с горделивой осанкой, маленьким Наполеоном; а потом вел себя, как подлый трус.

Меня всегда поражала печать посредственности, явственно лежавшая на всех поступках Даладье. Мне часто приходилось наблюдать его, но я не помню, чтобы когда-нибудь слышал от него хоть одну меткую фразу, хоть одну формулировку, действительно проникающую в самую суть вопроса.

Даже оруженосцы Даладье называли его посредственностью. Как-то раз мне пришлось завтракать с радикал-социалистским депутатом Альбером Шишери, который во время последнего премьерства Даладье был его «подручным» по обработке членов Палаты. Шишери весьма пренебрежительно отзывался о своем шефе. «Я бы не доверил ему должность управляющего моей фабрикой», — заявил он в присутствии по крайней мере десятка слушателей. Но пост премьерера Франции он ему доверил.

Клемансо однажды сказал, что панически боится филистеров, ибо они самые

лживые из всех человеческих существ. Эта характеристика вполне подходит к Даладье. Внешне он производил впечатление человека искреннего и откровенного, но вне всяких сомнений был одним из величайших лицемеров, подвизавшихся на арене французской политики. Именно лицемерие помогло ему сделать карьеру.

Его излюбленным приемом было сваливать с больной головы на здоровую. Во время войны в Испании Даладье в моем присутствии неоднократно высказывался за поддержку республиканского правительства. Он утверждал, что был бы рад снабжать республиканцев оружием, но ему запрещает это Леон Блюм. А когда он сделался премьером, он тотчас же — это был один из первых актов его правительства — герметически закрыл франко-испанскую границу.

Я сам слышал, как Даладье метал громы и молнии против Жоржа Боннэ, которому он в 1938 году дал в своем кабинете портфель министра иностранных дел. Он не раз драматически восклицал, что выгнёт его в двадцать четыре часа. Но Боннэ оставался министром иностранных дел в течение полутора лет.

Даладье называл себя «последним якобинцем». Но у него не было ни огня, ни искренней убежденности якобинцев. Он разглагольствовал о «Франции, последнем оплоте свободы». Но не кто иной, как

он, способствовал ее поражению. Один из виднейших французских публицистов назвал его однажды «зловещим комедиантом». Это, на мой взгляд, вполне справедливая и точная характеристика Эдуарда Даладье.

КАБИНЕТ НУЛЕЙ

Эта глава книги почти целиком посвящена «промежуточному» кабинету Сарро—Фландена. Этому «кабинету нулей», как его называет Андрэ Симон, суждено было, однако, стать у кормила правления в острый период международных отношений: на горизонте стала вырисовываться перспектива ремилитаризации Германией Рейнской зоны. Автор рассказывает, как политика «умиротворения», распространенная и на рейнскую проблему, сочеталась у правых государственных деятелей Франции с всемерной оттяжкой ратификации франко-советского пакта.

Крайне-правая пресса, предугадывая намерение Сарро ратифицировать франко-советский пакт, повела против этого яростную кампанию. Генерал Луазо, посетивший советские военные маневры осенью 1935 года, докладывал французскому генеральному штабу: «Я считаю Красную Армию первой в мире по танковым вой-



Первомайский митинг 1939 года

скам». Но правая пресса кричала, что технически Красная Армия оснащена слабо, что это в лучшем случае армия оборонная, не имеющая значения для Франции на случай нападения на французские границы.

В Палате депутатов ораторы правых партий громоздили один довод на другой, отчаянно борясь против ратификации пакта. Особенно усердно распилился Жак Дорио¹. За сценой ревностно действовал Лаваль.

Франко-советское соглашение было ратифицировано в Палате 353 голосами против 164.

В конце главы автор рисует картину новых выборов во французский парламент, давших крупную победу партиям Народного фронта.

Народный фронт получил 5 500 000 голосов (1 900 000 за социалистов; 1 500 000 за коммунистов, свыше 1 400 000 за радикал-социалистов). 4 300 000 голосов было подано за партии правых и центра. В Палате Народный фронт был представлен 375 депутатами из общего числа 618.

¹ Дорио, разоблаченный как троцкистский провокатор, после изгнания его из рядов французской компартии открыто перешел в лагерь фашизма и стал одним из его платных агентов.

Движение Народного фронта пронеслось над страной как освежающее дыхание ветра.

По всей Франции прокатилась волна стачек и забастовок.

В начале июля прекратили работу фабрики, товарные склады, государственные магазины, типографии и частные пароходства.

По поводу забастовок шли разнообразные толки и давались неправильные сведения. Я ежедневно, часто в компании английских и американских коллег, обходил фабрики и магазины, где бастовали продавщицы. Мы ни разу не подверглись ни малейшему насилию. Покупателей встречали у дверей магазина с приветливой улыбкой, предлагая принять участие в пожертвованиях.

Стачный комитет строго следил за тем, чтобы не было допущено никакого нарушения порядка. Бастующие имели вид беззаботных солдат после одержанной победы или накануне боя, в исходе которого они уверены.

4 июня в забастовке принимало участие до 800 тысяч человек. Наконец, к вечеру этого дня было сформировано первое правительство (Народного фронта, с Леоном Блюмом во главе.



в Венсенском лесу



Леон Блюм на трибуне

РЫЦАРЬ «НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА»

Председатель Палаты Эдуард Эррио опустил молоток: — Слово имеет председатель Совета министров!

На трибуну поднялся Леон Блюм, чтобы зачитать правительственную декларацию. Это было 6 июня 1936 года, через месяц после крупной победы партий Народного фронта на выборах в Палату депутатов.

Фигура Блюма, должно быть, пробуждала в депутатах множество воспоминаний и размышлений. Они видели его не впервые. Его седые волосы, продолговатое лицо в очках и обвисшие моржовые усы, тощая сутулая фигура и жилистые руки, которыми он, как дечами, взмахивал во время речи, — все это было для многих членов парламента привычным зрелищем. Они довольно часто слышали тонкий, девический, как кто-то назвал его, голос Блюма. Они знали его извилистую, запутанную аргументацию, его пристрастие к *mots justes* (отточенным оборотам речи), все его слабости и достоинства.

Леону Блюму было шестьдесят четыре года, когда он стал французским премьером. Он вступил на политическую арену в сравнительно позднем возрасте. По словам одного из старых друзей Блюма, семья прочла его в писатели или адвокаты. Но никто не предсказывал ему политической карьеры.

Еще в юности Леон Блюм обнаружил страсть к театру. Много лет подряд он писал статьи о театре для одного из самых снобистских изданий во Франции — «Ревю бланш».

Он сотрудничал также в «Матэп» и позже — в «Комедиа», одном из ведущих театральных журналов. Он чувствовал себя как дома и на театральной премьере, и в элегантной толпе любителей скачек в Лонгшане. Блюм был в свое время характерной фигурой так называемого «розово-

го десятилетия» во французской литературе и искусстве.

На гражданскую службу он поступил в качестве юриста. Здесь он достиг самого высокого положения: он стал советником Верховного суда Франции по делам, затрагивающим конституцию.

Ученый библиотекарь «Эколь Нормаль» профессор Люсьен Герр впервые познакомил Блюма с социалистическими теориями. Он же свел его с Жаном Жоресом. Более десяти лет Леон Блюм провел в тени этого великого трибуна.

В 1919 году Блюм был избран членом парламента. Через два года он возглавил группу социалистов, отколовшуюся от партии на национальном съезде в Туре, большинство которого высказалось тогда за принятие коммунистической платформы. Вскоре после этого он стал лидером реорганизованной социалистической партии и редактором ее официального органа «Попюлер».

Тайна блюмовского влияния в социалистической партии заключалась в его «синтетической стратегии». Когда разные группы внутри социалистической партии скрещивали на совещаниях дшаги, отстаивая противоположные, иногда по видимости непримиримые, предложения, — Леон Блюм всегда находил формулу, приемлемую для обоих споривших лагерей. Но здесь таилась и слабость Блюма. «Синтез» выручал совещание, но никогда не уничтожал до конца разногласий, приводивших социалистическую партию к частым расколам.

Тенденция к компромиссу — самая характерная черта Леона Блюма. Движение Народного фронта имело своей причиной не столько стремление партий к соглашению, сколько активное желание масс добиться перемен в политике. Леон Блюм, призванный стать носителем этого чувства масс, казался удрученным и — как показывают некоторые его речи — даже

напуганным этой миссией. Он предпочитал дебаты на высокие темы в привычной обстановке зала заседаний и не любил накаленной атмосферы больших митингов. Очень редко возникало у него ощущение органической связи с массами, которыми он руководил. В его отношении к простому народу была как-то отчужденность, даже бессознательное высокомерие.

Сформированный Блюмом кабинет состоял из социалистов и радикал-социалистов. Эдуард Даладье занял пост заместителя премьера и военного министра. Неожиданностью явилось новое назначение на Кэ д'Орсе: министром иностранных дел стал новый человек — Ивон Дельбос. Он принимал в свое время активное участие в борьбе против иностранной политики Лавалия. В период кабинета Лавалия он приобрел репутацию пламенного поборника коллективной безопасности. Однако замкнутый, боязливый, колеблющийся Ивон Дельбос был лишен энергии, необходимой для того, чтобы возвести новое здание на развалинах, оставшихся после Лавалия и Фландена.

Под давлением многочисленных бурных стачек, нередко принимавших форму занятия предприятий рабочими, парламент спешно провел ряд предложенных правительством Блюма реформ. За два с половиной месяца законодательной сессии было принято 65 законопроектов. Были введены 40-часовая неделя и оплачиваемые двухнедельные отпуска; коллективные договоры стали обязательными. Была декретирована национализация военной промышленности. Правление Французского банка было реорганизовано. Над представителями «200 семейств» был поставлен генеральный совет, в состав которого девять человек назначались правительством, шесть избирались из списка лиц, выдвинутых профсоюзами, крестьянскими группами, торговыми палатами, ремесленными объединениями и коммерческими организациями; и лишь двое избирались владельцами акций. Сенат внес в этот законопроект лишь две незначительные поправки. Когда он стал законом, печать Народного фронта приветствовала его как крупную победу. В состав генерального совета банка был введен руководитель Всеобщей конфедерации труда Леон Жуо, человек с солидным брюшком и тщательно подстриженной бородкой клинышком. Один старожил, из числа служащих банка, позже признавался: «У меня мурашки по спине забегали, когда я в первый раз увидел, что Жуо входит в зал заседаний

Французского банка. Но потом мы отлично сработались», — прибавил он, подмигивая.

По другому закону распускались вооруженные лиги. На основании этого закона министр внутренних дел Роже Салангро, старый социалист и мэр города Лилля, объявил распущенными организацию «Боевых крестов» и несколько других групп. Однако это не остановило деятельности фашистских организаций. Полковник де ла Рок переименовал свою лигу, назвав ее «Французской социальной партией». Под этим невинным названием продолжалась «работа» запрещенных «Боевых крестов». Последователи де ла Рока все так же маршировали по улицам Парижа, выкрикивая угрозы по адресу Народного фронта.

Празднование годовщины взятия Бастилии проходило по всей Франции с большим подъемом. Праздник 14 июля обещал превратиться в огромное всенародное торжество. Количество демонстрантов, по разным подсчетам, колебалось от 500 тысяч до 700 тысяч человек. Блюм и Торез опять шли в первых рядах процессии. Даладье отсутствовал. Но это была последняя объединенная демонстрация, на которой присутствовал Леон Блюм.

Я не видал этой демонстрации. Мой редактор получил сведения из дипломатических источников, что в Испании ожидается военный мятеж. Меня командировали в Мадрид. В день демонстрации в Париже я был принят испанским премьер-министром Кирога. Я спросил его о наводящих Мадрид тревожных слухах, согласно которым генералы в ближайшие дни собираются поднять оружие против республиканского правительства. «Уверю вас, — отвечал Кирога, глядя мне прямо в глаза, — армия лояльна. До тех пор, пока конституция уважается, ждать чего-нибудь плохого от армии не приходится. От всей души приглашаю вас проехать по Испании. Поглядите сами».



Леон Жуо



Луи Марэн

Через четыре дня генерал Франко поднял восстание. Оно потрясло не только Испанию, но и всю Европу. Есть старая испанская поговорка: «Мир дрожит, когда шевелится Испания». Она оказалась пророческой.

Мятеж генерала Франко поставил правительство Блюма в трудное и сложное положение. Его внешняя политика подверглась первому серьезному испытанию.

Выстрелы в Испании отдались во Франции грохочущим эхом. Общественное мнение было наэлектризовано. Сторонники Народного фронта тотчас же высказались за поддержку испанского республиканского правительства, правые партии стали на сторону генерала Франко. Реакционные газеты «Жур» и «Гренгуар» рисовали самые чудовищные картины воображаемых жестокостей, якобы совершаемых сторонниками республики. Франко же изображался рыцарем в белоснежных доспехах, светлым избавителем цивилизации от безбожной дровожадной черни.

Блюм спешно отправился в Лондон. Беседа с англичанами длилась двое суток. После этого как Блюм, так и Дельбос приняли безоговорочно британскую политику. Как передавали, англичане предупредили французских делегатов, что всякая иная позиция Франции в испанских событиях, кроме нейтральной, была бы в высшей степени не по вкусу Лондону. Консервативные круги Англии смотрели на генерала Франко, как на джентльмена, победа которого в высшей степени желательна.

Опубликованное после окончания переговоров коммюнике, по выражению одного французского депутата, произвело впечатление «упавшего с луны». Уж не началась ли снова эра беспочвенных деклараций и «клочков бумаги»? Не собиралось ли правительство Народного фронта повторять внешнеполитическую игру своих предшественников?

Между тем правая пресса начала обви-

нять правительство Блюма в тайной отправке оружия и самолетов правительству Испании. Главной мишенью нападок был министр авиации Пьер Кот. «Пьер Кот — убийца! Пьер Кот — торговец войной! Cot-la-Guerre!» — визжали газеты. Единственным ответом кабинета Блюма было невнятное заявление, что никакого оружия мадридским властям не передается.

Напрасно испанское правительство требовало выполнения заказов на самолеты и оружие, размещенных во Франции еще до начала войны. 8 августа правительство Блюма официально запретило вывоз самолетов и вооружения в Испанию. В коммюнике сообщалось, что французский Совет министров обратился к некоторым другим правительствам с предложением заключить соглашение об аналогичной линии поведения. Политика «невмешательства» появилась на свет!

Вскоре после заседания кабинета, на котором были приняты эти решения, я встретил одного министра-социалиста. Он был в ужасе. «Это конец! — сказал он. — Запомните хорошенько эту дату! Это, в сущности, падение кабинета Блюма. Да, я знаю. — внешне он попрежнему у власти. Но то правительство Блюма, которое мы знали, — оно перестало существовать. Когда мы пришли к власти, для Франции началась новая эра. Сегодня мы возвращаемся к разбитому корыту».

В то время эта нервная вспышка показалась мне преувеличенной. Но события показали, что мой собеседник был прав. Вот вкратце то, что он рассказал мне о заседании кабинета.

Дельбос изложил Совету министров план политики невмешательства. По этому плану Германия, Италия, Франция и Великобритания должны были взять на себя обязательство «игнорировать» гражданскую войну в Испании и запретить экспорт всех видов оружия для обеих сторон.

Тут поднялась буря. Большинство кабинета высказалось против плана. Блюм был вынужден вмешаться в спор, пустив в ход свой авторитет премьера. Английский посланник, сэр Джордж Клерк, — заявил Блюм, — передал, что «английское правительство не будет в состоянии поддержать Францию, если последняя, в результате занятой ею позиции, окажется втянутой в войну». Радикал-социалистский министр без портфеля, расчетливый Камилл Шотан, присоединился к Блюму. Даладьде пригрозил отставкой, если предложение Дельбоса не будет принято. Его



Шарль Спинас



Франклен-Буйон

целиком поддержали два министра-социалиста — сухой, сардонический Поль Фор и Шарль Спинас, возглавлявший министерство народного хозяйства. Они доказывали, что всякая другая позиция вовлечет Францию в войну.

Прямолинейный Пьер Кот выступил от той группы членов кабинета, которая требовала поддержки республиканского правительства Испании. Он обрисовал стратегическую опасность, которая возникнет для Франции, если Испания будет покорена франкистами.

Заседание трижды прерывалось. Президент Лебрен выступил посредником и, в конце концов, убедил Пьера Кота и его сторонников уступить «пред лицом реальности». В течение всего словесного сражения Даладе только один раз раскрыл рот.

Позже в беседе с одним испанским министром Леон Блюм старался разъяснить, почему он не мог проводить другой политики в испанском вопросе. Он привел два основания: прежде всего, сильное давление Англии; во-вторых, тот факт, что гражданская война в Испании явилась толчком к резкому политическому размежеванию во Франции. Левые — представители Народного фронта — были пламенными сторонниками республиканцев; правые — «200 семейств», фашистские группы, избранное общество парижских салонов и часть армии — были столь же горячими сторонниками Франко.

Реакционные газеты и правые партии горячо приветствовали решение кабинета Блюма. Еще больше радовали их доходившие до них сведения о закулисной стороне заседания кабинета. Лидеры правых увидели воочию, что социалистическая партия — самая большая партия во Франции — стоит перед глубоким расколом, что, впрочем, уже не раз бывало с социалистами. Правые понимали, что «реалистический характер» правительственной практики уже производит свое действие на Блюма. С этого дня можно было смелее вести против него борьбу.

Представителям профсоюза французских рабочих-металлистов Блюм сказал: «За кого вы меня принимаете? Мои усилия добиться нейтралитета и невмешательства в Испанию только начали давать плоды. Неужели же вы ждете, что я поверну свою политику вспять?»

Осенью французские правые партии перешли в контратаку по всему фронту. Еще вначале члены Сената, вотируя вне-

сенные правительством Блюма законы, с трудом скрывали свое недоброжелательное к ним отношение. Теперь недоброжелательность перешла в прямую враждебность. Раскол в рядах Народного фронта ускорил новое нападение руководящих коммерческих групп на курс франка. Возобновилось в огромных размерах бегство капиталов из Франции. Финансовое положение правительства стало непрочным. Блюм решился на внезапный маневр — девальвацию франка.

После бессонной ночи, которую министр финансов Ориоль провел у телефона в переговорах с Лондоном и Вашингтоном, девальвация была объявлена. Она была связана с так называемым тройственным валютным соглашением между Францией, Великобританией и Соединенными Штатами.

Но достаточно было правительству присоединить к девальвации законопроект, введший скользящую шкалу заработной платы, чтобы Блюм получил против себя в Сенате подавляющее большинство голосов. Это было первое крупное поражение, которое правительство потерпело от реакционеров и которое свидетельствовало о том, что за четыре месяца положение кабинета Блюма значительно пошатнулось. Это поражение содействовало, кроме того, обострению разногласий внутри Народного фронта, поскольку коммунисты и большая часть профсоюзов возражали против девальвации франка.

Очередной съезд радикал-социалистов уже отчетливо показал, что внутри партии имеются значительные силы, готовые взорвать Народный фронт. Самая шумная группа возглавлялась двумя друзьями Жоржа Бонна — Эмилем Рошем и Пьером Домиником, редакторами газеты «Республик». На съезде, происходившем в нескольких милях от испанской границы, в очаровательном курортном городке Биаррице, многие делегаты требовали открытого разрыва с коммунистами в связи с их позицией в испанском вопросе. Этому удалось избежать лишь с большим трудом. Правая пресса ликовала.

Между Биаррицем и франко-испанской границей курсирует автобус. Пограничный город Хендэй и город Ирун на испанской территории соединены мостом. Когда радикалы съезжались в Биарриц, над Ируном уже развевался флаг Франко. Мятежники вступили в этот город в сентябре. Республиканские отряды, израсходовав последние патроны, отступили по Интернациональному мосту во Францию.

Войдя в Хендэй, они увидели у вокзала шесть грузовиков с испанским военным снаряжением. Оно было послано защитникам Ируна из Каталонии законным испанским правительством, через французскую территорию. Французское правительство задержало эти боевые припасы чуть ли не на расстоянии полета камня от осажденного, истерзанного города.

Газетная война вокруг Испании была прервана на несколько дней. Печать посвятила первые страницы самоубийству французского министра внутренних дел Роже Салангро.

Имя Салангро было связано с декретом о роспуске фашистских лиг. Этого фашисты не могли простить; Салангро должна была постигнуть жестокая кара. Фашистский еженедельник «Гренгуар» открыл кампанию травли против социалиста — министра внутренних дел, обвиняя его в том, что он будто бы дезертировал на сторону врага во время мировой войны. Газета утверждала, что может доказать это, что у нее есть свидетельские показания шести солдат, служивших вместе с Салангро. Мало того, Салангро обвинялся в еще более страшном преступлении: в выдаче военных тайн германскому командованию.

Клеветническая кампания велась с неслыханным озлоблением не только в «Гренгуар», но и в некоторых других реакционных газетах.

Дело разбиралось в Палате депутатов. Салангро был оправдан подавляющим большинством. Генерал Гамелен присоединился к защитникам Салангро, — он даже дал присягу, что министр внутренних дел не дезертировал.

Я встретил Салангро вскоре после заседания парламента. Я поздравил его. Но он не принял моих поздравлений.

— Я конченный человек, — пробормотал он. — Этих подлых негодяев не остановить. Видимо, надо показать пример, как отвечать на это...

— Какой пример? — спросил я.

— Вот об этом я как раз и думаю.

Через два дня он покончил с собой.

Смерть Роже Салангро произвела подавляющее впечатление на народные массы. Перед ними стоял образ министра, члена правительства, которое всего несколько месяцев тому назад пришло к власти в результате исключительной победы Народного фронта. И этот человек не сумел найти защиты от реакционеров, которые считались побежденными. Всем было ясно, что самоубийство оказалось

для него единственным способом прекратить клеветническую кампанию фашистской газетки. Значит, эта газетка была более могущественна, чем министр правительства Народного фронта.

Палатой был принят закон, карающий за клевету; но «Гренгуар» продолжала свою кампанию. Не было ни одного видного сторонника Народного фронта во Франции, который не подвергался бы неслыханным оскорблениям и нападкам по тому или иному поводу. «Гренгуар» оперировала материалами все тех же архивов бывшего префекта полиции Кьяппа, — его зять был владельцем этого гнусного листка.

Кабинет Блюма уже был близок однажды к падению, — это было в конце 1936 года. Во время дебатов по испанскому вопросу коммунисты отказались поддерживать политику правительства и воздержались от восторга доверия. В ответ на это Блюм огласил решение правительства предоставить всем державам действовать по их усмотрению. Он цитировал Меттерниха: «Я никогда не посылаю ультиматума, не имея за собой достаточных вооруженных сил».

Стратегия французских реакционеров заключалась в том, чтобы разбить коалицию социалистов с радикал-социалистами, а затем отделить социалистов от коммунистов. Правые в этот период считали еще преждевременным создание «национального правительства» во главе с Думергом и Лавалем. Вместо этого правые решили сначала создать «чистый» радикал-социалистский кабинет. Этим и объясняется перемена отношения реакционных групп к Даладе и Шотану, которых всего год тому назад правая пресса величала убийцами и предателями.

В самом начале 1937 года начался второй отлив капиталов из страны. На этот раз он принял скандальные размеры: миллиард франков в день.

Столкнувшись с такой жестокой атакой «200 семейств», правительство Блюма должно было выбрать между контратакой и умиротворением. В первом случае пришлось бы принять закон против «утечки капитала». В более молодые годы Блюм отстаивал такие мероприятия. Но сейчас, под давлением высших французских финансовых кругов и лондонского Сити, он избрал менее рискованный путь умиротворения. В феврале 1937 года он объявил с трибуны парламента о необходимости «паузы» — передышки. Никаких новых социальных или финансовых за-

конов, никаких расширений бюджета! В этой части осуществление программы Народного фронта должно было быть отложено до лучших времен.

Надежды правительства Блюма сосредоточивались в это время на Парижской международной выставке, которая должна была открыться в мае. В начале марта один министр объяснял мне, что Парижская выставка поможет правительству пережить начавшийся год без особых затруднений. Ожидалось огромное количество посетителей, — это означало бы не только большой прилив золота, но и повышение национального престижа Франции за границей. «Пятая колонна» изображала на страницах своих газет Францию Народного фронта как страну, идущую к гибели, погрязшую в беспорядке, внутренних разногласиях и хаосе. Выставка покажет иностранцам картину Франции, радующей взор порядком и трудолюбием. Париж, — заключил он, — снова займет свое доминирующее культурное положение в Европе.

Но прежде чем открылась выставка, правительству Блюма пришлось столкнуться с «инцидентом в Клиши».

В Клиши, промышленном районе Парижа, управляемом социалистическим мэром, толпа народа устроила контрдемонстрацию против собрания «Боевых крестов», которое было разрешено министром внутренних дел. Полиция, охранявшая собрание, открыла огонь по рабочим, убив шестерых и ранив несколько сот. В списке убитых и раненых оказался Андре Бломель — секретарь премьера, который помчался в Клиши, как только услышал о беспорядках. Блюм посетил место инцидента позднее, по возвращении из конгресса.

Расследование обнаружило, что не было никакого основания открывать огонь по демонстрации, которая отличалась своей организованностью. Расстрел был явно преднамеренным, он имел целью создать новые серьезные затруднения для правительства Блюма. Парижская левая печать требовала сурового наказания виновных. В речи, произнесенной в Палате, Блюм гарантировал «самое тщательное и беспристрастное расследование». Но результаты следствия так и не были нигде оглашены.

Незаконченная, со многими недостроенными еще павильонами, Парижская выставка официально открылась в мае. Она производила незабываемое впечатление.

Французская культура перед своим распадом как бы старалась показать миру

последнюю и неизгладимую картину своей гениальности и величия. На узком пространстве вдоль реки Сены были размещены здания выставки. Ограниченная площадь была использована с таким умением, что перед вами открывалась огромная, казавшаяся бесконечной, панорама многоцветных сооружений. По вечерам море огней заливало всю территорию. Большая часть выставки была посвящена французским провинциям, продукция которых была представлена со вкусом и пышностью. Для иностранного посетителя эти павильоны должны были служить символом культуры и мощи Франции.

Но, увы, политика шла своей проторенной дорогой! В июне несколько банкиров собрались в задней комнате знаменитого ресторана Лярю, у церкви Мадлен. Почетным гостем у них был Жозеф Кайо, председатель финансовой комиссии Сената. Несколько дней спустя началось новое бегство капиталов. Валюта Франции снова оказалась в опасности. Учетный процент Французского банка подскочил с 4 до 6. Было очевидно, что приближался последний шторм правительства.

Блюм пытался противостоять натиску; он потребовал у Палаты права издания чрезвычайных правительственных декретов. Правда, сам он всегда боролся против подобных требований своих предшественников. Однажды во время прений по аналогичному поводу он даже вскричал: «Я предпочитаю короля, чем правительство с чрезвычайными полномочиями!»

Из 375 депутатов, составлявших правительственную коалицию, 346 голосовали за предоставление правительству права издавать чрезвычайные декреты. Оппозиция собрала только 247 голосов.

Но это было не все. Сокрушительный удар последовал со стороны Сената. Кайо ждал этого момента: честолюбивый, властный, мстительный, он не забыл, что год тому назад Сенату пришлось капитулировать перед лицом энергичных выступлений народных масс. Он знал также, что никогда не будет больше занимать высоких постов в правительстве. Поэтому он решил по крайней мере быть палачом неудобных Сенату правительств.

В своей речи в Сенате Кайо забрасывал премьера оскорблениями. «Я не могу, — говорил он своим скрипучим голосом, — голосовать за вотум доверия правительству. Оно недостойно этого. Я не знаю, кто у нас сейчас возглавляет

Францию — Совет министров или «правительство масс». Обычный монокль в глазу и надменная осанка Кайо как бы подчеркивали издевательский характер этой речи.

Кабинет Блюма потерпел поражение в Сенате, получив в пользу законопроекта лишь 72 голоса из 260.

Это еще не означало обязательной отставки кабинета. По французской конституции законопроекты, прошедшие три раза в Палате, даже при несогласии Сената становились законом. Блюм мог вернуться в Палату и вынудить Сенат капитулировать. Он все еще имел решающее большинство в Палате.

Блюм должен был принять в эти часы чрезвычайно ответственное решение. Он находился в том же положении, в каком оказался Даладьё после беспорядков на площади Согласия. Непреклонная позиция Сената по существу отражала все ту же линию «пятой колонны». И Леон Блюм последовал примеру Эдуарда Даладьё. Он ушел в отставку.

Официально отставка Блюма была объяснена тем, что он хотел временно снять со своей партии бремя высокой ответственности за правительственную политику. «Я готов, — говорил Блюм, — играть временно вторую скрипку в правительстве радикалов для того, чтобы после передышки вновь вернуться к власти».

Но два года спустя Блюм сделал более искреннее признание: «Не финансовые затруднения победили нас, — заявил он, — и даже не голосование против нас Сената. Ничто бы нас не свергло, если бы у нас не было чувства, что рабочий класс не идет больше с нами».

ШОТАН СПАСАЕТ РЕСПУБЛИКУ

За 10 месяцев, прошедших после отставки Леона Блюма, сменилось четыре

кабинета министров. Во главе двух из них стоял мастер парламентского маневра, человек с неподвижным лицом — Камилл Шотан. Новшеством в его кабинете было возвращение Жоржа Боннэ на пост министра финансов. Желая избавиться от этого опасного противника, Блюм во время своего пребывания у власти назначил его послом в Соединенные Штаты. Теперь Боннэ и его супруга с триумфом возвращались во Францию, строя грандиозные планы на будущее.

В правительстве Шотана Блюм занял пост вице-премьера, Даладьё получил портфель военного министра, а Ивон Дельбос — министра иностранных дел. Опять тасовалась все та же колода карт!..

В первый же месяц правления Шотана в здании Союза французских предпринимателей, расположенном вблизи Елисейских полей, произошел взрыв. Наконец-то обнаружился тот «коммунистический заговор», то «преступление Народного фронта», которого с таким нетерпением ждали правые! В прессе развернулась яростная, непревзойденная по своему бешенству кампания против Народного фронта в целом и против коммунистов в частности.

Это был тщательно разработанный план фашистского переворота: сначала серия взрывов и покушений; потом провоцирование столкновений во время октябрьских провинциальных выборов; вслед за этим — беспорядки и антисемитские эксцессы во французских владениях в Северной Африке. Затем, примерно к середине ноября, предполагалось распустить слух о предстоящем коммунистическом перевороте. Наконец, в декабре, когда положение будет напряжено до предела, появится на арену «Комитет тайного революционного действия» (сокращенно CSAR). Он-то и должен будет разогнать правительство и заменить его диктаторской хунтой.

Вначале события развивались точно по намеченному плану. Но вдруг произошел один из тех сюрпризов, которыми всегда была богата политическая жизнь Франции. Как это ни странно, подготовка фашистского переворота была разоблачена не кем иным, как... полковником де ла Рокком, руководителем «Боевых крестов».

За истекший год его организация значительно укрепилась и выросла во всей стране за счет других правых партий. В политических кругах предсказывали, что ближайшие выборы принесут де ла Року



Казимир
де ла Рок



Поццо
ди Борго

около ста мест в Палате и выдвинул его на роль политического лидера правых. Но, будучи в гораздо большей мере военным, чем политиком, полковник де ла Рок ухитрился восстановить против себя целый ряд влиятельных лиц, главным образом — резкостью своих характеристик. Бывшего премьера Тардьё он обозвал политическим трупом; он осыпал ругательствами Пьера-Этьена Фландена; он не скупился на оскорбления по адресу многих правых депутатов. В кругах «высшего общества» полковника начали называть «грубияном».

Де ла Рок приобрел одну из крупнейших парижских газет «Пти журнал» с тиражом в несколько сот тысяч экземпляров. Разумеется, в глазах других реакционных газет это был нелояльный шаг. Они поспешили примкнуть к лагерю противников де ла Рока. Владельцы и редакторы газет «Жур», «Матэн», «Журналь» и «Пти паризьон» образовали мощную фалангу для борьбы с не в меру ретивым полковником, позволявшим себе легкомысленно третировать настоящих хозяев страны.

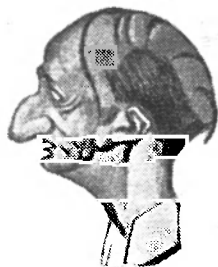
Первым в этой домашней свалке между реакционерами выступил против де ла Рока герцог Поццо ди Борго, корсиканец, жадно рвавшийся к власти. Он опубликовал статью, в которой утверждал, что полковник де ла Рок в течение ряда лет получал субсидии из секретных фондов министерства иностранных дел. Де ла Рок возбудил против Поццо ди Борго уголовное преследование за клевету. Но на суде это обвинение полностью подтвердил Тардьё, горевший желанием свести с де ла Роком старые счеты. Тардьё заявил, что, в бытность свою премьером, он лично передавал полковнику деньги. По его словам, он использовал де ла Рока как наемного агента для борьбы против «левой опасности» и одновременно для его, Тардьё, личной рекламы.

Через несколько дней после этого судебного разбирательства на частную квартиру одного из министров Шотана явился человек средних лет. Он отказался назвать свое имя и всячески старался подчеркнуть секретный характер своей миссии. Когда он ушел, в руках у министра осталась папка с бумагами, разоблачающими во всех деталях планы «Комитета тайного революционного действия». Неизвестный посетитель был, как это легко понять, подослан де ла Роком.

Документы были переданы Шотану. То-



Камилл Шотан



Жорж Бонне

му не оставалось ничего другого, как согласиться на принятие немедленных мер.

На следующий день было выдано около 500 ордеров на производство обысков. Полиция совершила облавы в сотнях частных квартир, учреждений и торговых помещений. Ее усилия были вознаграждены поистине богатой добычей: 500 тяжелых и 65 легких пулеметов, около 30 орудий противотанковой и противовоздушной обороны, две тонны взрывчатых веществ, не говоря уже о громадном количестве винтовок и больших запасах всякого другого военного снаряжения. Замаскированные форты и укрепленные огневые точки были обнаружены под помещениями гаражей и в уединенных помещичьих имениях. Были обнаружены также мощные передаточные и приемные радиоустановки и секретные телефонные линии.

Весьма внушительный список арестованных возглавлялся генералом Дюсеньером, бывшим начальником военно-воздушных сил, а также крупным землевладельцем графом Юбером Пастрэ. Среди арестованных были правительственные чиновники, антикварные торговцы, офицеры действительной службы, механики, шоферы.

Раскрытая полицией тайная организация «CSAR» была построена по военному образцу. Во главе ее стоял генеральный штаб с четырьмя разведывательными группами. Силы были разбиты на дивизии, бригады и батальоны. Существовал план общей мобилизации личного состава. Полиция обнаружила карты Парижа и важнейших провинциальных городов, так же как и тщательно подобранные материалы об отдельных офицерах и частях регулярной армии. Был даже заготовлен список руководящих политических деятелей, подлежащих аресту. Наряду с этим специальный план предусматривал порядок захвата редакций левых газет, правительственных учреждений и частных квартир членов кабинета.

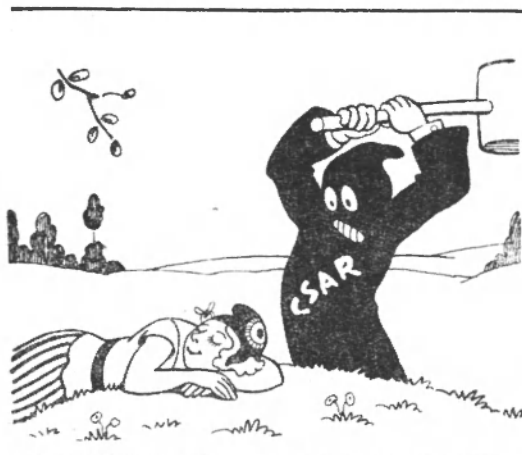
Республиканский режим предполагалось свергнуть и заменить диктатурой, причем имелась в виду и возможность восстановления монархии. В директорию, предназначенную править страной, должны были в частности войти Вейган, Жан Кьяпп и Жак Дорио. Изгнанный в 1934 году из коммунистической партии, Дорио основал «Народную французскую партию» фашистского типа. Он был ловким оратором и обладал громоподобным голосом. В течение некоторого времени французские фашисты рассчитывали использовать Дорио как организатора «массового движения». Левые депутаты Палаты неоднократно обвиняли Дорио в получении субсидий из-за границы; Дорио ни разу не осмеливался возбудить против своих обвинителей дело о клевете.

Один из бывших министров как-то доверительно сообщил мне, что «Сюрте националь» (французская тайная полиция) располагает документами, доказывающими, что Дорио находился на жаловании у одного из иностранных правительств и что на эти деньги он купил для себя большое имение в Бельгии.

Другие преданные гласности документы свидетельствовали о том, что заговорщики из CSAR получали щедрые субсидии от французских промышленных магнатов и от одной иностранной державы. Ни фамилии этих промышленников, ни название этой державы не были обнародованы.

Заговорщиков прозвали «кагулярами», так как на своих тайных сборищах они появлялись в капюшонах (кагуль).

Заседание кабинета, на котором обсуж-



— Необходимо убить эту проклятую демократическую муху, которая мешает Франции спокойно спать.

дался вопрос об этом заговоре, было очень бурным. Часть министров, Пьер Кот и другие, потребовала, чтобы страна была поставлена в известность о всех деталях преступного заговора. Однако большинство членов кабинета и президент республики энергично выступили против столь резких мероприятий. Боннэ и Шотан пригрозили отставкой в случае, если «драгоценное для Франции имя Петэна будет скомпрометировано и обито грязью». «Опозиция» уступила дружному нажиму своих коллег.

Требования многих левых деятелей о роспуске всех фашистских организаций были положены под сукно. Дормуа заверил Палату депутатов, что «нет нужды вводить чрезвычайные законы; законы республики достаточно сильны, чтобы обеспечить безопасность республиканского режима».

На протяжении ряда месяцев правые газеты упорно и систематически вели кампанию за освобождение генерала Дюсеньера, графа Пастрэ и других руководителей заговора. Впоследствии кагуляры были освобождены. Им даже не было предъявлено обвинения. После их освобождения друзья на праздничном банкете чествовали их, как победителей.

Некоторое время спустя состоялось одно совещание виднейших французских промышленников и банкиров. Они указали Шотану, что присутствие социалистов в его правительстве подрывает доверие к национальной валюте. Они особенно настаивали на том, чтобы «убрать» министра внутренних дел, социалиста Дормуа, располагавшего опасными документами, разоблачающими покровителей кагуляров. Как бы для того, чтобы подчеркнуть всю многозначительность этих «советов», сделанных премьеру, было организовано новое бегство капиталов.

Шотан понял намек. На заседании Палаты, на котором обсуждались новые финансовые мероприятия, он совершенно неожиданно выступил с яростной речью против коммунистов, рассчитывая, что это повлечет за собой выход министров-социалистов из правительства. Они подали в отставку, и это явилось прелюдией к отставке всего правительства, происшедшей в середине января 1938 года. Все разыгрывалось, как по нотам.

Шотан вернулся на пост премьер-министра, но на этот раз он уже возглавлял кабинет, состоявший только из радикал-социалистов. Социалисты в него не входили.

«200 семейств» добились своего.

ДАЛАДЬЕ И БОННЭ ЗА РАБОТОЙ

Последующие главы книги Андре Симона охватывают богатый событиями период конца 1938 года. Этот период, подготовивший капитуляцию Франции, автор связывает прежде всего с именами двух французских политических деятелей: Даладье, возглавившего вновь кабинет, и Боннэ, занимавшего в это время пост министра иностранных дел. Особенно много внимания уделяет автор дипломатическим комбинациям последнего в связи с международными событиями, разыгравшимися в тот период на территории Испании, Австрии, Чехословакии, Польши.

Кабинет Даладье был весьма подозрительно встречен левыми; правые же отнеслись к нему с нескрываемым радушием. Четыре года назад «Греингуар» писала о Даладье, что «этот человек с злобещим лицом весь вымазан в крови». Другая газета, «Жур», клеймила его, как «чиновника, готового продать и перепродать свою душу». Теперь оба листка согласным хором пели Даладье дифирамбы, именуя его «нашим лояльным министром национальной обороны, сделавшим так много для безопасности Франции».

Причиной этой резкой перемены был наметившийся к тому времени поворот радикал-социалистов вправо. Реакционные партии предвидели уже изменение соотношения сил в Палате и готовились сделать правительство Даладье своим пленником. В этой обстановке, когда все ожидали неизбежных перемен в политическом курсе, начал резко активизироваться министр иностранных дел Жорж Боннэ.

Итак, Жорж Боннэ принялся за работу. Он действовал быстро и со знанием дела. Боннэ всегда верил в магическую силу плотно набитых «конвертов», раздаваемых нужным людям; из его канцелярии пролился дождь субсидий в карманы политических деятелей и в кассы газетных редакций. За спиной Боннэ стоял один из самых мощных банков Франции — «Братья Лазар». Когда иссякали ведомственные фонды Боннэ, банк братьев Лазар протягивал ему щедрую руку помощи.

После совещания Даладье с Чемберленом в Лондоне, во время ко-

торого союзники решили вести в дальнейшем политику «умиротворения», наступила очередь обсуждения в Лиге наций вопроса об Испании.

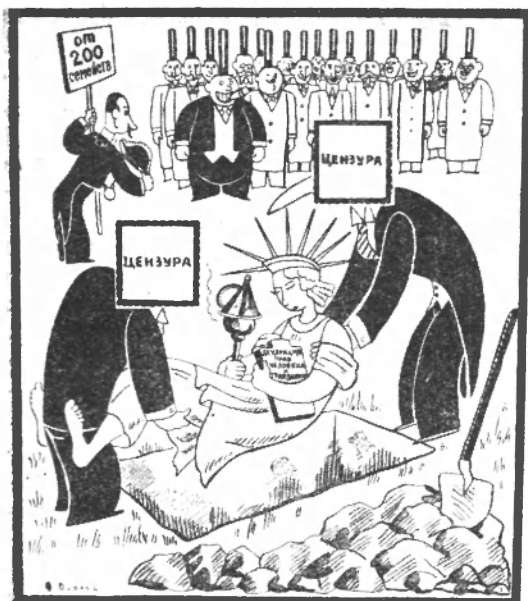
Просторное здание зала Совета, построенное в новейшем архитектурном стиле, было до отказа набито публикой. От имени Испанской республики выступал министр иностранных дел. Большинство министров (их было 13) и делегатов, к которым он обращался, не слушали его и даже не старались делать вид, что слушают. Республиканская Испания требовала применения 16-й статьи Устава, предусматривающей коллективную помощь против агрессии.

Лорд Галифакс в весьма холодном тоне заявил, что Великобритания не намерена присоединиться к предложению испанского делегата. Жорж Боннэ — на нем был его обычный темносиний двухбортный скюртук — по существу соглашался с приговором Галифакса. В его тоне было еще больше отвратительной слащавости, чем обычно; нельзя было без омерзения слушать, как он выражал испанскому делегату свои «сожаления». Отчаянная, уже заранее проигранная борьба продолжалась в течение трех дней. Это было зрелище, исполненное пафоса и трагизма.

Наконец, резолюция, предложенная на рассмотрение Совета, была поставлена на голосование. «Нет», произнесенное среди мертвой тишины лордом Галифаксом и Жоржем Боннэ, прозвучало, как пощечина. Напряжение в зале сделалось невыносимым. Один только советский делегат поддерживал республиканскую Испанию. Рядом со мной слышались рыдания корреспондентки одной швейцарской газеты. Представители республиканской Испании вышли из помещения смертельно бледные, но держались они прямо и непреклонно. Я ринулся к телефону — сообщить новости в свою редакцию.

У входа в отель Боннэ, явно смущенный, пытался объяснить обступившим его журналистам, что он не мог поступить иначе. «Франция не допустит, — добавил он с наигранным пафосом, — чтобы Испания сделалась добычей захватчиков». Кто-то воскликнул: «Вы умертвили Испанию!» Побледневший Боннэ поспешно retirровался.

Из своего кабинета во французском министерстве иностранных дел Боннэ делал все, что было в его силах,



Последнее прибежище свободы

чтобы сорвать героическое сопротивление испанских республиканцев.

В начале июня у Боннэ было длительное совещание с бывшим премьером Фланденом. После этого Фланден выступил с весьма многозначительным заявлением. «Война в Испании, — сказал он, — является величайшей угрозой мирной жизни Франции», а «политика, направленная против Франко, противоречит французским интересам и диктуется Москвой». В заключение Фланден воскликнул: «Французский народ не позволит Народному фронту, причинившему уже столько бедствий, прибавить к ним еще ужасы войны».

Два дня спустя Даладье отдал приказ окончательно закрыть франко-испанскую границу.

Между тем войска республиканцев, сдерживая напор мятежников, форсировали Эбро и перешли в контрнаступление, которое было тщательно подготовлено. Один из радикальных депутатов утверждает, что когда Жорж Боннэ узнал об этом блестящем успехе республиканцев, он чуть не заболел от ярости.

Много места уделено в книге рассказу о борьбе, развернувшейся в среде французских политиков вокруг вопроса о Чехословакии. Автор приводит значительный факти-

ческий материал, характеризующий линию поведения Даладье и, особенно, Боннэ в этот период.

Даладье избрал именно этот момент крайнего обострения внешне-политического положения Франции, чтобы резко и в демонстративной форме порвать с Народным фронтом. Его формула «Франция должна вернуться к работе» означала ликвидацию социального законодательства, завоеванного трудящимися в результате победы Народного фронта на парламентских выборах.

Даладье хорошо усвоил излюбленную теорию промышленных дельцов: если капиталистам предлагают внести свой вклад в дело быстрого вооружения Франции, то им должен быть обеспечен высокий процент прибыли. Как раз в это время объединение профсоюзов составило весьма детально разработанный меморандум, доводы которого звучали более чем убедительно. В нем приводились данные, свидетельствовавшие о том, что предприниматели прибегали к любым ухищрениям, чтобы доказать, что национализация военных заводов уменьшила их производительность. После того как производство вооружения перешло под контроль государства, большинство прежних владельцев и директоров осталось во главе предприятий. Никто из них по-настоящему не заботился о том, чтобы повысить производительность. Между тем Даладье не сделал по их адресу ни одного критического замечания. Он не проронил ни слова о хаосе и дезорганизации, царивших, в особенности, на авиационных заводах, где рабочие простаивали целые дни и недели из-за того, что чертежи без конца переделывались. Он не проронил ни слова о неуклонном наступлении «200 сенейств» на курс франка.

Не терял даром времени и Жорж Боннэ, поставивший себе задачей всеми способами доказать, что Франции не приходится рассчитывать на чью-либо помощь на случай войны.

Жорж Боннэ предпринял следующий хитроумный маневр. 4 сентября в Пуант де Грав состоялось торжественное открытие памятника американским солдатам, прибывшим во Францию в 1917 году. Выступая на торжестве, американский по-

сол Буллит¹ сказал: «Если в Европе снова вспыхнет война, то никто не сможет предсказать, будут ли в нее вовлечены Соединенные Штаты или нет». После Буллита слово получил Боннэ, который произнес фразу, вызвавшую немалое возбуждение в Соединенных Штатах. Упомянув о дружбе между Америкой и Францией, он воскликнул: «Каждый из друзей обязан поспешить на помощь своему партнеру, если тот находится в опасности». Подобное заявление звучало более чем рискованно в устах французского министра иностранных дел; в особенности, в устах Жоржа Боннэ, который потратил немало усилий, пытаясь доказать, что в случае войны Франция не может рассчитывать на помощь Америки. Что же побудило Боннэ отважиться на такой шаг? Поль Рейно утверждал, что Боннэ произнес эту фразу, желая спровоцировать официальное американское опровержение своих слов. Получив таковое, Боннэ смог бы использовать его для соответствующего давления на тех своих коллег по кабинету, которые принадлежали к «поджигателям войны», то есть являлись сторонниками более решительной внешней политики.

Андрэ Симон рассказывает о целом ряде аналогичных махинаций, предпринятых Боннэ в сентябре 1938 года, когда атмосфера вокруг Чехословакии сгущалась с каждым часом.

13 сентября Боннэ угостил своих коллег еще более «ошеломляющим» документом.

Он внес на рассмотрение кабинета документ, представляющий, по его словам, «резюме» доклада генерала Гамелена о состоянии вооруженных сил Франции. Из этого «резюме» явствовало, что французская армия настолько уступает германской, в особенности в отношении авиации, что Франция не может пойти на риск вооруженного конфликта с Германией. Отсюда делался логический вывод, что положение Франции в военном отношении безнадежно.

¹ Как стало известно из германской «Белой книги», опубликованной летом 1940 года, а также из недавно вышедшей книги бывшего американского посла в Германии Тодда, Вильям Буллит, бывший американский посол в СССР, используя свое положение дипломата, вел деятельность, направленную против интересов СССР.

Боннэ задали на заседании вопрос: не охватывает ли это «резюме» только одну сторону картины, нарисованной в докладе Гамелена? На это Боннэ ответил, глядя прямо в глаза своим коллегам, что «резюме» отражает «все существенные пункты» доклада главнокомандующего французской армии.

Естественно, этот документ произвел сильнейшее впечатление на членов правительства. Лишь шесть министров выступили против позиции Боннэ. Большинство же кабинета поддержало его. Даладьё даже не пытался смягчить ошеломляющее впечатление от доклада Боннэ. Президент Лебрен всецело был на стороне министра иностранных дел.

В этот же день произошли не менее странные события. Даладьё дважды беседовал с английским послом, Эриком Фипсом. Пригласил его к себе и Боннэ, сообщивший сэру Эрику, что Франция не в состоянии воевать. В подтверждение этого он дал ему прочитать знаменитое «резюме».

Наконец, в этот же день один парижский банк, о котором было известно, что он тесно связан с Боннэ, дал своим агентам предписание скупать фунты стерлингов.

Андрэ Симон подчеркивает, что Даладьё не только знал о жульнических маневрах Боннэ, но и прямо поощрял его.

В самые критические моменты Даладьё целиком поддерживал тактику Боннэ. Он ни разу не опроверг лживые сообщения своего министра иностранных дел, имевшие такие катастрофические последствия...

Андрэ Симон добавляет, что Даладьё дезавуировал, да и те косвенно, Жоржа Боннэ лишь впоследствии, когда вред информации Боннэ уже полностью сказался. Даладьё признался, по словам Леона Жуо, в том, что доклад генерала Гамелена в действительности кончался словами: «Мы должны выступить — несмотря ни на что!»

Даладьё знал, что его министр иностранных дел занимался крупными спекуляциями на фондовой бирже и что успех этих спекуляций прямо зависел от успеха внешнеполитической линии Боннэ. Тайная полиция снабдила Даладьё копиями всех биржевых ордеров, которые свя-

занный с Боннэ банк учитывал для себя и для Боннэ.

Тактика обмана и дезориентации французского общественного мнения последовательно проводилась Боннэ и тогда, когда Франция уже на всех парах шла к войне. Боннэ через послушную ему печать обманывал читателей оптимистическими заявлениями, что «опасность войны миновала».

Приправляя ложь полуправдой, «опровергая» направо и налево, действуя подкупам, Жорж Боннэ начинал правую печать матерналом, бичующим так называемых «торговцев войной». Кампания против «fausses nouvelles»¹ стала ежедневной принадлежностью печати сторонников «умиротворения». Председатель Сената Жанненэ пустил в ход французскую фразу, которую можно было перевести двояко: что Боннэ — величайший опровергатель новостей или что он величайший лжец. В парламенте лживость Боннэ была частым предметом кулуарных толков. Один депутат, намекая на старую французскую поговорку, утверждающую, что у лжеца нос растет по мере того, как он лжет, постоянно встречал меня словами: «У Жоржа нос опять вырос!».

Изложив события, связанные с германо-польской войной, и рассказав о том, как правительство Даладьё — Боннэ упорно саботировало переговоры с Советским Союзом, Андре Симон переходит к заключительной главе книги, в которой рисуется картина военного разгрома и капитуляции Франции.

ОТ ВОЙНЫ ПОЗИЦИОННОЙ К ВОЙНЕ МОЛНИЕНОСНОЙ

Нет никакой общей формулы для способа ведения войны. Если Германия в своем наступлении на Францию пошла по пути молниеносной войны, то не потому, что германским генеральным штабом руководило непреодолимое желание беспрерывно наступать. Доктрина молниеносной войны была воспринята Германией потому, что все шансы на успех заключались в быстроте решений. Географическое положение Германии, уровень продуктивно-

сти ее сельского хозяйства, зависимость от импортного сырья — все это диктовало тактику немногочисленных, но сосредоточенных, быстрых и смертельных ударов.

Положение Франции было иным — она имела перед собой противника, вдвое превосходившего ее по численности и обладавшего большой военной традицией. Франция могла противопоставить этому перевесу в живой силе и технической мощи только сотрудничество с другими народами. Без этого ей пришлось бы идти в заведомо неравный бой. Она могла бы выравнивать шансы только путем оттяжки своего вступления в войну, пока морская блокада начала бы оказывать свое действие на Германию. Отсюда и родилась идея линии Мажино.

Сейчас считается почти аксиомой, что Франция потерпела поражение именно из-за своей слепой веры в линию Мажино. Мне это утверждение представляется далеким от истины. Сама линия Мажино возможно не так уж плоха — фатальным оказался «дух Мажино», порожденный ею.

Я имею в виду то, что французский генеральный штаб в своих расчетах имел в виду в первую очередь бетонные укрепления линии, а не людей, предназначенных для их защиты. Говорят, что французский генеральный штаб готовился в 1940 году повторить войну 1914 года. И действительно, французская военная стратегия не принимала в расчет тех грандиозных перемен, которые произошли за прошедшие двадцать лет.

Но дело не в том только, что французский генеральный штаб не отдавал себе отчета в требованиях, предъявляемых современной войной к технике, и, в частности, недооценивал роль авиации и танков. Одного этого недостаточно, чтобы объяснить страшное поражение Франции. В чем французские генералы вместе с французскими государственными деятелями обанкротились совершенно, так это в оценке политического фактора.

Современная война, несмотря на ее необъятную технику, может быть проиграна еще до начала. И в этом — подлинный и основной урок последней войны во Франции.

Франция вступала в войну расколотой сверху донизу. Она была расчленена и самой войной, и теми обстоятельствами, которые предшествовали ей. Один видный германский военный теоретик писал, что в войне следует при всех обстоятельствах избегать вопроса «из-за чего война?». Но

¹ Ложные известия (ф р а н ц.).

почти весь французский народ к началу военных действий настойчиво требовал ответа на этот вопрос. Этот вопрос читался во взглядах солдат, уходивших на фронт, матерей, жен и сестер, в отчаянии махавших на прощание рукой, пока поезд не скрывался вдали.

Никто, конечно, не ждал бури энтузиазма. Но пресса твердила, что молчание, которым была встречена война, было знаком благородной решимости. Оно означает, кричали газеты, что французы намереваются положить конец нестерпимому положению, «il faut en finir». Но это было совсем не так. С тяжестью в сердце уходили французы на войну. В лучшем случае, люди решали как-нибудь дотерпеть ее до конца.

Политические деятели, на плечи которых легла задача вселять в людей уверенность, оказались не в состоянии с этой задачей справиться. Да и могло ли быть иначе? Это были те самые люди, которые своими промахами и попустительством подорвали дух народа. Правительство заявляло: «Единство в такой час — прямая необходимость». Но оно само было расколото. Газеты заполняли первые полосы восхвалениями небывалого мужества, проявляемого французским народом. Но на второй странице они продолжали прежние взаимные обвинения, споры и грызню.

Какое же могло быть единство? Единство не достигается праздными разговорами. Оно возникает вокруг большой идеи, вокруг необходимости. Народ не чувствовал в этой войне ни того ни другого. Борьба за демократию? Этот лозунг потерял свою привлекательность для большинства народа — ведь у всех на глазах «демократия» уживалась с предательством и бесчестием.

Германия превосходно учитывала эти настроения. Она полностью использовала их до войны. И продолжала использовать во время войны. Когда началась война, разложение уже проникло в сердце Франции. Французский бастион был подорван изнутри раньше, чем был захвачен извне.

Война Франции с Германией продолжалась десять месяцев. Восемь с половиной из них французский народ рассчитывал вести и отчасти вел позиционную войну. Но всего за полтора месяца немцы завершили свою молниеносную войну против Франции. Исход стал ясен уже в первые недели. Французская кампания была проиграна, когда германские

войска прорвались у Седана и достигли Ла-Манша. Дважды за семьдесят лет судьба Франции была решена в одной и той же географической точке, — Седан стал символом несчастья Франции. После Седана 1870 года была создана Третья Французская республика; в Седане же в 1940 году она была умерщвлена.

Десятимесячную кампанию во Франции можно разбить на пять периодов. Они сменяют друг друга неумолимо, словно акты греческой трагедии.

Первый период охватывает время от начала войны до падения Варшавы. Он длился двадцать семь дней сентября.

За эти первые четыре недели войны Франция быстро привыкла к введенным ограничениям. Затемнения превратили «Город света» в город тьмы. Первые воздушные тревоги прошли без каких-либо серьезных последствий. У моей молодой соседки, служившей в министерстве колоний, началась истерика, когда впервые загудели сирены. Но большинство женщин спокойно оставалось на своих местах, надев противогазы. Уже при третьей тревоге завывание сирены воспринималось как нечто заурядное. Никто не пугался и не впадал в панику. Сначала мы все таскали с собой противогазы и даже гордились ими как военным отличием. Постепенно они исчезли.

Французская армия осторожно продвигалась по «ничьей земле» и по минированной территории Саарской области. Стада свиней высылались впереди армии, чтобы обезопасить минное поле. Газеты сообщали, что это продвижение французов вынудило Германию перебросить шесть дивизий с польского фронта на линию Зигфрида. Но им так и не довелось вступить в бой: за исключением нескольких мелких стычек, не произошло ни одного значительного столкновения между французскими и немецкими войсками. За этот же период во Францию прибыли первые английские части. Давно бы пора! «Пятая колонна» использовала отсутствие английских войск для агитации среди солдат. «Где же англичане?» — раздавались со всех сторон раздраженные, негодующие голоса.

Даладьё, разумеется, реорганизовал свой кабинет. Наконец-то, с большим опозданием, Жорж Боннэ был удален из министерства иностранных дел. Даладьё взял и этот портфель себе. Боннэ перешел в министерство юстиции.

Около середины сентября мой редак-

тор получил достоверные сведения о том, что Боннэ создал солидный фонд, предназначенный для ведения кампании за соглашение с Германией. Это движение возглавлялось двумя группами политических деятелей. Около пятнадцати депутатов группировалось вокруг Гастона Бержери и Марселя Дза. Человек тридцать других парламентариев сформировали вторую группу вокруг бывшего премьера Лавала и Адриена Марке, депутата и мэра Бордо. Боннэ являлся связующим звеном между обеими группами.

Первые два заседания верховного военного совета состоялись в этот начальный период войны. Чемберлен в сопровождении нескольких своих министров встретился с Даладьё «где-то на территории Франции». Премьер-министры решили продолжать наступление французской армии на западном фронте с целью отвлечь немецкие силы от востока, но избегать при этом всякого риска. Чемберлен говорил о трудности проведения мобилизации в Англии из-за отсутствия обученных офицеров и снаряжения для новых войск. Было достигнуто соглашение относительно уступок Италии с целью отдаления ее от Германии. Верховный военный совет решил также координировать действия французской и английской армий на Ближнем Востоке и подготовить их к «возможному конфликту» с Советским Союзом. Генерал Вейган получил звание командующего французскими силами в Сирии.

Пока польская кампания подходила к концу, Даладьё не терял времени: он совещался с генеральным штабом и министром внутренних дел Альбером Сарро о мерах по борьбе с коммунистами. Один из помощников Даладьё рассказал мне, что Даладьё при обсуждении этого вопроса вступил в ожесточенный спор с генералом Гамеленом. Гамелен возражал тогда против роспуска коммунистической партии. Он считал, что каждый десятый человек в армии — коммунист, и что подобный акт может вызвать широкое недовольство даже среди тех солдат, которые не симпатизировали коммунистам. Он боялся ухудшения морального состояния войск, но, в конце концов, подчинился воле Даладьё. Сарро в прениях поддерживал премьера. Коммунистическая партия была объявлена вне закона.

Варшава пала. В тот же самый день французские войска начали отступать с «ничьей земли», куда они частично продвинулись. Они отступали к линии Мажино.

Следующий этап продолжался весь октябрь и ноябрь.

За эти месяцы французские газеты, за исключением немногих, стали открыто называть русских «врагом номер один». Германия была разжалована на второе место. Помню, один из членов британского парламента сказал мне как-то на собрании в Париже: «Читаешь французскую прессу, и создается впечатление, будто Франция воюет с Россией, а с немцами находится только в натянутых отношениях».

В начале октября в рейхстаге были оглашены мирные предложения Германии. Через несколько дней мы получили по почте на адрес редакции маленькую листовку. Явно напечатанная за границей, она содержала основные пункты этих предложений. Листовки были, видимо, распространены по всей Франции в тысячах экземпляров. Впоследствии полиция узнала, что они были привезены во Францию через Швейцарию с помощью группы членов «Боевых крестов», проживавших на франко-швейцарской границе, близ Женевы.

В октябре был окончательно подписан франко-английско-турецкий пакт о взаимопомощи.

На внутреннем фронте были изданы новые декреты, возложившие огромные тяготы на трудящиеся массы, в первую очередь — на рабочих. Это вызвало серьезные беспорядки на заводах. При этом не было введено никаких новых налогов на прибыли военной промышленности.

Марсель Дза, опубликовавший листовку с требованием немедленного и безусловного мира, был допрошен следователем и отпущен. Через некоторое время дело против него было прекращено.

Бывший член исполнительного комитета социалистической партии, профессор Зоретти, распространял в кулуарах парламента и в различных редакциях разоблачительное письмо. Зоретти был исключен из социалистической партии за то, что пытался через одного швейцарского социалиста побудить II Интернационал выступить с предложением о мирных переговорах. Ныне Зоретти доказывал, что Поль Фор был связан с ним в этом деле и, в свою очередь, находился в тесном контакте с Лавалем. Из документов Зоретти явствовало, что вмешательство этих двух политических деятелей воспрепятствовало назначению Блюма вице-премьером, а

Эррио министром иностранных дел в кабине-те Даладьё при его реорганизации.

Но Фор и Лаваль продолжали оставаться советниками Даладьё.

Ноябрь начался новой тревогой. Раз-неслись слухи о том, что немецкие армии собираются занять Голландию и Бельгию. Как-то раз, ранним утром, около пяти ча-сов меня разбудил звонок из министерст-ва иностранных дел, оттуда сообщали, что вторжение в Голландию уже началось. Но покамест это была ложная тревога. По мо-ему мнению, слухи о предстоящем напа-дении на Голландию были одним из прие-мов «войны на нервах». Когда же начина-лись действительные события, они неиз-менно заставляли Францию врасплох.

В правительстве отношения между пре-мьером Даладьё и министром финансов Рейно были натянуты до крайности. Что-бы положить конец растущему влиянию Рейно и его «выдвижению в премьеры», — эта мысль становилась все более попу-лярной в Палате, — Даладьё отослал его в Лондон с «важными экономическими предложениями» Англии. Переговоры Рей-но с английским министром финансов сэ-ром Джоном Саймоном закончились со-глашением, изложенным в туманных об-щих фразах. Неудача Рейно была исполь-зована Даладьё, чтобы на время поуе-рить пыл его сторонников.

Соперничество этих двух людей тяже-ло сказывалось на работе кабинета. Од-нажды, когда два английских министра приехали в Париж, Даладьё не приглас-ил Рейно на завтрак, устроенный им в честь англичан. Они нанесли визит Рейно в его министерстве, но сделали это до завтрака у Даладьё. Это вызвало у пре-ьера такой взрыв ярости, что он чуть было не отменил прием англичан у себя.

Палата депутатов начала проявлять при-знаки сильного беспокойства. Одни груп-пы с большой нервностью отмечали без-действие французской армии. Другие ис-пользовали этот факт как аргумент в пользу мира. В сенатской комиссии по иностранным делам Лаваль предпринял одну из своих вылазок: он обрушился на правительство за недостаточно энергич-ные попытки договориться с Италией. Но когда его друг, Поль Бодуэн, вернулся из Рима с пустыми руками, Лаваль потребо-вал разрыва дипломатических отношений с Россией. Он нашел себе союзников в га-зетах «Тан», «Журналь де деба», «Матэн» и др. Эта агитация велась с невероятным ожесточением и достигла своей высшей

точки к моменту начала военных дейст-вий в Финляндии.

Третий период войны отмечен самой разнузданной антисоветской кампанией.

Вскоре после начала конфликта в Фин-ляндии французские и английские дипло-маты с внезапно проснувшейся энергией принялись за работу в Женеве. Россия была исключена из Лиги наций.

Самые дикие, фантастические измышле-ния о «беспорядках в Красной Армии» распространялись французской печатью. Две парламентские группы (Бержери и Лавалья) энергично нажимали на Даладьё, побуждая его объявить войну России. Они рассчитывали, что это позволит им широ-ко развернуть антисоветский крестовый поход.

Генерал Вейган был вызван в Париж для обсуждения «ближневосточных приго-товлений». Другой французский генерал был послан в Финляндию в качестве во-енного консультанта. Самолеты и танки готовились к отправке в Хельсинки. В течение трех месяцев во Франции всеми способами поддерживалось убеждение, что финны могут продержаться в течение ге-да или даже выиграть войну против Со-ветской России!..

В конце 1939 года английская дивизия сменила часть французских войск на ли-нии Мажино. Английские солдаты полу-чили на рождество роскошный обед. Это вызвало взрыв негодования в француз-ских частях: французским «пуалю» не нравилось получать меньше и питаться хуже, чем английские «Томми». Француз-ский пехотинец получал, примерно, два с половиной цента в день, а английский — пятьдесят восемь центов.

Под Новый год французское верховное командование опубликовало успокоитель-ное сообщение, что линия Мажино допол-нена новыми укреплениями и продлена вдоль бельгийской границы до самого моря.

Однако в политических кругах все боль-ше нарастало недовольство против фран-цузского верховного командования. Разда-вались жалобы на то, что Гамелен недо-статочно энергично ведет войну. Его об-виняли в излишней осторожности, в бо-язни наступательных действий. На смену ему уже прочили генерал-губернатора Марокко, генерала Ногеса. Гамелена вы-ручила новая тревога — заговорили о предстоящей оккупации Германией Бель-гии и Голландии.

В Палате продолжались раздоры. В ку-

луарах многие депутаты не скрывали своего недовольства Даладье. Требование созыва закрытого заседания парламента завоевывало все больше сторонников. «Если Даладье предстанет перед закрытым заседанием Сената, — сказал мне Жанне, — он не получит и сотни голосов».

Круги, близкие к Бержери и Лавалю, начали настаивать на замене премьера Даладье маршалом Петэном. «Лишь великий солдат, — утверждали они, — может вывести Францию из этой ужасной катастрофы». Даладье, заявляли они, слишком слабохарактерен и уступчив по отношению к коммунистам и англичанам.

Но Даладье уже готовил контратаку. Прежде всего он создал в Палате специальную комиссию по изучению коммунистической проблемы. Комиссия предложила удалить всех коммунистов из государственного аппарата.

Затем Даладье созвал еще одно совещание верховного военного совета союзников. Французы и англичане решили выступить в Финляндии против Советского Союза, если финны официально будут просить об этом. Пятидесятитысячная армия была сконцентрирована в одном из французских портов для отправки в Финляндию.

Подготовив таким образом почву, Даладье предстал перед закрытым заседанием парламента — первым с начала войны. Заседание продолжалось тридцать один час и закончилось открытым голосованием. Правительство получило вотум доверия в 535 голосов против нуля.

Сторонники «умиротворения» возобновили свои атаки с новой силой. Крупнейшая утренняя газета Франции «Пти паризьен» переметнулась в «лагерь мира» и стала намекать на возможность соглашения с немцами. Конференция секретарей областных организаций социалистической партии показала, что партийный аппарат поддерживает сторонника «умиротворения» Поля Фора.

Сообщение о мире, заключенном между Россией и Финляндией после прорыва Красной Армией линии Маннергейма, произвело в Париже ошеломляющее впечатление. Даладье был вынужден созвать второе закрытое заседание Палаты.

Он вышел оттуда побитым. Триста депутатов различных партий воздержались от голосования за правительство. Только 239 голосов было подано за него.

Третий период французской войны кончился отставкой Даладье. Чтобы спасти свой кабинет, Даладье чуть не довел де-

ло до войны Франции с Советской Россией. Тайно он отправлял в Финляндию самолеты и танки, отсутствие которых очень сильно сказалось вскоре на французском фронте.

Его преемником стал Поль Рейно. Этот «Микки-маус французского парламента» долго ждал своего часа.

Поль Рейно вышел из богатой семьи, нажившей капитал на доходах от сети мелочных лавок в Латинской Америке. Маленький, юркий и изящный, он с первого взгляда производил впечатление порывистого, стремительного человека. Казалось, что он всегда спешит. «Быстрота и решительность, — сказал он как-то, — залог успеха».

Без сомнения, ему много дали его путешествия — он несколько раз объехал вокруг света, побывав во всех странах, игравших за последние годы видную роль в мировой политике. Рейно свободно говорил по-английски и по-испански.

В Палате он представлял парижский район Бирижи. Его считали специалистом в финансовых вопросах. Он сидел на скамьях «умеренных», то есть справа. Его карьера была обеспечена, когда стала известна острота Клемансо по его адресу: «Должно быть, он больно жалит, этот маленький комар».

Однако, при всех своих талантах, Поль Рейно был лишь хорошим техником. Никто не умел лучше его проанализировать проблему, выделить ее основные стороны. Но дальше этого его способности не шли.

Романтические истории заполняют всю его жизнь. Почти двадцать лет он был другом графини Элен де Порт. Она имела на него решающее влияние. Во время войны она настолько крепко держала его в руках, что это сказало на политической судьбе Франции.

Графиня де Порт была дочерью гражданского инженера в Марселе. Встретившись с Рейно, она имела уже богатый жизненный опыт. Ее брак с графом де Порт, который произошел уже после ее сближения с Рейно, открыл ей доступ в высшее парижское общество и гостинные деловых людей. Этот брак предопределил и ее политические связи. В дальнейшем, в течение многих лет говорили, что она близка к нескольким крупным фирмам.

Одним из ее друзей был Поль Бодуэн, друг Лавалья. Именно графиня де Порт подготовила почву для политического сотрудничества двух Полей — Рейно и Бодуэна.

Четвертый период войны начался с формирования кабинета Рейно. Далеко не блестящий состав правительства представил он на утверждение Палаты, — это была скорее коллекция посредственностей. Одни были взяты из кабинета Даладье, другие из прежних кабинетов. Новшеством явилась отставка министра юстиции Жоржа Боннэ и введение в правительство нескольких социалистов. Министром внутренних дел был назначен сочувствующий радикал-социалистам сенатор Анри Руа.

Палата встретила новое правительство враждебно. Правые были настроены против него потому, что в него вошли социалисты; радикалы — из-за провала их лидера Даладье, который они приписывали отчасти интригам Рейно. Новый премьер вынужден был пригласить Даладье на пост министра национальной обороны, чтобы уцелеть самому. Но их взаимная ненависть была так велика, что они даже не разговаривали друг с другом, — так же как и их подруги графиня де Порт и маркиза де Крюссо.

Мари Луиза де Крюссо д'Юзе имела такую же власть над Даладье, как графиня над Рейно. Она была родом из богатой семьи, владевшей консервными заводами на бретонском побережье. Титул она получила, выйдя замуж за внука графини д'Юзе.

В течение многих лет в политическом салоне маркизы происходили встречи дипломатов, депутатов Палаты, представительей крупного капитала. Именно здесь Даладье, выдвинувшийся после шестого февраля, заключил мировую с крупными делцами.

Рейно избежал провала в парламенте, получив большинство только в один голос. Против него была грозная четверка: Лаваль, влияние которого в Сенате быстро возрастало; Мальви, бывший министр, которого Клемансо в свое время судил за государственную измену; Жорж Боннэ и Поль Фор.

Когда Рейно сформировал свой кабинет, военному затишью уже приходил конец. Правительству Рейно скоро пришлось столкнуться с новыми решениями, принятыми Германией и Италией.

Через несколько дней после занятия Германией Дании и Норвегии Рейно выступил по радио. Он защищался от обвинений правительства левой печатью в том, что он ведет «показную» войну. Он уверял, что Франция выковала свое оружие для победы и еще пустит его в ход.



Поль Рейно



Жорж Мандель

После занятия скандинавских стран события стали разворачиваться стремительно. Сначала казалось, что Германия встретила достойного противника в лице британского флота. Казалось, что немецким войскам грозит опасность быть отрезанными от материка. Черчилль восклицал: «Со времен Наполеона никто не совершал более грубой ошибки, чем Гитлер». Рейно выступил с речью, полной оптимизма, и тем привлек на свою сторону враждебно настроенный Сенат. Он живыми красками изобразил гибель десятков германских судов в норвежских водах. Англо-французские экспедиционные войска высадились в Норвегии. Но уже к концу апреля военный совет союзников вынужден был отозвать эти войска.

В начале мая первый десант германских парашютистов опустился на территорию Бельгии и Голландии. Начался пятый, трагический период французской войны.

Рано утром настойчиво зазвонил телефон. Мне сообщали о новом наступлении Германии. Я бросился в канцелярию премьер-министра. Его секретарь сказал, что премьер как раз говорит по телефону с Лондоном. Рейно, проходя через комнату секретаря, бросил мне на ходу: «Французские войска двинуты на фронт».

Пришел ли решительный час? Или Германия просто решила захватить голландские морские и воздушные базы? Поль Рейно считал, как он сам сказал мне в тот же вечер, что немцы делают последнюю ставку. Если Рейно действительно так думал, то меры, предпринятые им, отнюдь не благоприятствовали успешному контрнаступлению французов. Он расширил свой кабинет, введя в него старого лотарингца Луи Марзана, главу правого крыла республиканцев, и Жана Ибарнега-

ра, вице-председателя организации «Боевых крестов».

События этого дня до сих пор стоят у меня перед глазами. В одну минуту Париж словно переродился. Он был весь наэлектризован, но это не был оптимизм. Скорее, это было смешанное чувство страха перед надвигающимся несчастьем и облегчения от того, что, наконец, кончилось нестерпимое ожидание.

В Лондоне Уинстон Черчилль сменил Невилля Чемберлена.

Через пять дней после первых атак германские войска вступили на французскую землю — во второй раз за двадцать пять лет.

В день, когда французский фронт был прорван у Седана, мы сидели в редакции в ожидании новостей. Официальные сообщения были полны оптимизма. Частная информация была не столь радужна, но даже и она тогда далеко не соответствовала действительным размерам катастрофы. Я объехал все министерства. «Общее впечатление очень мрачное, — отвечали мне, — но как-нибудь вывернемся».

Голландия капитулировала. Бельгийская, французская и английская армии отступали. Рейно снова реорганизовал кабинет. Он пригласил Петэна на пост заместителя премьера. Он передал Даладье министерство иностранных дел и взял себе министерство национальной обороны. Генерал Вейган был назначен главнокомандующим, а Поль Бодуэн заместителем государственного секретаря. Жорж Мандель взял министерство внутренних дел. Таков был ответ Рейно на приближение немецких армий к Ла-Маншу.

Союзнические армии были отрезаны друг от друга. Им никогда уже не пришлось соединиться вновь.

На первом же заседании кабинета, о котором мне рассказывал один насмерть перепуганный министр, маршал Петэн потребовал немедленного прекращения войны. Вейган заявил, что его призвали возглавить армию на две недели позже, чем надо было. «Никаких шансов на спасение», — повторил он несколько раз.

Удар за ударом сыпались на Францию. Грохот воздушных бомбардировок был уже слышен в Париже. Поток беженцев — голландских, бельгийских, французских — устремился через столицу. Слухи, неизвестно откуда возникавшие, распространялись, словно пожар. В министерстве иностранных дел на Кэ д'Орсэ

уже начали было жечь архивы, — верховное командование по телефону сообщило, что германская бронетанковая колонна будет в Париже через несколько часов. Этого не случилось. Германские войска заканчивали в это время бой во Фландрии.

Париж был объявлен военной зоной. Весь транспорт был мобилизован. Было строжайше запрещено выходить на улицу после вечернего сигнала. Террасы кафе пустовали. Тысячи австрийских и немецких эмигрантов были интернированы и размещены на стадионах. «Пятая колонна! Боритесь с «пятой колонной!» — вдруг завопили газеты. Казалось, Мандель решил наконец очистить парижские салоны и редакции газет. Он закрыл «Же сю парту», профашистскую газету, и произвел несколько арестов. Но к концу мая «Ордр» заявляла, что «в тюрьмах много тысяч коммунистов и почти нет германских агентов».

Три французские армии, английские экспедиционные войска, остатки разбитых бельгийских войск отступали к проливу. Пала Булонь, потом Калэ.

Париж опустел. Сотни тысяч людей покинули его. Мы также готовились покинуть город. Правительственные учреждения эвакуировались.

Битва во Фландрии кончилась. Меньше половины французских войск удалось переправить в Англию.

Началась битва во Франции.

В течение двух дней казалось, что фронт устоит. Но потом англичане обнажили левый фланг. Началось отступление к Парижу.

Кабинет Рейно снова реорганизовался. Даладье получил отставку. Поль Бодуэн водворился на Кэ д'Орсэ.

Правительство бежало из Парижа.

Италия объявила войну Франции — как раз в тот момент, когда война уже фактически кончалась.

Я уехал в Тур.

В Париже ждали немцев с минуты на минуту.

*

Франция вступила в войну при крайне неблагоприятных обстоятельствах. Политика коллективной безопасности была взорвана изнутри. Блюмовская тактика «невмешательства» внесла раскол в силы, способные и полные решимости сопротивляться агрессии. Даладье и Боннэ свели на-нет договор о взаимопомощи с Совет-

ской Россией. Уже в Мюнхене война была почти проиграна Францией.

Ситуация могла бы измениться только при условии, если бы народные силы во Франции были убеждены, что никаких дальнейших уступок не будет; что не будет ликвидировано социальное законодательство, завоеванное Народным фронтом; что французское правительство действительно желает сотрудничать со своими союзниками. Вместо этого, правительство Даладьё — Боннэ и правительство Рейно продолжали и даже усилили свою антипролетарскую политику. Это окончательно деморализовало страну. Уже к началу военных действий Франция была раздроблена, ослаблена бесконечными предательствами, свидетельницей которых она была. У нее окончательно пропала вера в свое руководство.

Первые изъяны в техническом оснащении французской армии обнаружили в самом начале конфликта. Зима 1939—1940 годов была одной из самых суровых за целое столетие в истории Европы. А у французских солдат не было одеял. Почему? Из-за полной дезорганизации снабжения.

Нехватало и обуви. На передовых постах линии Мажино французские солдаты ходили в дождь, изморозь и жестокие морозы в легких летних ботинках. В письмах домой они просили прислать сапоги. Одно из таких писем было опубликовано в газете и сопровождалось призывом к сбору обуви для солдат. На газету яростно ополчились другие издания за то, что она «открывает врагам военные тайны».

На втором месяце войны рабочий авиационного завода Блока рассказал мне, что из-за недостатка сырья завод выпускает меньше самолетов, чем до войны. Это была правда — производство военных самолетов вновь достигло довоенного уровня только в 1940 году. Военное командование предлагало закупать самолеты в Соединенных Штатах. Министр авиации отказался разместить там крупные заказы — французские промышленники настаивали, чтобы деньги оставались во Франции. А между тем, если бы заказы на танки и самолеты были размещены вскоре после начала войны, это могло бы в корне изменить ее ход.

Подземные заводы и аэродромы для самолетов строились с медлительностью, которая казалась бы просто невероятной

даже в нормальных, мирных условиях. Дело было, разумеется, не в «саботаже» со стороны рабочих, а в поминутном изменении инструкций и в задержках с доставкой материалов.

Цензура либо держала французский народ в неведении, либо пичкала его лживыми измышлениями. Возглавлявший ее Мартино-Депла был личным другом Даладьё. Он набрал свой штат преимущественно из числа бывших офицеров, часть которых состояла в монархистско-фашистской «Аксион франсез». Самые оптимистические и совершенно нереальные рассуждения по поводу отношения Италии к Франции настойчиво продвигались в печать. Точно так же были в ходу фантастические сообщения, в которых Германия изображалась как страна, стоящая на краю гибели от массового голода. Знакомые лубочные картинки 1914 года с изображением немецкого солдата, дезертирующего с фронта в погоне за куском хлеба, снова вошли в моду. Когда франкистская пресса в Испании разражалась безобразной бранью по адресу Франции, французским газетам не разрешали сообщать об этом.

Коррупция в парламенте и прессе сыграла значительную роль в падении Франции.

Однажды во время какого-то парламентского следствия Даладьё показал, что «восемьдесят процентов французской прессы субсидируется либо правительством, либо частными фирмами». Примерно, из двадцати пяти ежедневных газет, выходящих в Париже, четыре — «Тан», «Журналь де деба», «Энформасион» и «Журналь индустриэль» — принадлежали крупным промышленникам; это было известно всем. Десять других получали существенную финансовую поддержку от «двухсот семейств». Три находились в руках бумажного фабриканта Жана Пруво, которого Рейно впоследствии назначил министром информации. После того как Поль Фор, чтобы отделаться от Блюма, уговорил местные секции социалистов прекратить субсидирование социалистического органа «Попюлер», газета перешла на иждивение Рейно. Остальные газеты с небольшими тиражами еле-еле сводили концы с концами. Они попросту выпрашивали повсюду деньги, чтобы уцелеть.

Официальный институт «секретных фондов» в правительственном бюджете давал широкий простор подкупу и разложению. В начале каждого месяца на Кэ д'Орсэ и в других министерствах заготавливались

«конверты», за которыми присылали в точно обусловленное время администраторы газет и отдельные журналисты. Когда была введена цензура, находившаяся на таком иждивении министерства прессы возненавидела ее. Причину этой ненависти объяснил мне один из коммерческих директоров: «Поскольку сейчас можно бороться с выпадами против правительства при помощи цензуры, нам не станут больше платить». Случайно я зашел в одно крупное телеграфное агентство в тот момент, когда Даладье принимал министерство иностранных дел у Боннэ. Самым жгучим вопросом, который задавали друг другу служащие агентства, был не вопрос о том, какую политику поведет Даладье, а «кому он будет платить».

Один из приближенных Боннэ, активно проводивший через одну влиятельную вечернюю газету взгляды министра, одновременно был редактором листка, субсидируемого чехами, и в этом листке отстаивал антимюнхенскую позицию. Он ухитрялся одновременно ехать на двух лошадях в противоположных направлениях.

Один бывший депутат со связями на Кэ д'Орсэ каждое утро подавал Жоржу Боннэ сводку иностранной прессы. За эту работу он получал 5 тысяч франков в месяц. Затем он брал копию сводки, отправлялся в министерство финансов, диктовал тот же материал для Рейно и получал за труд 4 тысячи франков. После завтрака он работал для одного иностранного журналиста, которому продавал сведения, полученные им в министерствах иностранных дел и финансов. По вечерам он редактировал газетку, субсидируемую премьером.

В парламенте коррупция была такая же явная. Клемансо однажды ядовито заметил: «Французские парламентарии только и знают, что получать деньги и спать».

Старый завсегда кулуаров Палаты депутатов объяснил мне даже особую иерархию, существующую среди политиков, которых «можно купить». Низший разряд состоял из бывших депутатов, которые занимались, главным образом, кулуарными комбинациями. Затем шли молодые парламентарии, только что расправившие крылья на политической арене, — чаще всего они состояли на службе у мелких фирм.

Во время войны некоторые депутаты помогали молодым людям освобождаться от военной службы и недурно на этом зарабатывали. Мой собеседник подсчитал, что

из 618 депутатов по меньшей мере 300 состояли у кого-нибудь на жалованьи.

Военная разведка, так называемый «второй отдел», была гнездом взяточничества. Было установлено, что некоторые чины разведки в Париже использовали свое положение для темных и грязных делишек. Я знаю о трех случаях, когда беженцы были вынуждены уплатить видному чиновнику «второго отдела» крупную сумму денег, чтобы получить права гражданства. Те же чиновники наживались на подложных паспортах. Правительству часто докладывалось о наиболее вопиющих случаях взяточничества в этом учреждении. Министры не могли или не желали ничего предпринять. «Второй отдел» казался всемогущим.

Тайная полиция (Sûreté nationale) также была частью этого политического механизма. Большинство ее чиновников работало заодно с депутатами и политическими деятелями.

Наконец, и французская армия жила не под стеклянным колпаком. Бациллы разложения и продажности, характерные для последних лет Третьей республики, проникли и в нее. Высшие офицеры охотно шли на содержание к крупным промышленным компаниям и выступали посредниками при заключении больших сделок по снабжению армии.

Генерал Гамелен, возглавлявший французскую армию с 1935 года, не мог не знать о разложении в среде командного состава.

Генерал Морис-Густав Гамелен сделался главнокомандующим случайно. На место Вейгана в 1935 году был назначен генерал Жорж. Но Жорж был тяжело ранен во время покушения на короля Александра в Марселе в 1934 году, и выбор пал после этого на Гамелена. Его карьера не отмечена ни блеском, ни искрами таланта. Генералам нужна легенда. Трудно было сложить легенду о Гамелене. Это был самый незаметный из всех французских генералов. Он служил у генерала Жоффра. На нем лежал отблеск славы, как на составителе знаменитого приказа Жоффра накануне битвы на Марне.

В качестве руководителя армии Гамелен в числе других был ответственен за недостатки в вооружении армии. Он был ответственен за преступное пренебрежение так называемой Малой линией Мажино, которая должна была быть продолжена от основной линии до Ла-Манша. «Малая линия» — это было громкое имя;

на деле же она состояла из нескольких рядов жалких полевых укреплений.

Генерал Гамелен несет также ответственность за самый роковой шаг французской армии: поход в Бельгию. Все соображения диктовали армии единственную тактику: ждать немцев на укрепленных заранее позициях. Выйдя за линию, французские войска вынуждены были встретиться с значительно превосходившим их в техническом отношении врагом на территории, лишенной укреплений. Кроме того, по мере углубления в Бельгию французская армия оказывалась под угрозой флангового удара со стороны Арденнского лесного района.

Есть данные, что на этом продвижении настаивали английские министры. Старый спор о том, что следует защищать — порты пролива или район Парижа, — вспыхнул в самый критический момент войны. Гамелен, вопреки советам подавляющего большинства офицеров своего штаба, решил двинуть войска в Бельгию.

Девятая армия генерала Андре Корапа занимала центр французского фронта. Она продвигалась такими темпами, что делала не более десяти миль в три дня. Девятая армия еще не успела добраться до предназначенных для нее позиций, как механизированные германские части уже прорвались сквозь ее расположение. Лишь одна пятая армии Корапа вышла из окружения, остальные погибли или попали в плен к немцам. Брешь, образовавшаяся от этого разгрома, уже не могла быть заполнена ничем.

Из многочисленных сообщений, прошедших через мои руки, становится очевидным, что многие высшие офицеры не ответствовали поставленным перед ними задачам. Они пошли на войну вопреки собственным убеждениям. Большинство

офицеров, призванных из резерва, принадлежало к «Боевым крестам» и другим фашистским организациям. Это были не те люди, которые смогли бы вести солдат в наступление или организовать оборону. Но, помимо всего прочего, их подчиненные не верили им.

После первых же поражений офицерский состав армии сразу обнаружил признаки разложения. Когда битва за Францию шла к концу, некоторые офицеры бросали свои части, чтобы заняться эвакуацией своих семей из Парижа.

Франция не была побеждена. Она была разрушена изнутри людьми, обладавшими самыми влиятельными связями в правительстве, крупных предприятиях, государственном аппарате и в армии.

На борту парохода, который увозил меня из Франции, я встретил одного из самых богатых и влиятельных хлебных маклеров страны. В начале военных действий он обрел убежище в департаменте снабжения армии. Затем он основал филиал этого департаamenta у себя на дому, в Париже. В мае он откупился от службы в армии. При помощи щедрых взяток ему удалось добыть командировку с важным поручением в Аргентину. Мы долго беседовали о трагедии, постигшей Францию. Я задал ему вопросы, которые так часто задавал самому себе: «Почему так случилось? Как это могло случиться?»

Он ответил: «Это случилось потому, что во Франции слишком много таких людей, как я». Это циничное признание было наилучшим объяснением из всех, какие я когда-либо слышал.

Французский народ не повинен в гибели и расчленении Франции. Наступит время, когда народ сам возьмется за дело ее возрождения. Я убежден, что время это не за горами.

В. Н Е Й Ш Т А Д Т

Маркс и Энгельс о проблемах перевода

Проблема перевода и, в частности, художественного перевода, играет в литературной жизни нашей страны немаловажную роль. Между тем эта проблема, многократно и по-разному решаемая практически, не нашла еще у нас достаточно четкого принципиального выражения, не говоря уже о теоретическом решении.

Нельзя, конечно, сказать, что у нас не было попыток по крайней мере осмыслить проблему. Такие попытки возникали, и не раз. Появилось несколько серьезных статей и книг. В 1933 и 1934 гг. состоялись две широкие конференции, посвященные вопросам художественного перевода. Состоялись и более узкие совещания. Возникли дебаты по поводу отдельных переводческих удач и неудач. Высказываний по этому поводу было много, но все они, за редким исключением, носили характер импрессионистический, и в результате не создалось даже хора различных мнений, а получилась именно разногласица.

Но нужно отметить, что уже на конференциях 1933 и 1934 гг. был намечен единственно правильный путь для преодоления этой разногласицы и для подведения устойчивого фундамента под проблему перевода. Тогда уже была осознана необходимость критического освоения огромного буржуазного наследства по теории перевода и необходимость пересмотра всей проблемы на основе марксистско-ленинской методологии. Насущная задача! Но она до сих пор не осуществлена.

А между тем, как это отмечалось и на упомянутых переводческих конференциях, в работах Маркса и Энгельса мы найдем не малое число соображений, прямо относящихся к нашему вопросу; соображений, раскрывающих взгляды основоположников марксизма на ряд частных и общих моментов переводческой проблематики. Таким образом, Маркс и Энгельс вооружа-

ют исследователя этой проблематики не только оружием материалистической диалектики, не только общей научной методологией, но и конкретными указаниями, конкретными примерами применения этой методологии в области нашего вопроса, поскольку им самим с этим вопросом приходилось сталкиваться. А сталкиваться им приходилось нередко, как это видно, например, из одного письма Энгельса к Зорге (1886): «...мне предстоит еще,— пишет Энгельс,— одного лишь редактирования:

1) «18 брюмера», французский перевод — около $\frac{1}{3}$ уже готово; 2) «Наемный труд и капитал» Маркса — итальянский перевод; 3) «Происхождение семьи» — по-датски; 4) «Манифест» и «Развитие социализма» и т. д. — по-датски, обе эти работы уже напечатаны, но полны ошибок; 5) «Происхождение семьи» — по-французски; 6) «Развитие социализма» — по-английски. А в перспективе еще и еще. Как видишь, я превращаюсь в настоящего школьного учителя, исправляющего ученические тетрадки»¹.

Такую огромную работу по редактированию переводов и Маркс и Энгельс вели в течение всей своей жизни. Они редактировали переводы собственных работ или сами переводили их, опасаясь искажений на других языках. По этому поводу Энгельс однажды писал тому же Зорге (23 апреля 1877 г.): «...не могу допустить выхода в свет немецкого перевода моих английских трудов, сделанного посторонним лицом; да к тому еще перевода, переполненного ошибками и извратившего главные места подлинника... Я ей тотчас же ответил, прося ее вернуть оригинал, дабы я мог сам перевести его, так как в нем имеются места, каждое слово кото-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXV^{II}, стр. 528.

Впрочем, без излишнего теоретизирования скажем прямо: Маркс и Энгельс в своей переводческой и редакторской работе имели дело, в основном, со своими собственными произведениями, а произведения Маркса и Энгельса — явление большого и своеобразного стиля. Этот стиль, помимо его научной выразительности, обладает всеми признаками художественной выразительности: Маркс с полным правом мог называть свои произведения художественными. Он писал Энгельсу в 1865 году: «Whatever shortcoming they may have¹, одно является достоинством моих сочинений: они представляют собою художественное целое»².

Выразительно отзываясь о художественной стороне произведений Маркса Франц Меринг: «Силой и образностью своего языка Маркс мог поспорить с лучшими мастерами германской литературы; он придавал также большое значение эстетическому чувству меры в своих произведениях — не в пример скудным умам, которые считают скучное изложение основным речательством учености»³.

В. Либкнехт тоже причислял Маркса к крупнейшим мастерам и творцам немецкой прозы.

Вот почему суждения Маркса и Энгельса о переводе, вызванные их переводческой работой, имеют решающее значение для теории не только научного, но и художественного перевода.

Суждения Маркса и Энгельса по вопросам перевода вызваны — каждый раз конкретным случаем. Но это не случайные замечания. За каждым из них стоит определенная лингвистическая установка, глубокое понимание природы и процесса развития языка. Маркс и Энгельс обладали огромными знаниями в области лингвистики, их понимание языка, основанное на знании огромного конкретного материала (Маркс и Энгельс были истинные полиглотами), проясненного и упорядоченного методами материалистической диалектики, было решающим шагом вперед по сравнению с идеалистическим буржуазным языковедением. Буржуазные лингвисты рассматривали язык как нечто

самодовлеющее, как замкнутую систему, которая развивается по своим собственным законам. Идеалистическая философия, оплодотворявшая и буржуазную идеалистическую лингвистику, вообще разъединяла неразъединимый комплекс: действительность — сознание — язык. Маркс и Энгельс вскрыли всю несостоятельность этой идеалистической концепции. Они показали, что сознание рождается из реальной производственной деятельности людей и само реально существует в виде языка. В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс формулируют это следующим образом: «Для философов одна из наиболее трудных задач — спуститься из мира мысли в действительный мир. Непосредственная действительность мысли это — *язык*. Так как философы обособили мышление, то они должны были обособить и язык в некое самостоятельное царство. В этом тайна философского языка, в котором мысли, в качестве слов, обладают своим собственным содержанием. Задача спуститься из мира мыслей в действительный мир превращается в задачу спуститься от языка к жизни... Философы должны были бы свести свой язык к обыкновенному языку, от которого он абстрагирован, чтобы узреть в нем извращенный язык действительного мира и понять, что ни мысль, ни язык не образуют сами по себе особого царства, что они суть только *проявления* — действительной жизни... Язык, лишь только он обособляется, конечно, тотчас же становится фразой»¹.

Таким образом, язык есть реальное сознание, и своей смысловой стороной он определенным образом связан с действительностью. Отсюда мы можем сделать вывод и для области перевода: не может быть полного понимания текста без знания той действительности, о которой идет речь. Маркс и Энгельс не раз подчеркивают это, говоря непосредственно о переводе. Так, Маркс пишет Бракке (1877) по поводу перевода на немецкий язык книги Лиссагаре «История Коммуны 1871 г.», который делала Изольда Курц: «...в крайнем случае — за недостатком времени — я мог бы заняться только исправлением всех неправильностей, неизбежных для любого иностран-

¹ Каковы бы ни были их недостатки (англ.).

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIII, стр. 294.

³ «Карл Маркс; история его жизни, написанная Францом Мерингом». Госиздат, 1920, стр. 10.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. «Немецкая идеология». М. Партиздат, 1935, стр. 434—435.

ца, не достаточно знакомого с французскими условиями, но не исправлением простых ошибок переводчика»¹.

О том же пишет и Энгельс в упомянутой выше статье «Как не следует переводить Маркса»: «Для того чтобы перевести такую книгу («Капитал». — В. Н.), не достаточно хорошо знать литературный немецкий язык. Маркс свободно пользуется выражениями из повседневной жизни и идиомами провинциальных диалектов; он создает новые слова, свой иллюстрационный материал он заимствует из всех областей науки, а свои ссылки — из литератур целой дюжины языков; чтобы понимать его, нужно действительно в совершенстве владеть немецким языком, разговорным и литературным, и кроме того нужно кое-что знать и из немецкой жизни»².

Приведенные высказывания следует понимать не просто как практический совет переводчику (их практическая ценность есть лишь результат определенной методологической установки), а как принципиальное отношение к переводимому слову, вытекающее из определенного воззрения на его природу. Нужное значение слова (при его многозначности) может быть выбрано из ряда значений только при полном знании культурно-исторического контекста, в котором это слово существует³. Иначе неизбежна «а certain judicial blindness»⁴, — как говорит Маркс в одном из писем к Энгельсу (1868), где и приводит пример такой слепоты у переводчика: «...как геологи, даже лучшие, вроде Кювье, истолковывают некоторые facts⁵ совершенно превратно, так и филологи такого force⁶, как Grimm, перево-

дят неверно самые простые латинские фразы, потому что находятся под влиянием Мезера и т. д. (который, помнится мне, восхищался тем, что у германцев никогда не существовало «свободы», но зато «воздух делает крепостным»). Например, известное место у Тацита: *arva per annos mutant et superest ager*, что означает: они меняют (по жребию, откуда *sortes* во всех позднейших сборниках *Leges Barbarum*¹) поля (*arva*), и остается еще, кроме того, общинная земля (*ager* в противоположность *arva*, как *ager publicus*), Grimm etc. переводят: они возделывают каждый год новые поля, и все же остается еще (невозделанная) земля!»².

Лингвистические взгляды Маркса и Энгельса обусловили, несомненно, их подход к основным проблемам перевода. Практическое и совершенное знание многих языков позволяло им практически решать и проблемы. Присущее обоим мастерство формы являлось естественным контролем при оценке результатов. Все это, вместе взятое, в первую очередь заставило их дать ответ на вопрос: возможна ли дословная передача текста на другой язык? Вот несколько цитат из переписки Маркса и Энгельса:

«...сегодня вечером перевод будет закончен. Но эта работа отнимает у меня страшно много времени, так как я должен заново перевести все сколько-нибудь трудные места, без исключения, — [и пер] в таких случаях прибегает к буквальному переводу, при котором получается настоящая белиберда. Впрочем, некоторые места вообще не поддаются переводу»³.

«Я утопаю в печатных листах — французских (в которых мне чрезвычайно много приходится переделывать из того, что слишком буквально переведено...)»⁴.

«Хотя французское издание (в переводе г. Руа, переводчика Фейербаха) и выполнено большим знатоком обоих языков, тем

¹ Архив Маркса и Энгельса, т. I/VI, стр. 109—110. Партиздат. 1932. Разрядка моя. — В. Н.

² К Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 230. Разрядка моя. — В. Н.

³ Маркс пишет в письме к Энгельсу: «Что сказал бы old Гегель, если бы узнал на том свете, что «общее» (*Allgemeine*) означает у германцев и северян не что иное как общинную землю (*Gemeinland*), а «частное» (*Sundre, Besondre*) — не что иное, как выделившуюся из этой общинной земли частную собственность (*Sondereigen*)? Тут логические категории — проклятие — прямо вытекают из «наших отношений». — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV, стр. 34—35.

⁴ Известная слепота суждения (англ.).

⁵ Факты (англ.).

⁶ Калибра (англ.).

¹ Варварские «правды» (лат.).

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV, стр. 34.

³ Из письма Энгельса к Марксу, 1852 г., по поводу перевода на английский язык «18 брюмера». Энгельс редактировал этот перевод. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXI, стр. 408—409. Разрядка моя. — В. Н.

⁴ Из письма Маркса к Зорге, 1872, по поводу французского перевода «Капитала». — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 254. Разрядка моя. — В. Н.

не менее он переводил иногда чересчур буквально. Поэтому я был принужден переделывать по-французски целые отрывки, чтобы приспособить их для французской публики...»¹.

«Г-н Ж. Руа обещал дать возможно точный и даже дословный перевод. Он добросовестно выполнил свою задачу. Но как раз его добросовестность и точность заставили меня изменить редакцию, чтобы сделать ее более доступной для читателей...»².

«Французский текст Обращения³ я дал Серрайе, а английский сначала М[ак]-Д[оннелю] для ирландцев, затем сам переписал его для «International Herald» и, наконец, отослал его Федеральному совету. Дело в том, что я опасался, как бы Федеральный совет его не замолчал или же не напечатал его в *дословном* английском переводе с всевозможными лингвистическими ошибками и явными германизмами для того, чтобы поиздеваться над этим. Я, разумеется, все это исправил, ибо *в таком виде* как французский, так и английский текст Обращения печатать было невозможно. Мы здесь всегда давали подобные вещи на исправление какому-нибудь образованному человеку, для которого этот язык является родным...»⁴.

Неоднократное возвращение к вопросу о дословном переводе показывает, что Маркс и Энгельс придавали ему большое значение. Интересно отметить два обстоятельства:

1. Вопрос о дословности возникает как при переводе исторических и социально-экономических произведений, отмеченных

ярко выраженным индивидуальным стилем, так и при передаче на другой язык официального документа, в котором элемент индивидуального стиля играет, во всяком случае, подчиненную по отношению к содержанию роль. Дословная передача отвергается в обоих случаях.

2. Вопрос о дословности возникает не только при работе непрофессионального переводчика (квалификация которого может быть взята под сомнение), но и при работе профессионального переводчика заведомо высокой квалификации, каким являлся Руа. Следовательно, дословность в переводе рассматривалась не только как возможный результат неумелости, но и как известная методологическая тенденция, как существующий переводческий принцип.

История искусства перевода показывает, что такой принцип действительно существовал и даже существует в наше время, упорно защищаемый как основа так называемого «филологического перевода». Ссылаясь на авторитет филологии, этот принцип пытаются иногда распространить и на всякий перевод, забывая или желая забыть, что один из крупнейших авторитетов филологии, Август Бекк, просто-напросто отверг самое понятие филологического перевода. Вот что сказано об этом в его «Энциклопедии и методологии филологических наук»: «Переводчик должен владеть своим языком как художник (*künstlerisch*), что не является делом филологического знания. Если филология начнет переводить, она перестанет быть филологией»¹.

Итак, как мы видели выше, Маркс и Энгельс отвергали принцип дословного перевода. Остановлюсь несколько подробнее на этом понятии, так как оно все же многозначно. Под дословным переводом разумеется иногда перевод, сохраняющий в неприкосновенности все содержание подлинника и все пропорции этого содержания. В таком смысле употребил однажды это понятие и Энгельс. Я имею в виду его письмо к мисс Гаркнес, где он писал: «Я прочел эту вещь с величайшим удовольствием, прямо с жадностью. Это действительно, как говорит Ваш переводчик, мой друг Эйхгоф, маленький шедевр. Он к этому добавляет, и это должно доставить Вам удовлетворение, что перевод его должен быть буквальным, так как всякий пропуск или попытка изменения может

¹ Из письма Маркса к Даниэльсону, 1872. Имеется в виду французский перевод «Капитала». — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 260. Разрядка моя. — В. Н.

² Из послесловия Маркса к французскому изданию «Капитала». Как известно, Маркс не только редактировал текст французского перевода, но внес во французское издание еще ряд дополнений и поправок, которые вошли потом и в новое немецкое издание. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVII, стр. 24. Разрядка моя. — В. Н.

³ Циркулярное Обращение, выпущенное новым Генеральным советом (в Нью-Йорке) по поводу его вступления в должность.

⁴ Из письма Энгельса к Зорге, 1872. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 297.

¹ Август Бекк. «Энциклопедия и методология филологических наук». Изд. 1877 г., стр. 161.

только испортить ценность оригинала»¹.

Здесь понятие «буквальный перевод» противоплагается понятию переработки, а вопрос литературной переработки не является переводческим вопросом, ибо всякая ревизия текста может быть сделана и до перевода, от этого дело не меняется. Ведь выражение «сокращенный перевод» равнозначно, в сущности, выражению «перевод сокращенного текста», но оно сохраняет свою правомочность потому, что сокращенный текст может и не существовать в напечатанном виде, а пребывать лишь в карандашных отметках на личном экземпляре переводчика.

Буквальный перевод в указанном смысле есть сохранение авторского замысла, и восставать против этого Маркс и Энгельс, конечно, не могли². Но под буквальным или дословным переводом чаще разумеют иное, а именно: рабское копирование иноязычного строя, лексическую, морфологическую и синтаксическую кальку, которая нарушает нормы родного языка. Верхним пределом такого перевода является подстрочный перевод слово за словом, нижним — так называемая установка на чужезычность, при которой за переводчиком оставляется право пренебрегать свойствами родного языка. Насколько далеко может заходить такое «право» — зависит уже от темперамента переводчика. Нет спора, обращаться к формам чужого языка для построения аналогичных форм в родном языке, при отсутствии в нем готовых и достаточных заменителей, вполне законно, но при одном условии: пересаживаемые языковые ростки должны найти в новом языке подходящую для себя почву. А что получается, если такой подходящей почвы

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVIII, стр. 26.

² Другое дело, если самый замысел автора казался им неудовлетворительным по тем или иным причинам. Так, когда В. Либкнехт задумал перевести на английский язык книгу Вутке «Ueber die Geschichte des Schreibens und der Buchstaben», Энгельс писал ему: «Для здешнего рынка следовало бы подвергнуть книгу значительной переработке, выкинуть из введения все лишнее, отбросить совершенно неуместные, длиннейшие рассуждения о китайской литературе и заменить темный и загадочный стиль plain English (ясной английской речью)». — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 263.

нет, показывают Маркс и Энгельс в блестящей отповеди Фаухеру («Святое семейство», глава вторая): «Критика, с чувством художественного блаженства свободном творящая свою противоположность, бессмыслицу, — та самая критика, которая два года тому назад восклицала: критика говорит по-немецки, теология по-латыни», — эта самая критика изучила теперь *английский* язык и называет землевладельцев «Landeigner»'ами (landowners), фабрикантов — «Mühleigner»'ами (millowners; по-английски «mill» означает фабрику, машины которой приводятся в движение паром или водяной силой), рабочих — «руками» (hands). Вместо «вмешательство» она говорит «интерференция» (interference)...»¹.

Остановимся на двух первых неологизмах Фаухера, являющихся дословным переводом сложных английских существительных. Почему Маркс и Энгельс высмеяли вновь созданное слово «Landeigner»? Ведь английское «land» действительно соответствует немецкому «Land», английское «owner» немецкому «Eigner» (слову, не очень употребительному, однако, встречающемуся как раз у Маркса, см. «Das Kapital», Erster Band. Volksausgabe, 1932, стр. 243 и 250). Немецкий язык к тому же, подобно английскому, легко допускает образование сложных существительных. Но английское «landowner» встречает уже целое гнездо соответствий в немецком языке: «Landbesitzer, Grundbesitzer, Gutsbesitzer, Grundeigentümer, и создание еще одного дублета просто бессмысленно. Слово все равно не удержалось бы в живой речи.

Что касается новообразования «Mühleigner», то здесь, в погоне за буквальностью, прежде всего неверно осмыслен первый составной элемент, так как «mill» по-английски и «мельница» и «фабрика», а по-немецки «Mühle» только «мельница».

Так легко оборачивается бессмыслицей установка на чужезычность.

Но стремление под видом приближения к подлиннику придать переведенному тексту иностранный оттенок связано не только со смысловой, но и с синтаксической калькой. Однако синтаксическая организация слов есть организация смысловых отношений, и нарушения синтаксиса ведут к разрушению или искажению этих отношений. Маркс, вытравливая дословность во французском переводе «Капитала», особенно обращал внимание на синтаксиче-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. III, стр. 33.

скую сторону. Он не допускал никаких отступлений от сложившихся синтаксических норм французского языка, потому что видел бесполезность таких отступлений. Нужно было считаться с пределом гибкости французского строя речи. Энгельс тоже признал это необходимым, как ни досадовал он на французский язык. Вот что писал он Марксу о французском переводе «Капитала»:

«Вчера читал я во французском переводе главу о фабричном законодательстве. При всем почтении к искусству, с которым эта глава переведена на изящный французский язык, мне все же жалко прекрасной главы. Сила, сочность и жизнь — все пошло к черту. Возможность для писателя изящно выражать свои мысли покупается за счет кастрации языка. На этом современном скованном правилами французском языке становится все более невозможным высказывать мысли. Перестановка предложений, к которой принуждают правила педантичной формальной логики, отнимает у изложения всякую яркость, всякую живость. Я счел бы большой ошибкой положить в основу при английском переводе французский перевод. На английском языке нет необходимости смягчать силу выражений оригинала; что неизбежно будет утрачено в части действительно диалектического изложения некоторых мест, будет в других отношениях возмещено большей силой и лаконичностью английского языка»¹.

Как видим из этой очень важной цитаты, Энгельс прежде всего отчетливо указывает на роль синтаксиса в научном изложении. Та или иная последовательность предложений (или расстановка слов внутри предложения) есть одновременно и определенное развертывание мысли. Диалектический ход изложения связан у Маркса с характерным синтаксическим строем речи, сильно отличающимся от школьных, как их называл Энгельс, норм немецкого синтаксиса. Напомню, что Энгельс при переводе французских и английских работ Маркса на немецкий язык очень заботился о том, чтобы синтаксис немецких переводов приближался к характерному синтаксису Маркса. По этому поводу Энгельс писал Бернштейну, переводившему «Нищету философии»: «В первом листе, стремясь к верной и точной передаче смысла, Вы несколько прене-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV, стр. 423. Разрядка моя.— В. П.

брегли стилем,— только и всего. К тому же мне хотелось передать в переводе своеобразный, непривычный для Вас, стиль Маркса,— этим и объясняются многочисленные поправки.

Если Вы, переводя содержание на немецкий, прочтете затем рукопись еще раз, обращая внимание на стилистическую удобочитаемость, и будете при этом помнить, что везде, где только возможно, надо избегать громоздкого школьного синтаксиса, который нам всем вбивали в голову и при котором глагол в придаточном предложении ставится непременно в самом конце,— то вы не встретите больших затруднений и уж сами приведете все в порядок»¹.

Таким образом, Энгельс утверждает синтаксис Маркса как необычный, как явление нового литературного стиля. Однако Маркс, ломая нормы школьного немецкого синтаксиса, тесные для его диалектической мысли, не ломал немецкого языка — он только глубже раскрывал его возможности, недоступные школьным педантам². Таких возможностей, в пределах, нужных Марксу, не нашлось во французском языке, с другим строем синтаксиса,— и Маркс уступил языку. Энгельс признал необходимость такой уступки, ведь он и сам неоднократно сталкивался с неподатливостью французского языка: «Альянс»

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII, стр. 350.

² О такого рода педантах Энгельс писал Зорге в 1886 году: «Относительно пуриста, который ратует против нашего стиля и нашей расстановки знаков препинания он не знает ни немецкого, ни английского языка, иначе он не находил бы англицизмов там, где их нет. Тот немецкий язык, о котором он мечтает и который нам вколачивали в школе, с его отвратительно построенными периодами и со сказуемым, отодвинутым бесконечными придаточными на 10 верст от подлежащего, и самый хвост,—этот немецкий язык таков что мне понадобилось тридцать лет, что бы отучиться от него. Этот бюрократический немецкий язык школьных учителей для которого Лессинг вообще не существует, исчезает теперь даже в Германии».— К. Маркс и Ф. Энгельс Сочинения, т. XXVII, стр. 552.

³ Речь идет о докладе и о документах Гаагского международного конгресса 1873 г., опубликованных под названием «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих».

почти готов — по-французски: адская работа на этом каверзном языке, зато попадет в точку, и даже вы будете поражены». — писал он однажды Зорге¹. Над переводом «Альянса» Энгельс работал вместе с Лафаргом.

Французский язык оказался «каверзным» и почти не давал возможности воспроизвести характер изложения Маркса. Попытка, скажем, последовательно сохранить немецкий порядок предложений внутри периода была бы лишь формальной попыткой, и не только не выявила бы течения мысли Маркса, а, наоборот, затемнила бы смысл.

Английский язык, по мнению Энгельса, более способен отобразить характер изложения Маркса. К тому же английский язык своими свойствами дает возможность компенсировать утерянное. Здесь Энгельс попутно выдвинул одну из самых важных проблем перевода, проблему компенсации, без которой вообще немислимо понятие адекватного перевода.

Однако сейчас речь о другом. Оценка французского и английского языка по заключенным в них возможностям отобразить особенности подлинника показывает, что Маркс и Энгельс относились с величайшим вниманием к стилевому соотношению языка перевода и языка подлинника. Они заботились не только о верной передаче смысла и не просто о хорошем, безотносительно к подлиннику, языке перевода.

Если перевод на «каверзный» французский язык представлял, по выражению Энгельса, адскую работу, то это, конечно, потому, что исторически сложившиеся нормы языка создавали большую трудность в лавировании между Сциллой буквального перевода и Харибдой обезличенного стиля. Нужно было найти максимально соответствующий стиль. Ведь Маркс и Энгельс прекрасно понимали, что и скванный правилами французский язык все же позволяет в своих пределах создавать характерные стили.

Маркс и Энгельс никогда не забывали о соотношении стиля перевода и стиля подлинника, и это подтверждает следующее письмо Энгельса к Зорге (1883): «Если ты хочешь печатать по-английски (письмо Маркса к Зорге. — В. Н.), то я его тебе переведу, так как перевод «Манифеста» снова показал, что там у вас, повидимому, нет никого, кто мог бы перево-

дить *наш* немецкий язык на литературный и грамматически правильный английский. Для этого необходимо иметь опыт литературной работы на обоих языках, и притом не только газетной работы. Переводить «Манифест» дьявольски трудно; русские переводы, пожалуй, лучшие из всех, которые я встречал»¹.

Энгельс подчеркивает здесь: «наш немецкий язык», следовательно, он хлопочет о стиле, но он не забывает подчеркнуть и «грамматически правильный английский», следовательно он предостерегает против дословности.

А вот высказывание Маркса по этому вопросу. Когда Маркс подыскивал переводчика для книги Лиссагаре «История Коммуны 1871 г.», он писал В. Бракке (1875): «Кокоского я охотно взял бы, но ему решительно нехватает той легкости и гибкости языка, которая нужна для перевода именно этой книги»².

В упоминавшейся выше статье «Как не следует переводить Маркса» Энгельс еще более определенно указывает на необходимость передачи стиля подлинника в переводе: «Из числа писателей нашего века, — пишет Энгельс, — у Маркса наиболее сильный и сжатый стиль. Чтобы передать его равноценным стилем, следует в совершенстве владеть не только немецким, но и английским языком. Однако Бродгаус, будучи, повидимому, достаточно способным журналистом, владеет английским языком только в том ограниченном объеме, которым пользуются, чтобы удовлетворить условным литературным требованиям. Этим языком он владеет свободно, но это не тот английский язык, на который можно было бы переводить «Капитал». Сильный немецкий язык следует передавать сильным английским языком; нужно использовать лучшие ресурсы языка; вновь созданные немецкие термины требуют создания соответствующих новых английских терминов. Но как только перед Бродгаусом встают такие затруднения, у него недостает не только ресурсов, но и храбрости. Малейшее расширение его ограниченного запаса слов, малейшее новшество, выходящее за пределы условного повседневного языка английской литературы, его пугает, и скорее, чем рискнуть на такую ересь, он передает трудное немецкое слово более или менее неопреде-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII, стр. 322.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 433.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 339

ленным термином, который не режет его слуха, но затемняет мысль автора...»¹.

Счет, который Энгельс предъявляет здесь переводчику, принципиально важен. Это, прежде всего, протест против повседневного, как пишет Энгельс, литературного языка. Грамотный, но безличный язык не является тем языком, которым может удовлетворяться (и часто удовлетворяется) переводчик. Энгельс еще в молодые годы отметил, что в переводческой практике складывается какой-то особый стандарт языка, какой-то особый «переводческий стиль», убивающий своеобразие любого автора. Рядом с искусством перевода, высоко поднятым в то время в Германии, развилось ремесло перевода, грозящее уничтожить искусство. В 1843 году, реферировав книгу Карлейля «Прошлое и настоящее» и рекомендуя перевести ее, Энгельс писал: «Но да не прикаснутся к нему руки ремесленных переводчиков! Карлейль пишет своеобразным английским языком, и переводчик, не знакомый основательно с английским языком и не понимающий его намеков на английскую жизнь, наделает самых уморительных ошибок»².

Развитие ремесленного перевода есть практический результат превратного теоретического взгляда на существо языка. Именно идеалистическое и формалистическое понимание языка, как самодовлеющей, замкнутой системы, рождало мнение, что для перевода с одного языка на другой достаточно овладеть элементами грамматики языка подлинника да положить перед собой параллельный словарь. Ложная теория языка оправдывала и переводчиков, берущихся за перевод без достаточных для того оснований, и крупных переводчиков, создававших ложные теории перевода — будь то теория дословного (калькирующего) перевода или теория условного (обезличивающего) перевода.

Требую равноценного подлиннику перевода, Энгельс требует от переводчика творческого отношения к слову, выражающегося, однако, не столько в том, чтобы безудержно создавать новые слова и формы, сколько в умении охватить и использовать все богатство родного языка. Энгельс, конечно, не возражает против создания новых слов («вновь созданные немецкие термины требуют создания со-

ответствующих новых английских терминов»), он не возражает и против новых форм, создаваемых по аналогии с формами подлинника, если только это позволяют законы языка. Но первое, на чем он настаивает: поищите в языке, нет ли уже в нем этого нужного вам нового или, по крайней мере, нет ли материала для создания таких новых форм. В одном из писем к Марксу (1867) Энгельс, указывая на трудность передачи терминологии «Капитала» на английский язык, ставит Марксу вопрос: «Нет ли старых английских философских сочинений эпохи до-бэконовской или до-локковской, где можно было бы найти материал для терминологии? Мне кажется, что существует нечто подобное. И как обстоит дело с английскими попытками передать Гегеля?»¹.

Это в отношении терминологии, где мы имеем дело со смыслом и с морфологическими формами. (Кстати: терминология бывает не только научная, но и бытовая — следовательно, все это распространяется не только на научный, но и на любой перевод.) Но то же самое в отношении стиля, как в связи с лексикой, так и в связи с синтаксисом. Здесь тоже решающим судьей является язык, на котором создается перевод. Вот цитата по этому поводу из письма Энгельса к Келли-Виневецкой (1885), переводившей «Положение рабочего класса в Англии» на английский язык: «Я тщательно просмотрел ее (рукопись.— В. Н.) и набросал карандашом некоторые исправления и предложения, чтобы показать Вам, как я считал бы нужным перевести данное место. Кое-где Вы, может быть, найдете, что те или иные из предлагаемых мною оборотов нехорошо звучат по-английски в общем контексте фразы; в таких случаях я предоставляю Вам самой исправить их»².

Отвергая нивелирующий перевод и призывая переводчика к расширению языковых средств, Энгельс выдвигает установку не на чужезычность, а на ресурсы родного языка. Но тут, чтобы не было недоразумения, нужно кое-что прояснить.

Дело в том, что под «установкой на родной язык» разумеют иногда иное, а именно: замену национальной окраски

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, стр. 231.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. II, стр. 347.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIII, стр. 419.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII, стр. 450. Разрядка моя.— В. Н.

подлинника иной национальной окраской. То есть при такой установке происходит не только перевод с одного языка на другой, но и перестройка на свой национальный лад всех чужеземных культурно-бытовых особенностей, отраженных в содержании подлинника. Частным случаем такой установки является переобувание, скажем, французского крестьянина в лапти.

В сущности, эта установка должна быть противопоставлена не установке на чужезычность (как методу калькирования языковых форм подлинника), а «установке на чужеземность», как принципу сохранения национального колорита подлинника. Таким образом, то, что до сих пор именовалось «установкой на родной язык», правильнее, как мне кажется, называть «установкой на своеобычность». Под установкой же на родной язык следует разуметь именно то, что разумеют Маркс и Энгельс, когда настаивают, что перевод должен звучать как произведение, написанное на родном языке.

Однако возникшее выше противопоставление «чужеземности» и «своеобычности» тоже требует обсуждения. В чем различие этих установок, взятых в пределе? Сторонники «установки на чужеземность» высказываются за принципиальную желательность дословного или почти дословного перевода всякой иноязычной метафоры и утверждают, как правило, непереводаемость терминированного слова (будь то термин научный, технический, общественно-политический или бытовой). Наоборот, «установка на своеобычность» утверждает, как правило, непереводаемость иноязычной метафоры и требует замещения ее метафорой из национального запаса; вместе с тем, сторонники этой установки высказываются за принципиальную желательность перевода всякого терминированного слова.

По этим вопросам мы найдем некоторые указания у Энгельса. Так, в 1843 году, в цитированной уже статье о Карлейле, Энгельс, рассказывая, как опасно отнеслись англичане к книге Штрауса «Жизнь Христа», пишет: «Наконец, какой-то социалистический lecturer (для этого технического агитаторского выражения нет немецкого слова) — ...перевел ее...»¹.

Теперь мы перевели бы слово «lecturer»,

пожалуй, как «агитатор», но для Германии 40-х годов оно было непереводаемо.

В связи с переводом «18 брюмера» на английский язык Энгельс пишет Марксу (1852) о том, как переводчик (Пипер) плохо справляется с трудностями текста (см. выше), а в конце прибавляет: «Впрочем, некоторые места вообще не поддаются переводу»¹.

Возьмем, наконец, предисловие к «Развитию социализма от утопии к науке», где, касаясь формы изложения, Энгельс пишет: «Я ограничился тем, что устранил все не безусловно необходимые иностранные слова. Но, оставляя необходимые, я отказался от присоединения к ним так называемых пояснительных переводов. Ведь необходимые иностранные слова, в большинстве случаев представляющие общепринятые научно-технические термины, не были бы необходимыми, если бы они поддавались переводу. Значит, перевод только искажает смысл; вместо того, чтобы разъяснить, он вносит путаницу»².

Здесь речь идет об интернациональных научно-технических терминах, но в статье о Карлейле в том же плане говорилось о местном термине иного порядка. Названия монетных единиц тоже местные термины. Но как раз «непереводаемость» монетных названий имели в виду Маркс и Энгельс, когда нападали в «Святом семействе» на Э. Бауера, искажившего Прудона: «Критический Прудон отвергает французскую десятичную систему. Он оставляет франк, но на место сантима ставит «полушку»³.

Сантим не переводится полушкой, пфенниг — копейкой, шиллинг — полтинником, талер — рублем. Это ложные эквиваленты, как ложным эквивалентом является верста для мили, вершок для дюйма, лапоть для сабо, и т. д. и т. п. Но дело здесь вовсе не в сохранении национального колорита (он возникает сам собой), а именно в отсутствии эквивалентов.

Так не нашло себе русской замены французское слово «chansonnier», ибо ни «куплетист», ни «песенник» не раскрывают смысла этого своеобразного французского явления. Ленин отметил это в одном из парижских писем: «Собираюсь...

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXI, стр. 409.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XV, стр. 624.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. III, стр. 66.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. II, стр. 324.

к «песенникам» (неудачный перевод *chansonniers*)¹.

Повторяю, вопрос сводится не к сохранению колорита, а к сохранению смысла. Не будем же мы ради колорита оставлять без перевода французского *colonel*'я или немецкого *Oberst*'а, когда им соответствует русский полковник, когда сохранение иностранного слова, по меньшей мере, затруднит смысл неправомочным дублетом. Умножать примеры не стоит.

В свете изложенного спор между «чужеземцами» и их противниками в области терминологии отпадает сам собой, и английский многозначный «клерк», утомленный тяжбой переводчиков Диккенса, находит себе заслуженное успокоение в объятиях своих разноликих русских собратьев.

Теперь ко второму пункту спора, — к пункту о том, как поступать переводчику с образными выражениями. Мы видели выше, что Маркс и Энгельс несколько раз указывали на образные элементы речи как на камень преткновения для переводчиков и обращали внимание на необходимость знания конкретной действительности, чтобы эти образные элементы понимать. Заметим, что под конкретной действительностью надо разуметь как современную, так и историческую действительность. Поговорка о Юрьевом дне достаточно поясняет это.

Совершенно ясно, что буквальный перевод иного образного выражения, без раскрытия его метафорического смысла, приводит зачастую к бессмыслице. Критикуя английский перевод «Капитала», Энгельс в поучение переводчику Бродгаусу привел следующий пример: «Когда несколько оксфордских студентов переплывали через Дуврский пролив на четырехвесельной лодке, то в газетных отчетах сообщалось, что один из них «*caught a crab*»². Лондонский корреспондент «*Kölnische Zeitung*» понял это выражение буквально и добросовестно сообщил в свою газету, что «креб зацепился за весло одного из гребцов». Если человек, много лет живший в Лондоне, встретившись с техническими терминами неизвестного ему искусства, способен совершить такую грубую и смешную ошибку, то чего же нам ждать от человека, который, посред-

ственно зная только книжный немецкий язык, берется переводить одного из наиболее трудно поддающихся переводу немецких писателей, пишущих прозой? И мы действительно увидим, что Бродгаус большой мастер «ловить крабов»¹.

Обратим внимание на одну важную частность в этом высказывании. Метафорическое выражение «*catch a crab*» Энгельс одновременно квалифицирует как технический термин, перекидывая тем самым мост от слова-образа к слову-термину и на 50 лет предвосхищая выводы нового учения об языке, которое одним из важнейших исторических процессов в языке считает переход слова-термина в слово-образ и слова-образа в слово-термин.

Но это поучительно не только для лингвиста, это важно и для переводчика. Ибо как только метафорическое речение становится в терминологический ряд, мы уже можем не считать с его метафорическим строем, даже если этот строй продолжает ощущаться. В метафоре-термине, как и в чистом откристаллизовавшемся термине, нас будет интересовать только чистый смысл, и в выражении «*catch a crab*» мы не будем «ловить крабов», как не ловим мы петухов, скажем, в немецком слове «*Nahnenbalken*», интересуясь только его непосредственным значением — растяжка, то есть поперечная связь стропил. Что таков должен быть наш интерес к метафоре, ставшей чистым термином, вытекает из нашего отношения к любой иноязычной идиоме, потерявшей свою метафорическую природу и ставшей общим термином. Так для француза солнце ложится (*se couche*), а для нас оно садится, и это — равнозначные термины, не требующие переосмысления при их столкновении. То же самое и при столкновении разноязычных частных терминов: немецкое военное «*Schwarm*» равнозначно русскому военному «цепь». И то же самое, значит, для английского спортивного «*catch a crab*», как и для технического «краба», который по-русски именуется весьма прозаически «подъемным краном».

Но если метафора продолжает выполнять свою метафорическую функцию, отношение к ней должно быть иное. Нельзя вытравливать украшающую, обогатительную роль всевозможных «словечек», присловий, поговорок, пословиц, вообще — ощущаемой в языке «игры» слова и мысли.

Энгельс в письме к Мартиньетти (1885),

¹ В. И. Ленин, «Письма к родным». М. Партиздат, 1934, стр. 356.

² *Catch a crab* — буквально значит поймать краба, в переносном смысле — неудачно погрузить весло в воду.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 230—231.

переводившему «Происхождение семьи, частной собственности и государства», делает переводчику указание как раз по интересующему нас вопросу. «Удивляюсь тому, — пишет Энгельс, — что вы, никогда не живя в Германии и не изучая язык в этой стране, все же столь хорошо сумели передать мои мысли. Я нашел лишь несколько сокращенных и идиоматических выражений и поговорок, где имеются ошибки; притом эти выражения не может как следует понять тот, кто не знает обыденной речи, вплоть до диалектов страны, — это вещи, которых нет ни в грамматиках, ни в словарях. В подобных случаях, если вы хорошо поняли текст, то, полагаю, можете действовать несколько более свободно и смело»¹.

Это указание Энгельса формально можно истолковать в двояком смысле в зависимости от того, как понимать здесь слово «текст» — то ли как «общий контекст», то ли как «текст самой поговорки». Если принять первое понимание, то приходится предположить, что Энгельс советует переводчику попросту выкидывать непонятные идиомы и поговорки. Но зачем тогда ограничение — «несколько более свободно и смело»? Ведь если идиома непонятна, ее нужно либо понять, либо обойти. Среднего решения нет. Мне кажется, Энгельс имеет в виду другое, а именно: идиоматическое или метафорическое выражение не всегда можно раскрыть по словарю и грамматике. Только живое знание языка дает это понимание. Если у вас такого знания нет, обратитесь в крайнем случае к тому, у кого оно есть. Но понять идиому или поговорку необходимо, и понять правильно. Когда же смысл перед вами раскроется, то, передавая его на свой язык, сохраните его метафорическую природу, для чего вам и дается право более свободно и смело распоряжаться формой его выражения. Другими словами, для метафорического выражения нужно искать метафорического же эквивалента в ресурсах родной речи.

Только так, думается мне, следует принимать указание Энгельса.

При передаче метафорического выражения переводчику предоставляется свобода, но не безграничная. Метафорическое выражение должно сохранить связь с той смысловой средой, в которой оно возник-

ло, иначе игра смыслов легко может оказаться подмененной; с другой стороны, метафорическое выражение должно сохранить свою метафорическую природу, входя в новую языковую среду, в противном случае метафорическое построение будет разрушено.

Но вторую часть условия многие подвергают сомнению, указывая на серьезную опасность: национальная окраска образного эквивалента может стать, говорят, в явное противоречие с национальным фоном подлинника. В качестве примеров служат обычно пословицы и поговорки. И в самом деле, воспользоваться при переводе на русский язык, допустим, поговоркой «Пропал, как швед под Полтавой» вряд ли уместно. Это ясно без объяснений. Однако утверждать, что русская пословица в силу, так сказать, свойственного ей национального уклада мысли не может служить эквивалентом иностранной пословицы, можно лишь с большой осторожностью и с большими поправками. Ведь поговорка такого типа, как вышеприведенная, противопоставлена не потому, что она отличительно русская по ходу мысли или по форме, а потому, что она заключает в себе локальное историческое и географическое содержание. Вот локальность и является важным сдерживающим моментом при выборе эквивалента. И локальность не только историческая, географическая, культурно-бытовая, но и формальная, то есть локальность языка — диалекта.

А в общем, кто возьмет на себя смелость безоговорочно утверждать, что та или иная пословица национальна, а не есть продукт всеобщего сознания? «На безрыбье и рак рыба, на безлюдье и Фома в чести» (вариант — и Фома дворянин) — казалось бы, типичная по своей природе русская пословица, которую просто страшно вложить в уста персонажу иностранного романа. А между тем, эта пословица довольно точно соответствует древнегреческой: «При нужде и рак достигаet почести, а при внутренних раздорах и Андрокл бывает полемархом». Локальным оказывается только имя да звание, а весь строй пословицы с национальным укладом мысли, видимо, не связан.

Возьмем другой пример: «Решетом воду носить (или мерять)». Уж это ли не чисто русская поговорка, обыгранная в десятках вариантов?! Однако Дионисий Галикарнасский в «Римских древностях» рассказывает, как весталка Тукция, обвиненная в

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII, стр. 519. Разрядка моя. — В. Н.

нарушении обета целомудрия, решила доказать свою невинность поступком, «который,— говорит Дионисий,— по пословице считается совершенно невозможным»: она зачерпнула решетом воды из Тибра и принесла ее на Форум¹. Немцы тоже говорят: «Wasser mit dem Siebe schöpfen».

«Как корове седло», «утереть нос»; «пуд соли съесть» (по-гречески— «медимн соли», а медимн — единица меры, равная трем пудам); «вилами по воде писано»; «водить за нос»; «что город, то и норов»; «воду в ступе толочь»; «своя рубашка к телу ближе» и т. д. и т. п.— все эти пословицы и поговорки были в ходу уже у греков и у римлян, и все они имеют международное хождение. После этого можно быть спокойнее относительно смещения национальной перспективы при введении в текст перевода русских пословичных оборотов (иногда, конечно, слегка подновленных).

И действительно, упреки в излишней руссификации текста нередко бьют мимо. Выясняется вдруг, что «руссизм» «душа в пятки ушла» изобретен Гомером, а пословицу «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке» — цитировал уже Плу-тарх (То en tè kardia tou nefontos, epi tes glósses tou methontos). «Явно русское» выражение «животики со смеху надорвать» мы найдем у Петрония: «risu dissolvere illa sua». Локальная пословица «у семи нянек дитя без глазу» оказывается локальной только в числе «семь» (возникновение пословицы в этом виде относят к эпохе так называемой «семибоярщины»)², а в общей форме пословица бытовала уже в древней Греции (ср. новогреческий вариант: «oi pollésmammes pnigoun tó paidi»). Наконец еще один пример, который не так давно приводился как недопустимый «руссизм» в переводе. Это поговорка — «держи язык за зубами». Очевидно, общеизвестное немецкое «halt deine

Zunge» не считается достаточным, чтобы снять «руссизм» с русского выражения, но вот мекленбургская поговорка: «stak dien roden Lappen hinner de Knaken», то есть именно «держи язык за зубами», причем это будет даже несколько «сглаженный», «олитературенный» перевод, ибо дословно пришлось бы перевести: «заткни свою красную тряпку за разгрызалки».

Как видим, сместить национальную перспективу введением образных народных оборотов речи не так-то легко. Разумеется, само введение народных оборотов речи в ткань перевода должно быть обусловлено сигналом со стороны подлинника. Но если сигнал подан, то стремление к отысканию эквивалентов (или опор для эквивалентов) в образной сокровищнице своего народа принципиально правильно.

При самой точной (по смыслу) передаче народно звучащих элементов подлинника они не будут восприняты как такие в переводе, если не будут поданы с отличительным знаком народности, но уже той народности, которая ощущается читателем перевода. В противном случае как показать читателю перевода, что он имеет дело, скажем, с пословицей, а не с индивидуальным высказыванием персонажа или автора — объяснительным примечанием, что ли?

Подкреплю это любопытным примером из «Германии» Гейне (конец XV главы). Вы помните, как поэт во сне попадает к королю Барбароссе и призывает его не медля выступить и освободить Германию. Но Барбаросса отвечает с усмешкой:

Es hat
Mit dem Schlagen gar keine File,
Man baute nicht Rom in einem Tag,
Gut Ding will haben Weile.
Wer heute nicht kommt, kommt morgen
gewiss,

Nur langsam wächst die Eiche,
Und chi va piano, va sano, so heisst
Das Sprichwort im römischen Reiche.

Мы видим, что речь Барбароссы построена на пословицах. Здесь их целых пять — четыре немецких и одна итальянская. Все они схожи по смыслу и проповедуют неторопливость. Но, пользуясь мельчайшими оттенками смысла, Гейне строит из них своеобразную цепь суждений, от частного к общему, причем напрашивающуюся в заключение немецкую пословицу «Was (или wer) langsam kommt, kommt gut» неожиданно заменяет итальянским эквивалентом.

¹ См. И. Е. Тимошенко. Литературные первоисточники трехсот русских пословиц и поговорок. Киев. 1897. Большой сравнительный материал собран также в известном сборнике Челябинского «Mudroslovi narodni slovanskeho ve prislovich». Прага, 1852, и др.

² В чем меня сомневаться заставляет наличие других пословиц с эпическим числом «7»: «Лук от семи недуг», «семь раз примерь, один раз отрежь», и др. Последняя в древнегреческом варианте гласит: «deka métra kai en témpne», то есть «десять раз примерь, один раз отрежь».

Все это явилось, конечно, неспроста. Ведь Барбаросса, как понятно, олицетворяет собою того сонного немецкого Михеля, которого Гейне через шесть лет представит в замечательной сатире «Михель после марта». Говоря за Михеля, Барбаросса и говорит его распространенными пословицами, а пословицы эти гнездятся в сонной голове Михеля как пережитки рабьего сознания. Эти пережитки еще очень сильны, недаром же пословицы о медлительности в труде бытуют в таком множестве, что из них можно построить целую цепь силлогизмов. Но не только немцы не вытравили в себе это рабье сознание, оно сильно еще и у других народов. И вот блестящее по сжатости доказательство: итальянская пословица — точнейший эквивалент немецкой — общим выводом вклячается в немецкую цепь пословиц-силлогизмов: «langsam (piano) wächst die Eiche, und chi va piano, va sano».

Спрашивается, нужно ли все это отобразить в переводе, сохранив как основу всего пословичную тональность речи Барбароссы и логический переход от последней немецкой пословицы к заключительной итальянской? Ответ может быть только один: нужно, иначе весь символический смысл главы пропадает.

Но есть шесть русских переводов «Германии» Гейне, и ни одного безупречного в данном месте. Связано это, конечно, с большою трудностью задачи. Но сейчас у нас речь не о технических трудностях, а о принципах. Что же упущено переводчиками при переводе разбираемого места? Во-первых, ни у кого не выдержана полностью пословичная тональность. «Дуб крепнет неспешно, но рьяно» (Вейнберг), «Дубы растут незримо» (Рубанович), «Дуб долго растет, зато несокрушимо» (Пеньковский) — такого рода сентенции русским читателем не могут быть восприняты как народные. В переводе Левика пословица о дубе заменена строкой: «А в бой пока еще рано», что, становясь уже частной репликой короля Барбароссы, полностью разрушает поэтическую структуру концовки.

На других примерах не останавливаюсь.

Второй существенный недосмотр — это отсутствие в переводах подчеркнутого логического перехода от последней немецкой пословицы к итальянской. Для демонстрации достаточно одного примера:

...Дубы растут незримо,
Ведь chi va piano, va sano...

Так пропал в значительной мере замысел Гейне в русских воспроизведениях.

Разговор о переводе образных народных выражений можно было бы развернуть гораздо шире, но задачи статьи не позволяют этого. Мне было важно только уплотнить материалом то указание, которое Энгельс дает в письме к переводчику Мартиньетти. Между прочим, это указание приводит нас к отрицанию дословного перевода как принципа и когда мы имеем дело с собственно художественным словом. Дословное совпадение допускают только некоторые участки сталкиваемых языковых структур, да и то иногда общий контекст (а тем более поэтический) вынуждает отказываться от этой дословности. Энгельс, как мы видели, специально это оговаривал. Не нужно забывать и то обстоятельство, что различные языки находятся в различном соотношении друг к другу по возможностям дословного совпадения. Проследим кстати, как Энгельс использовал это при решении одного важного практического вопроса в деле перевода, а именно вопроса о переводах с подстрочника.

Перевод с подстрочника как закономерное явление Маркс и Энгельс, конечно, отвергали. Это ясно из их отношения к дословному переводу, а подстрочник ведь им и является, причем обычно в предельном виде. Следовательно, подстрочник является заведомым суррогатом подлинника, а перевод с суррата рискует и сам оказаться суррогатом. Счастливые исключения, конечно, не в счет.

Но что говорить о подстрочнике, когда даже «подстрочник», который умственно делает для себя переводчик, плохо владеющий языком подлинника, является уже помехой! Недаром Маркс и Энгельс, как мы видели выше, неоднократно подчеркивали, что переводчику нужно обладать полновесным живым знанием языка, с которого он переводит. В идеале нужно уметь думать на этом языке. Маркс писал в «18 брюмера Луи Бонапарта»: «...новичок, научившийся иностранному языку, всегда переводит его мысленно на свой родной язык; дух же нового языка он до тех пор себе не усвоил и до тех пор не владеет им свободно, пока он не может обойтись без мысленного перевода, пока он в новом языке не забывает родного»¹.

Это сказано не в связи с проблемой перевода, но это в полной мере должно быть усвоено переводчиком. Ибо средствами своего языка он стремится передать дух

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, стр. 323.

переводимого произведения. В том и заключается диалектика перевода, что нужно на время забыть свой язык, чтобы постичь дух иноязычного произведения, и только постигнув его, найти ему форму выражения, вернувшись к духу своего языка. Иначе нет творчества в переводе, а есть мертвый и в своей мертвости уже искаженный слепок. Иначе нет правды в переводе, ибо, не проникнув в дух языка, мы не проникнем в тончайшие оттенки смысла и мы не пойдем до конца действительности, отраженной в языке.

Но еще дальше отодвигается от переводчика действительность, подлежащая вторичному отображению в слове, если она предстает ему через скванного буквой посредника, через чужой подстрочник. Это относится к любой категории написанного, но с особой силой — к произведению поэтическому.

Однако, как всем хорошо известно, иногда возникает практическая необходимость прибегать к подстрочнику. С такою необходимостью столкнулись Маркс и Энгельс в своей революционной деятельности. Энгельс сам делал подстрочные переводы с португальского для социалистической датской печати. Но вот что интересно: Энгельс переводил не на немецкий и не на английский язык, а на французский, а почему, мы увидим из его собственного письма. Он писал Луи Пию в Копенгаген (1872): «Мне кажется, я не могу Вам прислать ничего лучшего в качестве своей первой корреспонденции, чем сделанный мною перевод двух прекрасных статей из «Pensamento Social». ...Я перевел португальские статьи на французский, потому что этот язык дает возможность почти буквального перевода, и я это сделал, как мог, не обращая внимания на изящество и даже на правильность французского стиля»¹.

То же самое относительно перевода с испанского на французский пишет Энгельс Зорге, работавшему тогда в Америке (1872): «Прилагаю французский перевод (так как на этом языке можно передать наиболее дословно) двух статей из «Federation» (газета Алерини)»².

Итак, при необходимости в подстрочнике можно и нужно все же выбирать наи-

более подходящего посредника. Для нас это указание практически ценно в том отношении, что при огромном количестве национальных языков и при невозможности быстро подготовить кадры русских переводчиков для каждого языка в отдельности, — надо выбрать для серьезного изучения, в первую очередь, несколько таких языков, на каждый из которых можно переводить наиболее дословно с целой группы других национальных языков, чтобы затем уже переводить на русский. Это — как переходная стадия. А как правило, нужно твердо усвоить, что перевод с перевода есть зло, пусть временно необходимое, но зло. Недаром Энгельс так решительно возражал против такого перевода своих произведений. «Они хотят, — писал он, — издать «Развитие» по-английски... мне собирались поэтому навязать Шоу, который не знает немецкого языка и собирался переводить с французского. От этого я, однако, отказался...»¹.

От частного вопроса о подстрочнике мы переходим вновь к одному из важнейших общих вопросов, который раскрывается перед нами из следующей цитаты. Организуя перевод книги Лиссагаре «История Коммуны 1871 г.», Маркс писал из Лондона Вильгельму Бракке (1876): «...хорошо было бы, если бы Вы попытались подыскать в Лейпциге какого-нибудь профессионального переводчика. Так как речь идет о книге не для рабочего читателя, то было бы бессмысленно искать переводчика непременно внутри партии, которая не богата литературными силами, т. е. заранее исходить из того принципа, что переводчик *должен* быть партийным человеком»².

Эти строки требуют к себе пристального внимания. Здесь признана за переводчиком большая и ответственная роль. Тем самым подчеркнуто, что переводчик не механический перелагатель чужих слов и мыслей, не копист, лишенный творческого соучастия в переводимом им произведении. Переводчик прежде всего интерпретатор, а интерпретация это уже творческий акт. Только признав это, мы пойдем, почему буржуазно мыслящий переводчик может быть нежелателен для перевода книги, предназначенной для рабочего читателя. Это связано с классовым характером языка в классовом обще-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 240—241. Разрядка моя. — В. Н.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 291.

¹ Архив Маркса и Энгельса, т. 1/VI, стр. 279.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 433.

стве. Классовое лицо переводчика и проявляется в его, переводчика, отношении к классовому содержанию языка.

Остановимся несколько на этом понятии, которое является руководящим в марксистском языкознании и с которым небесполезно познакомиться и переводчику. Заметим, что утверждение классовой сущности языка в классовом обществе вытекает у Маркса и Энгельса из их основного, цитированного уже выше, утверждения, что «ни мысль, ни язык не образуют сами по себе особого царства; что они суть только *проявления* действительной жизни». Язык, следовательно, есть общественное явление, и каждая общественная формация накладывает на него свой отпечаток. Что же привнес в язык капиталистический строй? Замечательный ответ на это мы находим в работе Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Характеризуя алчность английского капиталиста, Энгельс пишет: «Он не может понять того, что кроме отношений купли и продажи у него существуют с рабочими еще какие-то другие отношения. Он видит в них не людей, а только *«руки»* (hands), как он постоянно их называет в лицо; он не признает, как выражается Карлейль, никакой другой связи между людьми, кроме одной — *чистогана*. Даже связь между ним и его женой в девяносто девяти случаях из ста может быть выражена той же формулой. Это позорное рабство, в котором деньги держат буржуа, в виду господства буржуазии наложило свой отпечаток даже на язык... Дух торгашества проникает весь язык, все отношения выражаются в торговых терминах, в экономических понятиях»¹.

Многочисленные примеры того, как дух торгашества и собственности пронизывает язык буржуазии, приведены в «Немецкой идеологии» и в «Капитале».

Но мало того. Буржуазия еще эксплуатирует язык как орудие классовой борьбы. При помощи своих ученых, философов, писателей она делает язык выразителем своих интересов. Идеологи капиталистического класса находят тысячи способов доказать то, что выгодно их заказчикам. Любая, самая абсурдная, самая противостественная мысль, не имеющая никакой связи с действительностью, доказывается как абсолютно-истинная посредством всевозможных формальных уловок и трюков.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. III, стр. 553.

Тут и игра на многозначности слова, и игра на синонимах, и игра на произвольных этимологиях, тут и грамматическое приложение (appositio), и перестановка слов в предложении, перемещение логических акцентов и пр. и т. п.

В «Немецкой идеологии» на многочисленных конкретных примерах Маркс и Энгельс блестяще разоблачают эту фальсификацию действительности, к которой прибегает класс собственников, чтобы устами своих пророков замазать классовые противоречия и закрепить свое «право» на эксплуатацию.

Но и этого все еще мало. Буржуазия пытается фальсифицировать через язык историю, подменяя значения слов в языках древнего мира. По выражению Маркса и Энгельса, она превращает древний мир в позднейшее сознание о древнем мире.

Так искажено было, к примеру, значение греческого слова «basileus» и латинского «гех». Энгельс в одной из своих работ приводит по этому поводу слова Маркса: «Европейские ученые, в большинстве своем прирожденные придворные лакеи, превращают базилевса в монарха в современном смысле слова»¹. Сам Энгельс указывает: «...этимологически совершенно правильно переводить слово «базилевс» немецким словом «König» (Kuning), так как слово «König» происходит от Kuni, Künle и означает «старшина рода». Но современному значению слова «король» древне-греческое «базилевс» совершенно не соответствует». «...базилевс был военачальником, судьей и верховным жрецом; правительственной властью в позднейшем смысле он поэтому не обладал»². То же самое говорит Энгельс и о латинском «гех», которого Моммзен изображает почти абсолютным царем.

А ведь на основании изображения Моммзена или других историков в любом греческо-немецком словаре «basileus» и «гех» переводятся, как «König» или «Kaiser», хотя оба эти слова нужно было бы перевести через «Heerführer» (военачальник).

Вся эта фальшивая игра с языком нужна буржуазии для того, чтобы возвеличить формы капиталистического строя, подвести под них, так сказать, исторический фундамент. В эту фальшивую игру втягивается и переводчик, по доброй воле

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 84.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 86.

или' помимо своей воли, через подсунутый ему параллельный словарь.

Выше я цитировал письмо Маркса к Энгельсу по поводу ошибок в переводе с латинского, допущенных таким выдающимся филологом, как Grimm. Эта цитата приводилась в связи с утверждением, что для полного понимания слова необходимо знание всего культурно-исторического контекста, в котором слово дано. Теперь мы добавим, что это знание должно быть освобождено от буржуазной фальсификации. Ведь сознавая или не сознавая, но Grimm в своих ошибках отражал классовые интересы буржуазии. Маркс подчеркнул это, заметив, что Grimm находился под влиянием Мезера, того самого Мезера, который восхищался тем, что у германцев никогда не было свободы, но зато воздух делает крепостным.

Помимо случая с Гриммом, Маркс и Энгельс приводят в своих работах огромное количество примеров уже сознательно применяемой буржуазными переводчиками ловкости рук. В «Немецкой идеологии» сделано на этот счет прямое указание. «Особую отрасль синонимики,— пишут Маркс и Энгельс,— составляет далее *незрелость*, когда какое-нибудь французское или латинское выражение дополняется немецким, которым оно выражается наполовину, а наряду с этим имеет еще и совсем другое значение,— когда, например, как мы видели выше, слово «gesresüetig» переводится: «испытывать благоговение и страх» и т. д.»¹.

Приведу еще одну цитату из четвертой главы «Святого семейства», откуда я привел уже пример о сантиме и полушке. Четвертый раздел этой главы, разоблачающий «критические» методы Эдгара Бауэра в оценке работы Прудона «Что такое собственность», является в основной своей части анализом сознательных и незосознательных переводческих искажений. Здесь с исключительной четкостью, на ряде конкретных примеров, показана направляющая роль незначительных на первый взгляд оттенков слова. Штудировать эту главу нужно, разумеется, в подлиннике. Но я выбрал место, которое и в переводе позволяет ясно уразуметь сопоставляемый Марксом и Энгельсом французский и немецкий текст. «Массовый Прудон,— пишут Маркс и Энгельс,— говорит о *незержестве* и «*общей испорченности*».

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. «Немецкая идеология». М. Партиздат, 1935, стр. 255.

Критический же Прудон превращает невежество в глупость, «испорченность» в «развращенность» и, наконец, в качестве критического критика делает глупость *всеобщей*. Он сам непосредственно дает пример последней, толкуя «générale» как множественное число вместо единственного. Он переводит «l'ignorance et la corruption générale» через «всеобщая глупость и развращенность». Согласно не критической французской грамматике, фраза должна была бы в этом случае гласить: «l'ignorance et la corruption générales».

Характеризуемый Прудон, говорящий и пишущий иначе, чем массовый Прудон, должен был, разумеется, получить и *образование* совершенно другое. Он «опрашивал мастеров науки, прочел сотни книг по философии и юриспруденции и т. д. и в конце концов убедился, что мы никогда не отдавали себе правильной отчета в значении слов «справедливость, правосудие, свобода». Действительный же Прудон полагал, что он с самого начала понял (j'ai su d'abord reconnaître) то, что критический понял «в конце концов». Критическое превращение d'abord в enfin необходимо потому, что масса никогда не должна думать, что она поняла что-нибудь «с самого начала»¹.

Такова направленность «критически критического» переводчика.

Какие же выводы из сказанного должен сделать для себя советский переводчик? Ведь когда Маркс ставил вопрос о классовом лице переводчика, он имел в виду буржуазную действительность. Мы живем в другом мире. Советский переводчик не заинтересован в превращении «d'abord» в «enfin», не заинтересован в искажении действительности. Он не обманывает массы, он служит массам. Это непререкаемо, но именно это с особой силой заставляет нас помнить о классовой сущности языка и вытекающей отсюда направленности перевода. Это совершенно не значит, однако, как приходило в голову иным вульгаризаторам, что советский переводчик, переводя буржуазную книгу, должен убрать из нее всю буржуазную сущность, перевести ее не только на свой русский язык, но и на свой классовый язык. Вот это было бы именно фальсификацией действительности. Нет, мы со всей беспощадностью будем раскрывать неприглядный язык собственного «чистогана», как выразился Эн-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. III, стр. 43.

гельс. Иначе мы бы только сослужили службу буржуазии.

Но вместе с тем нельзя забывать, что мы еще не полностью освободились от пережитков капиталистического сознания. А ведь это значит, что мы не освободились полностью и от буржуазного языка. Конкретно это выражается в том, что какого-нибудь греческого «базилевса» и мы можем перекрестить в «царя», находясь в плену у буржуазных истолкователей. И мы можем, не осознав ту или иную историческую действительность, не разобравшись в многозначности французского слова «согиртион» и перевести его как «развращенность» вместо «испорченность». Вот этого-то и не должно быть. Мы обязаны выкорчевать из себя последние пережитки капиталистического, а следовательно, фальсифицирующего мир, сознания. Мы должны сознавать подлинник во всей его исторической и общественной правде. Мы должны читать Гомера как Гомера, Данте как Данте, Шекспира как Шекспира, не превращая древний мир в позднейшее сознание о древнем мире. А для этого нужно не только заглядывать в академический словарь, в который любил заглядывать и Пушкин, не только посматривать в «Даля» и в толстые параллельные словари, но и непрерывно брать уроки у великих классиков марксизма-ленинизма, чтобы понимать диалектическую картину развития человеческого общества, мысли, языка.

★

На этом я закончу обзор высказываний Маркса и Энгельса по вопросам перевода. Я не исчерпал всего материала, но самого существенного, кажется, не упустил. Я не мог, разумеется, строить здесь законченную теорию перевода, но приведенные высказывания Маркса и Энгельса являются для нее важными опорами. Как уже сказано, замечания Маркса и Энгельса облегчают исследователю, вооруженному методом материалистической диалектики, задачу разработки своего специфического материала. Не забудем, что материал, организованный старыми методами, обладает инерцией и оказывает исследователю порою сильное сопротивление. Таким образом, марксистская разработка теории перевода только должна начинаться, и в своем развитии она обязана будет не только учесть высказывания Маркса и Энгельса, но и пристально изучить их редакционно-переводческую практику.

В своем обзоре я попытался раскрыть

некоторые положения, вытекающие из указаний великих основоположников марксизма. Эта моя попытка является лишь предварительной. Все же мне хочется привести ее к некоторому общему выводу. А вывод этот таков: понятие точности в переводе не есть понятие формальной точности. Один и тот же смысл, все равно, научный или поэтический, может потребовать в разных языках разных форм своего выражения. Поясню это на примере, заимствованном мною из статьи академика Марра «Маркс и проблемы языка». Говоря о сменах значений у слов, Марр приводит по этому поводу следующее утверждение Маркса из I тома «Капитала»: «Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом. Точно так же в денежных названиях фунт, талер, франк, дукат и т. д. изглаживается всякий след отношения стоимостей»¹. В подстрочном примечании к этой цитате Марр пишет: «Специалист по тексту основоположника марксизма указал на ненадежность русского перевода в данном месте. Однако возможность понять в зависимости от подхода немецкий подлинник в двух различных смыслах, во-первых, не говорит о двусмысленности самого изложения и отнюдь не освобождает от долга понять чтение в правильном восприятии. Русский перевод действительно резко расходится с немецким подлинником в формальном выявлении мысли». Остановимся пока на этом и посмотрим, в чем же состоит это расхождение? В подлиннике Маркса читаем следующее: «*Der Name einer Sache ist ihrer Natur ganz äusserlich. Ich weiss nichts vom Menschen, wenn ich weiss, dass ein Mensch Jacobus heisst. Ebenso verschwindet in den Geldnamen Pfund, Taler, Frank, Dukat usw. jede Spur des Wertverhältnisses*»².

Ограничусь анализом только одной фразы: «*Ich weiss nichts vom Menschen, wenn ich weiss, dass ein Mensch Jacobus heisst*». Ее можно понять так: «Я ничего не знаю о человеке (вообще о человеке, в смысле homo sapiens), если знаю, что какого-то человека зовут Яковом». Но ее можно понять и так: «Я ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVII, стр. 113.

² K. Marx. Das Kapital, Bd. I. Wien-Berlin Verlag für Literatur u. Politik. 1932. S. 106.

зовут Яковом». Первое понимание утверждает невозможность познания целого по части. Второе утверждает отсутствие внутренней связи между названием вещи и ее природой. На каком понимании остановиться? На том, какого требует контекст, а он требует второго. Однако для того, чтобы выявить именно этот смысл, по-русски фразу нужно было перевести формально не точно, потому что формально точный перевод передает только первый смысл, который в контексте никакого смысла не имеет.

Остается согласиться с Марром, продолжившим свое рассуждение так: «Ведь по этому пути формальной верности можно прийти до требования буквального перевода, что часто и предпочитается для облегчения не понимания, а труда переводчика, который таким путем думает ответственность с себя снять под заслоном непонятной абракадабры»¹.

Путь формальной точности столь же губителен и для поэтических переводов. Не обойдусь опять без примера. Возьмем маленькое стихотворение Гейне из «Книги песен»:

Am Kreuzweg wird begraben,
Wer selber sich brachte um;
Dort wächst eine blaue Blume,
Die Armesünderblum!
Am Kreuzweg stand ich und seufzte;
Die Nacht war kalt und stumm.
Im Mondschein bewegte sich langsam
Die Armesünderblum!

Взглянем на три перевода этого стихотворения. Первый — Мея:

Самоубийц хоронят
Меж четырех дорог;
Растет цветок там лиловый,
Погибших душ цветок... и т. д.

Второй — Вейнберга:

Зарыт на дальнем перекрестке
Самоубийцы труп в песок,
Над ним растет цветочек синий,
Несчастных грешников цветок... и т. д.

(Не удержусь и замечу в скобках, что Вейнберг все же не зря выбрал себе псевдоним «Гейне из Тамбова».)

Наконец, третий перевод — Дейча:

На перекрестке похоронен
Тот, кто покончил сам с собой,
Там на его могиле вырос
Грешнолистник голубой... и т. д.

Но что это за цветок «Armesünderblum»? Вы не найдете его ни в одном словаре, даже в ботаническом. Следовательно, это поэтическая выдумка Гейне. Что же в таком случае делать переводчику? Формальный метод отвечает: перевести составные части этого слова — и с плеч долой. Однако Мей догадывается, что здесь дело не просто. Он пытается найти загадку в контексте, но опор слишком мало. Все же его замена, сделанная рукой поэта, приобретает какое-то поэтическое выражение. Вейнберг и Дейч поступили проще: первый перевел формально точно все лексические элементы сложного слова, второй, отбросив один элемент, выиграл в морфологической точности. В садах российской словесности появились три вида загадочного цветка из семейства «грешнолистных» — лиловый, синий и голубой. Однако читателю это удовлетворения не приносит. Конечно, поэтический образ — дело прихотливое, да ведь образ-то здесь получается как будто ничем не наполненный, пожалуй, даже совсем не образ, а так, пустая романтическая побрякушка.

А между тем так получается только у переводчиков, — у Гейне же совсем не так. У Гейне прежде всего ясно: цветок, о котором он говорит и не говорит, — это колокольчик (campanula). Почему же он просто не называет его? Потому что непосредственной связи между колокольчиком и самоубийцей в практическом сознании нет. Гейне находит эту связь в своем поэтическом воображении, развертывает для доказательства этой связи целый исторический сюжет, но сжимает его в одну строчку, в одно слово, найти которое ему позволяют исторические словообразования родного языка: Armesünderbank (скамья подсудимых), Armesünderglocke (колокол, возвещающий казнь), Glockenblume (колокольчик). Из двух последних слов Гейне образует свое слово «Armesünderblume». Каким же содержанием наполняется оно? Несчастный грешник (armer Sünder), попадавший в средние века в лапы святой церкви, неминуемо становился кающимся грешником — святые отцы ставили это своей неперменной задачей для поддержания авторитета церкви. Отсюда «armer Sünder» значит по-немецки одновременно и «кающийся грешник». Но кающийся грешник, тем не менее, подлежал суду, и позорная скамья, на которой он сидел, скамья кающегося грешника, осталась в немецкой юридической практике со стертым смыслом «скамья подсуду».

¹ «Изв. ГАИМК», 1934, вып. 82, стр. 17.

димых». Далее: кающийся грешник, не взирая на его раскаяние, подвергнулся обязательной казни. Когда его вели на казнь, уныло и протяжно звонил колокол: это была, с одной стороны, милость церкви как знак церковного сочувствия, а с другой стороны, это был сигнал, приглашавший народ на «поучительное» зрелище. Отсюда: «Armesünderglocke» — колокол, возвещающий казнь.

Но отсюда и связь между колокольчиком и самоубийцей, возникшая в поэтическом воображении Гейне. Раскроем теперь все содержание его восьмистишия. Отвергнутый влюбленный, помышляющий о самоубийстве, стоит ночью у перекрестка дорог в тяжком раздумьи. Вот здесь его зарюют — без прощального слова, без отпевания. Когда-то грешников казнили, но по ним хоть колокол звонил. А теперь не прозвучит и колокол. Только колокольчик («колокол-цветок») беззвучно будет качаться над могилой, как сейчас он качается перед ним в лунном свете:

Im Mondschein bewegte sich langsam
Die Armesünderblum!

Вот и попробуйте уложить все это в одну строчку путем формально точного перевода. Лучше не пробовать! Да формальный перевод и не пробует. Сказано — «Armesünderblum», переведено — «несчаст-

ных грешников цветок». Полное соответствии... А обращаться к контексту произведения, больше того, выходить за контекст данного произведения ко всему авторскому контексту, к историческому контексту языка, к историческому национальному сознанию, — до всего этого формальному переводу дела нет.

А не формальному переводу до всего этого дело есть. Ведь с этого и начинается творческий перевод. И только отсюда начинаются поиски соответствия собственно структурных форм и стилиевой окраски, соответствия, которое тоже не решается геометрическим наложением и которое дает различную степень приближения по различным жанрам внутри различных пар языков. Но конкретное рассмотрение этого вопроса не входит в рамки данной работы.

ОТ РЕДАКЦИИ. Статья т. В. Нейштадта является одним из первых шагов в деле систематизации высказываний основоположников марксизма на проблемы перевода. Автор сделал интересный опыт приложения взглядов Маркса и Энгельса к области специально художественного перевода. Печатая работу т. Нейштадта, редакция считает, что отдельные ее положения являются спорными и несомненно будут уточнены в процессе разработки этого вопроса, начало которой было положено дискуссией по докладу автора в Группке писателей при Гослитиздате.

Голоса писателей

*«Esprit», «Revue des Deux Mondes», «Petit Journal»,
«Figaro».*

«Осмыслить поражение» — один из наиболее популярных лозунгов нынешних французских публицистов.

Трудно сказать, в какой мере могут они в современных французских условиях всерьез «осмыслить» море бедствий, обрушившихся на французский народ. До сих пор еще — судя по журналам и газетам — французским литераторам не удалось сколько-нибудь правдиво описать страшное для Франции лето 1940 года — переселение на юг миллионов людей, голод, страх, нескончаемую вереницу автомобилей и повозок. Рассказывают о женщине, которая три дня носила на руках труп своего ребенка, потому что не находилось в этом потоке свободного клочка французской земли, тех «трех аршин», где бы можно было вырыть детскую могилу¹.

Как «осмыслить поражение», которое в известных кругах французов приветствовалось как победа; поражение, в честь которого в день занятия города Тура открылись ставни на окнах аристократических особняков, весело запрыгали мячи на теннисных площадках².

Один из персонажей последней пьесы Бернарда Шоу «Золотые дни доброго короля Карла» советует искать людей, способных осмыслить положение английского государства, — в английских тюрьмах. Этот трезвый афоризм сохраняет все свое значение и для Франции наших дней, о чем свидетельствует непрерывный рост числа заключаемых во французские тюрьмы по обвинению в коммунизме.

А писатели? Слышен ли голос писателей? Слышен. На улицах Марселя, как сообщает газета «Пти журнал», писатели выкрикивают заголовки вечерних газет.

Вот что рассказывает хроникер «Пти журнал»:

«В силу профессиональной привычки я привык присматриваться к лицам, к одежде тех, кто продает газеты... Сегодня на улицах я видел новоиспеченных представителей этого «цеха», выкрикивавших среди равнодушной толпы названия последних выпусков. Тут были: и беженец, и ребенок, которого война сделала сиротой, и жена пленного, и демобилизованный солдат. Рядом с ними я обнаружил журналиста, музыканта, писателя... Молодой романист, довольно известный в литературных кругах, перемывает стаканы в популярном баре на Канебьер... Сотрудник крупного парижского издательства ночует в приюте, питается чем придется и когда придется... Литературный критик живет с женой и пятью детьми в неотапливаемой мансарде... «Их много, людей, которые ныне страдают забытые; это те самые люди, произведения которых вы любили читать, сидя у камелька. Им холодно... Они не чувствуют той солидарности, которой мы так желаем... Бедняги, они стоят на перекрестках, без пальто, стуча зубами от холода. Вот что я видел, вот что мне рассказывали... Нужно спасти французских интеллигентов» («Пти журнал», 3 января 1941 года).

Что же выкрикивают писатели на улицах Марселя? Параграфы статута, запрещающего евреям принимать участие в государственной и общественной жизни Франции? Планы культурного обновления? Цифры каторжных приговоров коммунистам? Способы приготовления вороньего рагу?.. Как известно, функции продавца газет ограничены, — ему не полагается кричать о своих нуждах, хотя бы он был молодым писателем и умирал от голода и холода на улицах когда-то шумного Марселя.

Газета «Фигаро» решила предоставить

¹ «Esprit», Novembre 1940, p. 38.

² «Revue des Deux Mondes», 1 Novembre 1940, p. 15.

слово тем писателям, которые еще не вышли на улицу в поисках хлеба. Такие, конечно, есть. Клоделю пришлось покинуть свой замок, но все же он не самый несчастный из французских беженцев. Отыскался Дюамель. Отыскался Анри Беро. Почему не дать слово Дюамелю? Разве не голосом Дюамеля французское радио разъясняло ежедневно, что главные враги Франции — коммунисты? Или Анри Беро. Этот попадет в тон. Да и не он один..

Повидимому, на такие голоса и рассчитывали некоторые круги, ожидая ответа писателей на вопросы, поставленные анкетой редакции «Фигаро»: «Не был ли ложным путь, которым шла предвоенная французская литература?» «Что нужно для поднятия (оздоровления) литературы?»¹

И все же анкета не удалась.

Правда, Беро и другие не подвели. Если бы спросить их, что они делали на фронте, как защищали французскую землю, или — в другом плане — на чьи средства вели антисоветскую пропаганду, — они бы не сразу придумали, что ответить. Но о судьбах литературы? Что господину Беро судьбы литературы!..

Не подвел также престарелый и презабитый Анри Бордо. Конечно, литература шла ложным путем. Хорошие критики считали некоторых писателей бездарными.. А сами они были развратники, безбожники, вольнодумцы и сумасшедшие. Вот и все.

Эдмон Жалу не верит, что молодые французские писатели искренне мечтали о революции. Жалу полагает, что они мечтали «под предлогом революции о послушании иностранным государствам».

Сен Жорж де Буэльэ распространяет свой анализ «ложных путей» на последние три века и не находит в трагедиях Расина «ни следа» той «глубокой поэзии», которая жила в сердцах пастухов и рыцарей.

Арман Пти Жан, «рискуя вызвать яростный вой огромного большинства своих собратьев, приветствует новый статут прессы и издательств».

Но таких голосов сравнительно немного. Пережитые Францией испытания кое-чему научили, повидимому, даже Дюамеля и Клоделя. Клодель отказывается огульно

осудить всю предвоенную французскую литературу.

Законную тревогу у большинства писателей вызывают неясные проекты «поднятия литературы». Марсель Ашар отвечает: «Dans redressés il y a dressés» — игра слов, которую по аналогии можно передать примерно так: «Поднять литературу? Не думают ли поднять ее на дыбу?»

Габриель Шевалье: «Поставить мысль под охрану полицейского префекта? Изничтожить некоторые таланты? Не этого, конечно, мир ждет от Франции...»

Анри Пурра: «Речь должна идти не о поднятии, а о том, чтобы стоять прямо».

Анкета «Фигаро» показывает (редакция подчеркивает это в своих выводах), что писатели, несмотря на разногласия, признают губельными для французской литературы проекты «оздоровления», выдвигаемые сторонниками послевоенного режима, которые говорят о создании «новой литературы» (а в архитектуре предлагают выработать «style Maréchal», то есть «стиль Маршала»).

Вместе с тем, большинство писателей, высказавшихся на страницах «Фигаро», конечно, не предполагает вести сколько-нибудь серьезную борьбу за подлинную свободу литературы. Было бы наивно ожидать этого от людей, принимавших равнодушно, если не сочувственно, такие факты, как закрытие передовых издательств, удушение рабочей прессы и т. д.

Лозунги «свободы литературы», как они понимаются на страницах «Фигаро», продиктованы скорей всего желанием сохранить некую аристократическую автономию для литературной верхушки ценою отказа ее от критики нынешнего режима в более важных для него сферах деятельности. Отказ, впрочем, обесценивается тем обстоятельством, что такая критика практически неосуществима.

Так обстоит дело с перспективами на будущее. Что касается оценки прошлого, так называемой «ответственности литературы за катастрофу», то здесь дело обстоит сложнее.

Защиту французской литературы взял на себя довольно известный критик из правого лагеря Андрэ Руссо. Руссо посмеивается над теми, кто обвиняет всю предвоенную, и не только предвоенную, литературу в «аморальности» и кто считает, что все французские писатели «равно заслужили виселицу». Руссо старается парировать эти нападки, в сущности имеющие целью поднять травлю против

¹ Подробнее о высказываниях участников анкеты «Фигаро» см. специальную корреспонденцию Пьера Никола в отделе «Письма из-за рубежа» в № 2 «Интернациональной литературы» за 1941 г.

интеллигенции вообще — метод, как известно, не новый. Однако остается совсем не ясным, какую литературу защищает Руссо и от кого защищает. Литературу, отравляющую сознание французских читателей проповедью расовой ненависти и социального рабства? Ведь именно эта литература, действительно являвшая картину политического и морального разложения, подготовляла крушение Франции.

Но Руссо не может не знать, что такой литературе ничто не угрожает в нынешней Франции.

Быть может, Руссо отстаивает права великой реалистической литературы, прославившей Францию? Как будто — нет.

«Я вполне понимаю, — пишет этот хранитель французских культурных традиций, — тех, кто полностью пренебрегает Флобером... Что касается позднейшей литературы круга Гонкуров, Золя, Мопассана, то о ней не стоит даже говорить. Лучшее, что можно сделать с этой низменной эпохой французской прозы — это забыть ее»¹.

Если так, если эпоха, выдвинувшая Флобера, Золя, Мопассана, для Руссо — «низменная эпоха французской прозы», то вряд ли этот критик может защищать тех, кто явились наследниками Флобера и Золя, то есть передовых писателей современной Франции.

И, действительно, в одной из следующих своих статей, посвященных «великим современникам», Андре Руссо ополчается уже на Анатоля Франса. Руссо называет Франса «мастером-ремесленником, изделия которого превращаются в прах», а также «щеголем, каких было много в XVIII веке». Далее Руссо рассказывает: «Некто, желая спасти Анатоля Франса, говорил мне недавно: «От него останется «Современная история», на что Руссо ответил: «С моей точки зрения исчезнет и это, так же как и все прочее». Руссо недоволен, что такие произведения, как «Преступление аббата Сильвестра Бонара» или «Таис»..., «в течение пятидесяти лет считались во Франции шедеврами».

Так выдают себя Руссо, Бильи и прочие защитники французской литературы из самых новых. «Защита французской литературы» в их руках становится в лучшем случае беспредметной — по той причине, что защитники имеют в виду главным образом самозащиту в до-

статочно узком смысле слова и не хотят трогать тех, кто действительно разлагал французскую литературу. Да их и небезопасно трогать. Как ни странно, в качестве восстановителей морали в современной французской литературе, и не только в литературе, выдвинуты сейчас наиболее сомнительные в смысле морали писатели. Редактором «Нувель ревю франсез», старейшего литературного журнала, назначен Дрие Ла Рошель, профессиональный фашист, автор романа «L'Homme couvert des femmes», что в цензурном переводе означает, примерно, «Мужчина нарасхват». Новый редактор «НРФ» когда-то признавался, что полный душевный комфорт он испытывает в домах терпимости.

В роли воспитателя французского юношества выступает Поль Моран — автор новелл «Открыто ночью» и «Закрыто ночью» — эстетической библии кокаинистов обоих полушарий.

Поль Моран приветствует «очистительное рвение реформаторов учебных книг» и, обращаясь к ним, пишет: «Я требую, чтобы вы как в области истории, так и в области социальной морали были беспощадны к сентиментализму и пригвоздили его к позорному столбу». Вся французская литература отравлена «сентиментами». «Началось это с трубадууров... Потом пришел Монтань... Возрождение утопало в сентиментах»... Именно сентиментализм «ведет королей на эшафот, а генералов — к поражению!»

Трудно сказать, обрадуются ли выступлению Морана французские педагоги. Но генералы от поражений будут довольны. Укрыв некоторых французских полководцев в обществе трубадууров, философов, художников Возрождения, людей, пострадавших от избытка человечности, Моран проявил свойственное ему, как дипломату, умение говорить любезно о самых что ни на есть неприятных вещах. Менее тактично упоминание в этой связи об эшафоте...

Французскую поэзию берется возродить Тристан Дерэм, лет 20—25 тому назад написавший свои последние хорошие стихи.

Тристан Дерэм не согласен с теми, кто думает, что среди поэтов вряд ли найдутся охотники воспевать войну, которую вела Франция.

«Если до сих пор они ее не воспели, не следует заключать, что они не воспойт ее в будущем».

Требуется время, говорит Дерэм, — и в утешение дает несколько исторических справок.

¹ «Le Figaro», 7 Décembre 1940. A travers les grands classiques.

Роланд, герой французского эпоса, дождался поэмы, ему посвященной, только через триста лет. «Такое же терпение пришлось проявить Ахиллу, пока Гомер не взялся за свою лиру. Счет годов примерно тот же». Наполеон, правда, был счастливее. Его прославил уже Гюго. Дерэм не делает никаких предсказаний относительно современных Наполеонов. Какова будет их поэтическая судьба? Ближе к Ахиллу или ближе к Бонапарту? Мы думаем, что терять надежды не следует. Существуют ведь не только дифирамбические поэты. Есть поэты-сатирики. Шиллер увековечил, наряду с Патроком, также и Терсита.

«Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит»...

Пока же Дерэм рекомендует учиться у классиков. В частности, у Ронсара, — напоминает он, — есть ода, посвященная матери Карла IX. «Достаточно изменить в этой оде только одно слово» — вместо «Madame» поставить «Marschal», и получится вполне злободневный гимн¹.

Последуют ли поэты совету Дерэма? Будет ли оценено его усердие в использовании классического наследства? Ведь и Дерэм признает: «Как только поэт перестает быть искренним — читателями овладевает сон...»

«Difficile est satiram non facere», — говорил еще Ювенал. В иные времена трудно удержаться от сочинения сатир. Но, прибавим мы, еще труднее сочинять их. Не случайно Габриель Шевалье, автор талантливой сатирического романа «Клошмерль», высказывает опасение, что литература будет поставлена под надзор полицейского префекта.

И все же писатели не желают сдаваться. Тот же Габриель Шевалье заявляет: «Хочется писать, писать и писать!» Нелегко, должно быть, осуществить это желание в современной Франции. Мориак, работающий сейчас над книгой, признается:

«Я подвигаюсь от страницы к странице, как утка, которая и с отрезанной головой все еще ковыляет...»

Маршал Петэн сказал: «История будет судить меня одного».

¹ «Voici la France de ce mois». Décembre 1940.

Материалы французской прессы показывают, что есть писатели, полагающие, что держать ответ перед историей придется, быть может, не только некоторым государственным деятелям, но и писателям, и поэтам. Вот почему отдельные голоса писателей должны разочаровать тех, кто, подобно престарелому кагуляру Шарлю Моррасу, надеется, что французской литературе можно дать в качестве знамени изречение Боссюэта: «Еретик есть тот, кто имеет какое бы то ни было мнение».

Можно заставить писателей продавать газеты на улицах Марсея и даже предоставить им умирать от голода с женами и детьми в холодных мансардах. Можно строить свои расчеты на том, что некоторые продадут свое перо. И такие уже есть. Но так не решится вопрос о возможности дальнейшего существования французской литературы.

Правда, это не единственный нерешенный и, пожалуй, не самый трагический вопрос для страны, в которой миллионы людей проводят без хлеба, без огня, без крова над головой нынешнюю зиму, суровую, как все зимы в години народных бедствий.

★

Когда обзор был уже написан, прибыл задержавшийся при пересылке номер газеты «Фигаро», в котором помещен ответ на анкету, данный Роже Мартен дю Гаром. Французская цензура не сочла возможным пропустить полностью высказывание автора «Эпилога».

Приводим важнейшие положения из ответа Мартен дю Гара:

«...Французская литература идет своим «путем» (как весьма неудачно сказано в анкете), и этот путь ни правильный, ни «ложный», а просто собственный ее путь. Можно любить или не любить ее, но мне кажется напрасной иллюзией желание направлять ее, и наивностью — попытки ее «оздоровить». Пусть завтра появится молодой и мощный гений, и вся наша литература испытает на себе его влияние, которого критики не предвидели, не желали, не указывали...»

Что касается «роли» писателя в «общественной жизни», не думаете ли вы, что эта роль была неизменна во все исторические эпохи? Роль настоящих писателей всегда была значительна, и так оно будет и впредь, пока...» (цензурой снято несколько строк — «Фигаро», 19/X 1940).

А. К Р А М С К О Й

Интернациональная Т е м а т и к а в „Молодой гвардии“

Международные темы в наших «толстых» литературных журналах, к сожалению, далеко не всегда в почете. В этом смысле «Молодая гвардия» — приятное исключение: в пяти из одиннадцати ее книжек за 1940 год мы находим и переводы классических произведений мировой литературы, и новеллы современных писателей Запада, и даже статью о революционной литературе Америки. Бесспорно удачен выбор: переводы «Гамлета» Шекспира и стихов Ганса Сакса, сделанные Борисом Пастернаком (№ 1 и № 5—6), новеллы таких выдающихся представителей современной американской прозы, как Мальц и Стейнбек (№ 9, 10, 12). И современность, и, особенно, литературное наследство представлены, хотя и не многочисленными, но хорошими образцами.

Мы не будем особо останавливаться на образцах литературы прошлого. Талантливый перевод «Гамлета» Б. Пастернака уже получил высокую оценку советской критики; так, ему посвящены статьи М. Морозова в журнале «Театр», Л. Борового в «Литературной газете», Н. Н. Вильям-Вильмонта в «Интернациональной литературе». Кстати, ряд спорных вопросов, возникших в критике, свидетельствует о том, что обсуждение этого перевода еще не закончено. Журнал «Интернациональная литература» должен осуществить свое намерение вернуться к этой теме. В числе других переводов Пастернака, помещенных «Молодой гвардией», привлекает внимание «Корзина разносчика» Ганса Сакса, мейстерзингера и блестящего политического памфлетиста XVI века; этот перевод отмечен свойственными Пастернаку яркостью и совершенством поэтического языка. Его переводы Шекспира и Сакса — значительные явления советской переводческой культуры, и заслуга журнала, опубликовавшего их на своих страницах, совершенно бесспорна.

К сожалению, того же нельзя сказать о переводах современной зарубежной прозы. То, что журнал захотел познакомить своего читателя с неизвестными у нас рассказами Стейнбека и Мальца, понятно, заслуживает всяческого одобрения.

И Стейнбек, и Мальц — высоко талантливые американские писатели. Советский читатель уже не впервые встречается с ними: роман «Гроздь гнева» Стейнбека, произведение исключительной силы и яркости, завоевал заслуженную популярность в Советском Союзе. Альберт Мальц — тонкий и наблюдательный художник-реалист, в творчестве которого явственно чувствуется влияние Горького. Его новелла, или, вернее, повесть «Порядок вещей», опубликованная в «Молодой гвардии», уже отмечалась в нашем журнале («Коротко о книгах», № 2 за этот год), как один из лучших образцов его прозы. Превосходен и рассказ Стейнбека «Налет» — о мужестве и стойкости двух коммунистов-рабочих, подвергшихся нападению банды калифорнийских «виджилантов». Это как бы дополнительный фрагмент к «Гроздьям гнева», эпизод из будущего героев этого романа, — будущего, к какому могут притти Том Джуд и его товарищи.

Оба рассказа — первоклассные, и советский читатель вправе требовать адекватного по качеству перевода их на русский язык. Перевод обоих рассказов (переводчик — Ю. Смирнов) несомненно имеет достоинства: понимание индивидуальных особенностей творчества писателей, чувство стиля, умение справиться с трудностями. В его переводах встречаются «находки», явные удачи переводчика. Но неудач все-таки гораздо больше, и обусловлены они небрежным и порой крайне легкомысленным отношением к переводимому тексту. В рассказе Мальца, например, совершенно произвольно, по непонятным причинам, выброшены отдельные строки фразы, порой целые абзацы, причем сокращение отнюдь не вызывалось необходимостью. Много у Ю. Смирнова и явных неточностей: «County» в Америке означает не «графство», а «округ»; «liquor» — не «ликер», а «спирт» или «виски»; «thin hair» — не «тонкие волосы», а «редкие волосы». Очень часто переводчик смазывает смысл, иногда же по собственному вкусу и усмотрению правит подлинник, иногда пропускает целые предложения. У Мальца, например, одному из героев двадцать во-

семь лет, и он похож на футболиста. Ю. Смирнову это почему-то не нравится, и он вычеркивает всю фразу. Футы у него сосуществуют наряду с метрами. Язык перевода вызывает у читателя недоуменный вопрос: неужели так могли писать Стейнбек и Мальц? В самом деле, нехорошо писать: «поднял голову с груди», «согласился... удивленным и мягким голо-сом», «шурились веки» — шурятся, как известно глаза, а не веки. Все это свидетельствует не только о небрежности переводчика, но и о том, что культура редактирования переводов в «Молодой гвардии» должна быть повышена.

Кроме переводных произведений, дающих читателю непосредственное представление о зарубежной литературе, интернациональная тематика представлена в журнале и критическим отделом. Здесь немалую пользу мог бы принести и очерк; к сожалению, журнал напечатал только один очерк, а именно А. Овчарова — «Автомобили и дороги (из американских впечатлений)». Он написан чрезвычайно интересно и дает советскому читателю наглядное представление о состоянии автомобильного транспорта в США. Но журнал должен был бы уделять большее внимание публицистическому очерку о зарубежных странах.

Естественно, что наше внимание особенно привлекла единственная статья по вопросам современной иностранной литературы — «Молодые революционные писатели США» Ю. Смирнова. Основной порок статьи заключается в том, что и автор и редакция сузили тему, отравив творчество молодых революционных писателей от традиций прогрессивного движения в американской литературе. В статье не сказано ничего о Драйзере, Синклере, о «Гроздьях гнева» Стейнбека, о «Сыне Америки» Ричарда Райта и хотя бы о тех книгах передовых американских писателей, которые появились уже в русских переводах, не говоря уже о тех, какие не известны у нас, но должны быть известны автору данной статьи. Упоминаемые им писатели действительно молоды, но удельный вес их в литературе (кроме Мальца) все же еще не очень велик. Ведь не ограничивает же «Молодая гвардия» состав своих сотрудников пределами комсомольского или пионерского возраста. Повидимому, автор статьи недостаточно осведомлен в вопросах современной американской литературы. Иначе он не пропустил бы в своем перечне таких писателей, как Рут Мак Кенни, Бенджамин Апфель, Дж. Вогель, Лин Зугсмит и многих других, и не называл бы «революционным критиком» Гранвилла Хикса, который с сентября 1939 года порвал с прогрессивным лагерем и занял по отношению к нему и к Советскому Союзу резко враждебную позицию.

Среди рецензий на книжные новинки, регулярно печатающихся в каждом номере этого журнала, есть и отзывы о переводных книгах, но отзывов таких немного, и выбор книг для них явно ограничен. Так, например, помещены рецензии на книги: «Музей древностей» Бальзака (№ 2), «Малая сталь» Эптона Синклера и

«Мальчик на лошади» Линкольна Стеффенса (№ 3), «Мао Цзе-дун», «Чжу-дэ» и «Китайские рассказы» Эми Сяо (№ 2 и № 4), «Матэ Залка» Шандора Гергеля (№ 2), «Полковник Лоуренс» Лиддел Гарта (№ 4) и «Джон Браун» Л. Эрлиха (№ 7). В то же время для журнала пропел почему-то незамеченным целый ряд произведений западной литературы, появившихся за последнее время в русском переводе: хотя бы «Либералы» Джона Престона, «Цитадель» Кронина, «Случай в июле» Эрскина Колдуэлла, не говоря уже о таком крупном художественном событии, как роман Стейнбека. Почему-то не нашли оценки на страницах «Молодой гвардии» и новые издания из «серии исторических романов», которые особенно читаются молодежью.

Основное достоинство рецензий «Молодой гвардии» — живость изложения, сжатость, немногословность. Таковы, например, рецензии: Ю. Смирнова на роман Синклера «Малая сталь» и К. Бучинской на книги Эми Сяо и Шандора Гергеля. Но не всегда, оказывается, сжатость и лаконизм изложения дают положительные результаты. В отзыве о книге Стеффенса «Мальчик на лошади» рецензент, попросту говоря, забыл рассказать читателям о том, кто такой Линкольн Стеффенс, ограничившись замечанием, что «путь Л. Стеффенса характерен для тысяч честных интеллигентов, которые после многих лет, проведенных на службе капитализму, осознали, что ошиблись». Эта характеристика, конечно, не может служить исчерпывающей оценкой общественно-политической деятельности писателя и публициста такого масштаба, как Линкольн Стеффенс. Подобная же оплошность есть и в рецензии на книгу Эрлиха «Джон Браун». Приведя удачно подобранные цитаты из речей и писем Джона Брауна, характеристику, которую дал ему Маркс, рецензент так и не сказал в сущности, кем же был Джон Браун. Есть в рецензии и фактические неточности. Роман Эрлиха, по словам рецензента, «передает... все особенности первого периода гражданской войны 1861—1865 годов в Америке». Однако, как известно, восстание Джона Брауна имело место в 1859 году, и сам Джон Браун был казнен в том же году, т. е. за два года до начала гражданской войны. Следовательно, «всех особенностей» первого периода этой войны роман Эрлиха передавать не может. Небрежность, свойственная Ю. Смирнову, подводит его и в роли рецензента.

В отзыве Е. Потапова о рассказах Эми Сяо вызывают досаду такие тяжеловесные обороты речи, как например: «Мы идем в этом (в чем «этом», понять трудно, так как в предшествующей фразе речь идет об интересе советского читателя к книгам о Китае) выражение воли не складывать оружия до тех пор, пока над Желтым морем не закружатся дымки транспортеров (?), увозящих последние остатки японских десантов». В рецензии на книгу Лиддел Гарта «Полковник Лоуренс» Е. Крекшин несколько упрощенно судит об ее основной тенденции. Столь же упрощенно характеризует он и «тактиче-

ские принципы» Лоуренса, пресловутого агента Интеллидженс-сервис. Неприятное впечатление вызывает слишком уж «бэй-бей» тон рецензента по отношению к самому автору книги. Лиддел Гарт — крупный английский военный теоретик, и едва ли уместно сводить его роль и деятельность только к «болтовне лакея» британского империализма.

Что касается раздела, посвященного классическому наследию, то о рецензии Н. Козюры на «Музей древностей» Бальзака приходится сказать, что она неудачна во многих отношениях. Рецензент очень поверхностно и по существу неправильно характеризует одну из наиболее сложных и мучительных проблем в мировоззрении великого реалиста — его отношение к старой французской аристократии. Утверждать, что старый маркиз д'Эгриньон является для автора чуть ли не носителем его социального и этического идеала, можно только или не читав книги, или не поняв ее. Н. Козюра не поняла могучей иронии Бальзака, не столь-

ко сочувствующего этим героям (сочувствие это очень сложно опосредствовано в образе героя, скромного, умного, всепонимающего и всепрощающего нотариуса Шенеля), сколько беспощадно вскрывающего убожество их претенциозного самодовольного эгоизма.

Хорошо, что «Молодая гвардия» уделяет внимание вопросам западной литературы, но внимание это все же недостаточно и качество печатаемых материалов не равноценно. Повысить это качество и расширить «международный отдел» — должно стать одной из очередных задач журнала в 1941 году. Достаточно известно, какое значение придавал В. И. Ленин и придает И. В. Сталин задаче интернационального воспитания нашей молодежи. В этом плане и должно вестись систематическое освещение вопросов мировой литературы как прошлого, так и современности. Эту задачу должна выполнять в частности и «Молодая гвардия» — самый крупный из молодежных комсомольских журналов в Советском Союзе.

М. Н А Д Е Ж Д И Н А

Н а к р а ю с в е т а

«Это не роман, а документ», писал Теодор Пливье о своей книге «Кули кайзера» в одном из лирических отступлений. Знаменитые книги Пливье — «Кули кайзера» и «Кайзер ушел — генералы остались» — действительно, и сейчас сохраняют силу исторических документов. Страстность разоблачения, сила революционной правды — это, в первую очередь, обусловило заслуженный успех книг Пливье, попрежнему волнующих читателя. Здесь все огромно: коллективный герой — матросская и солдатская масса, описываемые события — империалистическая война, социальные потрясения, человеческое страдание. Но когда Пливье говорит — «это не роман», с ним приходится согласиться: лишние сюжета, написанные в импрессионистической манере, прежние, хотя и ярко талантливые, книги Пливье представляются каким-то сплавом лирического репортажа с литературным сценарием.

В своей новой книге¹ Пливье выступает как уверенный мастер, первоклассный рассказчик; повествовательная форма у него стала необычайно выразительной, как бы литой. Правда, последний роман Пливье не изображает социальных конфликтов такого широкого исторического значения, как «Кули кайзера» и «Кайзер ушел — генералы остались». Но здесь получает развитие тема, органически вырастающая из всего жизненного

опыта писателя. Эта тема только отчасти присутствует в романе Пливье — «Большое приключение» (вышел в переработанном виде в 1940 г. под названием «Die Männer der Cap Finisterre». Staatsverlag der nationalen Minderheiten der USSR. Kiew). Это тема воли к жизни, воли к познанию мира во всем его многообразии. В «Большом приключении», книге, которую можно было бы назвать революционным детективом, мальчик Клаус, — так же как когда-то сам автор, — бежит из дому, охваченный жаждой познать мир. Позже он не только познает мир, но, как революционер, принимает участие в его переделке.

Эта тема уже прямо названа в рассказе Пливье «У ворот мира» (напечатан в № 9-10 «Интернациональной литературы» за 1940 г.): юноша Венцель ведет существование люмпена в европейском портовом городе, ищет работы, пытается наняться на судно, найти «вход в жизнь». И когда наконец ему удается уехать в плавание, он чувствует, как перед ним «почти неслышно раскрылись какие-то двери».

Герой романа Пливье носит то же имя; возможно, что рассказ «У ворот мира» — его предистория. El ultimo rincón del mundo — последний уголок мира, «край света», сказали бы мы, — так называют местные жители маленькую чилийскую гавань, где происходит действие романа Пливье. Сюда бежит Венцель с опустыленного ему судна, вдоль и поперек пересекающего земной шар. Здесь расходятся пути

¹ Theodor Plivier. Im letzten Winkel der Erde. Roman. Meschdunarodnaja Kniga. M. 1941.

Венцеля и его товарища по плаванию, матроса-голландца Бевенстаака, вместе с ним оставившего судно.

В романе нет прежнего коллективного героя Пливье — матросской массы, нет социальных катастроф, бурно развивающейся массовой борьбы; нет и авантурных ситуаций, как в «Большом приключении». Хотя здесь та же экзотическая обстановка, но этим ограничивается сходство между обоими романами. В новой книге действует и борется за существование герой-одиночка, бездомный искатель счастья, забредший на край света — в «английскую колонию или полуконию», в период «затишья» между двух войн.

Возвращение к этой хорошо знакомой Пливье обстановке не случайно: он сам прошел большой жизненный путь, который вел его по многим странам мира. Затишье и «край света» — казалось бы, полная противоположность прежней тематике Пливье; но в том-то и своеобразии романа, что писателю удается показать, как в одинокой жизни человека, заброшенного на маленький, далекий от цивилизованного мира клочок земли, действуют те же социальные законы, что и на «больших дорогах» империалистических государств. Затишье на краю света оказывается мнимым затишьем.

В самом начале романа Венцель предлагает своему спутнику Бевенстааку вместе искать работу в той «дыре», по иронии судьбы называемой *Caleta Colosso* («гигантская бухта»), где они оказались. Идетаясь над планами Венцеля, Бевенстаак делает шутовской жест: он оттягивает веко над глазом и требует от Венцеля, чтобы тот подтвердил, что «там ничего зеленого не выдать». Бевенстаак — будущий зазывала в доме терпимости — хочет сказать этим, что мозг его уже не «зелен», и ему, Бевенстааку, не может притти в голову безумная мысль — жить честным трудом. Если же Венцель держится другого мнения, то, видимо, он еще не знает жизни. Бевенстаак предлагает разойтись, так как «двоим здесь жрать будет нечего». Закон жизни для Бевенстаака выражен в стихах, которые он повторяет, всячески варьируя:

«Пусть ветер свистит,
Пусть жернов стучит,
Пусть каждый сам за себя стоит».

Венцель остается один лицом к лицу с миром.

Первым пристанищем и местом работы для него становится маленькая, единственная здесь «гостиница с баром», хозяин которой, немец по происхождению, лоцман дон Педро, принадлежит к верхушке местного общества, так же как и его клиенты, «гринго» — колонизаторы: представитель английского акционерного общества, эксплуатирующего местные селитренные копи, инженер, работающий на подъемной железной дороге, техник Мак Клифферсон — жених старшей дочери дон Педро, и другие должностные лица. Венцель занимает в семье дон Педро положение среднее между положением слуги и родственника. Наступает сравнительно

благополучная и безмятежная жизнь. Логическим ее завершением должна была бы стать женитьба на хозяйской дочке Терезе. Упорная страсть к этой девушке владеет Венцелем: она для него — воплощение зачарованной красоты и радости мира, которую надо расколдовать.

Путь к счастью — один: «делание денег». На этот путь и становится Венцель, поощряемый окружающими, которым этот юноша пока кажется безвредным.

«Каждый — кузнец своего счастья; таланту открыты все возможности; копейка рубль бережет». Таков моральный багаж, которым буржуазная семья и школа снабжают каждого, с благочестивыми намерениями вступающего в жизнь. «Эти обветшалые истины еще должны были служить, хотя каждому, кто применял их, было известно, что они обветшали; даже если он сам себе не хотел в этом признаваться».

Так думает Венцель. Ему ясно, что всю свою трудовую жизнь «он стоял перед барьером, который не взять с помощью таких словесных побрякушек». «...Жалованье, причитающееся по тарифу, положенные морским пародством харчи: солонина и черствый хлеб трижды в день, 350 граммов неочищенного коричневого сахара в неделю — таковы были границы, поставленные человеческим возможностям».

Прописные истины буржуазного мира с их торгашеским оптимизмом служат воспитанию в человеке мещанского индивидуализма; они оказываются ложью в мире, где свобода человеческой деятельности сводится к праву сильного, а мораль диктуется законами наживы и конкуренции.

Уродливые законы, действующие во всем капиталистическом мире, прежде всего глубоко враждебны естественному развитию человеческой личности, и противостоять им может только коллективная сила.

Это становится ясно Венцелю, хотя и далеко не сразу, потому что все его силы пока сосредоточены на том, чтобы «раз навсегда взять барьер».

Как многие «делатели денег», Венцель начинает с мелкого, хотя и опасного хищничества: с помощью рыбака Пехесапо и бывшего каторжника, полубезумного Феброннуса, он организует рыбный промысел по способу, запрещенному законом. Тайно, в местах, указанных ему его соучастниками, в скалистых бухтах, образуемых океаном, где особенно много рыбы, он глушит динамитом, скупаемым у рабочих селитренных копей, огромное количество рыбы. Венцель заваливает свежей — ценных и редких сортов — рыбой весь город. Он на пути к тому, чтобы стать предпринимателем, войти в общество джентльменов, носящих белые фланелевые брюки и панаму — завсегда таеб брата дон Педро. Однако, когда в результате удачной торговли к Венцелю стекаются боны акционерной компании, имеющие хождение только во владениях акционеров, и Венцель предьявляет свои «деньги» в банк, требуя обмена их на настоящую валюту, он этим самым создает угрозу своеобразной миниатюрной инфляции; он становится опасным для акцио-

нерного общества, создавшего свою денежную, кредитную и торговую систему, служащую все тем же целям — выжиманию прибылей из населения.

Так Венцель вступает в конфликт с хозяевами «Калета Колоссо». Противники Венцеля пока видят в нем только торгового конкурента; он еще не посягает на самые устои общества. Но «человек хочет знать, для чего он что-то делает в этом мире». Венцель напряженно думает и сопоставляет явления, с которыми сталкивается в своей борьбе за существование; как ни незаконен и хищен его промысел — окружающая действительность допускает в прикрытых и узаконенных формах куда более страшные преступления: селитренные копи, постройка железной дороги, всяких мостов — все благосостояние джентльменов в белых фланелевых брюках построено на костях китайских, перуанских, чилийских рабочих.

Венцель прозревает не сразу; Пливье заставляет своего героя претерпеть множество потрясений — от разочарования в любимой девушке, которая оказывается ограниченной эгоисткой, не способной на простое человеческое чувство, — до прямой катастрофы. Венцель, уже охладевший к своему промыслу, поддается уговорам Феброниуса и вместе с Феброниусом и псом-водолазом Гаконом выезжает ночью на рыбную ловлю. От взрыва динамита гибнет Феброниус, идет ко дну шаланда; контуженного в голову Венцеля вытаскивает на берег пес Гакон. Больной сотрясением мозга, Венцель покинут всеми, кроме рыбака Пехесано и собаки. Власть лишают его права оставаться на разбитом судне, которое служило ему прежде жилищем. Здесь в романе появляются, вначале только бегло очерченные, фигуры: проститутка Маргарита и Бевенстаак, сопровождающий «бродячий» дом терпимости. Маргарита самоотверженно ухаживает за Венцелем, бросает «хозяйку» и остается с ним. И все же Венцель отсылает ее на родину, где она начнет жизнь наново, а сам остается «на краю света» и пытается здесь строить свою жизнь, на этот раз в качестве рабочего. Уговорив Бевенстаака, он вместе с ним нанимается на работу в качестве маляра на тех самых всяких мостах, постройка которых уже стояла многих человеческих жизней. И здесь Венцель снова вступает в конфликт — на этот раз принципиальный — с обществом джентльменов; он узнает, что рабочими объявлена забастовка, а его и Бевенстаака используют как штрейкбрехеров. Венцель прекращает работу и примыкает к бастующим, Бевенстаак отказывается. «У тебя зеленые мозги», — с презрением говорит ему Венцель, давно разгадавший сущность житейской мудрости Бевенстаака. Стачка разрастается, рабочим удается

добиться удовлетворения своих требований, но Венцелю грозит арест. До сих пор правящие круги прощали ему любое нарушение законов, шли на любой сговор; но с того момента, как Венцель оказывается врагом существующего порядка вещей, он должен быть уничтожен. Предупрежденный об аресте Венцель прощается с единственным близким ему существом — собакой Гаконом и отплывает на лодке, приготовленной для него товарищами. «Гакон поднял голову и понюхал воздух. Пахло только солью, доносился шорох и плеск, мир был сплошной серебристой пеной — ничем больше».

Венцель покидает «край света» так же, как и пришел, тем же путем возвращается к океану; мир — океан, наполненный своим шумом роман Пливье, снова шумит в конце книги.

Новый роман Пливье оставляет как будто недосказанной историю жизни героя, но образ его ясен, как ясна и идея книги. Если в начале романа люмпен и будущий штрейкбрехер Бевенстаак, ставшая с Венцелем, говорит: «Право, не знаю, что из тебя еще получится», и этого не знает ни сам Венцель, ни читатель, то прежний искатель счастья Венцель отвечает и Бевенстааку, и читателю, и самому себе, заменяя «обветшалые истины» новыми, живыми:

«Одному пировать — не влады! Одному за себя — не постоять! Одним собой — не проживешь! Только когда все будут заодно, когда все протянут друг другу руки и плечом к плечу...»

Так думает вслух Венцель. Пливье больше нигде не заставляет своего героя прямо пропагандировать идею книги. Герой живет, действует и развивается, и вместе с ним органически развивается и тема любви к жизни, воли к познанию и переделке мира.

«Жизнь могла бы течь сплошным мощным потоком», мечтает Венцель; только творческое, революционное отношение к миру может дать такое ощущение широты человеческих возможностей. Этим настроением проникнута вся книга Пливье; оно придает ей какую-то особую жизнерадостность, расцветивает богатыми красками стиль. Язык Пливье пластичен и суров. описания природы, людей — отличаются замечательным чувством меры, точностью, выразительностью. Таковы женские образы (Тереза, Маргарита), таковы блестящие портреты Бевенстаака и техника Мак Клифферсона — английского мешанина из рабочих, возвращенного колониальной «моралью», считающего, что «на краю света» не действительны законы рабочей солидарности. Но наибольшая удача Пливье — это Венцель, центральный образ и носитель идеи романа.

С. Я. ВОЛЬФСОН. «В МАТРАЦНОЙ МОГИЛЕ». Минск. Изд. Академии наук БССР, 1940, 320 стр.

Работа С. Я. Вольфсона «В матрацной могиле» выпущена в свет по постановлению Академии наук БССР. Это заставляет нас отнестись к книге особенно внимательно. Ведь одобрения Академии в данном случае удостоилась не научная работа, а беллетристическое произведение, посвященное последним годам жизни Генриха Гейне.

Речь здесь идет о чистой беллетристике, а не о беллетризированной биографии. Книга Вольфсона состоит из 36 главочков-новелл, рисующих отдельные эпизоды жизни Гейне. Здесь и встречи с людьми, и раздумья, и личные переживания, здесь пересуды врагов, мнения друзей.

Нарисовать образ большого художника — нелегкое дело. Мировая литература знает здесь больше поражений, чем побед. Однако, и не одержав победы, то есть не создав своего, неповторимого, объективно верного или хотя бы спорного образа, автор романа о большом художнике может и не потерпеть полного поражения. Серьезные знания, солидная документация, правильный взгляд историка, литературоведа, социолога могут дать его книге некоторую познавательную ценность, сделать ее полезной.

Общая ориентировка в вопросах истории и истории литературы у С. Вольфсона несомненно есть. Более того, книга его свидетельствует о хорошем знании специальной литературы. Он знает не только произведения Гейне, но и его эпистолярное наследие, так же как и письма современников Гейне, мемуарную литературу и т. д. И все-таки должного уровня знаний в работе С. Я. Вольфсона нет.

Так, великого французского художника Эжена Делакруа он в книге своей называет Фердинандом, графиню д'Агу, которую Гейне желчно звал «конфеткой, упавшей в грязь», изображает близким другом поэта; забывает о резкой, издевательской статье Гейне против Жорж Санд.

Нет смысла перечислять все имеющиеся в книге ошибки и оговорки. Нет смысла также упрекать автора за некритическое доверие ко всем свидетельствам современников, в частности, к болтливому и вульгарным воспоминаниям Александра Вейля. Отдельные неточности всегда мож-

но исправить. Дело ведь не в них, а в том, как автор рисует своего героя и его окружение, какую ценность имеет тот материал, который он нам дает.

И здесь происходит чрезвычайно странная, на первый взгляд, необъяснимая вещь. Гейне на протяжении всей книги говорит лишь цитатами из своих произведений и писем, предмет разговора всегда не случаен и, так сказать, соответствует собеседнику — с Жорж Санд и Мари д'Агу он говорит о страсти, с Эвербеком — о коммунизме, с Марксом — о философии Гегеля и т. д.

Почему же столь хорошо знакомые и замечательные мысли Гейне производят в книге Вольфсона странное, почти комическое впечатление?

Виноват, здесь, разумеется, не Гейне. Виновата здесь художественная нечуткость автора, который не понял некоторых особенностей творчества Гейне.

Эмоциональность, интонационность гейневской прозы была разговорной только внешне. По существу же, литературный стиль великой публицистики XIX века, вершиной которой были исторические работы и политические статьи Маркса, отнюдь не приспособлен для камерного диалога. Гейне, который в книге С. Вольфсона обрушивает на молодого Маркса ворох цитат из «Признаний», воспринимается читателем не как великий поэт и публицист, а как напыщенный декламатор, лишенный такта и чувства юмора.

И рядом с ораторски-декламационной речью Гейне особенно зловещее впечатление производят сугубо «разговорные» реплики Маркса: «Не дурак был старина!», или: «Но умница-то какая, умница какая!»

Таков в книге Вольфсона, уровень высказываний молодого Маркса о Гегеле.

Гейне выступает как болтливый дидактик решительно во всех главах. И эта дидактическая болтовня становится особенно нестерпимой, когда она наводняет последнюю из глав, посвященных отношениям умирающего Гейне и Мушки — Элизы Криниц.

То, что Гейне говорит здесь о Шекспире, аббате Прево, национальном ха-

актере англичан — конечно, очень умно. Но обстоятельство, при которых он высказывает свои мысли, делают самые мысли неуместными до нелепости, а самого Гейне — смешным резонером.

Итак, материал, который собрал в своей книге т. Вольфсон, подан плохо. Как же обстоит дело с образом героя? Есть ли в работе хотя бы какие-то черты, способные дать читателю живое ощущение всей сложности, всей противоречивости, но и всего трагического величия Генриха Гейне?

К сожалению, автор потерпел поражение и здесь. Тенденция к «реабилитации» Гейне, к устранению противоречий во что бы то ни стало придает образу Гейне, нарисованному С. Вольфсоном, большое сходство с либеральным русским поэтом 80—90-х годов, который «высоко держит знамя».

Сложность отношения Гейне к коммунизму, к рабочему движению, к прямому революционному действию, к буржуазной демократии и т. д. сведена к простейшим формулам. Переплетение правильного и ложного, исторически-прозорливого и исторически-ограниченного во взглядах Гейне — автором совершенно не раскрыто. Тенденция же морально оправдать все ошибки Гейне — вплоть до получения пенсии из секретного фонда правительства Луи-Филиппа — ничего, кроме раздражения, вызвать не может.

В такой защите Гейне не нуждается.

Вопрос о месте Генриха Гейне — величайшего революционного поэта XIX века — в «борьбе человечества за свое освобож-

дение» решен историей уже давно, не смотря на все ошибки поэта.

Отсутствие такта и художественного чутья особенно ярко окрашивает те главы книги, где автор, так сказать, «домысливает» данный в документе или мемуарной литературе намек. Главы, рисующие любовные похождения жены Гейне Матильды или интриги гамбургской родни поэта, стоят на уровне самой обычной и наивной бульварщины.

Тяжелое впечатление производит и язык книги, свидетельствующий не только об отсутствии вкуса, но и об отсутствии грамотности: «Под нервную пальцевую дробь он ищет ответа»; «Карл принял от шурина ящик с таким же священнодействием, с каким набожный еврей берет на руки свитки торы»; «Скоро двадцатилетие нашей совместности»; «Не произнося ни слова, Генрих и Шарлотта заключают друг друга в длительном объятии»; «Сделали шприц, приложили горячие полотенца» и т. д. и т. п.

Не менее часты и бестактнейшие примеры вульгаризации и дурной модернизации языка: «Пусть бросит свои штучки», «шурум-бурум» и т. д.

Из всего вышеизложенного следует сделать два вывода.

Первый — книга С. Я. Вольфсона, несмотря на лучшие намерения автора, оказалась неудачной книгой.

Второй — Академия наук БССР должна требовательнее и серьезнее относиться к тем работам, которые она утомляет своего одобрения.

Е. Книпович

К. Э. ПОРТЕР. «БЛЕДНЫЙ КОНЬ, БЛЕДНЫЙ ВСАДНИК». Нью-Йорк, Харкорт, Брэйс и К^о, 1939, 264 стр. (Katherine Anne Porter. «Pale Horse, Pale Rider». Three Short Novels. N. Y., Harcourt, Brace and Co. 1939, 264 p.)

Кэтрин Энн Портер, известная американская писательница. Ее книги не раз получали крупные премии. Эстетствующая критика ценит в Портер утонченного «мастера стиля» и неизменно старается подчеркнуть, что ее произведение — «литература для знатоков». «В действительности, — пишет критик в «Нью-Йорк таймс бук ревью» (14/IV 1940 г.), — К. Э. Портер не очень заинтересована в том, чтобы писать для знатоков. Прозрачность стиля, законченность формы никогда не были для нее самоцелью». К. Э. Портер, прекрасно владея всеми средствами психологического анализа, умеет дать реалистическое изображение душевной жизни и быта своих героев — американского мелкого буржуа, фермера, интеллигента.

В рецензируемый сборник входят три повести. В первой — «Мертвое прошлое» —

и во второй — «Полуденное вино» — события происходят в конце прошлого и начале нашего века (1885—1912 гг.). Если бы даже эти даты не были указаны писательницей, читатель без труда узнал бы людей и быт Америки до первой империалистической войны. В третьей повести — «Бледный конь, бледный всадник» — время действия 1918 год, конец войны.

В круг каких проблем вводит читателя Портер? Это проблемы любви и права женщины на свободный выбор своего пути в жизни. Это взаимоотношения отцов и детей, не понимающих друг друга, разлад в семье, которая внешне еще держится на отживающих традициях буржуазной морали и полугипнотическом представлении об общности семейных интересов. Портер, как правдивый и искренний художник, показывает на судьбе двух

поколений своих героев из «Мертвого прошлого» распад буржуазной семьи. Все их несчастья — неизбежное следствие столкновения личного с косностью и жестокостью окружающего их мира.

Рисуя крушение буржуазной семьи, Портер не сосредоточивает своего внимания на патологическом, болезненном, «мориakovском». Она ведет повествование как правдивый наблюдатель человеческих душ, которому важно показать живые типические образы, а не клинические случаи. Первая жертва семьи, историю которой рассказывает Портер в «Мертвом прошлом», — непокорная, свободолюбивая красавица Эми, трагически погибшая за много лет до описываемых событий. Эми покончила с собой; она не пожелала подчиниться деспотической власти мужа. Ее племянница Миранда унаследовала то же страстное стремление к независимости. Семнадцати лет она бросила школу и вышла замуж, но скоро поняла, что дом мужа — такая же тюрьма, как и дом отца. «Не осталось ничего, что смягчало бы это чувство ненависти». Миранда решает идти против течения, строить свою жизнь самостоятельно.

Другой женский образ повести — Ив. Это неудачница, исковерканная внушенным ей с детства представлением о ее женской неполноценности: еще в детстве мать называла некрасивую Ив старой девой. Даже общественно-политическая деятельность Ив — она ярая поборница женских прав — объясняется ее желанием отомстить семье. «Подумать только, — гневно говорит она Миранде, — люди, называющие себя цивилизованными, испортили всю жизнь молодой девушки только потому, что она не обладала счастливой внешностью. И, конечно, все это делалось не со зла, добродушно... Вот этого-то я и не могу простить. Ах, семья!.. Весь этот отвратительный институт следует смести с лица земли. В семье — корни всех человеческих недостатков».

Ненависть Ив к самому институту брака, к семье — есть также следствие уродливых буржуазных законов, разрушающих наиболее естественные и важные связи между людьми. И сама писательница, вольно или невольно, заставляет почувствовать, что в семейном укладе отражается природа буржуазного общественного строя, где все социальные и моральные отношения находятся в непримиримом противоречии с интересами личности.

В «Бледном коне, бледном всаднике» это показано в более широком плане, хотя бы уже потому, что действие происходит в период империалистической войны, которая прямо влияет на судьбу героев. Мы вновь встречаемся с Мирандой. Она стала самостоятельной, но по-прежнему одинока. Работая в газете театральным рецензентом, Миранда очень нуждается — ей приходится высчитывать каждый грош. Миранда ненавидит «подлую войну». Но чтобы отвести от себя подозрение в антивоенных настроениях

и сохранить работу в газете, она вынуждена принимать участие в благотворительных мероприятиях, затеваемых шовинистическими организациями.

Протест Миранды против войны принимает острый и непримиримый характер под влиянием любви к студенту Адаму, призванному в армию, со дня на день ожидающему отправки на фронт.

Ему, так же как и Миранде, ненавистна военная пропаганда, искусственное разжигание националистических страстей, неумолкающие звуки «Типперери».

Однако Адам принадлежит к тем честным, но политически пассивным и непоследовательным интеллигентам, с которыми мы хорошо знакомы по американской литературе «потерянного поколения». Отправляясь на войну, он старается убедить себя, что обязан разделить судьбу миллионов ни в чем неповинных людей. Миранда пытается заставить Адама понять его ошибку, но это ей не удается — Адам идет на фронт, «как ягненок».

Миранда и Адам предчувствуют трагическую развязку. Судьба связала их на несколько дней, и в эти отмеренные им мгновения пришло горе: в стране свирепствует эпидемия «испанки», и Миранда заболевает. Ночное дежурство Адама у постели больной девушки — самая яркая сцена в повести. Здесь раскрывается с большой поэтической силой чистая, самоотверженная любовь Миранды и Адама.

Образ «бледного всадника на бледном коне», символизирующий в первой повести неумолимость «судьбы», здесь получает новый смысл. Тяжко больная Миранда напевает вместе со своим возлюбленным негритянскую духовную песню о спасении любимого человека от смерти. Ее поют негры на хлопковых плантациях, и не случайно вспоминает слова этой песни Миранда. Для нее и для Адама апокалиптический «бледный всадник» превращается в грозный образ, символизирующий неотвратимые бедствия, которые несет с собой империалистическая война.

Адам погибает на фронте. Миранда узнает об этом в день заключения перемирия. Она приходит к какому-то новому для нее решению, осознает настоящее положение вещей: «Кончилась война, кончился страшный мор, настала таинственная тишина, отгрохотали орудия, и в бесшумных домах опущены шторы, и улицы пусты, и мертвый холодный свет застрявшего дня. Теперь будет время для всего».

Так кончается эта повесть Портер, самая лирическая из трех.

И, может быть, мысль Миранды, заключающая книгу: «Теперь будет время для всего» — таит в себе обещание перейти от внутренней решимости к действиям, которые в наши дни могут сблизить Миранду с борцами против шовинизма, против тех, кто является «интеллектуальными баранчиками» американского империализма.

Повесть «Полуденное вино», изображающая быт фермеров,—наименее убедительная вещь в книге Портер. Трагическая линия, проходящая через все три ее повести, здесь возникает в результате случайного стечения обстоятельств. По-

этому, несмотря на тщательно выписанный бытовой фон, вся повесть оставляет впечатление надуманности, чрезмерной психологизации.

А. Мингулина

ДЖ. Ф. ДЖЕКSON. «ЛУИЗА КОЛЕ И ЕЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Нью Хавен, Изд. университета пресс, 1937, 388 стр. («*Louise Colet et ses amis littéraires*» par Joseph F. Jackson. New Haven, Yale University Press, 1937, 388 p.)

Книга современного английского литературоведа Джозефа Ф. Джексона «Луиза Коле и ее литературные друзья» является документированной биографией Луизы Коле, имя которой занимает немалое место в биографии Флобера, о чем свидетельствует его переписка.

Из обилия цитат и детального изложения даже самых незначительных событий жизни Луизы Коле вырисовывается со всей яркостью образ «*femme de lettres*», столь типичный для той эпохи. Но «является ли карьера Луизы Коле верным отражением той эпохи, современницей которой она была?»

Ответом на этот вопрос, который ставит в предисловии автор, служат приведенные в его книге выдержки из литературной продукции Луизы Коле; они говорят сами за себя. Более чем подробное описание ее литературных взлетов и падений — небезуспешное участие в конкурсах Академии, похвалы прессы, — и тут же скандальные провалы, подлоги, отвратительные сплетни, героиней которых являлась Луиза Коле.

Автор подробно останавливается на литературных «содружествах» Луизы Коле, длинный список которых открывается именем Виктора Кузена и затем, помимо Флобера, дополняется Альфредом де Мюссе, Альфредом де Виньи, Дюма-отцом и многими другими.

Автор показывает, что смешение вкусов и школ, начиная от ламартинового романтизма и кончая «индустриализмом» в литературе, определяются как творчество плодотворной, но посредственной писательницы Луизы Коле, так и ее литературные симпатии. Ее салон служил местом встречи таких непохожих друг на друга писателей, как Готье, Шанфлери, Альфред де Виньи и Максим дю Кан, Леконт

де Лиль и Эжен Сю, Флобер и Мюссе, Луи Буйе и Беранже.

Эти обширные связи создали Луизе Коле утвердившееся положение парижской «литературной львицы», когда ее встречает впервые (в 1846 году) молодой, еще непризнанный Флобер. Именно в адресованных к ней 257 письмах предстает перед нами во весь рост Флобер — жрец «чистого искусства», принесший ему в жертву самое сильное чувство, какое у него было в жизни, — страсть к Луизе. Но вышеуказанная характеристика Луизы говорит о неизбежности разрыва не только из-за служения Флобера чистому искусству, но и потому, что сам образ Луизы менее всего соответствовал идеалам Флобера и служил как бы символом литературной жизни Парижа 50-х годов с ее измелочением, безыдейностью, безвкусицей.

Автор показывает (и это тем более трудно, что писем Луизы не сохранилось), как с первых же дней взаимной любви, бурной страсти нарастает и взаимное непонимание, которое приводит Флобера в 1854 году к окончательному разрыву с Луизой.

Работа Джексона не подымается над уровнем современного псевдонаучного литературоведения на Западе именно потому, что автор со всей «научной» серьезностью останавливается на обосновании тех сплетен, из которых по существу и складывается биография Луизы Коле.

Тем не менее обилие фактического материала составляет ценность этой работы, хотя бы потому, что она проливает свет на один из важных эпизодов личной жизни Флобера, биографию которого мы, естественно, хотим знать с наибольшей полнотой.

С. Кратова

Тема киносценария «Хуарес» («Juarez» by John Hackston, Eneas Mackensy, Wolfgang Rinehardt and Abem Tinkel, 176 pp.) — борьба мексиканского президента Хуареса (1858—1872) против интервенции Наполеона III. В 1863 году правительство Наполеона III, опираясь на штыки экспедиционного корпуса и поддержку мексиканской реакционно-помещичьей клики, создало в Мексике монархический режим и посадило на мексиканский престол австрийского эрцгерцога Максимилиана. Войска президента Хуареса были разбиты, а сам Хуарес удалился в северные провинции, откуда и руководил повстанческой борьбой против интервентов. При поддержке правительства США ему удалось создать и вооружить новую армию, операции которой были весьма удачны. В 1867 году французский экспедиционный корпус был отозван из Мексики, Максимилиан же остался, рассчитывая удержаться с помощью горстки австрийских солдат и мексиканских империалистов. Но удержаться ему не удалось: восстание охватило всю страну, и летом войска Хуареса захватили императора и его приближенных. Максимилиан был судим военным судом и приговорен к смертной казни. 19 июня 1867 года он сам и его генералы Мирамон и Мехия были расстреляны. Эти события и легли в основу сценария.

Авторы изображают обоих исторических героев — Максимилиана и Хуареса — по своим личным качествам очень похожими друг на друга: оба честны, благородны, мужественны, великодушны. Два эпизода должны, по мысли авторов, особенно резко подчеркивать эти качества. Когда помещики обращаются к Максимилиану с требованием возврата земель, реквизируемых у них Хуаресом, Максимилиан отказывает: он, мол, не хочет лишать крестьян принадлежащей им земли. С другой стороны, Хуарес, когда делегация американских финансистов предлагает ему крупный заем в обмен на право эксплуатации мексиканских рудников, также отказывает удивленным делегатам: он не желает отнимать у народа то, что принадлежит ему по праву. «Это не американцы, — говорит он о делегатах, — это спекулянты. У них нет родины». В некоторых эпизодах Максимилиан даже буквально повторяет слова Хуареса. Он сам говорит, что «лишь одно слово» разделяет их — демократия. Максимилиан борется за авторитарное руководство страной и народом, Хуарес — за власть народа и для народа. Максимилиана ненавидят не потому, что он плох сам, а потому, что он — олицетворение ненавистного народу режима.

Конечно, само по себе стремление показать историческую и политическую правоту Хуареса, столкнув его не с отъявленным реакционным негодяем, а с честным врагом, показать закономерность поражения Максимилиана не в штампован-

ных образах «наказанного порока», а как поражение строя, враждебного народу и ненавидимого народом, — вполне естественно и законно. Но здесь необходимо проявить нужное художественное чутье, чувство меры и такта. А этого авторам сценария явно не хватило.

Основной идейный и художественный порок сценария — это приукрашивание личности Максимилиана, ставленника Наполеона III, идеализация человека, которого, независимо от его личных качеств, отделяет глубокая пропасть от демократического вождя Хуареса.

Сценарий читается как хорошо написанное литературное произведение. Интересно разработанный сюжет, живой диалог, запоминающиеся ремарки. И несомненно, что значительной долей своего успеха одноименный фильм (поставлен в 1939 г.) обязан качествам рецензируемого сценария¹.

★

Рассказ Доры Венчер «Бродяга» (Dora Ventscher. «Der Landstreicher». Erzählung, Meschdunarodnaja Kniga, Moskau, 1940, 48 S.) посвящен судьбе одаренного человека в капиталистическом обществе.

Трагические для художника взаимоотношения с миром собственников Дора Венчер показывает в их наиболее простом и будничном аспекте. Действие рассказа происходит в довоенное время. Тем самым автор лишней раз подчеркивает безвыходность этого мира даже в периоды, когда социальные потрясения не дают себя знать со всей остротой.

Лето — время безработицы для молодых актеров. Этим пользуется ловкий предприниматель летнего театра, набирающий труппу для сезонной работы в захолустье и жестоко эксплуатирующий актерскую молодежь, попавшую в его лапы.

Внезапная болезнь первого тенора ставит под угрозу работу театра. Но актеры встречают на большой дороге бродягу, который, узнав о постигшей их беде, заявляет, что он может заменить их заболевшего товарища. Для предпринимателя и для большинства работников театра — бродяга Кноппе только «бывший человек», годный лишь «на затычку». Однако наиболее чуткий и одаренный из актеров — молодой еврей Боги — видит, что «бродяга» — большой художник. Его замечательный голос уже почти загублен нуждой и пьянством, но он необычайно одарен как актер, несмотря на отсутствие школы.

Судьба Кноппе весьма обычна для мира, где царят отношения чистогана. Подкидыш, выросший в деревне, затем разносчик угля, Кноппе все же находит своего мецената. Меценат — известный певец, дает ему возможность учиться;

¹ Отрывки из сценария «Хуарес» были напечатаны в № 7—8 «Интернациональной литературы» за 1939 г.

однако эта игра в великодушие вскоре надоедает благотворителю, он уезжает на гастроли в Америку, забыв о своем питомце. Не имея возможности продолжать учение, Кнопле подписывает ангажемент и срывает свой еще не поставленный голос.

Глубокое равнодушие всего мира к его судьбе лишает молодого человека веры в себя, желания жить и бороться.

Общество выталкивает его как инородное тело, он становится бродягой.

Бродяга участвует в нескольких спектаклях летней труппы, затем уходит, оставив после себя лишь память о необычной смелости и чувстве собственного достоинства, сказывавшихся в его отношениях с предпринимателем. И только молодого актера Боги кратковременная дружба с бродягой приводит к горьким и серьезным размышлениям о судьбе искусства в этом проклятом и продажном обществе.

Рассказ Доры Венчер, написанный просто и тепло, несомненно встретит хороший прием у читателя.

★

Пабло де ла Торриенте Брау — кубинский журналист, сражавшийся в рядах республиканской армии в Испании. В 1936 году он был убит в бою под Романильос. После него остался ряд неопубликованных работ — неоконченный роман «Приключения неизвестного солдата-кубинца», очерки, рассказы, статьи о гражданской войне в Испании. На Кубе создан специальный комитет имени Торриенте Брау, который решил отметить пятилетие со дня смерти писателя изданием собрания его сочинений. «Приключения неизвестного солдата-кубинца» — первая книга, изданная комитетом. (Pablo de la Torriente Brau. Aventuras del Soldado Desconocido Cubano. La Verónica. La Habana. Cuba, 1940.)

Торриенте Брау начал писать ее в Нью-Йорке, в 1936 году; она обрывается на половине фразы — автор срочно выехал на фронт, в Испанию.

Книга Торриенте Брау — это сатирические биографии «неизвестных солдат» — французского, английского и др. Торриенте Брау дает их в форме рассказов, якобы поведанных ему, автору, тенью американского «неизвестного солдата», встреченной в Нью-Йорке, в кубинском клубе. «Неизвестный солдат» — кубинский мулат Элиодомиро дель Соль и автор оказались земляками — уроженцами Сантьяго на Кубе. Они быстро сдружились, и Торриенте Брау стал проводить все свои свободные дни на арлингтонском кладбище, где находится могила неизвестного американского солдата. Остроумно, с тонкой иронией, дель Соль рассказывает своему собеседнику подлинную историю «неизвестных солдат», в том числе и свою собственную. Особенно остро написана биография французского солдата: он оказался на деле аптекарем, ошибочно обвиненным в переходе на сторону врага и расстрелянным по приговору военного трибунала.

Книга Торриенте Брау неокончена, местами недоработана. Но и в таком виде она является удачным антиимпериалистическим памфлетом.

★

«Проспект Клуба изданий с ограниченным тиражом» («A Prospectus of the Fine Books by the Limited Edition Club», November — 1940 — October — 1941) — это небольшая, изящно оформленная книжка, излагающая программу и цели клуба. Конечно, это — только рекламное издание (вернее, образец умного и тактичного книжного «сервиса»), но пропагандирует оно литературу очень высокого качества и рассказывает о деятельности весьма своеобразной организации, информация о которой небезынтересна для нашего читателя.

На американском книжном рынке есть, если можно так выразиться, своего рода «сектор», рассчитанный на библиофилов. Здесь оперируют небольшие издательства, именуемые «клубами», с ограниченным числом подписчиков или абонентов, уплачивающих «клубу» регулярные членские взносы. Такой взнос дает право на получение книг, выпускаемых издательством, — роскошных изданий классиков, книг с автографами писателей, переизданий старинных рукописей и прочих коллекционных изданий. К такого рода издательствам принадлежит и «Клуб изданий с ограниченным тиражом», специализировавшийся преимущественно на классиках мировой литературы. Ежегодно «клуб» выпускает целую серию книг, великолепно изданных, иллюстрированных лучшими американскими графиками и оформленных лучшими художниками-полиграфистами. Так, например, в текущем году, как сообщает проспект, будут выпущены восемь томов Плутарха, «Странствия пилигрима» Беньяна, два тома стихов Шекспира, «Отверженные» Гюго и «Ярмарка тщеславия» Теккерея. Среди иллюстраторов «серии» — имена таких крупных американских художников, как Дунгинс, Роджерс, Блэйк, Остен и другие. Цена каждой книги — 10 долларов (!) — явно не рассчитана на «среднего» американца, однако такие издания «клуба», как «Робинзон Крузо» Дефо, «Кентерберийские рассказы» Чосера, «Путешествия Гулливера» Свифта, «Декамерон» и др., котируются сейчас на книжных аукционах еще выше — по 50 долларов и дороже.

Текст проспекта или, вернее, вступления написан известным американским писателем Кларенсом Дей, автором шумевшей пьесы «Жизнь с отцом». В конце книжки опубликованы высказывания ряда видных писателей, издателей, научных работников и общественных деятелей, являющихся абонентами «клуба».

«Издания клуба — это действительно замечательные образцы полиграфической культуры, — говорит по поводу проспекта рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью», — но это — культура для немногих». Это замечание характеризует сущность деятельности клуба лучше, чем его многословный проспект.

★

Повесть американского писателя Эмметта Гоуэна («Action in Alabama» by Emmet Gowen) получена нами в рукописи. С каждым годом прогрессивному литератору в США становится все труднее и труднее найти издателя. За последнее время даже немногие либеральные журналы, охотно печатавшие произведения левых писателей, взяли резкий курс вправо и не слишком любезно встречают рукопись, автор которой осмеливается критиковать капиталистические порядки. К такого рода произведениям относится и повесть Гоуэна. Сюжет ее отчасти напоминает сюжет романа Лин Зугсмит «Солдат на лето» (рецензию см. в № 9—10 «Интернациональной литературы» за 1939 г.). В обоих случаях речь идет о злоключениях группы американских интеллигентов, предпринимаящих поездку в некий промышленный город на юге США с целью расследования фактов, «позорящих американскую демократию». Таким городом в повести Гоуэна является Бирмингем в штате Алабама, где любой рабочий организатор, любой прогрессивный общественный деятель может быть отправлен в тюрьму под каким-нибудь пустячным предлогом, чаще всего за хранение «радикальной» литературы.

Герои повести — журналист Джордж Фергюсон из Нэшвилла, его товарищ Боб Кирш — работник МОПР, писатель Конвей и другие, приехав в Бирмингем, составляют листовку, текст которой заимствован из речей Линкольна к народу, и раздают ее на улицах города вместе с номерами «Дейли уоркер» и «Нью мэссес». Цель их — создать прецедент для незаконного ареста и организовать вокруг него массовую общественную кампанию протеста против столь очевидного нарушения прин-

ципов конституции. План действий составлен ими при участии местного адвоката Тоуэрса, который пользуется репутацией сочувствующего прогрессивному движению в Америке.

План осуществляется: герои повести действительно арестованы, но, к удивлению, через несколько минут полицейские отпускают их на свободу. Начальник полиции неожиданно любезно поясняет, что ничего криминального не нашел в их поведении, но предупреждает, что не несет никакой ответственности за их безопасность: мол, ходят слухи, что «Белый легион» — организация местных «патриотов» — недоволен их пребыванием в городе и возможны «эксцессы», помешать которым полиция не в состоянии. О готовящемся нападении ку-клукс-клановцев предупреждает участников поездки и адвокат Тоуэрс. Герои повести переживают тяжелые минуты: угроза линчевания становится все более реальной, и по совету адвоката они поспешно покидают город, направляясь в Монтгомери (административный центр штата) требовать вмешательства губернатора. Им удается ускользнуть от преследователей, но обращение к губернатору не дает никаких результатов. В конце концов власти добились своего: герои повести вынуждены покинуть город, а вернувшись в Нэшвилл, они узнают, что помогавший им Тоуэрс — провокатор, состоящий на службе у бирмингемской полиции.

Повесть эта написана несколько сухо, почти протокольно. Автор уделяет больше внимания событиям, а не характерам героев. Да и события эти описаны очень бегло, им тесно в рамках маленькой повести. Это скорее эскиз к большому роману, чем законченное литературное произведение.

МАРГАРИТА НЕЛЬКЕН

Письмо из Мексики

Прибытие в Мексику ряда лучших представителей испанской интеллигенции не могло не отразиться самым благотворным образом на культурной жизни страны. К сожалению, многим из прибывших до сих пор не удалось получить возможность продолжать творческую работу, начатую ими в Европе. Борьба за кусок хлеба вынуждает их заниматься трудом, не имеющим ничего общего с их основной профессией. Но все же несомненно, что в научную жизнь, литературу и искусство Мексики «беженцы» внесли культурный вклад немалой ценности.

Два литературных журнала — «Эспанья peregrina», руководимый выдающимся испанским писателем Хосе Бергамином, и «Романсе», основанный молодыми писателями Хуаном Рехано, Лоренсо Варела и Эррера Петере, — показали высокий культурный уровень подлинных испанских интеллигентов, для которых культура неотделима от дела народа и его борьбы за свободу. К сожалению, вышесказанное относится лишь к первым номерам этих журналов; теперь оба издания попали в руки реакционных кругов.

Что же касается книг, то надо отметить, что издательство «Seneca», руководимое Бергамином, выпустило несколько томов избранных произведений испанских классиков, в том числе впервые увидевшие свет творение незабвенного Гарсии Лорки — «Поэт в Нью-Йорке». В этом же издательстве вышли произведения молодых испанских писателей: «Прогулка лжи» Хуана де Ла Кабада, новеллы из мексиканской жизни; «Nube de los Cuernos» — Эррера Петере, сатирическая картина быта французской буржуазии. Петере с презрением пишет об этой разложившейся среде, которую он наблюдал глазами испанского революционного бойца. В этом же издательстве вышла книга «Зеркало вероломства: Англия в Испании. Записки неизвестного дипломата» (автор Е. Джелепи) и сборник эссе Хосе Бергамина. В настоящее время находится в печати превосходное издание собрания сочинений Антонио Мачадо, а также переиздается книга «Три типа Малонны» (этюды о живописи), принадлежащая автору настоящих строк.

Имя Хосе Бергамина заслуживает здесь особого упоминания; этот видный представитель испанской интеллигенции, будучи католиком с явно аристократически-

ми тенденциями, с самого начала войны в Испании связал свою деятельность и творчество с борьбой передового человечества. Он бежал в Мексику, и там его избрали мишенью для своих гнуснейших нападок испанцы-«капитулянты», слепо следующие за социал-демократическими и троцкистскими предателями. Но ни клевета, ни травля не смогли заставить Бергамина свернуть с того прямого пути, который наметили перед ним его совесть и вера в народ и в будущее Испании.

«Меня упрекают в том, что я иду вместе с коммунистами, — сказал он в одной из своих речей. — Не моя вина, если каждый раз, когда я ищу правду, я встречаю коммунистов!»

Его декларации в защиту Советского Союза в те моменты, когда реакционная пресса с особой силой нападала на СССР, его постоянные выступления против тех, кто хотел «ликвидировать» войну в Испании, против предательства сторонников Касадо, — отразили настроения лучшей, передовой части испанской интеллигенции. За последнее время Бергамином написаны предисловия к книге Джелепи, направленной против империалистов, к книгам Гарсии Лорки, зверски убитого франкистами, к произведениям Антонио Мачадо, величайшего поэта современной Испании, которого свели в могилу страдания и лишения, перенесенные им в эмиграции в «демократической» Франции. Сейчас Бергамин разрабатывает план издания марксистско-ленинской антологии. В своей недавно вышедшей книге эссе он указывает, что превыше всего — воля народа. Все это позволяет нам видеть в Бергамине одного из самых стойких, самых прозорливых и выдающихся представителей интеллигенции на нынешнем этапе борьбы испанского народа.

Значение фигуры Бергамина выступает тем ярче, если сопоставить ее с творчеством и поведением иных испанских интеллигентов, уединившихся в «башне из слоновой кости», которые, очутившись в эмиграции, всячески стараются забыть о том, что, поддавшись минутному увлечению или, вернее, будучи вынуждены к тому силой обстоятельств, они в известный момент оказались на стороне народа.

★

В театральной жизни Мексики заслуживает внимания новый балет на мотивы



Балет, поставленный по либретто Бергамина

Гойи (либретто Бергамина, музыка Родольфо Альффера) и балет «Полковница» Сильвестро Ревуельтаса, талантливого композитора, безвременно погибшего в тот момент, когда его талант достиг полного расцвета и мог дать прекраснейшие плоды.

Ревуельтас был прежде всего революционером. Его вдохновение, замечательное мастерство и большой талант служили одной цели — они возвещали пришествие новых времен. Канвой для балета «Полковница» послужили гравюры Посада, художника, с жестокой иронией высмеявшего лицемерие мексиканского «высшего общества» начала нынешнего века, общества, процветание которого было основано на угнетении и эксплуатации народа.

Мы не будем останавливаться здесь на значении Ревуельтаса, к которому мы в дальнейшем надеемся вернуться, но мы не можем не отметить, что сцены этого балета, высмеивающие «высшее общество» 1900 года, драматические сцены угнетения туземцев, сцены революционного пробуждения, а также музыка, их сопровождающая, образуют единое целое, открывающее новую эпоху в театральном искусстве Латинской Америки.

Смерть Сильвестро Ревуельтаса, революционного художника и верного друга трудящихся и Советского Союза, вдохновила чилийского поэта Пабло Неруда на поэму, единодушно признанную его шедевром. Пабло Неруда, бесспорно являющийся одним из трех или четырех крупнейших поэтов Латинской Америки, ныне находится в Мексике. Поэму его на смерть Ревуельтаса можно сопоставить с другим превосходным произведением — с недавно написанной поэмой Энрике Гонсалеса

Мартинеса, одного из лучших писателей Латинской Америки. Эта поэма посвящена Мартинесом памяти его сына, поэта Энрике Гонсалеса Рохо.

Здесь мы должны сказать несколько слов об «Испанских элегиях» Лоренсо Варела, вышедших в «издании не для продажи», напоминающем некоторые издания XVIII века. Эти «Элегии» не что иное, как язвительный и резкий ответ на поэмы некоего Доменчины. Сей литератор, охваченный злобной ненавистью мелкого буржуа к великому народу — собственному его народу, все величие, жертвы и стремления которого Доменчина не в состоянии был понять, — уже будучи в Мексике, издал гнусный стихотворный памфлет, направленный против героической борьбы Испанской республики.

Несколько слов о выставке Кристобала Руиса, художника, изображающего детей и пейзажи Кастильи и Андалусии, и об Орелио Артета, одном из лучших современных представителей фресковой живописи. (Он трагически погиб, став жертвой несчастного случая.) Артета пробыл некоторое время в одном из концентрационных лагерей Южной Франции и прибыл в Мексику незадолго до своей смерти.

И наконец, в заключение нашего краткого обзора культурной жизни Мексики, отметим колоссальный успех симфонии Шостаковича, заставившей публику, посещающую концерты Симфонического оркестра (под управлением одного из крупнейших дирижеров Латинской Америки, Савеза), бурно аллодировать произведениям талантливого советского композитора.

г. Мексико, декабрь 1940 г.

„Музыкальная коммерция“

Темой этого письма является новый «музыкальный» психоз, охвативший Америку. Речь идет о патефонах, именуемых «джук боксес».

История «джук боксес» в кратких чертах такова. У распространительницы массовой, рассчитанной на широкого потребителя музыки, — у граммофонной пластинки оказался серьезный соперник — радио. Под влиянием конкуренции радио сбыт граммофонных пластинок стал катастрофически падать, и в 1932 году граммофонная промышленность очутилась перед угрозой краха. Музыкальные издатели и заправила граммофонной промышленности были в отчаянии. Они объявили «призыв в музыку» новых «величайших» имен, «набор» новых талантов; наконец пошли на самое крайнее, на что могут пойти капиталисты, — снизили цены. Все было тщетно... до появления «джук боксес».

«Джук боксес» — механические музыкальные ящики-автоматы. Если опустить в них пятицентовую монету, они исполняют модную песенку. Нажав соответствующую кнопку, вы можете выбрать подходящую песенку: репертуар «джук боксес» содержит, примерно, двадцать названий. По виду «джук боксес» — ящики, обычно футов в пять высотой, сделанные из нержавеющей стали и разноцветного стекла, ярко освещенные изнутри. Свыше 400 000 таких «пятицентовых» патефонов установлено сейчас в Америке: в закусочных, барах, аптеках, парикмахерских и холлах кафе.

Рождение «джук боксес» вызвало необычайный расцвет граммофонной промышленности: в 1939 году было продано 50 миллионов граммофонных пластинок по сравнению с 10 миллионами в 1932 году, из чего можно заключить, что производство граммофонных пластинок сделалось довольно мощной отраслью промышленности.

Что означает слово «джук боксес»? До самого последнего времени для американского слуха оно было столь же непривычным, как и для русского. Исследователи американского фольклора считают, что это слово берет свое начало в барах Флориды и южной Джорджии; эти бары, еще задолго до появления «джук боксес», были известны под именем «Джукс». Большой оксфордский словарь определяет «джук» как существительное шотландского корня, означающее быстрое, скользящее движение, или глагол, означающий «быстро двигаться, ускользать». Как бы то ни было, на американском Юге, откуда идет это слово, оно было связано первоначально с придорожными кабачками, в которых закон, как таковой, был не в особенно большом почете.

Советские читатели будут вероятно немало изумлены, узнав, что этот пятицентовой патефон охотнее всего играет музыку Чайковского. Правда, смешно это или трагично, но говорить здесь о музыке Чайковского в собственном смысле слова, значит в значительной мере извращать истину. То, что аранжировщики «джук боксес» делают с Чайковским и другими композиторами, даже не поддается описанию. Музыка Чайковского, например, используется главным образом для «суинг» — новейшей вариации джаза. В этом-то и заключается секрет успеха «джук боксес».

Суинг — танцевальное помешательство последних лет. Автор этих строк, не являясь знатоком в области модного танца, склонен определить суинг как своеобразное сочетание обычного фокстрота с пляской святого Витта. Суинг, подобно всем современным «джазовым» танцам, происходящий из негритянских публичных домов американского Юга, подвергся процессу рафинирования и европеизации. Та же примерно операция была проделана недавно и с «конга» — негритянским народным танцем, который, уже в кабацком издании, американские туристы открыли в публичных домах Гаваны и который теперь с увлечением танцуют нью-йоркские буржуа в самых аристократических клубах.

Но вернемся к Чайковскому. К числу трех, пользовавшихся наибольшим успехом, песенок прошлого года относятся «Наша любовь», переделанная из отрывков увертюры Чайковского к «Ромео и Джульетте», «Лунная любовь», точно таким же путем переделанная из второй части Пятой симфонии, и «Остров мая» — из струнного квартета Чайковского. Слова и названия песенок поставляют поэты, которые лучше других понимают практические нужды акционерных компаний, эксплуатирующих «джук боксес», и не утруждают себя особенным проникновением в мир чувств и идей Чайковского.

Конечно, Чайковский был не единственным композитором, прах которого потревожен музыкальными коммерсантами. Большинство самых популярных песенок «джук боксес» украдено, или — если говорить более мягко — заимствовано из произведений иностранных композиторов. В 1939 году (да и теперь тоже) самой популярной была песенка, называвшаяся «Пивной бочонок — полька». Первоначально это была чешская песенка, написанная композитором Владимиром Вейвoda и впервые записанная на пластинку в Праге. В Нью-Йорке она была одета в новое музыкальное одеяние, ей дали новое название и снабдили американским тек-

стом. Модная сейчас «Песенка дятла» происходит от итальянской народной песни. Мексика дала несколько имевших успех мелодий, которые впрочем теперь довольно трудно узнать в их новых одеяниях. Дебюсси тоже дал заправки «джук боксес» «Мои грезы», относительно которых я могу поручиться, что автор не особенно порадовался бы их «чудесному превращению».

Впрочем, грабят не только Чайковского и Дебюсси. «Вечерняя звезда» из вагнеровского «Тангейзера» приспособлена под танцевальную музыку для одного из сунгов, и равелевская «Павана о мертвом принце» стала модной песенкой под названием «Когда лампа погашена»...

Среди новинок «джук боксес» фигурируют и сентиментальные песенки, от которых слезы навертываются на глаза подвыпившего завсегдатая бара.

Как известно, в Нью-Йорке есть много городов внутри самого города. В Нью-Йорке миллионы итальянцев, евреев и негров. В Нью-Йорке живут многочисленные представители латино-американских стран, немцы, поляки, венгры, греки. И пятицентовый патефон играет для них пластинки, записанные на различных языках.

Огромный успех «джук боксес» показывает, что их влияние охватило не только массовую, рассчитанную на широкого потребителя граммофонную музыку, но и сцену, кино и радио. Не следует забывать, что свыше 600 радиостанций США передают музыку исключительно в граммофонной записи.

Исполнители песен и дирижеры джазов благодаря успеху одной из своих песенок, распространенных с помощью «джук боксес», буквально за ночь превращаются из неизвестных артистов в знаменитостей. Бонни Бэккер, певица с очень небольшим голосом, спела старую незамысловатую песенку «О, Джонни! Как вы можете любить» в сопровождении второразрядного джаза Орина Тэккера. Эта песенка при-

шлась по вкусу аудитории «джук боксес», и в результате певица и джаз вознесены из ничтожества на высоту десятитысячного (в неделю!) театрального аттракциона. За этим успехом последуют, конечно, ангажементы в кино.

В одном только Нью-Йорке функционируют 15 тысяч «джук боксес», потребовавших за год 625 тысяч граммофонных пластинок. Отдельные заправки граммофонной промышленности эксплуатируют от 900 до 1 000 пятицентовых патефонов, предъявляя спрос на 100 тысяч пластинок в год.

Промышленность «джук боксес» стала настолько мощной, что в Чикаго многие профессиональные гангстеры, ранее специализировавшиеся на штрейкбрехерстве и убийствах, посвятили себя более прибыльному и безопасному делу содействия развитию «джук боксес».

Есть, однако, и другая, более опасная сторона «джук боксовского» помешательства. Капиталистическая промышленность «джук боксес» никогда не позволит достичь национальной известности произведениям левых композиторов. Пятицентовой патефон никогда не будет играть, скажем, «Балладу об американцах» Эрла Робинсона, которую с таким успехом исполнял для радио знаменитый негритянский певец Поль Робсон два года назад, когда мы впервые услышали ее на рабочих собраниях. Но «джук боксес» служит прекрасным средством военной пропаганды. Мембрана опустится на крутящийся диск для того, чтобы заиграть «Боже, благослови Америку» — урапатриотическое произведение Ирвина Берлина, написанное в эпоху первой империалистической войны, но записанное на пластинку только в самое последнее время.

В раздувании горнила второй империалистической войны «джук боксес» — это последнее слово «культуры» капиталистического мира, несомненно сыграет свою роль.

Нью-Йорк, январь 1941 года.

Юбилей Майкла Голда

США. МАЙКЛУ ГОЛДУ.

ОТ ИМЕНИ СОТРУДНИКОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» ПРИСОЕДИНЯЕМ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВЯЗИ С 25-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ВАШЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВАШИ СОВЕТСКИЕ ДРУЗЬЯ С ВНИМАНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ СЛЕДЯТ ЗА ВАШЕЙ СЛАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПИСАТЕЛЯ, ЗАЩИЩАЮЩЕГО ДЕЛО ПЕРЕДОВОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Каждый день на страницах «Дейли уоркер» появляется острый политический фельетон, подписанный именем, которое неотделимо от революционного движения в Америке. Ежедневно на страницах любимой газеты американского пролетариата писатель и публицист Майкл Голд беседует со своими читателями о том, что волнует рабочих, фермеров, передовых интеллигентов в США: о политических и культурных событиях дня, о предвыборных кампаниях, о стачках, о новых правительственных законах, о важнейших задачах, стоящих перед американским рабочим классом в его борьбе с реакцией.

Двадцать пять лет служит Майкл Голд делу передового человечества. В юности он был одним из тех сотрудников журнала «Мэссес», которые дрались против богемного «бунтарства», за революционную простоту и боевую непримиримость идейно-политических позиций журнала. Впоследствии Майкл Голд был одним из тех, кто в борьбе с политическими ренегатами и троцкистскими предателями отстаивал журнал «Нью мэссес» для подлинно прогрессивной мысли и литературы.

Майкл Голд родился в 1894 году в Нью-Йорке в бедной иммигрантской семье. «Я сам пошел на работу в возрасте двенадцати лет, — рассказывает о себе Майкл Голд. — Сначала работал на фабрике газовых калильных сеток, затем несколько лет — в транспортной компании помощником шофера и ночным сторожем». Его жизненный путь — это долгие годы капиталистической каторги, все виды физического труда и множество самых различных профессий. Одно время Майкл Голд был связан с организацией «Индустриальных рабочих мира», потом вступил в коммунистическую партию. В 1930 году Голд участвовал в качестве американского делегата на Международной конференции



Майкл Голд

революционных писателей в Харькове, а летом 1935 года — на Конгрессе защиты культуры в Париже. В настоящее время Майкл Голд активно работает в американской прогрессивной прессе.

Майкл Голд — один из первых революционных писателей США. Как поэт он известен своими поэмами «Необычайные похороны в Брэддоке», «Третья степень», «Том Муни бродит в полночь»; как прозаик — книгой новелл из рабочей жизни —

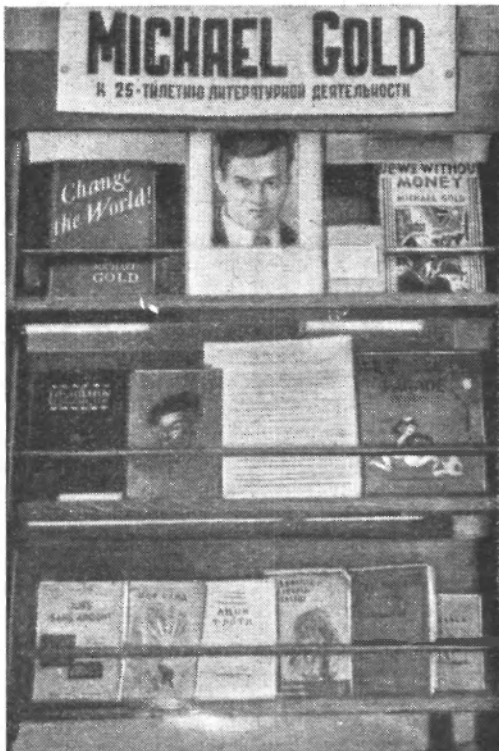
«120 миллионов» и автобиографическим романом «Еврейская беднота»; как драматург — исторической пьесой «Джон Браун», написанной им совместно с Бланкфортом; как публицист — своими статьями и фельетонами в коммунистической прессе. Лучшие из этих фельетонов вышли отдельной книгой под названием «Измените мир».

Майкл Голд является, кроме того, и одним из выдающихся марксистских критиков в США. Его критика темпераментна и публицистична, он беспощаден ко всем прихвостням и ренегатам прогрессивного литературного движения и непримирим в своей борьбе за идейно-политическую ясность и целеустремленность американской марксистской критики. Недавно им написана целая серия статей на тему об идейных тенденциях современной американской литературы, об отношениях писателей США к проблемам войны и мира и т. п.

★

На русском языке вышли следующие книги Майкла Голда: «Проклятый агитатор и др. рассказы» (Недра, Москва, 1925 г.); то же — Огонек, 1931 г.; «120 миллионов» (Молодая гвардия, 1930 г.); «Еврейская беднота» (ГИХЛ, 1931 г.); то же — под названием «Ист сайд» (Молодая гвардия, 1932 г.); «Джон Браун» (Гослитиздат, 1937 г.).

На языках народов СССР: «Секрет забастовки» (Ашхабад, 1934 г., на туркменском языке); «Еврейская беднота» (Минск, 1936 г., на еврейском языке).



Стэнд выставки, посвященной 25-летию литературной деятельности Майкла Голда. Выставка организована Центральной библиотекой иностранной литературы в Москве

Я—литературный и з д о л ь щ и к

Под этим названием в американском журнале «Сатердэй ревью оф литерэчур» был помещен фельетон, рисующий положение среднего американского литератора, которого журнал иронически называет «литературным издольщиком». (Издольщик — фермер, работающий на чужой земле и получающий за свой труд лишь небольшую долю собранного им урожая. Издольщики, в большинстве случаев — негры, принадлежат к наиболее нуждающейся, наиболее бесправной части американского фермерства.)

«Мы сидели у камина, — так начинается фельетон, — в кабинете мистера Боланда, управляющего плантацией Озера Трейл в дельте Миссисипи, и лениво спорили о политике. О чем же еще говорить, когда сезон охоты на уток давно окончился? Тут кто-то робко постучал в дверь. — Вой-

дите, — сказал Боланд, и здоровенный негр со шляпой в руке застенчиво шагнул в комнату.

— Здравствуй, Хэви Дьюти, — сказал Боланд.

— Доброе утро, белые люди, — робко ответил негр. — Как дела на плантации?

— Ничего себе дела. А что тебе нужно?

— Работы ишу, хозяин, — сказал Хэви Дьюти. — У меня пятки горят с тех пор, как я перебрался в Луизиану. Зря поехал. Да и хлопка такого, как здесь, нигде не найти.

Мы засмеялись.

— Я так и думал, что ты вернешься, — сказал Боланд.

— Мне бы вот только деньжонок немного, чтобы сюда опять перебраться.

— Обратись к мистеру Маку, — сказал Боланд. — Он это устроит.

— Спасибо, хозяин,— обрадовался Хэви Дьюти.— Мне бы узнать еще, сколько вы даете вперед, под урожай?

— Пятнадцать долларов.

— Ладно, сэр. Ко вторнику буду.

★ После ухода Хэви Дьюти я стал размышлять и пришел к выводу, что с экономической точки зрения мы с ним единокровные братья. Оба мы — издолщники. Он — хлопковый, я — литературный. Каждому из нас наша экономическая система дает ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Хозяин Хэви Дьюти (плантатор) и мой хозяин (издатель) пожинают наш урожай (в хлопке или в книгах), а нас лишь подкармливают, чтобы урожай не иссяк. Хэви Дьюти получает авансом пятнадцать долларов, на которые он покупает себе пищу и одежду, пока не созрел хлопок. Я тоже получаю аванс от издателя, чтобы обеспечить себе одежду и питание на время работы над книгой. В обоих случаях аванса хватает ровно настолько, чтобы не разлучить душу с телом. И Хэви Дьюти и я обогащаем не только хозяина, мы оплачиваем и его подчиненных.

Когда урожай Хэви Дьюти собран, сдан и продан, он получает треть или четверть выручки, минус аванс. Но он имеет и еще кое-что: хижину для жилья, топливо для печи и клочок земли для огорода. Он может даже завести свинью или корову. Между тем издатели не предоставляют бесплатных квартир для писателей или огородов, где авторы «бестселлер» могли бы сажать огурцы и капусту. Средний литератор работает над книгой, примерно, год и получает за нее не треть, а десятую часть выручки — долларов пятьсот-шестьсот, минус аванс. А жить на это нужно целый год, или вновь заключай кабальный договор с литературным плантатором, как делает это Хэви Дьюти с плантатором хлопковым.

И Хэви Дьюти и мне нашей доли уро-

жая всегда не хватает. Поэтому мы прирабатываем. Негр борщует пни, плотничает, чинит печи. Я тоже вынужден искать любого литературного заработка. Мой коллега, профессор-историк, пишет, например, биографии Джоан Кроуфорд и других кинозвезд, чтобы иметь возможность заниматься потом научной работой.

Однажды я написал рассказ, чтобы расплатиться с осаждавшими меня кредиторами. В рассказе было 6 тысяч слов¹. Я послал его в редакцию одного журнала и получил меньше сотни долларов. Через несколько месяцев, просматривая финансовый раздел «Нью-Йорк таймс», я заметил, что мои редакционные благотворители получили свыше 800 тысяч долларов прибыли за год. Из чего составила эта сумма? Из наших писательских «урожаев», из доходов с написанных нами книг. А наша доля «урожая» не превысила годичного заработка продавщицы дешевого галантерейного магазина.

Нет, я недалеко ушел от тебя, Хэви Дьюти!

Недавно я ехал с приятелем в такси. Проезжая мимо роскошного особняка, я с гордостью сказал:

— Вот здесь живет мой издатель.

С такой же гордостью Хэви Дьюти говорит о доме своего босса. Этим он поднимает свой престиж перед другом, босс которого победнее и живет в доме похуже. Как-то в канун рождества я получил письмо от издателя. Он покровительственно поздравлял меня с праздником и выражал надежду, что моя новая книга будет лучше и доходнее предыдущей. К письму был приложен чек на пять долларов.

И я не обиделся. Я не вернул подачку. Я взял деньги. И даже обрадовался и побежал купить кое-что к празднику. И за ужином с гордостью говорил о том, что мой издатель зарабатывает 800 тысяч долларов в год. Точно так же радуется и Хэви Дьюти, когда после года каторжной работы его хозяин отвалит ему несколько центов на выпивку. Какой добрый босс! Ведь бывают гораздо хуже.

¹ Около одного авторского листа.



Работа
начи-
нается



И вот
урожай

Конечно, бывают и хуже. Все мы, издольщики, ищем «хорошего» босса. Я, например, мечтаю не о пулитцеровской премии, а о приглашении в Голливуд. Там доля «урожая» всегда больше!

Правда, у меня есть кое-что, чем я могу похвастаться перед Хэви Дьюти. Его, например, босс, никогда не пригласит на обед или на «коктейль-пати». А меня приглашают. И я наливаюсь и наедаюсь за долгие месяцы вынужденного поста. Жирные бизнесмены и их не менее жирные жены шепчутся, указывая на меня: «Это тоже писатель?» Но я набиваю рот и молчу, ибо знаю, что меня пригласят вторично не раньше, чем будет готов мой следующий «урожай».

Иногда, когда ему приходится очень уж туго, Хэви Дьюти говорит, что пошлет к чорту и землю, и хлопок, и босса

и уйдет искать какой-либо другой работы. Я тоже готов порой послать к чорту и книги, и босса, и пойти работать бухгалтером или коммивояжером. Но ни Хэви Дьюти, ни я никогда не оставим своей профессии. Он будет сажать хлопок, я — писать книги. Ибо и он, и я делаем это не только из-за денег. Это наш способ жить. Иначе мы не умеем. Оба мы проклинаем эту жизнь, проклинаем свою каторгу, но... придет завтрашний день, и Хэви Дьюти пойдет в поле, а я сяду за пишущую машинку. И будем искать «хорошего» босса, выпрашивать аванс и терпеливо ждать своей доли урожая.

Оба мы — издольщики. До конца дней наших. Покуда хватит сил собирать урожай для плантатора. И пока, чорт возьми, что-нибудь не изменит общую нашу судьбу!»

„Беспристрастный“ б и о г р а ф и „независимые“ к р и т и к и

Недавно на книжном рынке США появилась новинка американской биографической литературы — двухтомное жизнеписание Джона Рокфеллера-старшего, основателя «Стандард ойл» и родоначальника династии нефтяных королей Соединенных Штатов. Этот фундаментальный (1430 страниц) труд принадлежит перу Аллана Нэвинса, профессора Колумбийского университета по кафедре истории Америки. Книга нашла широкий отклик в буржуазной прессе. В частности, большие статьи посвятили ей журналы «Сатердэй ревью оф литерэчюр» и «Нэйшен».

Если книга Нэвинса характерна для «апологетических» тенденций американских буржуазных историков, всячески стремящихся обелить «нефтяных», «стальных» и иных «королей», то не менее показательны и рецензии на книгу: они воплощают типичную особенность американской буржуазной критики — упорное старание продемонстрировать «независимость и объективность суждений», и в то же время полную неспособность, да и нежелание посягнуть на непрерываемый авторитет денежного мешка.

★ Профессор Нэвинс не случайно снабдил свою книгу пышным подзаголовком — «Героическая эпоха американского предпринимательства». Романтический призрак «золотого века» американского капитализма понадобился автору как удобный

фон, позволяющий смягчить некоторые неприглядные детали в портрете своего героя. Как известно, «Джон Д.-старший» (так называли Рокфеллера-старшего в США) в течение десятилетий и до самой своей смерти в 1937 году олицетворял в глазах передового общественного мнения США наиболее реакционные и хищнические черты американского финансового капитала.

Обозреватель «Сатердэй ревью оф литерэчюр» Норман Козэнс говорит об этом в своей статье следующее:

«Если бы книга Нэвинса появилась четверть века тому назад, ее назвали бы в худшем случае «инспирированной подделкой», а в лучшем — «неумеренной апологетикой». В те годы «Стандард ойл» пользовался примерно такой же любовью у американской публики, как германский кайзер. И если бы кто-нибудь сказал тогда что-либо приятное о Рокфеллере, его неизбежно приняли бы либо за члена рокфеллеровской семьи, либо за человека, состоящего у нее на жалованье».

На эту же тему высказывается и обозреватель «Нэйшен» — Густав Майерс, являющийся сам автором «Истории американских миллиардеров»:

«...Почти со времени образования Американской республики многочисленные следственные комиссии, уполномоченные Конгрессом или местными законодательными органами и городскими самоуправ-



«Джон Д.-старший» — беспристрастная
фотография

лениями, отмечали в своих отчетах факты подкупа трестами политических деятелей и директоров промышленных компаний, а также случаи расхищения ими государственной собственности. Писатели и журналисты не решались, однако, в те времена идти по пятам этих расследований. Почему? По той простой причине, что издатели были скорее склонны восхвалять миллионеров». Этим тенденциям издателей того времени следует в своей книге и Нэвинс.

«Мистер Нэвинс,— пишет Норман Козэнс,— внушает, например, ту мысль, что хотя «некоторые из методов Рокфеллера создавали почву для критики, он должен был использовать и использовал оружие своего времени...» Нэвинс считает, что при любой оценке линии поведения Рокфеллера необходимо принимать во внимание все своеобразие эпохи, в которую он создавал свое состояние. Это была, по словам Нэвинса, эпоха, когда быстрый расцвет страны и поощряющая инициативу обстановка промышленного бума неизбежно приводили к некоторым «ослаблениям» в этических нормах деловой жизни».

Приведа этот поистине ошеломляющий образец «корректности», с которой совершает биограф свои манипуляции в авгиевых конюшнях «Стандард ойл», обозреватель «Сатердэй ревью оф литерэчур» считает необходимым сделать следующее замечание:

«Потомки шахтеров угольных копей Колорадо, погибших в 1914 году во время расстрела вооруженной охраной толпы басующих рабочих, вероятно, немало

удивились бы эластичности слова «ослабления». Впрочем, касаясь специально событий в Колорадо, мистер Нэвинс подчеркивает, что Джон Д. Рокфеллер являлся лишь совладельцем означенных копей и располагал лишь частью акций...»

«Объяснения» подобного рода Аллан Нэвинс находит всякий раз, когда в фарватере его биографического труда возникают неприятные подводные камни. Густав Майерс пишет, например, в своем обзоре:

«Не находя возможным умолчать о том непрерываемом факте, что «Стандард ойл компани» заработала десятки миллионов долларов на секретных правительственных скидках по контрактам на железнодорожное строительство, мистер Нэвинс признает «закономерность» критики, направленной в свое время против этой практики Рокфеллера и возглавляемой им компани. Однако мистер Нэвинс пытается смягчить это тем, что секретные скидки вошли в обиход еще в дорокфеллеровские времена. Это не соответствует действительности. «Стандард ойл» была первой компанией, положившей начало систематическому преступному ограблению железных дорог».

Норман Козэнс приводит даже точную терминологию профессора Нэвинса, относящуюся к этой части книги:

«Касаясь секретных скидок, которые вызвали такое возмущение публики перед началом столетия, мистер Нэвинс приходит к выводу, что эти факты «прискорбны». Он добавляет, что и «избиение» мелких независимых нефтепромышленников имело некоторые «трудно оправдываемые черты». Но,— заявляет мистер Нэвинс,— быть в то время ультра-моралистом означало бы привести дело к катастрофе».

Биограф накладывает румяна и на некоторые участки личной и семейной биографии Джона Рокфеллера. Так поступает он с фигурой его отца, который — по выражению обозревателя «Сатердэй ревью оф литерэчур» — был источником самых неприятных «семейных тайн» рода Рокфеллеров. Почтенный джентльмен подвизался, в частности, в области медицины — точнее говоря, занимался распространением патентованных средств, «излечивающих» раковые опухоли. Аллан Нэвинс и эту деталь рокфеллеровской биографии подает с надеждами «объяснением», напоминая нам, что «медицина далеко отстояла в те времена от современного уровня и что медицинское знахарство едва ли считалось тогда столь предосудительным, как сейчас».

Выдержки, приведенные из статей этих двух обозревателей, могут создать у нашего читателя впечатление, что мы имеем дело с последовательной до конца критикой апологетической книги Аллана Нэвинса. Однако такой вывод был бы слишком поспешным.

Может показаться невероятным, но оба рецензента, потешившись в меру над неловкими приемами, с помощью которых Аллан Нэвинс вызволяет своего героя из неприятных положений, умудряются в

тих же статьях... воскурить фимиам и атому «Джону Д.» и другим божествам «олл-стритовского Олимпа!»

Мистер Козэнс из «Сатердэй ревью оф литерэчур» делает это по-американски просто и деловито. Примерно на середине статьи он начинает говорить кое-что про-вивоположное тому, что говорил в начале. Зот некоторые выдержки:

«Что касается великолепных деталей этой книги, разумной организации материала, умелого развертывания, шаг за шагом, истории жизни Рокфеллера, замечательного сочетания рассказа о его жизни с широкой картиной исторического развития всей страны, то все это заслуживает самой высокой похвалы».

Стараясь все же сохранить ореол «критической независимости», Козэнс пытается «пооригинальней» объяснить, почему книга Нэвинса встретила «благожелательный прием» на книжном рынке.

«Вероятно,— говорит он,— это отголосок нашей американской способности все забывать и все прощать».

Собственный недостаток мужества Козэнс выдает за национальную особенность «американского духа»!

Несколько иначе обстоит дело с Густавом Майерсом — рецензентом из «Нэйшен». Его собственная «История американских миллиардеров» известна как более добросовестное исследование. Он сам — тоже профессор истории. И все же его статья далеко не свободна от высказываний, напоминающих «мягкую» манеру Аллана Нэвинса.

Побравив Нэвинса за стремление во всем находить для Рокфеллера «смягчающие обстоятельства», он тут же, в стиле Нэвинса, пускается на поиски «оправдательных мотивов» для «Джона Д.-старшего».

Кстати сказать, в синодике грехов финансового капитала, приведенных Густавом Майерсом, присутствуют, главным образом, нарушения «нормальных законов» капиталистической деловой жизни или нарушения уголовного кодекса. Зверскую эксплуатацию рабочих, которая была характерна для практики нефтяных магнатов, мистер Майерс осторожно ставит в этом перечне на последнее место.

К тому же в своей статье Майерс вступает на очень зыбкую почву: он начинает всерьез рассуждать на тему о том, принадлежит ли Рокфеллеру пальма первенства в «героической эпохе американского предпринимательства» или она должна быть отдана другим монументальным фигурам этой эпохи, например небезызвестному Корнелиусу Вандербильту.

Но самое неожиданное и странное ожидает нас в заключительных словах статьи Густава Майерса:

«Пожалуй, самым убедительным фактором, действительно содействовавшим реабилитации имени Рокфеллеров, явился нравственный облик Джона Д.-младшего. Этот простой пример был бы гораздо эффективнее и нравоучительнее, чем многочисленные приукрашенные главы книги мистера Нэвинса, где он пытается создать образ плохо понятого Рокфеллера-старшего».

Сомнений не может быть: профессор Майерс — повидимому, большой поклонник «Джона Д.-младшего», — начинает давать советы профессору Нэвинсу, как тому следовало бы «по-настоящему» сбалансировать впечатление от биографии «Джона Д.-старшего»!

Но что же, в конце концов, побуждало самого Аллана Нэвинса столь часто прибегать к оправданию темных сторон истории «Стандард ойл»? Почему, как выражается в своем обзоре Норман Козэнс, биограф Рокфеллера старается «избежать преобладания мрачных тонов и дать больший простор для игры света»?

Мы забыли упомянуть об одной фактической справке, которую дает в своей статье сам мистер Норман Козэнс. Должно быть, после некоторой борьбы между соображениями «профессиональной этики» и подлинно американским пристрастием к сенсации, мистер Козэнс решает приподнять завесу над интимной историей создания двухтомной биографии Джона Рокфеллера:

«При рассмотрении этой биографии следует иметь в виду, что мистер Нэвинс получил доступ к огромному количеству материалов, до того находившихся под замком. Члены семьи Рокфеллеров сотрудничали с ним в подборе документальных материалов и других сведений, относящихся к его работе... Семья Рокфеллеров уже несколько лет назад сблизилась с мистером Нэвинсом при посредстве Николаса Мэррей Бэтлера, президента Колумбийского университета, и выразила готовность предоставить в распоряжение мистера Нэвинса фамильные документы, если он согласится взяться за биографию. Мистер Нэвинс был отобран из большого числа биографов потому, что он производил впечатление человека, вполне способного написать повесть убедительную и беспристрастную».

Так династия Рокфеллеров обзавелась своим «придворным» биографом, с ее точки зрения, обладающим всеми данными для того, чтобы писать «беспристрастную» историю американского капитализма.

Л. Чернявский

Смерть Шервуда Андерсона

Газеты сообщили, что в городе Колоне (Панама) в возрасте шестидесяти четырех лет умер известный писатель Шервуд Андерсон.

Шервуд Андерсон (род. 1876 г.) принадлежал к тому поколению американской интеллигенции, которое пришло в литературу под знаменем мелкобуржуазного протеста против капиталистического уклада жизни (О'Нэйль, Бен Хект и др.). «Поколение это, — писал американский писатель и критик Флloyd Делл, — остро переживало конфликт с враждебной средой. Все это были идеалисты, поклонники свободы и красоты. Им казалось, что весь мир сговорился низвергнуть идеалы, поцарапать ногами красоту и превратить жизнь в бессрочную каторгу». Этот конфликт привел их в лагерь радикальной богемы, бунтующей, анархистствующей и нисколько, по существу, не революционной. Социальная проблематика их творчества снижена по сравнению с творчеством передовых американских писателей начала века (Синклер, Драйзер), произведения их проникнуты глубоким пессимизмом, сексуально-мистическими мотивами.

Первые книги Шервуда Андерсона — романы: «Сын Уинди Мак-Ферсона» (1916), «Марширующие люди» (1918), «Бедный белый» (1920) — развивали тему смутного, неосознанного протеста против системы, калечащей общество, тему бесплодных поисков какой-то абстрактной, внеклассовой справедливости. Эта же тема варьируется писателем и в сборниках новелл «Уинсбург, Огайо» (1919), «Торжество яйца» (1921), «Кони и люди» (1923), выдвинувших Шервуда Андерсона в первые ряды «поколения двадцатых годов» в американской литературе. Герои новелл Андерсона — маленькие люди американской провинции, слабовольные и мечтательные чудаки, морально искалеченные и душевно опустошенные. Их взаимоотношения нелепы и ненормальны, психика надломлена, душевный мир полон тоски и отчаяния. Эти упадочнические настроения нашли свое выражение и в самом характере творчества Андерсона. Его новеллы почти бессюжетны, образы тусклы и бесформенны, действие уступает место утонченному психологическому анализу настроений и

переживаний, рассудочный элемент подчинен эмоциональному.

Революционный подъем среди американской интеллигенции в годы мирового экономического кризиса увлек за собой и Шервуда Андерсона. Писатель выступает с резкой статьей под названием «Побольше преступного синдикализма», направленной против гуверовской реакции, и подписывает воззвание группы американских писателей, призывающих голосовать на президентских выборах 1932 года за кандидатов компартии — Фостера и Форда. Этот перелом в настроениях Шервуда Андерсона оказал влияние и на его творчество. Его роман «По ту сторону желания», вышедший в этот период и посвященный событиям знаменитой стачки американских текстильщиков в городе Гастония в 1929 г., отражает в известной степени революционный подъем тех лет.

Участие Шервуда Андерсона в прогрессивном движении выражается в целом ряде выступлений общественно-политического характера: он принимает участие в деятельности Лиги американских писателей, положительно отзываясь о Советском Союзе, подписывает ряд воззваний передовой американской интеллигенции. Связь Андерсона с прогрессивным лагерем продолжается до последних лет, когда писатель порывает с ним, подпав под влияние реакционных элементов в литературных кругах США. С этим поворотом в настроениях Андерсона связаны и его последние выступления против прогрессивного движения и неприязненные высказывания об СССР. Как и всегда бывает в таких случаях, этот политический поворот писателя совпал с художественной деградацией его творчества. За последние годы Шервуд Андерсон не создал ни одного значительного художественного произведения. Недавняя книга Андерсона «Родной город», вышедшая незадолго до его смерти, — апологетический очерк об американской провинции, — ничего интересного не представляет: заурядная работа посредственного очеркиста.

Таков конец творческого пути одного из крупнейших представителей «поколения 20-х годов» американской литературы.

Ал. А-в

НИТАИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДИСКУССИЯ

Обсуждение проблем национальной формы литературы попрежнему стоит в центре внимания литературных кругов Китая. Журнал «Литературный ежемесячник» помещает сокращенную стенограмму дискуссии на эту тему, устроенной по инициативе редакции журнала в обществе «Культура Китая и СССР». На собрании присутствовали и выступали многие писатели, поэты, критики, драматурги. В их числе был представитель органа компартии «Синьхуажубао» Пань Цзы-нянь, поэт Гуан Вэй-жань, драматург Чэн Бо-чен, писатель Хэй Дин, известная киноартистка Чэнь Бо-эр и другие. Председательствовал редактор журнала, критик-марксист Кун Ло-сунь.

ЖУРНАЛЫ И СБОРНИКИ

Шанхайское издательство «Культура и жизнь» наметило выпуск нескольких новых сборников. Среди них несколько книг писателя Шу Цюня (повесть «Секретная история», рассказ «Другой берег моря», напечатанный ранее в «Литературном ежемесячнике» № 1 за 1940 г. и др.).

В издательстве «Большая дорога» под редакцией Ши И будет издано двадцать книг. Среди них роман У Си-жу «Первый

этап», очерки Ло Бин-ци — «Отряд на восточном фронте» и Цзэн Кэ — «В бою»; в сборниках рассказов будут напечатаны: «Два дезертира» Ай У, «Костер» Хэй Дина, «Рассказ о красном фонаре» Яо Сюина, «Взрыв» Хань По.

В городе Чэнду (столица провинции Сычуань) литературная молодежь приступает к изданию нового журнала «Буревестник».

СРЕДИ ПИСАТЕЛЕЙ

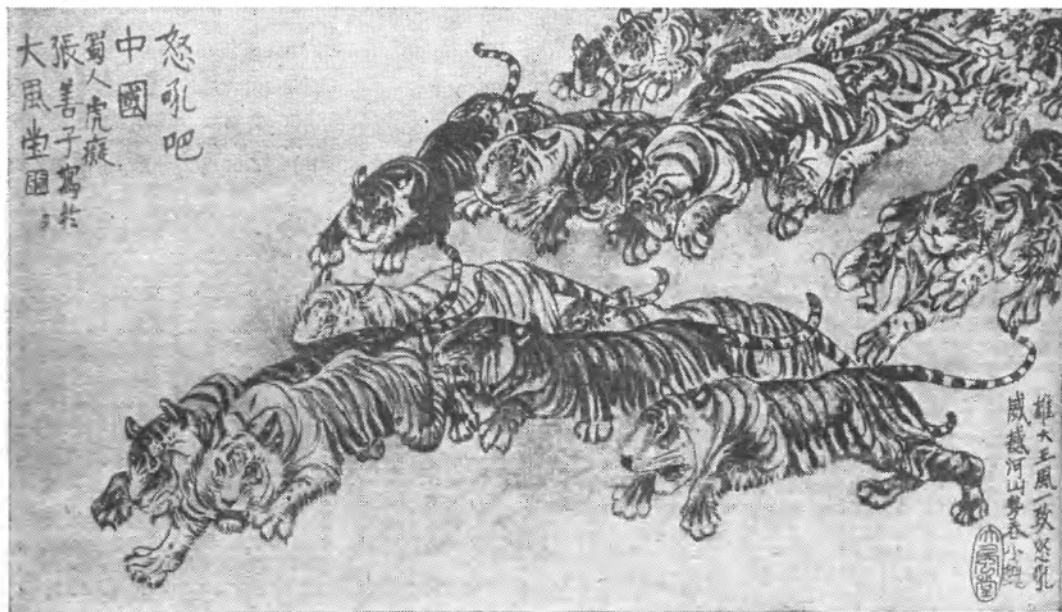
Писатель Мао Дунь ожидается в скором времени в Чунцине, где он снова приступит к редактированию журнала «Литературный фронт».

Поэт Эми Сяо, в настоящее время декан литературного факультета Академии искусств имени Лу Синя в Яньани, выехал на фронт. Он намеревается посетить северо-запад провинции Шаньси, район Хэбэй — Чахар — Шаньси и другие места.

Писатель Би Е выехал на фронт в район Лаохэкоу.

ЖУРНАЛ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК» О ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ В СССР

Журнал «Литературный ежемесячник», издаваемый в Чунцине под редакцией Кун Ло-суня, систематически освещает все крупнейшие события литературной



«Китай, рычи, как эти тигры.»

Картина Чжан Шан-це



Чжан Шан-це в студии Уолта Диснея

жизни в Советском Союзе. Так, он сообщил своим читателям о праздновании пятидесятилетия калмыцкого национального эпоса «Джангар», о юбилейном издании «Джангара», выпущенном Гослитиздатом. Журнал поместил также статью о творчестве Ванды Василевской, в частности, с ее романе «Земля в ярме», который в сокращенном виде напечатан в сборнике «Новая литература». Помешена также заметка о вышедшем в СССР сборнике рассказов Эми Сю.

«ИНОСТРАННЫЕ ДЬЯВОЛЫ В ЦВЕТОЧНОМ КОРОЛЕВСТВЕ»

Под названием «Иностранные дьяволы в Цветочном королевстве» в США вышла книга Карла Кроу, посвященная взаимоотношениям китайцев и торговавших с Китаем иностранцев, главным образом, американцев и англичан.

Судя по рецензии в «Нью-Йорк таймс бук ревью», автор книги задался целью нарисовать эти отношения в сугубо идиллических тонах, как «плод тесной и взаимной дружбы между иностранцами дьяволами и обитателями Цветочного королевства». Это сплошное прославление добродетелей китайских и иностранных купцов достигает высшей точки, когда автор после исторического очерка, начинающегося с описания путешествий Марко Поло, переходит к XX столетию. Особенно восхваляется деятельность американской торговой фирмы Рассела, «Стандард ойл» и «Англо-американской табачной компании».

В целом книга Кроу представляет собой явный панегирик американским коммерсантам в Китае, искажающий историю Китая и вводящий в заблуждение американское общественное мнение.

СМЕРТЬ ЧЖАН ШАН-ЦЕ

В конце 1940 года в Чунцине умер знаменитый китайский художник Чжан Шан-це, пользовавшийся исключительной популяр-

ностью в Китае. Журнал «Чайна туэйд» сообщает, что «население было потрясено его смертью». Картины Чжан Шан-це были известны и за границей, в частности, некоторые из них демонстрировались на Всемирной выставке в Нью-Йорке.

В 1940 году художник предпринял турне по Соединенным Штатам, во время которого сделал много зарисовок. Все вырученные от продажи этих зарисовок и ранее написанных им картин деньги Чжан Шан-це пожертвовал в фонд оказания помощи раненым бойцам китайской народной армии.

Наибольшей известностью пользуется одна из последних картин Чжан Шан-це — «Китай, рычи, как эти тигры!».

ЮГОСЛАВИЯ

УСПЕХ СОВЕТСКОГО КИНОФИЛЬМА

В югославских кинотеатрах «Коларац» и «Врачар» прошла демонстрация советской кинокартины «Василиса Прекрасная». Картина пользовалась большим успехом.

ГЕРМАНИЯ

«ЧАРОДЕЙКА» ЧАЙКОВСКОГО НА СЦЕНЕ БЕРЛИНСКОГО ТЕАТРА

В берлинском государственном оперном театре состоялась премьера оперы Чайковского «Чародейка», постановка которой с большим интересом ожидалась в последнее время музыкальной и театральной публикой Берлина. Накануне спектакля газеты поместили специальные статьи, в которых высоко оценивается творчество великого русского композитора. В статье «Чайковский как оперный композитор» газета «Фелькишер беобахтер» отмечает, что великий русский композитор Чайковский создал свой оригинальный и величественный оперный стиль. Далее газета подробно рассказывает об основных произведениях Чайковского и подчеркивает их значение для оперного искусства.

Газета «Берлинер берзенейтунг» отмечает как отрадное явление, что за последнее время репертуар берлинского оперного театра пополнился таким произведением, как «Чародейка» Чайковского.

Премьера «Чародейки» прошла с исключительным успехом. Билеты были распроданы за несколько дней. Газеты отмечают восторженный прием оперы зрителями.

США

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА*

«Я в продолжение 23 лет добивался лучшего понимания американцами духа и стремлений Советского Союза. Все это время наша капиталистическая клика, с

* Из телеграммы «Дейли уоркер» в день 23-й годовщины Октябрьской революции.

помощью находящихся под ее контролем прессы, школы, церкви и законодательных органов старалась скрыть от американского народа правду о СССР, подменяя ее всевозможными лживыми и клеветническими измышлениями.

Как противостоять этой кампании — вот существенная проблема для всех стремящихся к свободе и справедливости. Имея в своем распоряжении действительно свободную прессу и радио, мы сумели бы доказать, что Советский Союз — единственная из всех стран мира — представляет подлинные интересы масс и понастоящему борется за мир и прогресс.

Мир имеет великолепную, яркую иллюстрацию того, чего можно достигнуть с помощью всеобщего равенства и социальной справедливости. Эта иллюстрация — Советский Союз. Америка, для которой сейчас наступают мрачные дни, в недалеком будущем узнает правду, и правда эта объединит наш народ в дружбе и сотрудничестве с Советским Союзом. Тогда принципы, которые наша американская конституция и люди, создавшие ее, пытались, хотя и ошущью, воплотить в жизнь, найдут надежную защиту и поддержку.

Теодор Драйзер».

СЭМЮЭЛЬ СИЛЛЕН О «СВОБОДЕ» ПЕЧАТИ В США

Видный прогрессивный публицист Сэмюэль Силлен опубликовал в журнале «Нью массес» статью под названием «Выбор перед нами», в которой он говорит о настроениях современной американской интеллигенции и о тех трудностях, с которыми приходится сталкиваться представителям прогрессивного лагеря. Так называемая «свобода» американской печати, пишет Силлен, оказывается свободой только для реакционеров. Силлен приводит характерный пример, как статья Теодора Драйзера о «свободе» американской прессы, заказанная органом газетных издательств «Эдитор энд публишер» («Редактор и издатель») не была напечатана, несмотря на то, что предназначалась для номера, специально посвященного «самому жизненному оплоту американской свободы — бесцензурной прессе»¹.

«Этот случай не удивит никого, кто следил за деятельностью нашей прессы, либо откровенно продажной, либо лицемерно претендующей на беспристрастность, — пишет Силлен. — Газетная атмосфера сейчас настолько пропитана ложью, что даже наиболее критически настроенный читатель невольно становится жертвой обмана. Если нельзя ничего узнать из газет о замалчиваемых ими фактах, то, естественно, нельзя представить себе правдивой картины не только политической, но и культурной жизни страны. Так, например, высказывания Драйзера о войне и его речь, поддерживавшая Эрла

Браудера, кандидатура которого была выставлена компартией на последних президентских выборах, — речь интересная и важная, хотя бы уже потому, что ее произнес выдающийся деятель литературы, — не были напечатаны нигде, кроме «Дейли уоркер». А любая шовинистическая болтовня, вроде высказываний Роберта Шервуда, публикуется как сенсация, многократно перепечатывается и распространяется по всей стране. Ежедневно буржуазные газеты предоставляют свои страницы для «охотников за красными», а о недавней книге Джорджа Сельдеса «Шабаш вельм», разоблачающей «охоту на красных» как организованный и инспирируемый реакцией коммерчески выгодный «бизнес», не было напечатано почти ни одной рецензии (295 из 300 руководящих американских газет, получивших две последние книги Сельдеса, отказались их рецензировать)».

Силлен приводит еще немало примеров, иллюстрирующих «свободу» американской буржуазной печати, реакционные тенденции которой еще более усилились за последние месяцы. «Такая книга, как «Гроздья гнева», — говорит он, — сейчас не имела бы никаких шансов на опубликование. Писатель, который рискнул бы затронуть эту тему, сейчас был бы обвинен в подрыве «национального единства».

Силлен заканчивает статью призывом к борьбе с реакцией; он призывает сделать выбор «между деградирующей культурой капитализма и расцветающей культурой Советского Союза».

25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЙКЛА ГОЛДА

По сообщению газеты «Дейли уоркер», на митинге, посвященном 25-летию юбилею литературной деятельности Майкла Голда, присутствовало свыше 3500 человек.

Выступившие на митинге ораторы — Браудер и негритянский писатель Райт — отметили литературные заслуги Майкла Голда и его преданность рабочему классу.

ОБРАЩЕНИЕ 150 АМЕРИКАНСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ

150 видных американских деятелей послали президенту Бразилии Варгасу обращение с требованием освободить из тюремного заключения борца за национальную свободу Бразилии — Луиса Карлоса Престеса.

В обращении говорится:

«Заслуги Престеса в деле борьбы за справедливость и свободу в Латинской Америке общепризнаны. Он завоевал уважение и любовь всех свободолюбивых людей нашего полушария. Между тем последние пять лет Луис Карлос Престес провел в одной из бразильских тюрем.

Мы призываем вас объявить всеобщую амнистию и вернуть свободу Луису Карлосу Престесу».

¹ Статья Драйзера опубликована в № 2 «Интернациональной литературы» за 1941 г.



Участницы китайской студенческой агитгруппы на фронте

Среди подписавших воззвание: писатели — Вильям Блэйк, Ван Уик Брукс, Дэниел Хэммет и Торнтон Уайлдер, поэты — Мюриэл Рюкейсер и Джордж Диллис, драматург Теодор Уорд, художник Роквелл Кент и другие.

НОВЫЙ РОМАН АЛЬБЕРТА ХАЛПЕРА

Американский писатель Альберт Халпер, автор известного советским читателям романа «Словолитня», выступил недавно с новым романом, под названием «Сыновья своих отцов». Тема романа — отношение «среднего» американца к войне в Европе и его протест против участия Америки в этой войне. Роману предпослано авторское предисловие, в котором Халпер поясняет, что он «хотел показать жизнь американской семьи в напряженной атмосфере войны и раскрыть образ, типичный для Америки, — образ бедняка-иммигранта».

Действие происходит в годы первой империалистической войны. Центральные персонажи романа — Саул Бергман, еврей-иммигрант из дореволюционной России, и его сыновья Милтон и Бен, родившиеся и выросшие в Америке. Автор рисует жизнь семьи Бергман в Чикаго, ее радости и горести, тяжелую борьбу за существование. Но вот вспыхивает война в Европе. Милтон и Бен призваны в армию. Старик Бергман тяжело переживает события. Он беспокоится за судьбу сыновей, осуждает войну и военную истерию, понимая всю ложь громких фраз о «войне во имя спасения демократии».

Роман заканчивается гибелью Милтона на фронте.

Буржуазная американская пресса оценила книгу Халпера как «кредо изоляциониста», отметив, однако, художественную зрелость и яркость романа. «Можно не соглашаться с выводами Халпера, но, тем не менее, следует воздать ему должное как писателю, — пишет критик «Нью-Йорк таймс». — Чтение его романа невольно наталкивает на размышления о нависшей над нами возможности вступления в войну».

«ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НАРОДНОМУ КОНВЕНТУ»

Состоявшийся в январе в Англии конгресс Народного Конвента привлек внимание прогрессивной интеллигенции США, огнесейся к нему с горячим сочувствием. Ее настроению выразила редакция журнала «Нью массес» в своем «Открытом письме Народному Конвенту».

«Весть о Народном Конвенте, — говорится в письме, — прорвалась к нам, словно освежающая струя воздуха. Мы видим в этом начинании вдохновляющий пример и для нас».

Заправили Уолл-стрит и Вашингтона испытали страх перед Народным Конвентом. И они постарались помешать тому, чтобы весть о нем дошла до широких слоев американского народа. Тем большее сочувствие рождает он в массах американских трудящихся. Они видят в нем залог лучшего будущего для Англии и пример для подражания. Сотрудничество английского и американского народов, связанных общностью языка, должно найти свое выражение не в продаже оружия, военных кораблей и танков, не в совместной эксплуатации колоний. Нет, мы хотим помочь иной Англии, Англии Народного Конвента, стремящегося освободить свою страну и тем самым указать путь другим странам.

Имя вашего председателя Д. Н. Притта хорошо известно в США. Книги Притта о политике Советского Союза завоевали ему уважение сотен тысяч американцев. Они знают также имена проф. Холдейна и декана Кентерберийского.

Конгресс Народного Конвента — только начало. Но это крупный шаг вперед, к цели. Он продолжает традиции чартистов, великие боевые традиции английских трудящихся».

«ДЕСЯТЬ КНИГ, КОТОРЫЕ ПОТРАСЛИ ВАШЕ СОЗНАНИЕ»

Фельетонист «Нью массес», писательница Рут Мак-Кенни, обратилась к читателям с любопытным предложением: назовите десять книг, которые потрясли ваше сознание, оказали влияние на вашу жизнь, явились для вас своего рода «умственным динамитом».

В виде примера Рут Мак-Кенни назвала десять книг, которые оказались для нее таким «динамитом». В список входили: «Айвенго» Вальтер Скотта, «Жизнь Наполеона» Людвига, «Сага о Форсайтах» Голсуорси, «Жизнь Китса» — биогра-

фия английского поэта Китса, написанная американской поэтессой Эми Лоуэлл, «Южный ветер» Нормана Дугласа, сборник стихов Элиота и др. Список заканчивался романом Хемингуэя «Прощай, оружие!» и публицистической работой Стюарта и Минтона «Годы подъема и упадка» (история США за последние десятилетия). Особо отмечает Мак-Кенни «Краткий курс истории ВКП(б)». «За последние годы,— пишет Мак-Кенни,— я читала и перечитывала много марксистской литературы, но по-настоящему стала понимать марксизм, лишь когда начала изучать «Краткий курс истории ВКП(б)».

Откликнувшиеся на предложение Рут Мак-Кенни читатели предлагают свои списки. Любопытно, что почти во всех списках указывается «Краткий курс истории ВКП(б)» — книга, которая, как отмечают читатели, «потрясла их сознание больше всего когда-либо прочитанного». Некоторые из читателей называют «Капитал» и другие работы классиков марксизма, произведения советской литературы, книги Фостера (секретарь ЦК американской компартии) и «Автобиографию» Линкольна Стеффенса. Из художественной литературы наиболее часто встречаются в списках: «Гроздь гнева» Стейнбека, «Сын Америки» Ричарда Райта, «Тихий Дон» Шолохова и «Джунгли» Синклера. Некоторые читатели называют также «Фауста» Гёте, «Братьев Карамазовых» Достоевского, «Остров пингвинов» Франса, «Отверженных» Гюго и «Портрет Дориана Грея» Уайльда. Из современных американских писателей в списках встречаются Майкл Голд («Еврейская беднота»), О'Нэйль («Косматая обезьяна»), Пьетро ди Донато («Бетонный Христос») и Леонард Эрлих («Джон Браун»).

Своеобразная анкета, затеянная «Нью мессес», показала высокий культурный уровень и требовательный художественный вкус рядового читателя журнала.

РИЧАРД РАЙТ О ЛЭНГСТОНЕ ХЬЮЗЕ

«Предшественник и посол» — так озаглавил Ричард Райт свою рецензию на автобиографическую книгу негритянского поэта Лэнгстона Хьюза «Большое море»¹. Этими словами он характеризует роль Хьюза в американской литературе.

«Роль, которую Хьюз сыграл в развитии реалистической литературы негритянского народа,— пишет Райт,— напоминает в известной степени роль Теодора Драйзера в освобождении американской литературы от условностей пуританизма. Я не хочу сказать этим, что негритянская литература была когда-либо пуританской, но она была робка и туманно лирична. Ранние стихи Хьюза, появившиеся в печати в середине 20-х годов, шокировали большинство негритянских читателей. Но реалистическая позиция, занятая поэтом, оказала влияние на мировоззрение многих передовых негритянских писателей наших дней.

¹ См. корреспонденцию из США в № 1 «Интернациональной литературы» за 1941 г.

Помимо того, Хьюз выполнял функции культурного посла. Осуществляя их скромно и почти незаметно, он в своих стихах, пьесах, рассказах и романах представлял негров на суд общественно-го мнения. В то же время он привлекал внимание негритянских писателей к литературе других народов, занимаясь переводами с французского, русского и испанского языков».

«СЛИШКОМ РАДИКАЛЬНОЕ СЛОВО»

В журнале «Нэйшен» напечатана следующая заметка:

«Один научный работник позвонил недавно в нью-йоркскую публичную библиотеку, желая справиться, есть ли в библиотеке журнал под названием «Прогресс». Работник библиотеки ответил, что никогда о таком журнале не слышал, и посоветовал обратиться в редакцию «Нью мессес». Это может быть только радикальное издание, сказал он».

«НЬЮ МЭССЕС» О СТИХАХ ЭДНЫ САН ВИНСЕНТ МИЛЛЕЙ

Журнал «Нью мессес» подвергает критике новый сборник стихов Эдны Сан Винсент Миллей «Сделайте стрелы блестящими» («Make bright arrows» by Edna St. Vincent Milley. Harpers).

Эдна Сан Винсент Миллей — обладательница незаурядного поэтического дарования. Поэзия Миллей по преимуществу лирическая: элегии и сонеты на тему о природе, проникнутые в большинстве случаев мотивами разочарования и пессимизма.

Новый сборник Миллей, в отличие от ее предшествующих книг, отражает, видимо, стремление поэтессы откликнуться на события современной действительности. Автор рецензии, молодой пролетарский поэт Александр Бергман, указывает, что эта действительность весьма своеобразно преломляется в творчестве поэтессы. «Сборник называется «Сделайте стрелы...», — пишет критик, — но назвать его следовало бы «Сделайте гробы...». Пустые, бессодержательные страницы, холодные прсыанческие стихи... В ряде стихотворений она изощряется в нападках на молодежь, борющуюся за мир, работу и справедливость. Старая и глупая реакционная клевета!»

ПЕРВЫЙ РОМАН МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ

Молодой писатель Лен Зинберг, известный читателям «Дейли уоркер» и «Нью мессес» своими новеллами и очерками из жизни городской бедноты, выступил с первым крупным произведением — романом под названием «Ступай твердо, говори громко» («Walk hard, talk loud» by Len Zinberg. Bobbs Merrill).

Герой романа — Энди Уитмен, юноша-негр, растущий под влиянием улицы. Во время драки, в которой Энди нокаутирует своего противника, юношу замечает известный импрессарио, и судьба Энди

решена: он становится профессиональным боксером.

Дальнейшие страницы романа посвящены эпизодам спортивной карьеры Энди и его растущей привязанности к Руфи, молодой негритянке, работающей в одной из организаций коммунистической партии. Любовь к Руфи духовно облагораживает Энди, учит его смотреть на мир иными глазами. Вместе с тем обостряются отношения между Энди и его импрессарио, темным дельцом и авантюристом Лу, жестоко эксплуатирующим работающих на него профессиональных боксеров — «батраков ринга». Лу ненавидит Энди, потому что он — негр, потому что он «слишком много понимает». В результате он расторгает контракт с Энди, имя которого включается в «черные списки». Ни один импрессарио не хочет иметь дело с негром, «связавшимся с красными».

Так заканчивается спортивная карьера Энди Уитмена. Но он не жалеет об этом. Руфь научила его по-новому жить — «ступать твердо и говорить громко».

Рецензент «Нью мэссес», негритянский критик Ральф Элисон, дает высокую оценку роману Зинберга.

«АРГОНАВТЫ»

Пять участников американского конгресса молодежи — Лилиан Росс, Джордж Уитмен, Джо Уэршба, Эллен Росс и Мэл Фиск — решили написать совместно книгу о современной Америке. Договорившись с издательством, «творческая бригада» от-



Чарльз Лафтон в фильме «Они знали, чего добились»

правилась в далекое путешествие по стране. На автомобиле, в автобусе, пешком «бригада» странствовала по Америке. Члены «бригады» применяли метод Бенджамина Апеля, написавшего почти аналогичную книгу под названием «Народ говорит»; они смотрели, слушали и записывали. Потом записи обрабатывались и посылались в издательство. Так родилась книга «Аргонавты» («The Argonauts» by Lilian Ross, George Whitman, Joe Wershba, Helen Ross and Mel Fiske. Modern Age Books), которую журнал «Нью мэссес» называет одной из самых интересных книг об Америке, вышедших за последние годы.

НОВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ФИЛЬМЫ

Среди последних образцов голливудской кинопродукции американская печать называет фильмы «Северо-западная конная полиция», «Они знали, чего добились», «Бегство», «Иностранный корреспондент», «Житель Запада», «Второй хор» и «Рождество в июле».

«Иностранный корреспондент» и «Бегство» — типичные военно-пропагандистские фильмы. Фильм «Они знали, чего добились» поставлен режиссером Кэннином по одноименной пьесе покойного американского драматурга Сидни Гоуарда. Тема пьесы — женитьба пожилого калифорнийского фермера на молодой девушке. Он познакомился с ней «по переписке» и вместо своей фотографии послал ей фото батрака, молодого красивого парня. С первого же дня жизнь новобрачных становится трагедией. Однако личное обаяние фермера, его сильный, волевой характер, ум и тактичность заставляют, в конце концов, жену полюбить его. «Идиллическая жизнь калифорнийской фермы, показанная в картине, — пишет рецензент «Нью мэссес», — далека от действительности, о которой рассказали нам «Гроздь гнева». Фильм является честной иллюстрацией хорошей психологической пьесы, написанной в 1925 году, но ничего общего с современностью не имеет». По словам рецензента, фильм смотрится с интересом лишь благодаря замечательной игре Чарльза Лафтона, одного из крупнейших американских киноактеров.

«Северо-западная конная полиция» — цветной фильм из жизни канадской конной полиции, избилующий «захватывающими» сценами сражений с бандитами и прочими эпизодами в духе Вильяма Харта. «Просмотрев этот фильм, — пишет рецензент «Нью мэссес», — вы никогда не догадаетесь, что эти «благородные» полицейские занимаются еще и разгромом стачек, шпионажем за рабочими и охотой на «красных».

Весьма невысокую оценку дает рецензент и фильму «Житель Запада», рассказывающему о междоусобицах и распрях среди скотоводов Дальнего Запада («еще одно искажение действительности»), фильму «Второй хор», экранизированному ревью с музыкой и танцами мюзик-холльного типа, и комедии «Рождество в июле» — пропагандирующей утешительную

идейку о том, что счастье, мол, доступно каждому бедняку — стоит только выиграть 25 тысяч долларов.

«Все это весьма развлекательные фильмы, — заключает рецензент, — только я лично предпочитаю фильмы советские».

ПИСЬМА ДЖОЗЕФА КОНРАДА

Издательство Йэлского университета в США опубликовало неизвестные до сих пор письма английского писателя Джозефа Конрада. Письма адресованы дальней родственнице писателя, Маргарите Порадовской, и относятся к периоду 1890—1895 гг., когда Конрад собирался оставить профессию моряка и всецело посвятить себя литературе. Письма, написанные по-французски, приводятся в английском переводе. До сих пор они находились в частной коллекции одного американского библиофила.

НОВЫЙ РОМАН ВИЛЛЫ КЭТЕР

Вилла Кэтер — видная американская писательница либерального направления, разрабатывающая в своем творчестве преимущественно вопросы буржуазной этики и морали. Она приобрела широкую известность своими романами «О, пионеры» (1913), «Моя Антония» (1919), «Потерянная леди» (1923).

Новый роман Виллы Кэтер «Сапфира и ее рабыня» («Saphira and the Slave-girl» by Willa Cather. A. Knopf) появился после пятилетнего перерыва в творчестве писательницы. Место действия романа — небольшое поместье в штате Виргиния. Эпоха — годы, предшествующие гражданской войне. Героиня романа — стареющая женщина, ревнующая мужа к мулатке-рабыне. В книге, по словам критики, подробно описана жизнь американской южной провинции в середине прошлого века, взаимоотношения помещиков и рабов накануне гражданской войны, быт и нравы зажиточных фермеров и их слуг-негров.

МИТИНГ ДРУЖБЫ С СССР

Орган американской компартии «Дейли уоркер» сообщает о митинге, организованном Комитетом американо-советского сближения под лозунгом «укрепления взаимного понимания и дружбы обеих стран». Председательствовал на митинге видный американский публицист Корлис Ламонт, автор книги и многочисленных статей о социалистическом строительстве в СССР. В числе ораторов, призывавших к укреплению дружеских отношений с Советским Союзом, газета называет писателей Теодора Драйзера, Ирвина Шоу и Мюриэля Дрэйпера, известного художника Роквелла Кента — автора недавно вышедшей книги «Мое собственное», видного театрального критика профессора Дана, известного журналиста Максвелла Стюарта, известного публициста и председателя Лиги борьбы за мир и демократию Гарри Уорда, профессора Колумбийского

университета Роберта Линда, секретаря студенческого союза Герберта Уитта и многих других представителей прогрессивной американской интеллигенции.

«МОЕ СОБСТВЕННОЕ» РОКВЕЛЛА КЕНТА

Несколько лет назад известный американский художник Роквелл Кент купил небольшую ферму на Адирондакских горах и поселился там в условиях, по его словам, «не имеющих ничего общего с привычной бытовой обстановкой нью-йоркского художника». Об этой жизни, о своих занятиях сельским хозяйством, о борьбе за улучшение жизненных условий местного фермерства он рассказал в своей недавно вышедшей книге «Мое собственное» («This is my own» by Rockwell Kent. Duell, Sloan and Pearce).

Американская печать дает высокую оценку книге художника. Газета «Нью-Йорк уорлд телеграм», отмечая главы, в которых Кент рассказывает о своей борьбе с продажными политиками, захватившими власть в округе, пишет: «Эти главы вызывают в памяти страницы из ранних произведений Линкольна Стеффенса».

СБОРНИК КОМИТЕТА О. ГЕНРИ

Американский комитет имени О. Генри, в состав которого входит ряд крупных писателей и критиков, присуждает ежегодные премии за лучшую новеллу и выпускает сборники рассказов, премированных и отмеченных комитетом. Очередной сборник комитета, под названием «Новеллы, получившие премию О. Генри 1940 г.», под редакцией критика Гарри Ганзена, включает три премированных новеллы и ряд рассказов, признанных комитетом «лучшими в 1940 году».

Премии получили новеллы: Стивена Винсента Бэнэ «Свобода — дорого стоящая вещь», Родерика Лэлла «Не обманывайте меня» — о двух безработных, вступивших добровольцами в американскую армию, и Эдуарда Хэвилля «Убийцы» — юмореска о неудачливом охотнике.

Из других рассказов, помещенных в сборнике, критика отмечает новеллу известной писательницы Кэтрин Портер «Путь к мудрости» и новеллу Нэнси Хэйл «Эта женщина» — сатирическую картинку американской провинциальной жизни.

ДВЕ КНИГИ МАРКА ТВЕНА

Американская критика отмечает две новые книги, увеличивающие литературное наследие Марка Твена. Первая вышла в издательстве Кнопф под названием «Путешествия Марка Твена с мистером Броуном», вторая — под названием «Марк Твен говорит» (буквально: Марк Твен в извержении) — выпущена издательством Харпер.

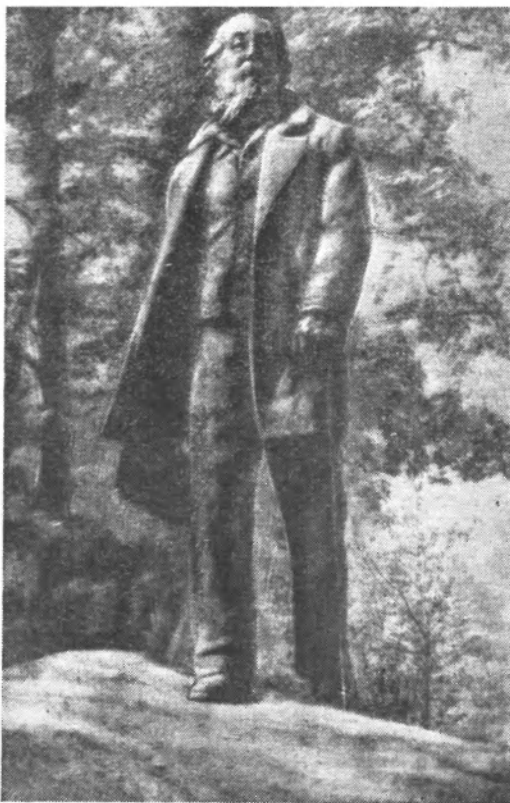
В первую книгу («Mark Twain's Travels with Mr. Brown». A. Knopf) вошли не опубликованные до сих пор очерки Марка

Твена, написанные в 1866—1867 гг. в бытность его репортером в Сан-Франциско. «В этих очерках, написанных незадолго до рождения «Простаков за границей», — замечает критик «Нью-рипаблик», — уже чувствуется рука будущего мастера».

Вторая книга, выпущенная под редакцией известного критика и литературоведа Бернардо де Вото («Mark Twain in Egription». Harpers) составлена из отрывков, не включенных биографом Твена Пейном в двухтомную «Автобиографию» писателя (Марк Твен, как известно, не писал, а диктовал ее своему секретарю). Материал, опубликованный в книге де Вото, систематизирован и сгруппирован по главам: Теодор Рузвельт, Карнеги, Плутократия, Дни в Ганнибале, В лаборатории писателя. Все это — отрывки, воспоминания, высказывания на разные темы и т. п. Критика отмечает гневные, саркастические высказывания Твена о республиканской партии, о финансовых магнатах, иронические воспоминания о первых удачах и неудачах на литературной арене, заметки о писателях, с которыми он встречался, и другие отрывки.

ПАМЯТНИК УИТМЕНУ

В Аппалахских горах в парке «Бэр-Монтэйн-Гарриман» недавно состоялось открытие памятника Уолту Уитмену. На пьедестале памятника выгравирован от-



Памятник Уолту Уитмену

Работа скульптора Джо Дэвидсона

рывок из поэмы Уитмена «Песня большой дороги».

СУДЬБА «НЕИЗВЕСТНЫХ» ДРАМАТУРГОВ

Журнал «Нью-Йорк таймс мэгэзин» (воскресное приложение к газете) опубликовал статью одного из нью-йоркских театральных импрессарио о том, какие пьесы поступают на просмотр в конторы театров и сколько из них возвращается авторам «за непригодностью к постановке».

«По приблизительным подсчетам, — говорит импрессарио, — в Америке ежегодно регистрируются авторские права на семь тысяч пьес, но из них попадает на сцену не более ста. Шесть тысяч девятьсот возвращается авторам. Кто эти авторы? В большинстве случаев их имена никому не известны. Порой пьесы их любопытны и не хуже пьес многих признанных знаменитостей, но редкий «менеджер» захочет рискнуть капиталом на их постановку. Чтобы завоевать это право, пьеса новичка должна быть «сенсацией».

«Но такие «сенсации» попадают не часто, — заключает импрессарио. — Из двенадцати тысяч пьес, просмотренных мною за десять лет, только три пьесы неизвестных драматургов были поставлены на Бродвее».

«КРЕДО» БУРЖУАЗНОГО РЕДАКТОРА

Читатели романа Эптона Синклера «Бостон», вероятно, помнят те ядовитые строки, которые посвятил писатель «Бостон-Транскрипту», руководящей консервативной газете Бостона, и той зловещей роли, какую сыграла эта газета в деле Сакко и Ванцетти. Эта «солидная» газета, охраняющая «джентльменские традиции» твердолобой бостонской буржуазии, копирующая стиль и методы английской консервативной печати, была застрельщиком травли двух невинно осужденных рабочих, методично, изо дня в день требовала расправы, вдохновляя суд и «общественное мнение».

Сейчас в Америке вышла книга руководителя «Бостон-Транскрипт» Эдвина Эджетта, свыше сорока лет восседающего в редакторском кресле. В книге этой, гордо именуемой «Я говорю о себе», мистер Эджетт рассказывает своим «джентльменским» читателям о том, как он заботился об их интересах, руководил их вкусами, охранял традиции и наводил «порядок» в городе. Даже по рецензиям буржуазной печати, с преувеличенной любовью встретившей книгу редактора одной из самых «почтенных и уважаемых» буржуазных газет Америки, можно судить о ханжестве и тупоумии этого столпа буржуазной журналистики.

«Я от всей души ненавидел и ненавижу рабочие союзы, короткие юбки и футбол, — торжественно объявляет редактор. — Но больше всего ненавижу слово «левый» и все с ним связанное: коммунизм, социализм и все «измы», кроме американизма. Этими принципами я руководился всю жизнь и буду руководиться до самой смерти».

Перед нами — автопортрет буржуазного редактора и его газеты, явно не нуждающийся в комментариях.

«РАУНД ЗА РАУНДОМ» — МЕМУАРЫ ДЖЕКА ДЕМПСЕЯ

Джек Демпсей, экс-чемпион мира по боксу, ныне консультант «боксерских» фильмов и владелец модного спортивного кафе неподалеку от Мэдисон-сквер-гарден (где устраиваются матчи бокса между чемпионами ринга), выступил в новой роли — в качестве автора широко рекламируемой книги под названием «Раунд за раундом» («Round by round» by Jack Dempsey, Whiteley house).

Свои мемуары Демпсей написал с помощью опытного литератора Майрона Стирнса, и потому, как отмечают рецензенты, книга читается легко и с интересом. Интерес этот, впрочем, — специфический. Книга предназначена для любителей бокса и, в частности, для поклонников самого Демпсея, который, не стесняясь, хвастается своими победами на ринге, в бытность чемпионом мира, и своей «спортивной прозорливостью» в настоящее время: он, якобы, давно предсказал судьбу всех «звезд», которые взойшли и закатились на ринге за последние годы. Разумеется, Демпсей ничего не пишет ни о продажности «чемпионов», ни о надувательстве публики, ни о «рэкетирах» и прочих авантюристах, «контролирующих» сборы с матчей, заработки боксеров и т. п. Он хранит полное молчание о явлениях, о которых писали и Джек Лондон, и Синклер, и Ринг Ларднер, и другие писатели, рассказавшие кое-что о нравах американской спортивной арены. Книга Демпсея рассчитана исключительно на людей, не знающих закулисных «тайн» американского буржуазного спорта.

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ»

В бостонском издательстве Хоктон Миффлин вышла «Энциклопедия всемирной истории» под редакцией видного американского историка Лэнджера. В книге около 1500 страниц. Все крупнейшие исторические события, названия, имена и т. п. расположены в алфавитном порядке. Авторы статей и заметок в «Энциклопедии» — крупнейшие профессора американских университетов.

«СОЗДАТЕЛЬ ПАРОХОДА»

Из довольно большого количества книг для детей и юношества обозреватель журнала «Нью-Йорк таймс бук ревью» выделяет книгу Клары Джедсон под названием «Создатель парохода» — популярно написанную биографию Роберта Фултона. «В книге Джедсон, — пишет он, — мы видим живого человека, а не отвлеченный образ, как в большинстве биографий великих людей, написанных для юного читателя».

«ОМНИБУК» ИЛИ 60 «БЕСТ СЕЛЛЕР» ЗА 5 ДОЛЛАРОВ

В американских газетах и журналах можно часто встретить следующее объявление под заманчивым заголовком:

«Хотите стать хорошо начитанным всего за 5 долларов?»

Далее следует текст:

«Вы, вероятно, слишком заняты для того, чтобы читать книги. Но следить за литературой нужно — это обязанность культурного человека. И вот вы, краснея от стыда, говорите своим друзьям:

— Очень жаль, но эту книгу я еще не читал.

Как помочь вашему горю?

При вашей занятости, конечно, нелепо предлагать вам читать книги полностью. Но если бы было возможно за полчаса «проглотить» нужную книгу, узнать в ней самое основное, тогда вам не пришлось бы краснеть при разговоре о литературе. И вот мы идем вам навстречу.

Мы — это «Омнибук»! Мы предлагаем вам 60 «бест селлер» в год всего за 5 долларов».

«Омнибук» — это типичный продукт «коммерческой культуры». Некие предприимчивые дельцы, спекулируя на интересе «среднего» американца к литературе, предлагают ему дешевый ее суррогат, подобный «комплектам упрощенной мебели, необходимой каждой культурной американской семье».

Но если на «упрощенных» стульях нельзя сидеть, то «упрощенную» по тому же рецепту литературу нельзя читать. Вообразите себе «Войну и мир», сокращенную до 40—50 журнальных страниц, и вы будете иметь точное представление о том, как выглядят произведения американских писателей в издании «Омнибук».

«Каждый месяц редакторы «Омнибук» выбирают пять лучших книг, отжимают из них самую суть, получая, так сказать, «мясной экстракт» произведения. И читатели, и писатели с энтузиазмом приветствуют эту работу».

Это — не иронические строки фельетониста. Это цитата из объявления.

За год, как сообщает объявление, подобной вивисекции подверглись 60 книг, в том числе «Париж» Гертруды Стайн, «Бетонный Христос» Пьетро ди Донато, «Вместо роскоши» Констанси де ла Мора, монография Кэнби о философе Торо и другие произведения.

«СЕЗОН КОМЕДИИ» В НЬЮ-ЙОРКЕ

«Нынешний зимний сезон на Бродвее, — пишет журнал «Театр артс», — это сезон комедии. Только комедий, — говорят импрессарио, — побольше комедий, ничего, кроме комедии». В прошлом номере «Интернациональной литературы» уже сообщалось о гастролях четырех лучших американских комиков в нью-йоркских театрах. Пьесы с их участием — музыкальные комедии и ревю опереточно-эстрадного типа — имели огромный успех. Сейчас на нью-йоркской сцене появилось еще несколько таких ревю: «Хижина на небе», «Это случилось на льду», «Хэтти из Панамы» и «Сусанна и стар-

цы». Этот излюбленный американцам жанр критик «Театр артс» характеризует следующим образом: «Веселая музыка, обилие танцев и песенок, комические трюки, остроты и анекдоты — таков рецепт любого ревю. Экстравагантные костюмы и декорации, световые эффекты и прочие театральные «чудеса» — таков гарнир к этому любимому блюду». Одной из самых ярких постановок сезона является спектакль «Это случилось на льду»; сцена превращена в каток, по которому скользят на коньках комики, эксцентрики, певцы, артисты хора и балета. Успеху ревю, по словам прессы, в значительной степени способствовали декорации Нормана Геддеса, одного из крупнейших американских художников. Геддес: за двадцать лет работы в театре оформил свыше ста постановок, причем каждая из них, как пишет критик «Театр артс», являлась «событием в мире искусства». Последняя работа Геддеса — панорама «Мир завтрашнего дня» на нью-йоркской международной выставке, — была отмечена прессой США и ряда других стран. В постановке своего «ледяного» ревю Геддес, по словам критика, «очень интересно использовал движущиеся панели, многоцветные драпировки, разнообразные эффекты освещения и «ледяной» занавес, сделанный из тысяч матовых стеклянных пластинок.

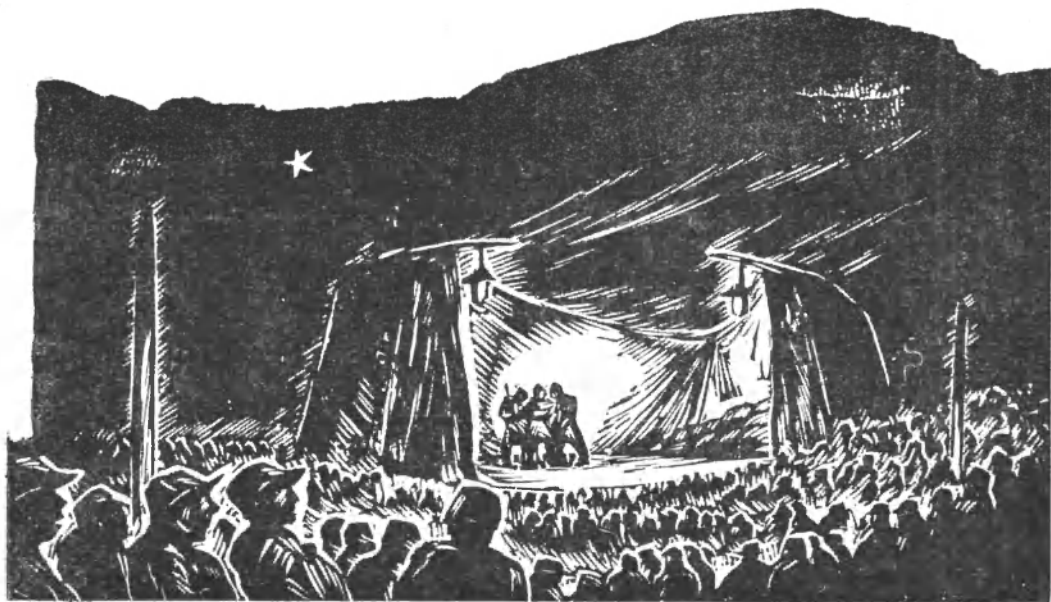
Пользовавшееся успехом ревю «Хижина на небе» поставлено негритянской опереточной труппой во главе с известной негритянской артисткой Этель Уотерс. Главные персонажи ревю — Мефистофель, стремящийся завладеть душой некоего грешника, и жена грешника, в конце концов побеждающая Мефистофеля. Действие происходит на земле и в аду, где Мефистофель, похожий на дельца с Уолл-стрит, заседает в модернизированной конторе, отдавая приказания своей земной агентуре.

Этими ревю отнюдь не исчерпывается комедийный жанр бродвейского репертуара в нынешнем сезоне. Список комедийных спектаклей на Бродвее, возглавляемый новой постановкой «Двенадцатой ночи» Шекспира, замыкается «Теткэй Чарлея» с комиком Фереро в главной роли. Тут и новая комедия Кауфмана «Здесь спал Георг Вашингтон», три сатирических комедии о Голливуде — «Тише, идет съемка!», «Предпочитаю славу» и «Биверли Хиллс» — и фарс Юджина Конрада из быта завсегдадаев ипподрома, комедия Эльмера Райса «Полет на запад» и другие.

Попрежнему полные сборы дают два старых спектакля: «Табачная дорога» по роману Колдуэлла и музыкальная комедия «Булавки и иголки», впервые показанная несколько лет назад театральной студией нью-йоркского союза швейников. Не комедийные спектакли, по словам критики, сборов почти не делают. Новая пьеса Максвелла Андерсона (на религиозную тему) не имела никакого успеха, так же как и «гангстерская» мелодрама «Слепой друг», впервые показанная в 1935 году и возобновленная в текущем сезоне. Исключение составила драма негритянского писателя Уорда «Белая буря», показанная недавно созданным негритянским театром «Нигро плейрайтс компани» и пользующаяся успехом. Тема пьесы — жизнь негритянской семьи в Чикаго в период 1922—1932 годов. «Эта умная и талантливо написанная пьеса, — пишет критик, — еще раз подчеркивает социальную остроту негритянской проблемы в Америке».

КЛАССИКИ В РЕПЕРТУАРЕ АМЕРИКАНСКИХ ТЕАТРОВ

В репертуаре нью-йоркских театров почти не найти произведений классической мировой драматургии (в текущем сезоне



Театр на передовых позициях

Гравюра китайского художника Чинь Вэй

они представлены лишь «Двенадцатой ночью» Шекспира). Однако за пределами Нью-Йорка — в Бостоне, Чикаго, Сан-Франциско и других городах, в особенности в так называемых «малых театрах», созданных энтузиастами-студийцами и университетскими театральными кружками, классику ставят часто и охотно. В текущем сезоне, например, Шекспир представлен четырнадцатью пьесами, Бен Джонсон — двумя («Эписин» и «Вольпоне»), Мольер — семью, Ибсен — четырьмя («Нора», «Пер Гюнт», «Привидения» и «Гедда Габлер»), Метерлинк — двумя («Пеллеас и Мелисанда» и «Сестра Беатриса»). Кроме того, были поставлены «Медея» Еврипида, «Электра» Софокла, «Лягушки» Аристофана, «Опера нищих» Гэя, «Севильский цирюльник» Бомарше, «Отец» Стриндберга, «Сирано де Бержерак» Ростана и «Ченчи» Шелли. Русская литература представлена Гоголем («Ревизор»), Чеховым («Три сестры», «Дядя Ваня» и «Вишневый сад»), Горьким («На дне») и Леонидом Андреевым («Тот, кто получает пощечины»). Из современных западных драматургов в этом сезоне чаще всего ставились Шоу (восемь пьес), Голсуорси (три пьесы), Синг (две пьесы), Шон О'Кэйси («Юнона и павлин») и Эрнст Толлер («Человек-масса»).

АНГЛИЯ

ВОЙНА И ПОЭЗИЯ

Лейбористский журнал «Трибун» помещает статью английского писателя и литературоведа Джона Лемана (редактора альманахов «Нью рейтинг») об английской поэзии военного времени.

Леман отмечает, что война до сих пор еще не выдвинула своих поэтов. «Правда, — пишет он, — в первые месяцы войны на страницах «Таймс» был опубликован ряд стихов старых поэтов, но эти стихи ничем не были примечательны. Поражительное банкротство чувств и поэтической техники».

«С тех пор, — пишет далее Леман, — появились стихи нескольких молодых поэтов и два-три сборника, которые в большей или меньшей степени связаны с войной». Оценивая эти сборники, Леман подвергает критическому разбору книгу Джорджа Р. Гамильтона «Трезвая война». «Стихи Гамильтона, — пишет он, — очень трезвы и рассудительны. Они изящны, ясны и уважительны, но все в них банально и ничто не волнует».

Леман останавливается и на другом сборнике — «Во времена неожиданностей» Лауренса Уистлера («In Time of Surprise» by Lawrence Whistler, Heinemann), молодого поэта, «умеющего создавать стансы, полные своеобразной хрупкой красоты, о сельских местностях, о молодых влюбленных, об уютных очагах и коттеджах». «Музыкальные, нежные стихи Уистлера не лишены приятности, — заключает Леман, — но они менее всего связаны с войной».

ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА В АНГЛИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ

В Лейчестерской галлерее в Лондоне наконец открылась откладывавшаяся несколько раз художественная выставка. На ней преобладали произведения французских художников. Но наряду с ними, — отмечает газета «Манчестер гардиан», — на выставке был показан ряд произведений английских живописцев, отображающих современную войну.

«Для тех, — продолжает газета, — кто интересуется содержанием картин больше, чем их формальными достоинствами, наибольший интерес представляла серия картин о работе пожарников Лондона в военное время. Мы видели самолет, оббитый пламенем, сбитый во время ночного налета, лондонскую улицу после бомбардировки. Нельзя назвать эти картины шедеврами, но они являются документами, фиксирующими переживаемые события».

Другая выставка военных картин состоялась в Национальной галлерее в Лондоне. Показанные здесь картины изображали различные процессы производства на военных заводах, прохождение военной службы и т. п.

НОВЫЕ КНИГИ

В литературном приложении к лондонской «Таймс» («Таймс литерэри саплемнт») помещено сообщение о некоторых новинках английского книжного рынка. Среди них на первом месте, — пишет газета, — переиздание стихов Киплинга. С начала войны в Англии установилась настоящая «мода» на Киплинга. Выпущенный издательством Ходдер энд Стоктон сборник «Шестьдесят стихотворений» Киплинга разошелся в короткий срок. Издан новый сборник «Избранных стихов», рекомендуемый как «лучшая книга для подарков». Наконец сейчас издательство Макмиллан готовит новое «карманное издание» стихов Киплинга.

Попрежнему на книжный рынок поступает в большом количестве «религиозная литература». В частности, издана книга «Библия мира», в которую, наряду с «сокращенными вариантами» библии вошли и другие «образцы» духовной литературы — буддийской, конфуцианской и др.

Газета сообщает далее, что вскоре выйдет книга Логана Пирсэлла «Мильтон и его нынешние критики». По словам газеты, «английские писатели с самого начала войны устремили свои взоры к Мильтону как к авторитетному источнику цитат, могущих быть использованными в статьях и выступлениях, посвященных нынешней войне. Именно Мильтон должен был благословить литературные выступления английских «военных писателей». Но, как указывает то же «Приложение к Таймс», нашлись критики, которые выступили против такой «актуализации» Мильтона.

★

В издательстве Лонгмэнс Грин вышла новая книга путевых очерков ирландского писателя Шона О'Фаолейна



Здание газеты «Таймс» после бомбардировки. Одна из бомб попала в центр здания, причинив большие разрушения

«Путешествие в Ирландию». Его роман «Домой в Эрин» вышел в издательстве Дэттон.

★ Издательство Дэттон выпустило двухтомную биографию английского писателя и политического деятеля XVIII столетия, одного из представителей английского романтизма, Горэйса Уолпола.

★ В издательстве Оксфорд юниверсити пресс вышла под редакцией Е. де Селинкура книга «Поэтические работы Вордсворта». В книге помещены детские и юношеские стихи английского поэта.

★ В издательстве Макмиллан вышла новая пьеса известного ирландского драматурга Шона О'Кэйси «Пурпурная пыль» («Purple dust» by Sean O'Casey, Macmillan).

Издание этой книги, говорится в объявлении издательства, является «событием в литературном и театральном мире».

ВЫСТАВКА ДЕТСКОЙ КНИГИ

В публичной библиотеке г. Манчестера открылась выставка детской книги, на которой было представлено около пятисот изданий. «Книги, изданные в 1940 г., — пишет газета «Манчестер гардиан», — не внесли ничего нового в детскую литературу. Бросается в глаза значительно возросшее количество книг — в том числе и беллетристических — об авиации. На выставке представлено много исторических

книг, но никто не пытался написать для детей историю последних двадцати лет. Из книг, посвященных современной истории, имеется только... биография Ллойд-Джорджа».

«ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕАТРЫ» И «ПОДЗЕМНЫЕ ВАРЬЕТЭ»

С октября 1940 года деятельность лондонского театра переносится целиком в провинцию. Все лондонские спектакли ограничиваются сейчас утренниками в театре Уайндмилл, дневными балетными спектаклями в Арте театр клуб и кое-какими шекспировскими постановками в театре Водевиль — тоже утренними (если не говорить о выступлениях самостоятельных коллективов). В английских театральных журналах вместо обзора лондонских премьер появился новый раздел «Plays on tour» («передвижные спектакли»). В репертуаре этих передвижных театров — постановки Шекспира и Шоу, пьеса Эмлина Уильямса «Свет сердца», пьеса Айвора Новелло о довоенной Вене — «Годы танца», музыкальные обозрения, современная американская драматургия, пьесы Шона О'Кэйси и уголовно-мистическая «Ребекка», произведение француженки Дафны дю Морье, перенесенная в провинцию со сцены лондонского Куин-театр.

Есть, впрочем, и еще одна разновидность современного английского театра. Это так называемые «подземные варьетэ».

В эти «подземные варьетэ» для аристократов ищут сейчас ангажемента лондонский филармонический оркестр и большинство «звезд» лондонской сцены.

Вот как описывает эти «варьетэ» и их публику лондонский корреспондент «Нью-Йорк таймс» Раймонд Дэниэл, посвятивший одну из своих статей аристократическим кварталам Вест-энда (район Лондона) в дни декабрьских бомбардировок:

«Если вы бедны, вы легко можете умереть в Лондоне в эти дни. Но если вы богаты, вы будете продолжать пить свое шампанское в покойных и уютных убежищах в роскошных подземных отелях, построенных специально для высших классов лондонского общества».

Над городом падают бомбы. Место действия — подземное варьетэ известного загородного «Мэйфэр отель». Время — около полуночи. Оркестр играет ласкающую танцевальную музыку, вальсы из «Веселой вдовы». На небольшой эстраде весело танцуют мужчины во фраках и женщины в вечерних платьях. Столики вокруг танцевальной площадки заполнены нарядной толпой. На столах — цыплята и омары, вина редчайших марок, импортированные в Англию задолго до войны и давно исчезнувшие из магазинов. Все это стоит бешеных денег, но ведь известно, что только очень дорогие подземные отели могут гарантировать полную безопасность в дни воздушных бомбардировок».

СУДЬБА «КАУНТИ ФОРУМ»

В Манчестере закрылась известная культурная организация «Каунти форум». С 1812 года эта организация еженедельно устраивала доклады и лекции. Ныне, как

сообщает газета «Манчестер гардиан», в связи с войной, организация не имеет возможности привлекать лекторов; кроме того, «публика, опасаясь воздушных налетов, неохотно посещает лекции».

Эта же газета сообщает о том, что все имущество знаменитого манчестерского клуба «Атенеум», просуществовавшего более ста лет, описано за невзнос налогов и будет продано с молотка. При клубе существовали старейшие в Англии кружки: любителей драматического искусства, шахматный и дискуссионное общество. «Манчестер гардиан» указывает, что Диккенс и Дизраэли не раз весьма положительно отзывались о культурной деятельности этого клуба.

«ЖЕНА РОЧЕСТЕРА»

В последнее время, как отмечает английская и американская печать, среди части английских писателей наблюдается тенденция «не замечать войну». Они ставят себе целью «создавать такие книги, которые могли бы быть написаны пять лет тому назад». К числу таких книг рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» относит вышедший недавно в Англии (и одновременно в США) роман английской писательницы Д. Стивенсон «Жена Рочестера».

Содержание романа рецензент формулирует в заглавии своей рецензии «Английский треугольник». Действие романа происходит во врачебной среде и рисует «роковую» любовь молодого доктора Стоуна к жене своего коллеги Рочестера.

Рецензент американского издания в прикрытой форме осуждает «несвоевременность» романа, «не соответствующего переживаемому моменту». Характерно, что американский критик проявил большую нетерпимость к «устаревшему по тематике» роману, чем его английские коллеги.

ЭССЕ О ШЕКСПИРЕ

Под названием «Шекспир и другие учителя» («Shakespeare and other Masters» by Elmer Stoll. Harvard University Press) американский литературовед, профессор Элмер Столл, опубликовал книгу эссе о виднейших представителях мировой драматургии от Эсхила до Ибсена, Шоу и О'Нэйла. Центральное место в книге занимает эссе о Шекспире.

Особенно подробному разбору Столл подвергает «Гамлета». Вместе с тем, он как бы суммирует в своем исследовании все те высказывания о «Гамлете», которые известны современному шекспироведению, начиная от высказываний Вольтера, Гете и Кольриджа и кончая фрейдистскими «откровениями» об «эдиповом комплексе» Гамлета.

«ГОЛОС ИЗ АНГЛИИ»

Так называется книга молодого английского писателя Роберта Вестерби, рисующая настроения молодого англичанина в наши дни. Рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью», не излагая сколько-нибудь подробно сюжет книги, нападает на ее

автора за то, что «он демонстрирует недопустимое малодушие».

«Книга Вестерби,— продолжает он,— не типична для англичан, ибо если бы все англичане так воспринимали войну, как Вестерби, немцы уже были бы в Лондоне».

Особое недовольство рецензента вызывает замечание автора о том, что после первой мировой войны «новые границы Европы были определены глупцами, совершенно не учитывавшими местных условий».

ПЕРЕПИСКА ТЕККЕРЕЯ

Группа ученых, во главе с Гордоном Рэй, руководителем кафедры английской литературы в Гарвардском университете (США), подготавливает к печати четыре тома переписки Теккеря. Всего будет опубликовано 1500 писем.

О жизни Теккеря известно гораздо меньше, чем о любом другом крупном английском писателе викторианского периода. До сих пор было предано гласности менее одной четверти его эпистолярного наследия. Лишь в самое последнее время удалось преодолеть препятствия, стоявшие на пути к изданию большинства его писем, и получить право на опубликование 400 писем писателя, находившихся в частных руках.

КНИГА О ШЕЛЛИ

Короткая, но богатая событиями жизнь знаменитого английского поэта прошлого столетия Шелли привлекла внимание многих биографов. Однако, по мнению американской критики, большинство биографических работ о Шелли страдало неполнотой, и лишь недавно вышедшая в издательстве Кнопф в Нью-Йорке книга Ньюмана Айви Уайта «Шелли» свободна от неточностей.

Рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» в своей статье о книге отмечает, что «усилиями ряда авторов биографий и «воспоминаний» образ поэта оказался извращенным». Он был атеистом, и это послужило поводом, чтобы создать ему репутацию «аморального человека». Автор книги «Шелли», доктор литературы Уайт, посвятил 25 лет изучению жизни и творчества Шелли и в результате своей работы написал книгу, являющуюся достойным памятником поэту.

«Освобождая образ Шелли от всего папосного, от всего того, что приписывалось ему клеветой и злопыхательством, Уайт отнюдь не превращает Шелли в святого; но он руководствуется не анекдотами и преданиями, а фактами»,— пишет рецензент. Он отмечает книгу Уайта как ценный вклад американского ученого в английское литературоведение.

КНИГА О ПЕРВОМ АНГЛИЙСКОМ ФОТОРЕПОРТЕРЕ

Одним из самых известных представителей английского фоторепортажа является Джимми Гэйр. Его более чем полувекковая деятельность в области фоторепор-



Первый фоторепортер — Джимми Гэйр

тажа (сейчас Гэйру 85 лет) описана в недавно вышедшей в США книге Сэсиля Кэрна «Джимми Гэйр — фоторепортер». В основу книги положены дневники Гэйра и беседы автора книги с удалившимся на покой фотографом.

Гэйр был особенно известен как «незаменимый военный фотокорреспондент». Он снимал эпизоды испано-американской войны на Кубе, русско-японской войны, первой мировой империалистической войны. Его популярность была так велика, что о нем сложили шуточную поговорку: «Ни одна война не может считаться официально объявленной, пока нет фотоснимков Джимми Гэйра».

Однажды Гэйр был привлечен к военному суду за нарушение правил для корреспондентов. Он ухитрился совершенно незаметно для судей сделать на заседании суда несколько снимков. Гэйр был первым фотографом, производившим воздушные съемки на борту самолета.

О Гэйре писали Стивен Крэйн и другие писатели.

Рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» весьма одобрительно отзывается о книге Сэсиля Кэрна.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ ЛОНДОНА

Под этим заголовком «Нью-Йорк таймс бук ревью» публикует еженедельно письмо своего лондонского корреспондента Герберта Хорвила.

Некоторые из сообщаемых Хорвилом фактов мы приводим ниже.

Сейчас в Лондоне переиздана вышедшая в 1919 году книга Сэсиля Честертона (умершего в том же году) «История

Соединенных Штатов». Одновременно то же издательство (Оксфорд юниверсити пресс) подготовило к печати новую книгу К. Хитча — «Экономическая мощь США».

Литературный критик Грэйс Гольди резко осуждает Форстера и других видных английских писателей за то, что они упорно игнорируют радио. «99 процентов литераторов, — пишет она, — словно не замечают существования радио».

Она рекомендует вниманию писателей, в первую очередь, художественное вещание, заявляя, что радио «дает возможность создать новый жанр художественного произведения — нечто среднее между драмой и новеллой». Но не подлежит сомнению, что и критик Гольди, и инспирирующие ее круги заинтересованы, главным образом, в привлечении писателей для радиопропаганды.

Одно из писем Хорвила посвящено последствиям, которые имели декабрьские бомбардировки для лондонских издательств. Здание, в котором помещалось издательство, выпускавшее известный лондонский журнал «Студио» и сборники, посвященные английской живописи, оказалось совершенно разрушенным в результате бомбардировки. У двух крупнейших издательских фирм уничтожены все запасы полиграфических материалов.

Очень часто нарушают работу издательств бомбы замедленного действия. «Недавно такая бомба упала в помещение одного из самых известных наших издательств, и оно оказалось надолго выведенным из строя».

Сильно препятствует работе редакций и издательств ненадежность транспорта, закрытие ряда улиц для проезда и т. д.

«Резко уменьшилась возможность знакомить через печать читающую публику с выходящими изданиями. Уже более года газеты уделяют вопросам литературной критики самое минимальное место. Во-первых, сократился объем газет; кроме того, почти все газетные столбцы отводятся под статьи и телеграммы о войне».

Хорвил цитирует одного из лондонских литературных критиков, Эдуарда Томпсона, заявляющего, что в Англии писатели оторваны от реальной жизни в гораздо большей степени, чем люди любой другой профессии. «Преувеличивая значение своих книг и статей, — говорит Томпсон, — они едва ли отдают себе отчет в том, что для большинства людей их книги ничего не значат».

ИНТЕРВЬЮ С СОМЕРСЕТ МОГЭМОМ

«Нью-Йорк таймс бук ревью» публикует беседу своего сотрудника с английским писателем Сомерсет Могэмом, который, по словам журнала, «прибыл в США в качестве английского агента». Шестидесяти-семилетний Могэм рассказал интервьюеру, что он ведет интенсивную пропитанскую пропаганду в США, выступая со статьями, читая лекции и т. п. Могэм, как и Уэллс, считает, что США могут оказать Англии гораздо большую помощь, воздерживаясь от прямого вступления в войну.

ПРЕССА ОБЕИХ «ЗОН»

Французская пресса, как и сама Франция, разделена на две части. Газеты неоккупированной зоны запрещены в оккупированной; парижские же газеты, даже в самых отдаленных уголках страны всегда читавшиеся гораздо больше, чем местная пресса, теперь не проникают в неоккупированную Францию; единственное исключение составляет журнал «Иллюстрашон».

Редакции большинства парижских газет эвакуировались из столицы в июне 1940 г., в дни «великого исхода», и теперь осели в Лионе, Марселе, Виши, Клермон-Ферране и других городах неоккупированной зоны.

В настоящее время в Париже выходит всего восемь газет, из них четыре старых — реакционнейшая «Матон», «Эвр», где хозяйничает «нео-социалист» Марсель Дза, «Пти паризьен» и вечерняя «Пари-суар». После оккупации возникло несколько новых изданий, в том числе орган ренегата Дорио «Кри дю пепль», по свидетельству самой реакционной прессы, «специализировавшийся на антикоммунистической пропаганде». Все газеты оккупированной зоны обладают двумя отличительными чертами: во-первых, они печатают только немецкие и итальянские сообщения и, во-вторых, изо дня в день помещают своеобразную «викторину» — отрицательные высказывания об Англии, принадлежащие французским писателям, историкам, государственным деятелям прошлого и настоящего. Читателю предлагается угадать, кто автор этих высказываний, обычно напечатанных на первой странице на самом видном месте, рядом с названием газеты. Ответы даются в этом же номере на другой странице.

В остальном у этих газет то же знакомое лицо реакционной бульварной прессы.

Из старых литературных еженедельников в Париже не осталось ни одного. «Гренгуар», «Кандид», «Вандемьер» перенесли свою погромную деятельность в неоккупированную зону; однако их «работка», повидимому, не достигает цели, — чуть ли не в каждом номере этих листков можно найти негодующие сообщения о необычайных успехах коммунистической пропаганды, проникающей, как пишут «Кандид» и «Гренгуар», повсюду, «даже в организации французской молодежи».

В оккупированном Париже у этих черносотенных листков появилась достойная замена в лице еженедельника «Жерб», редактируемого сугубо реакционным писателем Альфонсом де Шатобрианом, «Ревей» и «Фэ», основанного Дрие Ла Рошель. Этот профессиональный ренегат также фигурирует теперь в качестве редактора журнала «Нувель ревю франсез», возобновившего свой выход в Париже в конце 1940 года. Дрие Ла Рошель и его сотрудники превосходно приспособились к обстоятельствам. Так, реакционный писатель Жак Шардон, очевидно выражая чувства ряда своих политических единомышленников, утверждает в той же «Нувель ревю

франсез», что «в Барбезье¹ и его окрестностях все попрежнему очень счастливы».

В ПАРИЖСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВАХ

В Париже, где у издательств еще сохранились значительные запасы бумаги и имеется большая производственная база, вышло за последние два-три месяца довольно много книг, которые, как и газеты, почти не проникают в неоккупированную Францию. В большинстве случаев, это книги, сданные в печать еще до разгрома Франции. Главным образом, — это переводная литература, американская и английская. Несколько книг по истории, вышедших в Париже за последнее время, превозносят достоинства монархического строя и обрушиваются на «зловредные силы», боровшиеся когда-то против Реставрации.

Новинки художественной литературы в Париже — это либо книги бездарных посредственностей, пользующихся отсутствием конкуренции, чтобы продвинуть свою продукцию, либо книги, сданные в печать еще до июня 1940 года. Все это — произведения правых писателей (Колетт, Монтерлан, Мориак и т. д.). Однако иные из них оказались теперь не ко времени. Так, новая книга Дюамеля «Убежище» была запрещена тотчас же, как поступила в продажу.

Парижские издательства, совместно с оккупационными властями, выпустили недавно «Список запрещенных книг»; в нем на двенадцати страницах приводятся названия книг, подлежащих изъятию со складов, из книжных магазинов и библиотек. Изъятию подверглись, главным образом, произведения «политических эмигрантов и писателей-евреев». Это книги Стефана Цвейга, обих Маннов, Людвиги, Викки Баум и др., а также все произведения Генриха Гейне. Запрещены все книги французских авторов о войне 1939—1940 гг. как агитационные, так и репортажи, например, книги Дюамеля, Доржелеса и др.

КНИГА ТРОИА «ЮДИФЬ МАДРИЕ»

Как сообщает в корреспонденции из Парижа американский журнал «Нью-Йорк таймс бук ревью», во Франции появился роман, оразивший нынешнюю войну. Его написал Анри Тройа, получивший в 1938 году Гонкуровскую премию за роман «Паук». Новая книга Тройа озаглавлена «Юдифь Мадрие». Сюжет романа — в передаче корреспондента журнала — сводится к следующему: «Юдифь, молодая девушка из бедной семьи, любит молодого изящного аристократа Лескюра, но социальное неравенство разрешает ей быть только его любовницей, а не законной супругой. Ей приходится выйти замуж за человека, занимающего скромное положение, по имени Мадрие. Между тем вспыхивает война. Лескюра призывают в действующую армию, в то время как Мадрие сумел устроиться в тылу. Супруги переезжают в провинциальный городок, где их застают весть о смерти Лескюра. Юдифь тяжело переживает утрату любви».

¹ Город в оккупированной Франции.

мого человека и с каждым днем начинает все больше ненавидеть своего мужа».

По словам корреспондента, в романе Тройя ярко передана бытовая обстановка «глубокого тыла» во второй половине 1939 и первой половине 1940 года.

НОВЫЕ КНИГИ

В «Нью-Йорк таймс бук ревью» сообщается о выходе нескольких новых французских книг.

В их числе книга Андре Арманди «Гавань снов» — детективная повесть, действие которой разыгрывается в Южной Африке.

Два автора — Моржен и Де Кean — написали совместно фантастический роман, очевидно навеянный событиями нынешней войны. В своей книге «Проклятый континент» они описывают Францию 1950 года. Вся страна обращена в пустыню, Париж — в груды развалин. Герои романа, два молодых француза, объезжают всю страну, тщетно пытаясь отыскать остатки цивилизации. Лишь в Бретани им удается обнаружить небольшую рыбацкую колонию. Сюда прибывает на пароходе группа американцев, скупающих уцелевшие образцы французской живописи и скульптуры. Роман кончается сценой нападения банды пиратов на обитателей колонии и американцев.

Под названием «Невольные преступления» вышла книга детективных новелл реакционного французского писателя Анри Бордо.

КНИГА О ДЕБЮССИ

В США опубликована книга Мориса Дюмениля «Клод Дебюсси». По отзывам американских критиков, книга представляет собой нечто среднее между сборником документов и романтизированной биографией. Они характеризуют книгу как «пособие для всех интересующихся жизнью и творчеством французского композитора».

КНИГИ О ВОЕННОМ РАЗГРОМЕ ФРАНЦИИ

Английская газета «Манчестер гардиан» обращает внимание на две недавно вышедшие в Англию книги, посвященные военному поражению Франции. Первая — «Что случилось во Франции» — написана корреспондентом агентства Рейтер во Франции Гордоном Уотерфилдом («What Happened to France» by Gordon Waterfield. Mugaу).

«Эта небольшая книга, — пишет «Манчестер гардиан», — дает объяснение политических причин, вызвавших крушение Франции». В то же время рецензент упрекает автора в том, что он уделяет «чересчур большое внимание той роли, которую сыграли власть и капитал имущие в деле капитуляции Франции».

По словам рецензента, автор приводит ряд эпизодов, показывающих боевые качества французских солдат и летчиков. «Люди выполняли то, что им повелевал

воинский устав, но самолеты явно не соответствовали последним требованиям военной техники».

Газета отмечает, что страницы книги, посвященные военной катастрофе, постигшей Францию, «являются замечательными образцами репортажа и представляют большую ценность для будущего историка». Интересны также разоблачения автора о работе французской военной и гражданской цензуры. К лучшим главам книги рецензент относит описание линии Мажино, «этого фетиша, в который слепо верила вся Франция».

Вторая книга, рекомендуемая английской газетой, — «Последние дни Парижа» («The last days of Paris» by Alexander Werth, Hamilton) — дневник Александра Уэрта, парижского корреспондента «Манчестер гардиан».

Дневник охватывает период со дня германской оккупации Голландии и Бельгии до капитуляции Франции. Автор, по словам газеты, прекрасно знающий Францию, ее культуру и политику, имел возможность беседовать с дипломатическими и политическими деятелями, торговцами, рабочими, что «позволило ему воссоздать яркую картину страстей и эмоций, охвативших Францию в дни войны».

Судя по отзыву «Манчестер гардиан», автор приходит к выводу, что «падение Франции было неизбежно». «Замешательство и неуверенность, характерные для французской политики послевоенного периода, отсутствие во Франции людей, способных взять на себя руководство страной, вечные заботы министров о том, как бы спасти Францию не от Германии, а от самой себя, — все это не могло не привести к катастрофе».

В обеих книгах содержится ряд обвинений по адресу дипломатических и политических деятелей Англии. В книге Уотерфилда английские дипломатические и консульские представители в Париже обвиняются в том, что они покинули обреченную столицу, не приняв никаких мер для оказания помощи громадному числу британских граждан, населявших Париж. Уэрт в своей книге обвиняет политических деятелей Англии в том, что они повинны в усилении антианглийских настроений среди французского народа.

РАСПРОДАЖА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Газета «Манчестер гардиан» сообщает, что во Франции «ведутся подозрительные сделки», целью которых является продажа лучших произведений французского искусства.

Недавно в Нью-Йорк было отправлено около 500 картин из крупнейших художественных галлерей Парижа. Среди них — произведения известных представителей французского импрессионизма.

Английские власти в Бермуде задержали этот пароход и конфисковали все картины, включая 270 полотен Ренуара, 30 картин Сезанна, 7 картин Дега и много других.

**«ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ»
СТО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД**

Директор Национальной швейцарской библиотеки Марсель Годе выпустил в одном из издательств Невшателя любопытную книгу, озаглавленную «Последние новости сто лет тому назад». Книжка составлена на основании материалов выставки, устроенной в Национальной библиотеке и посвященной 1840 году.

В своих откликах на эту выставку швейцарская печать подчеркивает ошибочность мнения тех, кто полагает, что в 1840 году, году «благополучном» по сравнению с нынешним временем, не было бурных событий. В 1840 году вице-король Египта, поддержанный Францией, восстал против турецкого султана и добился больших военных успехов в Египте, Сирии, Аравии. Англия, отнюдь не желавшая проникновения французского влияния в долину Нила, заключила соглашения с Австрией, Пруссией, Россией и Турцией. Европа лихорадочно вооружалась. Угроза войны росла с каждым днем.

Франция осуществляла колониальную экспансию; резервисты были призваны. В Испании шла гражданская война.

В «тихой» Швейцарии было весьма неспокойно. В захолустных городках — кровопролитные столкновения на религиозной и политической почве. Глава сепаратистов, Ксавье Штокмар, обвиненный в государственной измене, бежит за границу.

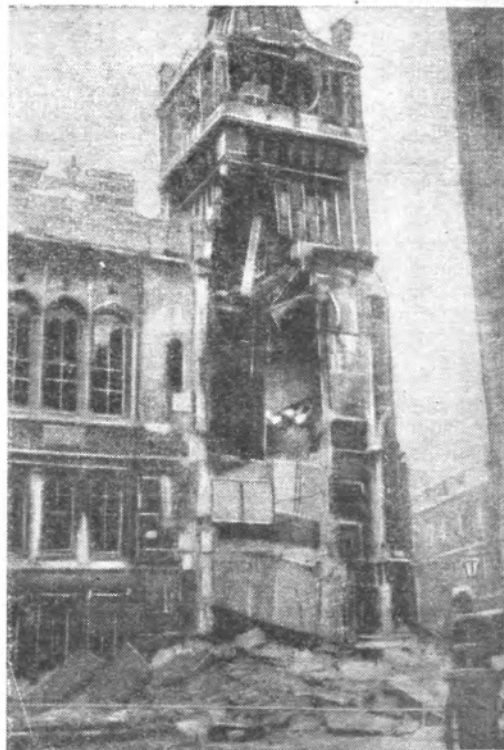
Экономическая жизнь Европы в застое. Положение рабочего класса ухудшается с каждым днем. В консервативной «Журнал де деба» Филарет Шаль пишет: «Условия жизни рабочих влияют и на их тело, и на их сознание. Стремление наших промышленников к увеличению продукции заставляет рабочих затрачивать все больше энергии без всякой компенсации...». Среди рабочих глубокое недовольство, брожение, рост революционных настроений.

Таковы известия, опубликованные в газетах 1840 года. Номера этих газет, книги, брошюры, рисунки, портреты, касающиеся 1840 года, и были экспонированы на выставке. Снимки с наиболее интересных экспонатов даны в книжке Марселя Годе.

ТРИ НОВЫХ КНИГИ

За последнее время в Швейцарии вышли три книги, действие которых происходит на фоне Альпийских гор. Одна из них (на французском языке) — Мориса Церматтена; это бесхитростная повесть о трагической любви молодой крестьянской девушки Мадлены, разлученной с возлюбленным и насильно выданной замуж за другого.

На немецком языке вышла книга молодого швейцарского писателя Эрнста Отто Марти «Люди гор». В центре романа — конфликт между представителями городской капиталистической верхушки и крестьянами-горцами. Городская промышленная компания строит гидростанцию, для



Библиотека в лондонском Тэмпле, разрушенная бомбардировкой

чего ей необходимо затопить часть горной деревушки. Это вызывает возмущение крестьян.

Третья книга (на итальянском языке) — «Книга об Альпах». Ее автор, Джузеппе Цоппи, описывает жизнь беднейшего из кантонов Швейцарии — Тессинского.

ШВЕЦИЯ

УСПЕХ ФИЛЬМА «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»

В одном из самых лучших стокахгольмских кинотеатров демонстрируется советский кинофильм «Минин и Пожарский». Фильм имеет большой успех. Все газеты опубликовали пространные рецензии об этом фильме. Газета «Дагенс нюхетер» пишет:

«Картина производит сильное впечатление... Герой картины — русский народ. Все, как один, жертвовали своим имуществом и своей кровью для спасения родины».

«ДЯДЯ ВАНЯ» НА СЦЕНЕ СТОКГОЛЬМСКОГО ТЕАТРА

В стокгольмском камерном театре «Бланш» состоялась премьера пьесы Чехова «Дядя Ваня». Стокгольмские газеты дают высокую оценку спектакля.

«Это был один из тех театральных вечеров, которые долго будут жить в нашей памяти, — пишет газета «Дагенс нюхетер». — Когда видишь этот спектакль, ста-

новится понятной огромная популярность Чехова в России, где его книги за последнее десятилетие изданы в миллионах экземпляров».

Газета «Стокгольмс тиднингс», давая высокую оценку театральному коллективу, пишет, что «чеховские пьесы оказали огромное влияние на современную драматургию».

«БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»

Как сообщает шведская газета «Арбейдерфолькет» стокгольмское издательство Холмстрем выпустило на шведском языке роман Гашека «Бравый солдат Швейк». Книга вышла тиражом в 6 тысяч экземпляров.

ДАНИЯ

НОВАЯ КНИГА О ДОСТОЕВСКОМ

Недавно в издательстве Атенеум в Копенгагене вышла в свет новая книга: «Жизнь и творчество Достоевского». Автор ее, датский писатель Эйнер Томсон, известен как переводчик ряда романов Достоевского на датский язык.

Датская печать уделила большое внимание этой книге. Газеты подчеркивают, что это первый крупный труд о Достоевском в Дании и что его выход в свет является выдающимся литературным событием.

Издающаяся в Копенгагене газета «Политикен» посвящает книге Томсона большую статью. Газета отмечает огромный интерес к творчеству Достоевского в Европе и, в частности, в Дании. «Достоевский,— пишет газета,— один из самых выдающихся умов и крупнейших писателей Европы. Многие считают его величайшим писателем Европы».

Как указывает газета, Томсон использовал в своей книге обширный документальный материал, в частности — переписку Достоевского.

«ВЕЛИКИЙ ЭПОС О ТИХОМ ДОНЕ»

Копенгагенские газеты сообщают о том, что в Дании вышел в свет перевод четвертой книги романа Шолохова «Тихий Дон».

Газета «Политикен» посвятила выходу новой книги Шолохова большую статью, в которой называет роман «Великим эпосом Тихого Дона». Статья разбирает весь роман в целом, уделяя особое внимание последней части. «Несмотря на то, что между выходом третьей и последней, четвертой, книги лежал промежуток времени в несколько лет,— указывает рецензент,— напряженный интерес, вызванный первыми тремя книгами романа, к его героям и их судьбе не ослабевал, и датские читатели с нетерпением ожидали выхода в свет последней части романа».

Статья подчеркивает большие художественные достоинства четвертой книги «Тихого Дона», мастерскую разработку центральных образов романа — семьи Мелеховых, Григория и Аксиньи. «Эти образы

останутся в памяти читателя. Роман дает яркое представление о донском казачестве, о сдвигах, происшедших в нем в период великих событий мировой войны и революции. Это трагический эпос о переживаниях, конфликтах и судьбах людей в эпоху больших исторических движений».

С выходом в свет четвертой книги, читатель получает возможность ознакомиться с заключительной главой этого крупного эпического произведения о донском казачестве».

ИРЛАНДИЯ

ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ПЕРЕВОДЧИКА «УЛИССА» ДЖОЙСА

В связи со смертью известного ирландского писателя Джойса швейцарские газеты рассказывают, в каких условиях производился перевод основного произведения Джойса — романа «Улисс» на французский язык. Так как перевод Джойса представляет исключительные трудности, издательство поручило эту работу тридцати четырем переводчикам, выбранным среди наилучших знатоков английского языка. Переводчики были объединены в группы, в среднем по четыре человека в каждой. Каждая строка и каждое слово обсуждалось всей группой. Перевод затем просматривался одним из ближайших друзей Джойса и направлялся в набор только после того, как он был, в последнем чтении, одобрен Полем Валери.

КАНАДА

ПИСЬМО КАНАДСКОГО ЧИТАТЕЛЯ В РЕДАКЦИЮ «ДИРЕКШЕН»

В одном из последних номеров американского журнала «Дирекшен» (орган Лиги американских писателей) опубликовано следующее письмо, полученное от читателя из Канады:

«Читатели в США никогда не оценят вашего журнала в такой мере, как мы. В прошлом делались попытки создать в Канаде литературное периодическое издание, но после выхода нескольких номеров оно вынуждено было закрыться. И, как и прежде, нам пришлось обратить свои взоры в вашу сторону в поисках настоящего чтения. Со времени объявления Канадой войны, мы лишились даже этой возможности».

Наша цензура пропускает лишь очень ограниченное число журналов либерального направления. После того как в Канаде было получено несколько номеров журнала «Фрайдэй», он был у нас запрещен».

ИНДИЯ

РЕПРЕССИИ В ИНДИИ

Журнал «Нью мессес» публикует статью, посвященную положению в Индии. «Какой силы следует ожидать от грозы,

которая неминуемо разразится над Индией, можно судить по тем размерам, какие приняты репрессии против деятелей и организаций, готовящихся к предстоящей борьбе. Арестовано большое число политических деятелей — руководителей «Кисаи сабха» (крестьянских союзов), «Маздур сабха» (рабочих объединений) и других прогрессивных организаций. Большинство этих деятелей не известно за пределами Индии; между тем они представляют широко разветвленную сеть рабочих и крестьянских организаций.

Для того чтобы обезглавить эти организации, лишить их руководства, английские власти в Индии применяют самые разнообразнейшие методы. Всейндийский крестьянский союз потерял трех своих секретарей, подвергшихся аресту. Один из них, Свами Сахаджананд, умер в тюрьме. Произведены массовые аресты среди руководящего состава ряда других прогрессивных организаций. В одной Бенгальской провинции арестовано свыше тысячи человек. Многие рабочие лидеры приговорены к ссылке.

Однако, несмотря на все репрессии, прогрессивные организации не испытывают недостатка в руководящих кадрах; все время выдвигаются новые руководители».

ИСПАНИЯ

КНИГА ИСАВЕЛЬ ДЕ ПАЛЕНСИЯ

В Америке опубликована автобиографическая книга известной испанской общественной деятельницы, Исавель де Паленсия, — «Мне нужна свобода» («I must have my liberty» by Isabel de Palencia, Longmans Green). По словам рецензента «Нью-Йорк таймс бук ревью», книга представляет значительный интерес.

Исавель де Паленсия рассказывает о своей жизни, необычной для испанской женщины. К ужасу своей консервативно настроенной семьи, она еще девушкой решает посвятить себя искусству. Она поступает на сцену, но вскоре ее привлекает литературная деятельность, и она основывает один из первых в Испании женских журналов, создает первый женский клуб.

Вспыхнувшую в Испании гражданскую войну Исавель де Паленсия встречает убежденной сторонницей республиканского правительства. Она назначается полномочным послом Испанской республики в Швеции, являясь первой испанкой, занимающей дипломатический пост.

В настоящее время Исавель де Паленсия живет в Мексико. Ее книга написана на английском языке.

ТЕРРОР ВО ФРАНКИСТСКОЙ ИСПАНИИ

Корреспондент Лиссабонского телеграфного агентства сообщает о страшном терроре, свирепствующем в Испании. Как заявляют сами руководители франкистской «фаланги», «по приговорам, вынесен-

ным трибуналами, в Испании расстреляно 270 тысяч человек; 300 тысяч казнено без суда; 80 тысяч осуждены на расстрел и ждут своего смертного часа.

Родные и друзья арестованных, пытающиеся хлопотать об отмене приговора, часто подвергаются аресту, за которым порой следует и смертный приговор.

С женщинами фалангисты расправляются не менее жестоко, чем с мужчинами. Так, более 10 тысяч женщин было расстреляно по приговору трибуналов, 20 тысяч расстреляно «при попытке к бегству». По заявлению той же фаланги, в Испании было расстреляно 5 тысяч священников.

Жгучую ненависть испанского народа вызывают к себе иезуиты, которые используют для доносов сведения, получаемые ими от прихожан на исповеди. Во время исповеди иезуитам без труда удается узнать, кто из их прихожан настроен против франкистского режима. На следующий же день после исповеди такой прихожанин становится жертвой фашистского «правосудия». «Но теперь народ поумнел, — пишет корреспондент лиссабонского агентства. — В Испании все обязаны исповедываться, но уже никто не говорит иезуитам правды».

«Самой страшной репутацией, — говорит он далее, — пользуются концлагери, находящиеся в промышленных районах — в Астурии, Бильбао, Альмадене. Здесь имеются специальные отряды, которые каждое утро вывозят трупы из концлагерей».

КУБА

КУБИНСКАЯ ГАЗЕТА ОБ «АНТОЛОГИИ ИСПАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

В кубинской газете «Сегодня» напечатана статья Эммы Перес об «Антологии испанской литературы», вышедшей в Москве¹:

«Это прекрасный сборник отрывков из наиболее выдающихся литературных произведений, начиная с XII и кончая XIX веком, показывающий непрерывную линию народных традиций в развитии испанской литературы».

Начиная от «Поэмы о моем Сиде» и примитивных героических песен-поэм и кончая лучшими образцами современной литературы, все эти произведения заботливо изучены и включены в книгу ее составителями — Ольгой Васильевой и Владимиром Узиным, которые, в свою очередь, судя по выраженной в их предисловии признательности, пользовались ценными указаниями Ф. Кельина.

Это образцовая работа. Прежде всего, уже по одному тому, что она свидетельствует об огромном значении, которое придают в СССР вопросам культуры. Радует та исключительная тщательность и

¹ См. рецензию С. Арконады в «Интернациональной литературе» № 3—4 за 1940 г.

особая заботливость, с которой оформлена эта книга.

Эта поистине ценная книга, с такой любовью и таким знанием дела созданная в СССР, представляет чудесный сюрприз для нас.

Велико было наше восхищение, когда мы получили эту книгу и ознакомились с ней. Мы мечтаем о том, чтобы издавать подобные книги для нашего народа здесь, на Кубе».

«ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ» КУБИНСКОЙ КОМПАРТИИ

«Отдел литературы», существующий при комитете кубинской компартии в Гаване, считает одной из своих основных задач широкое распространение революционной литературы среди членов компартии и сочувствующих.

«С этой целью,— сообщил корреспонденту газеты «Сегодня» представитель «Отдела литературы»,— мы предполагаем проводить ежемесячно или раз в два месяца «День книги». В этот день во всех клубах, ячейках и пр. будут устраиваться вечера, концерты, выставки, посвященные пропаганде революционной литературы. Любой посетитель сможет приобрести интересующую его книгу. Кроме того, предполагается провести по всей провинции «Праздник книги», во время которого будет распространяться революционная литература».

«ЧЕТЫРЕ ГОДА СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ»

Газета «Сегодня», отмечая исполнившееся в декабре 1940 года четырехлетие со дня принятия Сталинской конституции, пишет:

«В течение этих лет Конституция была издана на 76 языках народов СССР. Она

издана на языках народов, которые до Октябрьской революции вообще не имели письменности».

АРГЕНТИНА

«НАРОДНЫЙ ТЕАТР»

Десять лет назад группа актеров-любителей под руководством Леонидаса Барлетты, известного аргентинского актера и драматурга, организовала небольшую театральную труппу, члены которой были одновременно и актерами, и постановщиками, и театральными рабочими, и декораторами, и костюмерами.

Свою работу «Народный театр» начал рядом спектаклей в предместьях и на окраинах Буэнос-Айреса. Только через несколько лет муниципалитет Буэнос-Айреса предоставил труппе право пользоваться одним из крупнейших театров Буэнос-Айреса. За эти 10 лет театр дал свыше двух тысяч спектаклей и, как пишет Кук Уильмот, американская журналистка, «явился подлинно новым, народным аргентинским театром».

Семьдесят процентов пьес из репертуара театра принадлежат аргентинским и другим современным драматургам, тридцать процентов — классикам. Пьесы многих молодых драматургов имеют возможность появиться на сцене только благодаря «Народному театру». Театр не получает никакой дотации от правительства.

Каждую неделю, после спектакля, в театре устраивается дискуссия, на которой публика высказывает свое мнение о только что просмотренной пьесе. Кроме того, раз в неделю театр устраивает лекции по вопросам искусства и симфонические концерты. По старой традиции, театр до сих пор разъезжает в «крытом вагоне» по провинции и ставит свои спектакли в



Народный театр в Аргентине

провинциальных театрах, в парках, на открытом воздухе, на ярмарках, народных праздниках и т. д.

Недавно общественность Буэнос-Айреса чествовала работников театра, которые за 10 лет работы широко ознакомили аргентинского массового зрителя с современной и классической драматургией.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ А. МАЧАДО

В издательстве Эспаса-Кальпе вышло четвертое издание полного собрания сочинений Антонио Мачадо. Пресса отмечает, что переиздание стихотворений Мачадо всегда является большим праздником для латино-американского читателя.

ВЫСТАВКА КНИГИ

В Буэнос-Айресе состоялась выставка книги, на которой было представлено значительное количество книг по всем отраслям знаний: по истории, литературе, точным наукам и пр.

СТОКОВСКИЙ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

Леопольд Стоковский организовал оркестр из молодых музыкантов, никогда не участвовавших в симфонических концертах.

Недавно новый оркестр Стоковского посетил Буэнос-Айрес, где дал под его управлением ряд концертов из произведений Баха и Мусоргского («Борис Годунов»). Концерты прошли с огромным успехом.

МЕКСИКА

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ РОМАН

В Мексико состоялось заседание национального жюри международного конкурса на лучший латино-американский роман. Национальное жюри, в которое вошли представители латино-американских писа-

телей, присудило три премии: первую получил Анхель Менендес, вторую — Грегорио Лопес-и-Фуентес и третью — Хосе Мансисидор. Премированные рукописи поступили на окончательное утверждение Международного жюри, заседающего в Нью-Йорке, в состав которого входят Блэйр Нейл, Карлос Монтенегро и др.

★

Мексиканское «Атенео» объявило конкурс на лучшие книги мексиканских авторов по литературе, науке и искусству, вышедшие в Мексике в 1940 году. В состав жюри вошли мексиканские писатели Игнасио Гонсалес Гусман, Элисео Рамирес и др.

НОВЫЕ КНИГИ

В мексиканском издательстве Сима вышел сборник рассказов Грегорио Лопеса-и-Фуентеса «Мексиканские крестьянские сказки». Как указывает пресса, эти рассказы можно назвать нравоописательными: Лопес-и-Фуентес рассказывает о быте и нравах мексиканских крестьян.

ЧИЛИ

НОЯБРЬСКИЙ НОМЕР «ЭЛЬ СИГЛО»

Ноябрьский номер чилийского издания «Эль сигло» («Век») в значительной степени посвящен СССР. В номере даны портреты Ленина, Сталина, Молотова; выдержки из произведений Ленина, Сталина, из «Истории ВКП(б)». Ряд заметок посвящен празднованию XXIII годовщины Октябрьской революции в СССР, в частности, в молодых советских прибалтийских республиках, а также в Западной Белоруссии и Карело-Финской республике. В номере напечатана статья Палецкиса «Пять месяцев Советской Литвы». Целую полосу «Эль Сигло» занимают статьи на тему «СССР — освободитель угнетенных народов». Отдельная статья посвящена сталинской политике мира.

От редакции: Материалы в отделе хроники составлены по иностранной прессе, поступившей в редакцию до марта этого года.

Адрес редакции: Москва, Кузнецкий мост, 12, тел. К 3-96-07
Приемные дни: понедельник, среда, пятница, с 4 до 6

И. о. ответ. редактора Т. РОКОТОВ:

Год издания пятнадцатый. Тираж 15 000. Подписано к печати 12/IV—41 г. А36563 13 п. л. 28 авт. л.
80 000 тип. зн. в п. л. Заказ 328

18-я типография треста «Пслиграфкнига», Москва, Шубинский, 10

ПОСТУПИЛИ НА ОТЗЫВ

КНИГИ:

- ANDERSON, Sh.,
Home Town. N. Y., Alliance Book Corporation, 1940, 145 p.
- BROPHY, J.
** *Gentleman of Stratford*. N. Y., Harper, 1940, 348 p.
- CARLSON, E.
Twin Stars of China. N. Y., Dodd, Mead, 1940, 318 p.
- CATHER, W.
Sapphira and the Slave Girl. N. Y., Knopf, 1940, 296 p.
- CRANE, S.
Twenty Stories. Selected with an introduction by C. Van Doren. N. Y., Knopf, 1940, 507 p.
- DREW, E.
** *Directions in Modern Poetry*. N. Y., Norton, 1940, 290 p.
- ERSKINE, J.
Give Me Liberty. N. Y., Stores, 1940, 312 p.
- FLANAGAN, H.
Arena. N. Y., Duell, Sloan and Pierce, 1940, 373 p.
- GORELIK, M.
New Theatres for Old. N. Y., French, 1940, 553 p.
- HAMILTON, C.
**** *The Theory of the Theatre*. N. Y., Holt, 1939, XVIII, 481 p.
- HEMMINGSHAUS, E. H.
** *Mark Twain in Germany*. N. Y., Columbia Un-ty Press, 1939, 170 p.
- JOHNSON, H.
The Soviet Power. N. Y., Modern Age Books, 1940, 352 p.
Lettres de Guy de Maupassant à Gustave Flaubert. Avignon, Aubanel, 1940, 109 p.
- LEWIS, S.
** *Bethel Merriday*. N. Y., Doubleday, Doran, 1940, 390 p.
- MANN, E. L.,
*** *The Problem of Originality in English Literary Criticism 1750—1800*. Chicago 1939, Diss. 97—118 p.
- MAUGHAM, W. S.
** *Books and you*. N. Y., Doubleday, 1940, 107 p.
** *Milton on Himself*. N. Y., Oxford Un-ty Press, 1939, 307 p.
- REYNOLDS, G. F.
**** *The Staging of Elizabethan Plays*. N. Y., Modern Lang. Assoc., 1940, 203 p.
- O'HARA, J.
Pal Joey. N. Y., Duell, Sloan and Pierce, 1940, 195 p.

** Книги, отмеченные двумя звездочками, имеются в Центральной библиотеке иностранной литературы, тремя звездочками — в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина, четырьмя звездочками — в Театральной библиотеке.

- ROZAS, L. T.
Jack cuentos. México, Mundo Nuevo, 1940, 67 p.
- SALINAS, P.
** *Reality and the poet in Spanish poetry*. Baltimore, Hopkins, 1940, 165 p.
Short Stories from the New Yorker. N. Y., Simon and Schuster, 1940, 438 p.
- STEGEMEIER, H.
*** *The dance of death in folksong, with an introduction on the history of the dance of death*. Chicago, 1939, 231 p. Diss.
- STILL, H.
River of Earth. N. Y., Viking Press, 1940, 245 p.
- STUART, J.
Trees of Heaven. N. Y., Dutton, 1940, 340 p.
- ULLMANN, S. S.
** *Plays of America's Growth*. N. Y., Dodd, Mead, 1940, 227 p.
- WILSON, R. A.
** *The pre-war biographies of R. Rolland*. Lond., Oxford Un-ty press, 1939, 233 p.
- ZINBERG, L.
Walk hard-talk loud. N. Y., Bobbs-Merrill, 1940, 354 p.

На китайском языке:

- СЯ ЯНЬ
Горожане. Сборник пьес. Изд. Новое знание, 1940, 255 стр.
- СУН ЧЖИДЫ
Кнут. Пьеса в 5 действиях. Изд. Жизнь, 1940, 178 стр.
- ТИН ЛИН
Кавабэ Иширо. Пьеса в 3-х действиях. Изд. Жизнь, 1938, 85 стр.

ЖУРНАЛЫ:

- China Today*. 1941, January. New York.
- Clipper*. 1940, December. Los Angeles.
- Friday*. 1941, 3, 10, 17, January. New York.
- Guilde du livre*. 1941, Février. Lausanne.
- Вестник на жената*. 1941, 29/1, 5/11. София.
- Культура Китая и СССР*. 1940, октябрь — ноябрь. Чунцин.
- Литературный ежемесячник*. 1940, январь — ноябрь. Чунцин.
- Magazine de Hoy*. 1940, 22/XII. La Habana.
- New Masses*. 1940, 24, 31 December; 1941, 7, 14, 21 January. New York.
- New York Times Book Review*. 1940, 8, 15, 22, 29 December; 1941, 5, 12 January.
- Modern Language Notes*. 1941, January. Baltimore.
- Poetry*. 1941, January. Chicago.
- Poet*. 1940, November, December. England.
- Progresso*. 1940 Dec. Uruguay.
- Saturday Review of Literature*. 1940, 21 December; 1941, 4 January. New York.
- Shakespeare Association Bulletin*. 1940, October. New York.